

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ
ВЕРСТЫ ЛЮБВИ

АНАТОЛИЙ
АНАНЬЕВ

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ

РОМАН

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1976

Р2
А64

Издание третье

$А\frac{70302-105}{078(02)-76}$ Без объявл.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я не люблю приезжать в незнакомый город ночью, особенно когда льет дождь, автобусы уже не ходят, кроме, разумеется, дежурных, в которые обычно набивается много разного народу: запаздывающего, угрюмого, неразговорчивого, неохотно отвечающего или вовсе ничего не отвечающего на вопросы, а тебе даже приблизительно неизвестно, где, на какой площади или улице расположена гостиница, да и номер в этой гостинице не заказан, а есть ли свободные или нет, никто сказать не может, но, кроме как в гостинице, ночевать негде, ни родных, ни близких, ни даже мало-мальски знакомых в городе нет, и ты смотришь на стекла автобуса, по которым стекают, поблескивая в свете уличных фонарей и витрин, дождевые капли, и нерадостные мысли о тягостях командировочной жизни, о частых поездках (есть же, однако, люди, которые завидуют этим поездкам!) проникают в сознание, и ты уже недоволен жизнью, собой, своей однажды выбранной профессией, всем на свете. А профессия — что же обижать ее? Можно было не отрываться от земли, как твои друзья, закончившие в свое время вместе с тобой сельскохозяйственный техникум, а затем институт, и как сам ты начинал когда-то, именно когда-то, лет, однако, девятнадцать-двадцать назад, когда были еще свежи следы недавней войны и деревенские ребятишки играли в «Сталинград» и «рейхстаг», а женщины, не веря похоронным, выходили на полустанки и станции встречать пассажирские поезда и воинские эшелоны; да, в памяти возникают именно те, первые после окончания техникума годы работы, когда ты вставал еще не по будильнику, как теперь, в уже привычной городской жизни, а поднимался с зарей, вместе со всем колхозным народом, как будто что-то подталкивало, будило, словно слышно было, как шевелилась, втягиваясь в ритм долгого трудового дня, деревня, и ты, еще не совсем проснувшийся, в сапогах и брюках, выбежав во двор, до пояса окатывался холодной колодезной водой. А за вербовыми плетнями, за огородами, что разделены неполотыми зелеными межами (эти огороды были, как мне

казалось, остатком той, чересполосной России), виднелась по взгорьям черная пахотная земля; она словно проступала, прояснялась сквозь стекавший в низины белый, но уже редеющий утренний туман, и, я думаю, есть что-то притягательное в этом виде черной земли, есть какое-то даже, пожалуй, необъяснимое или, вернее, не вполне объяснимое чувство огромной, неувядаемой, не страшащейся никаких невзгод силы жизни. Поля становились зелеными, потом желтели, когда пшеница, налившись зерном, опускала долу колос, и, взвихривая серую предосеннюю пыль, плыли по этим взгорьям комбайны, сновали машины, отвозившие в кузовах на ток зерно, и ветерок по утрам, теплый, сухой, хлебный, врываясь в подворье, обдувал, холодил, заветривал облитые водою лицо, шею, грудь, плечи, спину. Чувство это неповторимо. И странно: тогда, в те годы, когда все это происходило, не было такого ощущения полноты жизни, как теперь, или, точнее, как потом, когда только вспомналось, что и как было. Но отчего человек так устроен, что нет, в сущности, для него осознанного счастья, а вечно он к чему-то стремится, что-то ищет, ждет, тогда как надо остановиться и жить! В каком смысле остановиться? Не вообще, не на достигнутом, как принято говорить у нас теперь, — не это я имею в виду; остановиться в том смысле, что не искать себе иного рая, а работать и украшать землю, на которой живешь, в себе чувствовать ее неувядаемую силу и уметь радоваться траве, воде, ветру, солнцу. Те самые распаханные черные взгорья, что открывались взгляду со двора, я исходил вдоль и поперек за то недолгое время, пока работал в Долгушине, которое находилось километрах в пятнадцати от центральной усадьбы колхоза и в ста пятидесяти, это уже к слову, от ближайшей железнодорожной станции. Далековато? Да, и я так думал; только теперь вот, вспоминая, думаю иначе. В сапогах по стерне, по распаханному под зябь клевернику, по клиньям озимой, проверяя заделку семян, в дождь, ветер, когда все небо обложено низкими осенними тучами, и нет, кажется, и не будет просвета, и не будет конца этому окладному дождю, в зеленом брезентовом плаще с откинутым капюшоном (в таких рисуют теперь лишь районщиков, посмеиваясь над ними и над неуклюжестью их одежды, а напрасно, потому что именно она, эта одежда, остается незаменимой и до сих пор на селе), — я часто снова вижу себя на долгушинских взгорьях, и

иа душе стаиовится тревожно, тоскливо. Как солдат, пришедший с войны, хранит свою видавшие виды старую, потертую, иссечеииую осколками шииель, так храню я тот зелеиый брезеитовый дождевик с капюшоиом, и каждый раз, когда, перекладывая, беру его в руки, мне бывает приятно чувствовать его грубость и слышать его особеиный жесткий шорох, ои кажется мие промокшим, как и в оиые времеиа, и крупные капли, дробясь, будто стекают с него иа пол. «И этот дождь, что за окиом автобуса, и тот, что хлестал иа полях, и вообще... кому-то иадо же работать в управлеиии!» — говорю я себе в такие мииуты для утешеиия и оправдаиия. Но грустиое настроеиие и воспомииаиия продолжают идти своим чередом, и все более жизнь кажется направлениой не по тому руслу, по какому бы надо, а цель — иеясиой, скрытой, как та гостииица в дождевом мраке иочи, в которую везет тебя автобус и в которой еще иеизвестио, есть ли свободиый номер или иет его.

«Да скоро ли она, эта гостииица?»

«Смотря какая. У иас в городе две: «Заря» и «Колос».

«Мие все равно; которая ближе».

«Вам лучше в «Колос». Это два квартала, если вы сойдете иа площади Партизаи, а если иемиого раньше, иа углу Пролетарского проспекта, возле уиивермага, то вам придется...»

Слава богу, иа сей раз повезло, сосед по сидеиью оказался отзывчивым, и я с благодариостью смотрю на иего и слушаю, что он говорит; я все поиимаю, как нужио идти, где повернуть иалево, где иаправо, мимо какого киоска и какой витрииы, ио это лишь кажется, что все понятио; как только ты вышел из автобуса и очутился один на мокром асфальте, среди редких уже огией, среди иезиакомых, темиых домов, мрачио возвышающихся иа таком же иочиом мрачиом дождевом небе, все ориеитиры вдруг как бы исчезают, и ты уже ие видишь того киоска, о котором говорили тебе, и витрина давно уже ие горит, а за углом направо здаиие оказывается не таким, как оно было обрисоваио, и ты идешь, захлестываемый дождем и ветром, иесешь в руке свой иадоевший и кажущийся тяжелым чемодан, произиосишь про себя ие раз говореиое и переговорениое: «Ну и выбрал же ты себе жизнь!» — и уже мысли о доме, семье, о тепле и уюте, который ты выиужден был

оставить ради этой, может быть, даже незначительной, во всяком случае, конечно же, не срочной командировки, постепенно возникают и заслоняют собой все. Я знаю, есть любовь к земле, к родным местам, к Долгушинскому отделению, например, как у меня, где прошли самые счастливые, как я уже говорил, годы моей жизни, но есть еще любовь к жене, детям, и она так же сильна и так же порой необъяснима (говорят же: «Что он нашел в ней: и не броска, и не красива, и характером строга, а вот поди ж ты — нашел!»), как десятки других человеческих привычек и слабостей; она необъяснима и во мне, но она есть, и я рад, что она есть, и в трудные и одинокие, как теперь, минуты я вижу комнату, где лежит Наташа, вижу тусклый розовый ночничок, без которого ни она, ни дети, когда остаются одни, не могут спать, и весь уклад жизни, все, что повторялось изо дня в день, будничное и незаметное, открывается вдруг как бы новою, неведомою раньше стороною, становится ближе, дороже, роднее. И хотя гостиница уже найдена, и тебя определили, может быть, не в лучший, но все же в довольно приличный номер, волнения кончились, и ты лежишь, укрывшись холодным казенным одеялом, но долго еще не можешь заснуть, потому что воспоминания так навязчивы и так приятны, что тебе не хочется ни выключать стоящую на тумбочке лампу, ни ворочаться, ни разглядывать обои в незнакомой комнате, а шум дождя за окном уже не вызывает тревоги, и весь ты как бы переходишь в иной и привычный тебе мир, каким жил только что, день назад, перед тем как ехать сюда, но с той лишь разницей, что все, что ты делал и о чем думал дома, ты повторяешь сейчас как бы на виду у себя, в воображении, и даешь всему другие, порой удивительные и неожиданные оценки. Я люблю эти минуты; они мне кажутся откровением перед самим собою, чего лишены мы в повседневной нашей жизни, вечно стремясь, спеша, суетясь и в конце концов не успевая, в сущности, сделать ничего значительного.

Я вижу свой дом в нешумном городском проезде, как будто, возвращаясь с работы, подхожу к нему со стороны сквера, и зеленые ветви лип, свисающие к земле, обтекают лицо, плечи, и кажется, что так и веет от них сыростью и свежестью леса, чем-то грибным, устоявшимся, знакомым еще с далеких детских лет, и усталость дня словно снимается с плеч; особенно когда руч-

ной косилкой, жужжалкой, как еще называют ее в народе, постригают травяные газоны, полянки, и тогда, как со скошенных лугов, тянет запахом подсыхающего сена, я останавливаюсь и с наслаждением вдыхаю этот редкий в условиях городской жизни и, надо добавить, дорогой, бесценный воздух. Я стою и смотрю на дом, машинально отыскивая взглядом балкон на шестом этаже и окно своей квартиры, и чувство удовлетворения, что живу именно здесь, в лучшем, по моему твердому убеждению, и самом зеленом квартале города и что не просто живу, а достиг чего-то, заслужил, заработал, хотя бы квартиру в этом вот месте и этом будто плечом выдвинутом на улицу кирпичном доме. Но сейчас я лишь наблюдаю за собой — тем, стоящим в сквере, и наблюдать приятно, и приятно испытывать то знакомое чувство. Когда я выхожу с работы, всегда звоню жене: «Иду!» — и эта уже укоренившаяся привычка тоже представляется теперь особенной; там, со сквера, откуда я смотрю на дом, я вижу открытую форточку в кухонном окне и знаю, что Наташа в эту минуту собирает на стол. Накормить семью, накормить человека — это не просто. Чаще всего мы не задумываемся над этим, а садимся за стол, берем ложку или вилку и начинаем есть, улыбаясь и не замечая, как вкусно все это приготовлено, и, конечно же, не спрашивая, сколько потрачено на этот обед или ужин времени и усилий, сколько вложено выдумки, старания и любви; нам важно, что все это есть на столе и что есть еще вечерняя газета, кресло, в котором можно, откинувшись и вытянув ноги, посидеть, получитая, полудремля, часок, или поволноваться у телевизора, когда идет передача кубкового матча, и все это не только не представляется предосудительным, но кажется, что ничего иного и не может быть, что в этом и заключается теплота и уют семейной жизни. Я тоже по вечерам сижу в кресле и просматриваю газеты, и теперь, лежа в номере на гостиничной койке, с удовольствием думаю, что и у меня есть такая возможность; но вместе с тем именно здесь, на отдалении, жизнь как бы выходит из личных рамок, и ты чувствуешь не только себя, вернее, не столько себя, как близких, родных тебе людей, и жизнь их становится тебе понятней, дороже и трогает душу. Десятки раз я открывал дверь Наташе, когда она по воскресным дням, возвращаясь из магазинов, входила в прихожую с переполненными и оттягивающими руки сумками, и от-

крываю ей теперь, в воображении, но только теперь я вижу, как белы от напряжения ее пальцы, слышу вздох облегчения, когда она ставит на пол сумки, и вижу слегка бледноватое, усталое, но иногда счастливое (счастливое тем, что удалось достать что-то вкусное к обеду) лицо, и мне ясно, чем она живет, что думает, чувствует, и оттого, что ясно все, и еще более оттого, что я знаю, что делается это от любви ко мне, к семье, и делается с добрым чувством, я не просто удовлетворен, но испытываю то маленькое счастье, какого часто бывает достаточно человеку, чтобы быть довольным судьбой.

Наташа не работает в школе, и уже давно, с того года, когда у нас появился второй ребенок. Мы не спорили, увольняться ей или нет; перед нами не стоял вопрос, что лучше: воспитывать детей или иметь трудовой стаж, чтобы под старость получать пенсию; все произошло как-то само собой, просто и незаметно, как того требовали обстоятельства и домашние дела. Я и теперь никогда не думаю об этом. В каждой семье, очевидно, жизнь складывается по-своему, в зависимости от того, есть ли бабушки и дедушки, кто и, главное, *какие* они; мы же с первого дня жили отдельно, вдвоем, самостоятельно, и все приходилось делать самим, постигать премудрости семейной жизни, и это тоже обычно накладывает свой отпечаток на воспоминания. Я вижу своих девочек Валю и Ларочку в тот момент, когда они, одетые в чистенькие школьные формы, в коричневых платьицах и черных отутюженных фартучках, с желтыми портфелями в руках готовятся идти в школу, и Наташа еще хлопочет возле них, поправляя белые нейлоновые воротнички, красные галстуки и коричневые ленточки в косичках; я смотрю на них издали, находясь возле приоткрытой кухонной двери, одним ухом как бы прислушиваясь к тому, о чем вещает радио в последних известиях, а другим — о чем говорят Валя, Ларочка и Наташа, чему улыбаются, что забавляет и веселит их, и может быть, не столько тогда, в минуту, когда все происходило, как теперь, чувствую, как дорога и приятна мне эта будничная, самая обычная сценка семейной жизни, и что, не будь Вали, Ларочки, Наташи, жизнь оказалась бы неполной, движущейся не в том направлении, как это только что казалось мне, когда я думал и вспоминал о Долгушинском отделении и черных вспаханных Долгушинских взгорьях. Валя учится в пятом,

Ларочка в четвертом; но дело в том, что и мы с Наташей учимся вместе с ними, как бы заново проходим школьную программу. Прежде я не знал, что люди в большинстве своем дважды оканчивают десятилетку: один раз сами, второй раз вместе с детьми, а иногда и третий раз — уже с внуками; но теперь я глубоко убежден в этом и говорю себе: «Ну что же, коль так устроена жизнь, я принимаю ее и радуюсь ей». То Валя, то Ларочка после полудня, когда готовят уроки, часто звонят мне на работу.

«Папочка, не получается...»

«Что же у тебя не получается?»

«Задача».

«На движение?»

«Да».

«А ты двигайся, раз на движение, не сиди на месте».

«Ты шутишь, а мне не до шуток».

«Ну, раз не до шуток, то давай уж, читай условие, кто там у тебя или что движется от пункта А до пункта Б?»

Ничего не поделаешь, приходится записывать условие задачи и, отложив все, высчитывать, с какой скоростью движутся от А до Б велосипедисты, автомашины, пароходы, где, на каком километре и в каком часу могут они встретиться, отправившись одновременно или в разное время навстречу друг другу; или еще что-то в этом роде, часто настолько замысловатое и запутанное, что не так-то просто отыскать верный ход решения. Иногда приходит Петр Семенович из соседнего кабинета. Разумеется, приходит по служебным делам, но и у него есть в доме ученики, ему тоже случается решать задачи. «Ну-ка я посмотрю, — говорит он, — может быть, точно такая же, какую вчера Виктору моему задавали». Бывает, что такая, а бывает, и нет, и мы уже вместе испещряем цифрами белые листы бумаги. «То ли еще будет, когда начнутся алгебра и логарифмы!» Да, пожалуй, то ли еще будет! Но я с улыбкой смотрю на это будущее; я мысленно говорю сейчас в трубку: «Валюша, Ларочка, берите тетрадки и карандаши» — и диктую решение. Я слышу их радостные голоса, вижу их лица и вижу склонившегося над столом Петра Семеновича, и все это вызывает во мне улыбку. А свет все еще горит в номере, ровные края металлического абажура, падая полукругом на стены, как бы делят комнату на две части по горизонтали, на два пласта,

светлый и темный, и я лежу в нижнем, светлом, и думаю, что, может быть, оттого и светлы и приятны сейчас мои воспоминания.

В Калинковичи я приехал тоже поздно, хотя, правда, не было дождя, а стояла теплая и ясная летняя ночь, но зато не было и свободного одноместного номера в гостинице, и меня определили в двухместный, в котором, как пояснила администраторша, жил хороший, спокойный человек, и что с ним даже интересно будет познакомиться. «Какой уж интерес, — про себя говорил я, открывая дверь и осторожно входя в номер. — Лишь бы не храпел, и то ладно».

В номере было темно; только постояв немного и приглядевшись, я увидел свободную кровать и направился к ней. Раздеваясь и устанавливая чемодан, я старался делать все так, чтобы не шуметь, и, кажется, ни разу не задел ни за угол стола, ни за ножку стула, и мне было удивительно, когда спавший как будто человек (так мне показалось, потому что за все время, пока я ходил и раздевался, он ни разу не пошевелился) неожиданно громко и совсем не сонным голосом сказал, обращаясь ко мне:

— Зажгите свет, не стесняйтесь, я все равно не сплю.

— Ничего, уже не надо, спасибо, — ответил я, так как и в самом деле зажигать свет было уже ни к чему. — Бессонница? — спросил я затем, ложась и натягивая на плечи одеяло.

Говорить мне, откровенно, не хотелось, я произнес это так, к слову, лишь бы сказать что-то человеку, с которым придется теперь жить несколько дней вместе; так же, как и он, первою своею фразой, я уже теперь, заранее, как бы спешил высказать расположение к нему, чтобы эта наша случайная совместная жизнь уже завтра с утра не оказалась ни мне, ни ему в тягость.

— Да, — сказал он.

— Давно страдаете?

— Нет. Иногда, временами.

— Ну, это еще не худший вариант. Хотите, я дам вам совет: ложка меду на стакан теплой воды, и до звонка будильника вас уже ничто не разбудит.

— Вы думаете?

— Уверен, — подтвердил я.

«Какие-нибудь неприятности, неудачная командировка, но что же тут переживать? Мало ли чего в жизни

не бывает? Надо смотреть на все проще, философски», — уже про себя докончил я, поворачиваясь на бок и закрывая глаза, и вместе с тем как бы сразу отходя от этого реального мира, и не видя уже ни сумрачных стен, ни закрытых гардинами окон, и не думая о соседе, которого бог весть отчего мучает бессонница; назавтра мне самому предстояло много дел, в том числе и несколько довольно серьезных встреч с работниками исполкома и руководителями «Сельхозтехники», и я принялся размышлять, как лучше организовать день, к кому пойти прежде и к кому потом, чтобы за отведенные трое суток, которые должен буду прожить в Калинковичах, успеть сделать все дела. «Надо непременно успеть, — говорил я себе, — так как потом, в поездке по колхозам, уже невозможно будет натянуть день, но и не вернуться домой к сроку нельзя: у Ларочки день рождения, она будет ждать, и все в доме будут ждать, ведь я обещал, и еще надо подумать о подарке. Но что купишь в Калинковичах? Да хоть что-нибудь, ведь это будет из другого города, а значит, и памятно. И Валюше что-то надо, как же», — продолжал я, как обычно, думая уже только о доме, вспоминая жену, дочерей. «Да, — уже почти сквозь сон мысленно проговорил я, — я не сказал соседу, что самое лучшее средство от бессонницы — это воспоминания. Завтра непременно надо будет сказать ему об этом».

Утром, когда я проснулся, соседа моего в номере уже не было. Он ушел, очевидно, по своим делам, и я вскоре тоже забыл о его существовании; но прежде я обратил внимание, что кровать его была заправлена, аккуратно и что ни на стульях, ни на тумбочке не висели рубашки и не валялись галстуки, а все было прибрано, и даже вчерашние газеты были сложены на столе ровной стопкой. «Это уже неплохо, — подумал я. — Аккуратность — черта хотя и не исключительная, но кое-что говорящая о характере человека». У нас почему-то принято считать, и чуть ли не с петровских времен, что аккуратность, пунктуальность, определенный и размеренный ритм жизни не имеют ничего общего с натурою русского человека, что все это наносное, привезенное из-за границы, немецкое, тогда как это чистейший вздор, выдумки людей, которым хочется скрыть свой иногда далеко не упорядоченный образ жизни, и они приписывают народу какую-то якобы исконную разгульную бесшабашность, а в сущности — небрежение к себе, к

будущему; я должен сказать, что, по крайней мере, во всех тех людях, с кем сводила меня дорожная судьба, я всегда чувствовал (как, впрочем, всегда чувствовал и в самом себе) постоянное стремление к ровной, размеренной жизни, к аккуратности и красоте, и это представлялось мне естественным так же, как земля, небо, деревья, дома — все то, что окружает нас и составляет основу нашего бытия. Нет, аккуратность — это не порок, и такие люди всегда производят на меня хорошее впечатление. Прежде всего они добры и чутки к ближним. Так подумал я и о своем соседе по номеру, которого по-настоящему и разглядеть-то не успел вчера среди ночи; когда же потом сблизился с ним, только сильнее укрепился в своем мнении. Мне показались отмеченными каким-то особенным вкусом (вкусом в подборе вещей) и лежавший на подставке чемодан с чехлом, и куртка с застежками-«молниями» на плечиках в шифоньере; по вещам обычно в какой-то мере можно определить возраст их владельца, и я подумал, глядя особенно на куртку, что сосед мой — человек еще довольно молодой, может быть, лет тридцати, не старше. Откровенно говоря, я больше люблю беседовать с молодыми людьми, потому что тут встречаешься как бы с новым для себя видением мира, и это новое видение даже будто чем-то обогащает тебя; мне приятно было сознавать, что я проведу вечер в обществе молодого человека. Но я ошибся, посчитав своего соседа молодым; вечером, когда вошел в номер, я увидел совершенно иного, чем представлял себе, человека, и прежде всего поразила меня густая шапка седых, почти белых волос.

— Добрый вечер, — сказал я, удивленно рассматривая его.

Я стоял в прихожей, в тени, снимал пиджак, и думаю, что он не заметил этого удивленного выражения на моем лице; он встал и, сделав несколько шагов навстречу, протянул худую белую и мягкую, какие бывают лишь у людей, не занимающихся физическим трудом, руку.

— Евгений Иванович Федосов, — представился он, четко, как старый военный, выговаривая каждое слово. — Вы ужинали? — сейчас же спросил он, как только я назвал себя.

— Нет еще.

— Может быть, составите компанию? Спустимся вниз, в ресторан, кухня здесь неплохая.

Ужинать мне еще не хотелось, я чувствовал себя усталым после какого-то особенно хлопотливого, как мне казалось, сегодняшнего дня и желал лишь одного: постоять под душем, переодеться и полежать, вытянув ноги и заложив руки за голову, поразмышлять, что удалось и чего еще не удалось сделать, но, как ни сильно было во мне это желание, я все же не смог отказать Евгению Ивановичу, может быть, потому, как он смотрел на меня, приглашая, может быть, по тону голоса, как он произносил слова, может быть, еще по каким-нибудь иным признакам, не замеченным мною тогда, сразу, поняв искренность и доброту его намерения; я лишь попросил его дать мне возможность надеть светлую рубашку и галстук, и через несколько минут мы уже входили сквозь раскрытые стеклянные двери в небольшой, обставленный цветами вдоль окон зал ресторана. Народу было еще немного, было не накурено, не шумно, музыканты еще не играли, и охрипшая певица в платье до полу и с микрофоном в руке (ничего иного я никогда не видел в гостиничных ресторанах; очевидно, и здесь должно было происходить то же) еще не появлялась, и какая-то атмосфера чистоты, свежести и уюта царила в зале; официантки улыбались, начиная свой трудный вечерний бег, было приятно смотреть на их еще не помявшиеся фартучки, на белые салфетки, пирамидами уложенные на столиках, и предвкушение ужина уже само собою поднимало настроение. Евгений Иванович шагал впереди. Он знал здесь все и шел к своему излюбленному месту, а я смотрел на его как будто сухощавую, но широкую спину, на скрещенные позади белые на фоне темного пиджака руки и думал, что есть в этом человеке что-то противоречивое, что по сложению он должен бы заниматься физическим трудом, но он занимается, как видно, умственным и так же, наверное, как и я, как многие в наше время, тяготится своею сидячею работой. «Вот уж где она, проблема века, — мысленно произносил я. — Мы сами лишаем себя движения, изобретаем машины, называем это прогрессом, и никто и ничто не сможет остановить этого прогресса. Человечество стремительно несется вперед, а человек испытывает неудобства. Странно и непостижимо. Однако кем он работает? Какие дела привели его в Калинковичи?»

Как только мы сели за столик, я тут же спросил его об этом.

— Преподаю, — ответнл он.
— Где?
— В техннкуме.
— Что?
— Математнку.

Он говорнл как будто с неохотою, может быть, потому, что перелистывал меню; но мне молчанне представлялось неловкнм, н я снова, когда официантка приняла заказ н отошла, спросил:

— Вы былн на войне?

— Да. Но почему, собственно, вы задалн этот вопрос?

— Смотрю на вашу раннюю седину.

— А-а...

— Мне кажется, с левой стороны у вас волосы темнее, меньше седнны, а с правой — светлее. Такое бывает только после контузнн.

— Не только. Но у меня — да, после контузни.

Сказав это, он опять замолчал; он и ел молча, когда подалн заказанные бнфштексы, н только время от временн какнм-то долгнм и внимательным взглядом смотрел в зал, на столнки, будто искал или ждал кого-то; он щурился, и на бледном лнце его, у глаз, собиралнсь морщины. Я тоже несколько раз невольно оглянулся на зал, потому что любопытно было увндеть, кого нскал взглядом этот седой человек, но, разумеется, я ничего не мог увидеть, кроме того, что зал все более наполнялся посетнтелямн, а над столнками уже поднимались облачка табачного дыма, и я лишь яснее ощущал запах вина и жареного лука н отчетливее слышал слнвавшийся в однн сплошной рокот говор прншедших отужннать и поразвлечься людей.

— Вы кого-нибудь ждете? — наконец не выдержав, спроснл я.

— Нет.

— Вы по какнм делам здесь в командировке?

— Я не по делам н не в командировке. Я отдыхаю здесь.

— Отдыхаете?!

— Вы удивлены? Впрочем, вы удивитесь еще больше, — так же неторопливо и все еще будто с неохотою продолжнл он, — если я скажу вам, что вот уже пятнадцать с лншннм лет, — он чуть подумал, как бы прнкидывая, верна лн названная им цифра, — да, пятнадцать с лншннм лет подряд я каждый год провожу свой

отпуск в этом городе. Родных у меня здесь иет, отдыхать, сами понимаете, негде, а вот приезжаю. Вы спросите почему? Что за причииа? Причина есть, конечно, но что о ней говорить! Оиа личиая и вряд ли кому-нибудь будет интересиа.

— Отчего же, — возразил я. — Я с удовольствием послушаю, тем более что-ибудь связаниое с войной.

— И с войиой, и после... да стоит ли? Я никогда и иикому не рассказывал, ио если у вас есть желаиие...

— Конечио, — подтвердил я.

— Только ие здесь, ие среди этого шума и чада. Вернемся в иомер, и если у вас по-прежиему будет желаиие...

— Разумеется, — сиова подтвердил я.

Я давио заметил, и заметил это прежде всего по себе, что чужая жизнь всегда интересиа людям; я люблю слушать, особеиио про войиу. Чувства, которые пережили люди в те годы, навериое, иеповторимы; ио вместе с тем каждый раз, когда я слушаю рассказ старого военного, мие кажется, что я поиимаю, что испытывал ои в разиые мииуты боя, и имеиио это, что понимаю и как бы сопереживаю с иим, это всегда оставляет в душе приятиый и иеизгладимый след. «Ну что ж, будет иеплохой вечер», — про себя говорю я, глядя на Евгения Ивановича и все более убеждаясь в том, что, должно быть, что-то интересное и чрезвычайное было в жизни этого человека. Но то, что услышал я, когда мы, придя в иомер, устроились в креслах друг против друга у полуоткрытой балкоииой двери, превзошло все ожидаиия и предположеиия; мие и теперь кажется, что я не просто слушал и смотрел иа Евгения Ивановича, но словно сам приимал участие в тех событиях, о которых рассказывал ои. Мы сидели так, что я хорошо видел его лицо, которое сиачала было освещено еще ярким предзакатным уличиым светом, а потом, когда стемиело, — и люстрой, и зажжеииой за моею спиной иа письменном столе голубою иастольиою лампой; я видел его глаза, руки, которые ои большей частью держал иа колеиях, то сцепив пальцы, то просто положив ладонь на ладоиь; в голосе его ие было особеииой взволнованиости, он говорил ровио и даже как будто спокойио, ио за каждым словом чувствовалась большая иаболевшая правда. Ои рассказывал все так, что ии о чем ие иужно было до-

почтительно расспрашивать, и за весь вечер я, кажется, не произнес ни одного звука, слушая Евгения Ивановича.

ЧАС ПЕРВЫЙ

— Прежде мне часто казалось, что жизнь человеческая состоит из цепи случайностей, — начал Евгений Иванович. — В детстве, например, я мечтал стать военным. Дело доходило до смешного. Бывало так: идем куда-нибудь с матерью по городу, и не дай бог если навстречу попадется колонна солдат. Стану будто вкопанный и смотрю, как идут бойцы, и тут уже никакая сила не сдвинет меня с места, пока колонна не скроется за углом. Мечтал, думал, фантазировал, знаете ли, в своем мальчишеском воображении, а в жизни все получилось иначе — не только до генерала, но и до капитана не дослужился, и не по своей, разумеется, вине. А вот еще, если хотите: в школе я больше всего любил географию и ботанику, а в педагогический институт поступил на факультет математики. Почему? Да потому, что, когда был на подготовительном курсе, мне понравились уроки, которые давал математик Иван Иванович Ким. Кореец. Он так увлекательно и так виртуозно доказывал теоремы, что не только я, многие из нашего потока поступили тогда на математический. А если бы не было Кима, а был кто-то другой? Десятки раз можно сказать «если», но суть от этого вряд ли изменится. Когда я уходил на фронт, была у меня невеста, ну может быть, не совсем невеста, договоренности между нами не было, но я любил ее, и мне казалось, что я женюсь только на ней, Рае Скворцовой, и что никого на свете, кроме нее, мне не надо, я и прощался больше с ней, чем с матерью, и письмо первое с фронта написал ей, но ведь в жизни не получилось так, как было задумано, и опять, если хотите, виновата какая-то нелепая случайность. Вот здесь, в Калинковичах, во время войны я встретил другую девушку, Ксеню, и она сразу как бы перечеркнула все мои мечты и планы, но и с ней не свела меня судьба близко, и живу я сейчас ни женатый, ни холостой, а так, что-то между: вроде и дом есть, и женщина в доме, и в то же время такое ощущение, словно все вокруг тебя пусто, какая-то тяжесть, постоянная тревога на сердце; в таких случаях говорят — томится душа, и это, мне думается, очень точное выраже-

ние. Вроде и работа есть, специальность, и как будто люблю я свою работу — какой еще вы найдете на свете более удивительный и податливый материал, чем дети! — а удовлетворения и спокойствия нет. Когда в Чите — думаю о том, что здесь, в Калинковичах, тянет сюда (я же читинец, сибиряк); когда здесь — начинаю волноваться, что и как там, дома, и тянет туда. Так и мотаюсь, а почему? Что это, безволие? Эгоистическое желание чего-то такого, что выше обычных человеческих потребностей, и чего, собственно, не может дать жизнь? Или — от большого чувства? Но что такое большое чувство и зачем оно, если не приносит человеку удовлетворения и счастья? Не берусь, разумеется, утверждать, но полагаю, что еще более неисследованными, чем космос, являются человеческие чувства. Как они возникают, от чего зависит все, почему, к примеру, мне нравится синий цвет, а другому зеленый? Природа любви, долга, чести? Все написанное об этом (по крайней мере, из того, что я прочитал) можно сравнить лишь с понятием «степь широка». Да, степь широка, но не больше, да, у человека есть любовь, но что это за сила, как измерить, скажем, ее мускулы, величину, измерить, в сущности, душу, некий такой абстрактный, нематериальный, как принято считать, комочек человеческих переживаний, — тут уж мало сказать только, что «степь широка».

Я не психолог, а математик, и, может быть, многие суждения мои покажутся вам дилетантскими, но дело не в этом; скажите, вы смогли бы объяснить, почему — вы женаты? — почему, допустим, вы полюбили эту женщину, которая стала вашей женой, а не какую-нибудь другую, почему именно она представлялась вам, может быть, представляется и теперь самой лучшей, доброй, единственной и неповторимой, тогда как вокруг, стоит лишь оглянуться, живут десятки других красивых женщин и, очевидно, не менее добрых, но они не прельщают вас, вы равнодушно проходите мимо — почему? Можно пуститься сейчас в воспоминания и перечислить многие достоинства вашей супруги, которые, кстати, выявились уже потом, в совместной жизни, как, впрочем, и некоторые неприятные черты (они есть у каждого человека!), но ведь в то время, когда вы впервые встретились с ней, вы же ничего этого не знали, ну, в лучшем случае что-то предполагали, а в общем-то, какая-то совершенно необъяснимая сила тянула вас к этой женщи-

не. Что это за *необъяснимая* сила? Она же была в вас, вы носили ее? Она была и во мне, возникала и угасала, вы понимаете, во мне самом, не то что где-то в космосе, а я не знаю, что это такое, не могу постичь.

Конечно, проще всего сказать: такова природа человека, и это тоже будет объяснение. Но разве оно дает возможность мне управлять моими чувствами, приводить их в соответствие с разумом? Я понимаю, что, допустим, мне нельзя любить ее, нельзя, а я люблю; или, напротив, знаю, она хорошая и достойна большой любви, знаю, что ее надо любить, а не могу. Не могу! И это, знаете, страшно.

Вы не думайте, что я занимаюсь каким-то исследованием в этой области; я говорю вам сейчас об этом потому, что мне самому выпала на долю такая жизнь, эти волнения, и вот теперь, к сорока пяти годам, когда, видите, я уже весь седой и когда жизнь, в сущности, как говорят в таких случаях, уже сделана, — с какой-то опять-таки непонятной навязчивостью, как будто кто-то заставляет меня, я день за днем возвращаюсь к прожитым годам и стараюсь уяснить себе, почему именно моя жизнь сложилась так, а не иначе, где начало и где конец чувствам и переживаниям. Я никогда, разумеется, не напишу об этом книгу, но так уж, наверное, устроен человек, что вольно или невольно он не только старается обобщить накопленный опыт, но и передать этот свой опыт жизни другому. Может быть, потому и я так подробно сейчас рассказываю вам о себе.

С чего все началось?

Жизнь, конечно же, не цепь случайностей; одно вытекает из другого, все связано, переплетено, обычно десятки обстоятельств, сотни подробностей определяют тот или иной, зачастую кажущийся нам неожиданным поступок. Надо же было, чтобы дивизия, в которой я служил, воевала в составе Первого Белорусского фронта и чтобы мы прорывали линию обороны именно здесь, под Калинковичами, и наступали затем на Калинковичи (в сорок четвертом, в январе, если помните, мы хотели захлопнуть несколько немецких дивизий в очередной, Калинковичский котел), и, главное, надо же было, чтобы я командовал орудиями как раз в этой батарее, которую бросили на подмогу танкистам, и чтобы бой был именно таким, каким был, и я пережил тот страх и то возбуждение и радость, те чувства, какие и теперь, когда вспоминаю, видите, морозом пробегают по мне.

Мы стояли справа от дороги, в лесу, приготовив орудия к бою; перед нами лежало болото, заросшее высоким кустарником, и сквозь этот кустарник, синий от игольчатого инея, ничего не было видно, что делалось впереди. Какая-то немецкая батарея издали и методически обстреливала лес. Снаряды рвались вверху, задевая за макушки деревьев, рвались с таким резким, как будто обрушивающимся грохотом, что даже привычных, казалось бы, уже ко всему солдат охватывало неприятное и жуткое чувство. Я видел это по их лицам, по тому, как они жались к стенкам наскоро вырытых щелей; да и сам я тоже с чувством обреченности прислушивался к разрывам. Ни окоп, ни ровик, ни щель при таком обстреле не укрытие; осколки летят вниз, как град, под прямым углом, и треск по лесу — словно прокатывается над головой сильная низкая гроза. А мы не стреляем, цели не видно, комбат никакой команды не подает; но и стрелять-то, собственно, опасно — наша пехота уже просочилась сквозь кустарник и топь на противоположный берег и вела бой где-то то ли в деревне (деревня Гольцы), то ли еще у околицы, а танки, которые должны были поддерживать ее, стояли за лесом, за нами, и не двигались с места; по болоту они не могли пройти, а дорога и бревенчатый настил через болото насквозь простреливались двумя, как потом выяснилось, немецкими самоходками. Двумя «фердинандами». Перекрыли дорогу и держат. Уже одиннадцать, двенадцатый час, наступление захлебывается, пехоту нашу теснят, вот-вот сбросят в болото. На дороге горят два наших танка, танкисты один за одним выскакивают из люков, и это происходит буквально на наших глазах. Метрах в трехстах за танками, на обочине дороги, чей-то расчет устанавливает восьмидесятипятимиллиметровую зенитную пушку. Через минуту-две начнется дуэль между зенитчиками и немецкими самоходками, я знаю это и неотрывно слежу за действиями зенитчиков. И бойцы мои смотрят. А по лесу все так же прокатывается треск разрывов, летят вниз срезанные ветви, осколки, и в этом раскатистом грохоте не слышно было, когда выстрелили зенитчики; только вдруг — синяя вспышка, мгновенная, как молния, и красная, стелющаяся над дорогой трасса бронебойного снаряда, метнувшаяся в кустарник, и сейчас же — раз! раз! раз! раз! — четыре такие же огненные трассы вынырнули из кустарника, и один за одним вспыхнули разрывы позади зенитчиков. Снова трас-

са в кустарник, и снова целая серия огненных пунктиров назад, к зенитчикам, и нам хорошо было видно, как немецкий снаряд угодил в орудие, разметав стоявших возле него бойцов. Черная воронка еще дымилась, а чуть выше нее зенитчики уже выкатывали второе орудие, и снова с минуты на минуту должна была начаться дуэль. Как раз в это время и вызвал меня к себе командир батареи капитан Филев. Василий Александрович Филев, я еще расскажу о нем, это был смелый на войне человек.

Есть у людей предчувствие, или, сказать точнее, предвидение; а в общем, тут и без предвидения было ясно, я знал, какое задание получу от комбата, и не без страха и содрогания оглядывался на все еще как будто дымившуюся черную воронку, где только что стояло орудие и откуда несли сейчас по лесу на плащ-палатках уже, наверное, мертвых солдат. Я знаю, что такое прямое попадание; под Веткой, на Соже, когда нашу батарею нащупала и накрыла немецкая артиллерия и снаряд угодил в четвертое орудие, все, кто находился возле него, были изрешечены осколками, одежда на них дотлевала, они лежали, как разбросанные головешки, и я до сих пор не могу без ужаса вспоминать эту картину. Да, так вот, уносили мертвых, и я смотрел на них, на воронку и на то новое орудие, которое зенитчики устанавливали позади воронки, и говорил себе: «Может быть, все еще кончится прежде, чем я дойду до комбата, может быть, они подобьют эти проклятые немецкие самоходки. Ну же, ну!» И действительно, все кончилось раньше, чем я успел дойти до комбата, только не для немецких самоходок, а для наших зенитчиков; так же как и первое, это орудие тоже едва успело сделать два или три выстрела, как огненные трассы, змеясь над дорогой, — раз! раз! раз! — накрыли зенитчиков. Теперь уже на обочине зияли две воронки. Я остановился и несколько мгновений стоял неподвижно, прислонившись к холодному шершавому стволу, и лицо мое было, наверное, таким же белым, как снег вокруг, как кора на березе, к которой я приложился щекой. Я не думаю, что струсил тогда: трусость в девятнадцать лет — явление вообще редкое; скорее всего вот сейчас я бы мог действительно струсить, потому что с годами человек все бережливее относится к себе; я не струсил, но, понимаете, страшно было подумать, что через несколько минут и ты со своим орудием будешь вот такой же ми-

шенью, как только что были зенитчики, на обочине прибавится еще одна воронка, а тебя, окровавленного и изрешеченного, понесут, это в лучшем случае, в медсанбат; страшно было представить, что те самые бойцы, с которыми ты прошел в боях почти от Курска до этих белорусских болот, отцы семейств (многие, во всяком случае; во взводе управления был у нас даже один пятидесятилетний связист, так мы его чаще в ровике держали, у аппарата, не пускали на линию), с которыми не просто сблизился, подружился, но которые стали тебе родными, как свои, — страшно было представить их разбросанными и дотлевающими возле изогнутых орудийных станин. А что делать, какой выход? Танки стоят за лесом, наступление захлебывается; пехотинцы, сброшенные в болото, отстреливаются автоматными очередями, а немцы, словно почувствовав нашу нерешительность и заминку, усиливают навесной огонь по лесу. Когда я, добравшись до наблюдательного пункта, спрыгнул в траншею, из-за треска и грохота рвавшихся снарядов я даже, кажется, в первую минуту ничего не слышал, что говорили мне.

Рядом с капитаном Филевым на наблюдательном пункте стоял командир полка подполковник Снежников. Не знаю, заметили ли они мою взволнованность или нет, только я хорошо помню, как подполковник Снежников, приблизившись ко мне, прямо и пристально заглянув в лицо, вдруг спросил:

«Коммунист?»

Вы видите, я сейчас улыбаюсь, потому что вопрос этот звучит, как вы, наверное, уже заметили, как-то слишком традиционно, я бы сказал, литературно (я и сам не в одной книге читал про это), но, поверьте, я ничего не выдумываю, да и какой смысл мне олитературивать то, что действительно происходило со мной? Вот так прямо и спросил меня подполковник, и я ответил ему:

«Да».

Но коммунистом в полном смысле этого слова я тогда еще не был, а был всего лишь кандидатом с двухмесячным стажем; кандидатская карточка лежала у меня в боковом кармане гимнастерки, под полушубком; вручили мне ее в декабре сорок третьего в освобожденном нами Новозыбкове.

«Вы понимаете, что происходит здесь?» — снова спросил подполковник.

«Да».

«Сможете подавить?»

«Попробую, товарищ подполковиик», — ответил я.

«Ну что ж, лейтеиаит, тогда — с богом!»

Я откозыриул как положеио и кииулся было теперь уже бегом иа батарею выполиять прказаиие, ио иа выходе из траншеи догиал меия капитаи Филев.

«Ни в коем случае не оттягнвай орудие к зеинтчикам, — сказал он, — а ставь ближе к кустарнику, прямо за горящими таиками».

«Но в таиках начиут рваться сиаряды», — возразил я.

«Пусть рвутся, это не прямое попадаиие».

«Но!..»

«Никаких «но», я приказываю!»

«Ясио, товарищ капитаи!»

Но ясно мие стало потом, после боя, когда мы вместе с комбатом и солдатами перебирали все мельчайшие подробности, вспомииали, кто что и как делал и вел себя, а в ту минуту я совершеиио не представлял, для чего нужио было ставить орудие иепременно за горевшимн таиками и подвергать бойцов, в сущности, еще одной, дополнительной опасности. Однако нарушить приказ я, разумеется, ие мог: и потому, что это было бы прежде всего нарушеиием воииского устава, ио, главиое, потому, что и я, и все мы на батарее любили и доверяли своему командиру; я-то начал войну в сорок третьем, летом, под Курском, а он тяиул ее с самого иачала, с сорок первого, и повидал, конечио, миогое, побывал в разиых переплетах, н отступал, и наступал, и еще в финской участвовал, штурмовал линию Маниергейма. Он уловил, я говорю сейчас не воеииым языком, самую суть момента, точио определил, что происходит иа поле боя, и я считаю, да и тогда считал, что ои спас мие и бойцам моего взвода жнзиь. Поставь мы орудие выше, расстреляли бы иас иемцы, как только что расстреляли зенитчиков. А дело-то было простое, иехитрое: любое орудие при выстреле дает вспышку, и немцы, хотя зимой мы красилн иаши пушки в белый цвет и иа снегу не так-то легко было заметить их, засекали вспышку и поражали цель; за горевшими танками же, за языками пламени ие было видно вспышки.

Но, может быть, я зря забегаю вперед.

Я собрал солдат своего взвода н сказал им о поставлеииой перед иими задаче. Все слушали молча, ии-

кто и потом не проронил ни слова, и в этой тишине, казалось, с каким-то особенным, придавливающим треском прокатывались тяжелые разрывы по лесу. Я не стал вызывать охотников. «Пойдет первое орудие, — сказал я. — Сержант Приходько, за мной». И через несколько минут мы были уже на обочине и выбирали огневую позицию.

«Видите?» — спросил Приходько, когда мы выползли на заснеженную дорогу.

«Еще бы, — ответил я. — Как открыто стоят!»

«Обнаглели! Ну ничего, мы сейчас их потревожим».

«Или они нас», — подумал я, но сержанту сказал совершенно другое: — «Вот здесь и поставим! Давай за людьми, катите орудие. Развернем его на дороге, а у обочины надо соорудить щель. Да не поперек ройте, а повдоль, понял?»

Пока подкатывали орудие и рыли щель, я лежал на дороге и то в бинокль, то простым глазом наблюдал за неподвижно стоявшими за бревенчатым настилом немецкими самоходками. Жерла их пушек, казалось, были направлены на меня, на весь наш расчет и на орудие, которое уже подталкивали к обочине, а впечатление, когда, знаете ли, целятся в тебя, не очень приятное. Я боялся пошевелиться и то и дело посматривал, скоро ли будет вырыта щель, чтобы спрыгнуть в нее, хоть не на виду будешь, а в укрытии, но в то же время я знал, что не только за моими действиями, но за всем тем, что происходит здесь, следят с наблюдательного пункта капитан Филев и подполковник Снежников, и оттого — где-то, может быть подсознательно, — мне не хотелось показаться в их глазах трусом, и даже когда была отрыта щель, я еще продолжал лежать на снегу, понимая, однако, бессмысленность того, что делаю. Мне до сих пор кажется, что все, что я делал тогда, какие отдавал распоряжения, а главное, почему принялся стрелять сам и отстранил наводчика Мальцева, у которого, я видел, были белые, как будто закоченевшие руки, — все делал только из того чувства, как могут подумать обо мне. «Убьют, — думал я, — но убьют на виду, на людях, а это уже не так страшно». Но ведь душу не раскроешь и не посмотришь, что в ней. Я наводил орудие, нащупывая перекрестием панорамы серый лоб немецкой самоходки, а солдатам приказал укрыться в щель; план был такой: я целюсь, нажимаю на гашетку и тут же, вроде как кошка, прыгаю на обочину, к своим, и

пусть тогда немец бьет по орудию, если, конечно, засечет его, — возле орудия никого не будет; если и подобьет, выкатим другое. Я целюсь, секунда — и красная трасса, змеясь, понеслась над бревенчатым настилом, и я как будто замер, следя за ее полетом; как ни рассчитывал, видите, а все-таки не отпрыгнул сразу в щель. Вы, наверное, испытывали: бывает, держишь в руке прутик, водишь им и вдруг ощущаешь легкий толчок в руке, когда кончик прутика упрется в землю; мне кажется, я почувствовал такой легкий толчок, отдачу, когда трасса, искрясь, ткнулась в броню самоходки; на самом деле такое, конечно, исключено, но я точно помню, было у меня это ощущение, будто я держал в руках, как прутик, конец огненной трассы. Я понял, что попал в самоходку, и мгновенная радость охватила меня; но вместе с тем во мне же, как чувство самосохранения, рядом с этой мгновенной радостью жила иная, предупреждающая мысль: «Но самоходки две, прыгай, прыгай!» — и я метнулся через станину на обочину, в щель. «Ложись!» — крикнул я, падая, хотя на самом деле, как потом говорил Приходько, я вовсе не крикнул, а прошептал, и команду эту слышал только он один, а все лишь по инстинкту пригнулись, зная, как страшны осколки, когда в трех метрах от тебя рвется фугасный снаряд. Кажется, еще в тот момент, когда я скатывался к щели, две огненные черты, разрывая морозный воздух, пронеслись над орудием, и было слышно, как они — шлеп! шлеп! — ткнулись где-то далеко позади нас, в том районе, где стояли подбитые зенитки. Через минуту снова «шлеп! шлеп!» — опять позади нас; и еще трижды сдвоенные разрывы взвихривали снег, укладывая рядом с уже черневшими воронками новые, и я с радостью говорил себе: «Там ищут, а мы здесь!» В горячке боя, когда сознание не опережает, а следует за действиями, которые ты совершаешь, ни я, ни Приходько не заметили, что стреляла-то одна немецкая самоходка, а от второй уже начинал расползаться и стелиться над снегом черный такой, специфический, когда горит железо, дымок. Мы выждали, пока выстрелы смолкли, потом сначала заряжающий перезарядил орудие, а следом за ним поднялся на огневую я и припал к панораме прицела; я наводил с той же тщательностью, подтягивая перекрестие панорамы к серой броне самоходки, и то же чувство страха — «Надо первым! Надо успеть прежде, чем выстрелит он!» — как ледяной

ветерок, пробежало по телу. Секунда, выстрел, уткнувшаяся в броню трасса, и — я опять уже лежу в щели рядом с Приходько и вслушиваюсь, как шлепаются далеко позади нас снаряды, которые посылает немецкая самоходка. На этот раз она стреляла дольше, и в стрельбе ее была заметна растерянность и нервозность. А мы, выждав, опять поднялись к орудию, и все повторилось сначала; потом еще и еще, и я вдруг заметил, что уже не спрыгиваю в щель и что не только я, но и весь расчет находится возле орудия, как будто мы стреляем с закрытой позиции и ничто не угрожало и не угрожает нам. Но немцы и в самом деле уже не отвечали; и в перекрестие панорамы, и потом, когда, поднявшись над щитом, я смотрел в сторону чадивших самоходок, было хорошо видно, как фрицы, выскакивая из люков, стремились укрыться за обочиной дороги. «Фугасным! — закричал я. — Да колпачки отверните, колпачки!» И мы еще сделали несколько выстрелов уже, в сущности, по разбегавшейся пехоте.

Метрах в пятидесяти перед нашим орудием все еще горели два наших танка; они спасли нас, но они были для нас и угрозой, а мы, увлекшись поединком, совсем забыли про них. И странное дело — я ведь смотрел на них, вот так, как сейчас вижу вас, видел их черные, закопченные бока; и Приходько видел, и, наверное, весь расчет; иногда ветерок относил дым и гарь на нас, и лица наши были, как у кочегаров, в размазанной копоти. Да, я смотрел и с каким-то чрезвычайным трудом думал, что еще что-то надо сделать, но что? И в это время в дальнем от нас танке грохнул взрыв, плеснув на нас волну теплого воздуха, снега, земли и осколков. Мы снова кинулись в щель, и, к нашему счастью, никто не был ранен, лишь у Приходько оказалась продырявленной отвернувшаяся пола шинели. Потом грохнул взрыв и во втором танке, и все стихло; развороченная башня, как сбитая с головы шапка, лежала рядом с танком.

«Ну вот и все», — сказал я, когда мы поднялись к орудию.

Приходько, достав кисет, закурил, и кисет его тут же пошел по рукам.

У меня от той минуты осталось лишь ощущение, как я сидел на холодной станине и держался за нее рукой; я часто и теперь ощущаю под ладонью тот металлический холод, особенно по ночам, когда вспоминаю, —

протяиешь, случится, руку иазад, возьмешься за железиую спинку кровати, вот за такую, как здесь, в нашем номере, видите, а оиа холодна, и сейчас же все встает перед глазами, и уже ие до сна.

Мы сидели, курили, разговаривали, как лесорубы после двух-трех десятков поваленных сосеи, отдыхая и оглядывая свою работу, а мимо иас, огибая все еще стоявшее с развернутыми стаиинами орудие, уже двииулись из-за леса таики к бревенчатому настилу; они шли иа скорости, выбрасывая и выжимая из-под гусениц сдавлеииый снег, обдавая нас черным угарным выхлопным газом и оглушая грохотом и лязгом, и иа иих было приятио смотреть, приятио слышать этот оглушающий грохот, потому что то, что творилось в душе, — созиаиие одержаииой победы и сознаиие того, что ты жив, иевредим и что иаступление продолжается, созиаиие не столько своей, как общей, иародиой силищи, которая взяла верх, давит, прет и которую словно уже иикто и иичто ие сможет остаиовить, — чувства эти как бы сливались с движеиием и грохотом танков. А со стороиы леса к иам подходили командир батареи и командир полка. Первым их заметил сержаит Приходько. Он встал, и следом за иим вскочил со станины и я; мие кажется, что я проделал все так, как положено по уставу (как бывало иа смотру в военном училище): и подал комаиду «встать» и «смирио», и доложил, что задание выполнено, самоходки подбиты, ио я хорошо помню, что сам я ие слышал своего голоса; ие слышал и того, что ответил подполковник Сиежников; заглушал ли все грохот проходивших танков, или во мие самом еще звенели отзвуки выстрелов, — лишь после того, как подполковиик, обняв и поцеловав, выпустил меня из своих сильных рук, я начал поиимать, что происходило на огиевой.

Сиежииков обошел бойцов, каждого обиял и каждому пожал руку.

«Всех к награде, — затем ясно и громко сказал он, повернувшись к комаидиру батареи, и тут же, ие задумываясь, добавил: — Сержаита к боевому Зиамени, лейтеиаита к Герою!»

Вы поиимаете, что зиачило для меня тогда, в девятнадцать лет, услышать о себе такое; слова подполковника, пожалуй, взволиовали меия сильнее, чем только что окончившийся поединок; во всяком случае, сам себе я казался самым счастливым иа земле человеком.

— Героя, конечно, я не получил, — продолжал Евгений Иванович, — и это, думаю, вполне справедливо. Да и не в награде, собственно, дело, а в том состоянии, в каком находился я, когда мы на другой день остановились в нами же освобожденных Калинковичах на отдых. Тогда никто на батарее еще не знал, что не утвердят мне Героя, а напротив, все были уверены в этом и относились, как мне кажется, или, по крайней мере, казалось тогда, с подчеркнутым уважением и вниманием. Старшина достал где-то комплект нового офицерского зимнего обмундирования — синие суконные галифе с красным, как принято у нас, артиллеристов, кантом и защитного цвета диагоналевую гимнастерку, — принес новые валенки и новую шапку с мягким сизоватым пушистым мехом и положил все это в избе на стул, перед моей кроватью; комбат называл меня уже не иначе как Героем, да и хозяйка дома, в котором я ночевал, смотрела на меня не так, как на всех, а было что-то особенное, матерински заботливое и нежное в ее взгляде.

Калинковичи запомнились мне тогда низким деревянным городком с избами, широко, как в деревне, расставленными друг от друга, с огородами, плетнями, калитками и палисадниками у окон; многие крыши, особенно на окраине, где мы остановились, были соломенными. Занесенные снегом избы казались маленькими и чернели издали, как чернели вокруг них и на дороге воронки и наскоро вырытые и брошенные уже солдатами окопы. Через огороды тянулись глубоко врезанные в снег следы гусениц, и были видны подмятые танками ограды, разрушенные бревенчатые амбары и сараи. Город только-только остывал от боя, на вокзале еще дотлевали склады, догорали цистерны с горючим, пахло гарью, жженым толом, но уже и тянуло жилым дымком от разожженных походных кухонь. Орудия и машины мы подогнали к избам, как это и положено для маскировки, старшина отыскал на задах баньку, и через каких-то пару часов вместе с первой партией бойцов капитан Филев, я и еще командир второго взвода младший лейтенант Антоненко, забравшись на полок, с наслаждением обхлестывались березовыми вениками. Раскаленные камни шипели, когда на них плескали воду, и сухой чистый пар обжигал лицо, руки, спину. Мы были красные, разморенные и довольные, когда вы-

шли из бани. До ужина было еще далеко, и я отправился в свою избу, намереваясь полежать и отдохнуть, но как только прилег на кровать, незаметно для самого себя заснул.

Разбудил меня ординарец комбата.

«Зовут», — сказал он.

«Что случилось, не знаешь?» — спросил я, подымаясь.

«Нет. Велено позвать, и все».

«Ну хорошо, скажи: сейчас иду!»

Изба комбата через дорогу, идти было недалеко, и я, накинув наскоро полушубок, вышел сквозь морозные сенцы на улицу.

Стоял поздний зимний вечер, но мне показалось тогда, что уже наступила глубокая ночь, я долго приглядывался к темноте, прежде чем начал различать предметы; я помню, как спускался по ступенькам крыльца, держась за холодные и заиндевелые перила, и, очутившись уже на дорожке, прошел еще несколько шагов, упираясь ладонью в бревенчатую стену избы. За избою, на той стороне, скрипя валенками на снегу, прохаживался вдоль машины и орудия часовой. С минуту я прислушивался к его шагам, да, пожалуй, не столько к шагам, как к отдаленному орудийному грохоту, к канонаде, которая то, казалось, усиливалась, то затихала за домами и лесом. На слух трудно было определить, как далеко за городом шел бой, но так или иначе, а было радостно оттого, что война, вот она, неудержимо катится на запад, пушки гремят там, за лесом, с десяток километров отсюда, зарницами озаряя морозное ночное небо. Когда я пересекал дорогу, я увидел зарева пожарищ по горизонту в той стороне, откуда доносился бой. Горели подожженные немцами деревни. Всю осень и зиму, пока мы наступали, нас сопровождали такие пожары, так что это не было чем-то необычным; но как ни говорят, что человек привыкает ко всему, в том числе и к войне, к свисту пуль и осколков, но привыкнуть к зловещему виду горевших деревень в ночи я так и не смог; как будто и в полушубке, в валенках и шапке, а по спине каждый раз прокатывается ледяной ветер, когда смотришь на зарева. Избы горят, жилье, кров, труд людской. Я шел через дорогу, оглядываясь на эти зарева, и чувство, с каким вчера еще целился в немецкие самоходки, как бы само собою подымалось во мне, оборачиваясь злостью, той, когда, знаете (может быть, это

только у нас, артиллеристов — истребителей танков), поймана в перекрестие прицела броня и ты мгновенно нажимаешь на гашетку; мне кажется, я даже делал какие-то усилия рукой, будто под ладонью была та самая гашетка. На крыльце комбатовской избы я еще раз оглянулся на зарева. Я не думал, для чего нужен был капитану, но вполне ясно сознавал, что, каким бы ни было задание, готов выполнить его; с этим чувством, оббив прежде валенки у порога и застегнув на все петли полушубок, я вошел в избу.

Но никаких приказаний на этот раз мне выполнять не пришлось. Еще днем комбат обещал собрать вечер в честь моего тогда не состоявшегося еще награждения («Надо сегодня и непременно, — говорил он, — а то, когда пойдем в бой, вряд ли будет у нас время!»), и я был приглашен теперь именно на этот маленький торжественный вечер; я вошел сосредоточенный, с определенным настроением, и когда увидел накрытый попраздничному, как только можно было в тех условиях, стол, увидел подвешенную над столом и ярко горевшую керосиновую лампу — это, знаете, роскошь для того времени; увидел уже слегка разгоряченные за столом лица — все, знаете, как по команде, смотрели на меня и чему-то улыбались, чему, я еще не знал тогда, — я растерялся от неожиданности и стоял у порога, не решаясь, докладывать ли комбату, что прибыл, или просто, как было заведено у нас на батарее, когда обедали или ужинали вместе, снять полушубок и присесть к столу. Щурясь, я вглядывался, кто был в комнате. Ближе всех ко мне сидел капитан Филев, ворот гимнастерки его был расстегнут, и белый, только что подшитый подворотничок как-то особенно был заметен на его смуглой, с зимним загаром шее; рядом с ним, откинувшись на спинку стула и тоже с расстегнутым воротом, сидел его друг, командир четвертой батареи старший лейтенант Сургин (я знал его; полк у нас небольшой, пять батарей, мы все знали друг друга); за столом были и Антоненко, и наш старшина Шебанов, и хозяйка дома с дочерью. Они тоже выглядели нарядно, особенно дочь, в светлом платьице с таким немного открытым воротом, с косами наперед, на грудь, и особенными, как мне сразу показалось, ясными детскими глазами. Да и вся она была как школьница, у которой еще далеко впереди выпускной десятый класс. Может быть, я бы не стал так пристально всматриваться в нее, может быть,

и вовсе не обратил внимания — иу, сидит девочка, дочь хозяйки, иу и что в этом! — если бы не командир батареи, который, пока я в недоуменни и растерянности топтался у порога, ие встал бы из-за стола и, подойдя ко мне и хлопиув по плечу, не сказал бы:

«Ну вот и жених иаш пришел, смотри, мать. — Он протянул руку, как бы приглашая хозяйку дома (которую он, кстати, тут же назвал Марией Семеновной) подойти и посмотреть, как молод, статен и красив «женнх». — Да сними полушубок, — затем, взглянув на меня, проговорил он, — предстань пред тещины очн. Мы тебя, поинмаешь, сватаем здесь, рассказываем о твоих подвигах, а ты бока пролеживаешь! Дайте место жениху! Место Герою!» — уже с заметною командирскою ноткой добавил он, повернувшись к столу, ко всем, и когда я снял полушубок, провел и усадил меня рядом с Ксеней.

Я понимал, что все это было шуткой. Перед моим приходом, наверное, чтобы занять время, они затеяли нгру в сватовство, игра понравилась, и они охотно продолжали ее теперь, разлнвая по стаканам водку, провозглашая тосты, шумя и закусывая; вместе со всеми опустошил свой стакан и я и сидел розовый — не столько от выпитой водки, сколько от смущения, чувствуя себя сначала неловко в непривычиой роли жеииха. Я улыбался и поглядывал то иа будущую тещу, то иа невесту, и, знаете, как сейчас помню: находилн минуты, когда мие хотелось, чтобы все происходившее было не шуткой, а правдой. Я смотрел иа Ксеню и говорнл себе: «Да она же красива, черт возьми, она просто красавица!» — и во мне возннкало желание обнять ее, ощутнть ее близость, но я лишь еще больше краснел, сознавая это, и старался отворачиваться и ие смотреть иа иее. Я спрашиваю сейчас себя: что такое красота? Очевидно, это не только внешний облик человека, ие только цвет волос, глаз, черты лица или покрой платья, а есть еще нечто такое, что заставляет жить н сверкать все этн внешние формы; есть чувства, сгусток чувств, с которым мы идем по жнзни, к людям, есть понимание добра, наконец, у каждого человека есть свой мир, которым ои живет, и какнм бы ни был этот мир, прекрасным илн плохнм, и как бы мы нн старались скрыть его в себе, ои непременно выявится нли в движениях, илн в выражении лица, или, если хотите, в тоне голоса и привлечет к нам или оттолкнет от нас людей. И что главное, мир

этот не читается в глазах, а угадывается; угадывается красота души, красота человека. Я сидел так близко возле Ксени, что мне до сих пор кажется, что я чувствовал тепло ее тела. Я смотрел на ее косы, и хотя, знаете, я понимаю, что тут может быть удивительного и необычного, что у девушки косы, но для меня и теперь есть нечто неповторимое в том, как были заплетены и как спускались на грудь, прикрывая уши и шею, ее серебристо-серые (серебрились они от света керосиновой лампы, которая, как я уже говорил, висела над столом) волосы; когда она поворачивалась к матери, я видел ровный пробор на ее голове, и короткие, не вошедшие в косу волосы мягким светлым пушком кудрявились вокруг шеи; когда же она поворачивалась ко мне, я видел ее глаза, брови, темные ресницы; покрытые румянцем от волнения и возбуждения щеки ее, казалось, так и дышали здоровьем, молодостью, счастьем. Я помню ее оголенную до локтя белую руку, как она держала в пальцах хлеб и черпала ложечкой насыпанный старшиною прямо на стол горкой сахар; я мог бы сейчас пересказать все движения, сколько в них было простоты, естественности и привлекательности, но главное, конечно, заключалось не в этом; какой-то невероятною силой жизни, добра веяло от нее, будто движения ее были не просто движения и слова — не просто слова, а одухотворены, как бы подсвечены очень ясным и чистым чувством, и я помню, как действовало на меня именно это ее одухотворяющее, ясное и чистое чувство. Но представьте себе — это я уже рассуждаю теперь, — представьте, что творилось у нее на душе, какие мысли в ту минуту волновали ее? Для нее тот вечер, я так думаю, был своеобразным итогом жизни. Не возможность замужества, нет, не игра в сватовство, а совершенно другое; та радость жизни, то сознание счастья и доброты в себе, сознание доброты в людях, что окрыляло нас в детстве (что, по-моему, непременно должно окрылять каждого человека, входящего в жизнь), было отрезано у нее черными годами оккупации; зло, насилие, ужасы и ожидание просвета; мы были для нее (если бы не мы, а кто-то другой, все равно) теми, кто вернул ей ту самую радость жизни, сознание доброты и надежду на счастье; мы были освободителями, и надо полагать, как она волновалась, о чем думала и что испытывала в эти минуты. Я не спрашивал ее ни о чем, но я понимал ее, и мне радостно было оттого, что я понимал ее; да ведь

и сам я был, знаете, в таком состоянии — Герой, центр торжества и внимания!

Разговор в основном шел между капитаном Филевым и Марией Семеновной; комбат четвертой Сургин и старшина Шебанов лишь изредка вставляли свои реплики, а больше смеялись, следя за перепалкой, так как Мария Семеновна держалась бойко, решительно, и только младший лейтенант Антоненко оставался как будто безучастным, ему не нравилось затеянное сватовство, он то и дело подкладывал себе на тарелку крупную и рассыпчатую картошку, беря ее не вилкой, а пальцами, и ел молча, по-крестьянски подставляя ладонь под крошки. Вообще он был немного странным человеком, во всяком случае, мне так казалось тогда; на батарее у нас он пробыл очень мало, так что я, в сущности, и не узнал его как следует. Его прислали к нам с расформированного бронепоезда, а потом, сразу же где-то после Калинковичей, опять отозвали. Ну да что о нем? За весь вечер, мне помнится, он так ни разу и не улыбнулся и вышел из избы первым, поклонившись хозяйке. Зато капитан Филев не умолкал ни на минуту, хотя в моем представлении — с ним-то я воевал уже не один месяц! — он тоже был всегда человеком молчаливым и суровым. Что же случилось с комбатом в тот вечер? Потом я узнал, что с ним случилось, но тогда — возбужденный выпитой водкой, видом сидевшей рядом Ксени, занятый своими размышлениями и чувствами, я даже не заметил этой перемены в комбате; в какие-то минуты мне вдруг начинало казаться, что капитан не шутит, и я, насколько это было удобно, старался пристальнее всмотреться в его лицо и яснее уловить интонацию его голоса. Он говорил:

«Да где же вы еще встретите такого жениха? И работу невесте на батарее найдем — санитаркой! — а старого Трифоныча в орудийный расчет заряжающим». И в то время как Мария Семеновна, которой давно уже было ясно, что шутка со сватовством перевалила за положенные пределы и что бог знает во что еще все это может вылиться, возражала: «Никуды я ее не отпущу, и не думайте», — капитан снова и снова, улыбаясь, начинал все сначала.

«А если они сами захотят?» — говорил он.

«Пусть распишутся сперва, а потом и решают сами».

«Так ведь еще ни горсовета, ни загса в городе нет!»

«Нет, так будут».

«Когда будут, нас здесь не будет».

«И слава богу, другие придут».

«Другие, да не такие».

«Может, и получше, кто знает».

«А если не придут?»

«Придут, куда денутся».

«Э-э, мать, давно говорят: держи синицу в руке, а не ищи журавля в небе. Ну как, порешили?»

«Не отпущу».

«Да вы что, не доверяете нам, что ли, Мария Семеновна?»

«Сказано, не отпущу, и все тут. И не сманивайте мне девку».

«А если, Мария Семеновна...» — продолжал капитан, обдумывая новый заход.

Мы же с Ксеней за весь вечер почти не сказали друг другу ни слова; по крайней мере, сколько я ни вспоминал потом, я не мог припомнить, чтобы она спрашивала о чем-либо еще, кроме того, что «долго ли вы простоите в Калинковичах и действительно ли девушки служат на батареях санитарками?», и чтобы я ответил на ее вопросы как-либо подробнее, чем только «да» или «не знаю»; и тогда и теперь, спустя столько лет, мне кажется, что вечер прошел так быстро, что не успел я как следует осмотреться и прочувствовать *все*, как уже комбат четвертой Сургин, выйдя из-за стола, начал прощаться, а младший лейтенант Антоненко уже стоял одетым у дверей; и старшина Шебанов потянулся за шинелью, и лишь я еще сидел за столом, возбужденный, с выражением какого-то, наверное, глупого счастья на лице. Конечно, глупого, да и как оно могло быть иначе тогда, в девятнадцать лет? Мне хотелось, чтобы вечер продолжался, но оставаться за столом, когда все уже встали, было неприлично, я тоже поднялся и, сказав Марии Семеновне: «Спасибо за угощение» — и повторив те же слова Ксене, пошел за своим полушубком. Не знаю, не могу понять до сих пор, каким образом, когда я, уже одетый и готовый к выходу, топтался у двери, ожидая старшего лейтенанта Сургина, который о чем-то еще разговаривал с нашим комбатом, — каким образом Ксеня очутилась возле меня? Она смотрела на меня ясно, открыто; косы ее теперь были откинуты назад, на спину, и лицо, шея (она стояла вполоборота к свету, к лампе, и я своей тенью не загораживал ее) и худенькие и покатые под платьем плечи — все снова

показалось мне в ней особенным, и я, знаете, часто и сейчас вот так вижу ее перед собой. Я сразу догадался, что она хочет что-то сказать мне, и — может быть, действительно существует какой-то бессловесный язык между людьми? — по глазам ли, по всему ли выражению лица или только по тому, как дрогнули и шевельнулись ее губы, на которые я смотрел, но так или иначе, а мне кажется, я понял, что она хотела сказать, понял прежде, чем она успела вымолвить первое слово, и потянулся к ее худенькому, прикрытому платьем плечу.

«Возьмите меня», — сказала она.

«Санитаркой?»

«Все равно, возьмите!»

Надо было слышать, как она произнесла это, и видеть, как смотрела при этом. Но ведь мы глупы в молодости и часто теряем голову, и говорим не то, что надо, а хороши бываем лишь потом, когда перебираем все в памяти, — тогда вдруг и слова находятся, и движения красивы, и все бывает вообще-то просто и ясно. А в тот момент, когда все происходит? Что я ответил Ксене? Я был рад тому, что она сказала; она как бы продолжила во мне то, в сущности, неземное, сказочное состояние, в каком пребывал я, сидя рядом с нею за столом.

«Хорошо, я поговорю с комбатом, — прошептал я, не столько словами и тоном, как прикосновением руки передавая ей все то, что думал и чувствовал в эту минуту. — Непременно поговорю», — повторил я и, как будто боясь чего-то, может быть боясь прервать то самое ощущение счастья, какое охватило меня, — как застеснявшаяся девчонка, торопливо открыл дверь и вышел на улицу.

Сейчас я поступил бы иначе; да, наверное, будь на моем месте кто-нибудь другой, не с моим характером, тоже не стал бы суетиться и спешить, потому что ничего, в сущности, не произошло. Но ведь для меня ее слова, голос, все в ней — лицо, шея, плечи, платье, — все было чем-то особенным, неповторимым, я радовался, что есть на свете такая красота, радовался тому, что встретился с ней, и встретился не просто, а в лучший для себя момент — как-никак, а я был представлен к Герою! — и главное, что мои мысли и желание, как мне казалось, и ее были одинаковыми, теми же; в юношеском воображении моем, как только она произнесла: «Все равно, возьмите!» — я хорошо помню, мгновенно возникли картины любви и жизни с нею. «Да что я во-

образил, — в то же время говорил я себе, стоя уже на крыльце, на морозе, и вглядываясь в дальние и ближние зарева пожарищ по горизонту, которые теперь, в густой полуночной синеве, были как будто видны отчетливее, чем прежде, с вечера. — Смешно, глупо, и чего я вообразил себе!» Так же, как и несколько часов назад, когда я шел сюда, под ладонью снова как будто была гашетка, и надо сказать, ощущение это воспринималось еще реальнее, потому что я положил руку на холодные, заиндевелые перила; я нажимал ладонью на перила, производя только мне одному слышные выстрелы, но делал это теперь не со злостью и стрелял не по немецким самоходкам, а просто, знаете, как бы салютовал от радости, от чувства любви, доброты, счастья, которое, может быть, вам покажется странным, было даже не во мне, а там, за дверью, в *ней,* согласной выйти за меня замуж и пойти санитаркой на батарею. Я понимал, что это неосуществимо, но мне не хотелось прерывать ход своих мыслей, и я снова и снова нажимал на подтаявшие под ладонью деревянные перила крыльца. «Огонь! Огонь! Огонь!» — про себя повторял я, не замечая, что произношу слова команды. Я вот и теперь нажимаю на подлокотник кресла — видите? — и рассказываю, хотя все давно пережито и прошло, а тогда — здесь было бы смешно, если бы вдруг я сказал Ксене о своих чувствах! А они были. Мальчишество ли, воображение ли, фантазия ли, но они были.

«Я вижу, лейтенант, ты и в самом деле влюбился, — сказал Сургин, когда мы, уже спустившись с крыльца, выходили на дорогу. — Она красива, и удивительно, как только мать от немцев уберегла ее! А ты на всякий случай адрес возьми, после войны надумаешь и вернешься», — добавил он, когда прощались.

«Да что адрес, — мысленно возразил я, — и так найду, если понадобится, кончилась бы война да живым бы остаться».

Я не торопился к себе в избу; сначала обошел и проверил посты возле машин и орудий, а потом, сняв полушубок и валенки, долго лежал на кровати не раздеваясь, и все переживания вечера вновь как бы возникали и проходили через меня, я слышал голоса комбата, Марии Семеновны, Ксени, особенно последние ее слова, которые сказала она, когда я уже стоял одетым у порога. «А что, если на самом деле поговорить? — спрашивал я себя. — Нет, не согласится. А может, со-

гласится? Может, он тоже — все совершенно серьезно?» Я заснул с мыслью, что завтра непременно поговорю с комбатом, в конце концов, чем черт не шутит, и даже не просто поговорю, а попробую убедить его, потому что Трифоныча, конечно же, даже нужно в расчет, к младшему лейтенанту Антоненко в четвертое орудие, там не хватает заряжающего.

Но утром все сложилось так, что я не смог как следует поговорить с комбатом. Батарее приказано было собираться в дорогу. Нас перебрасывали в новый район боев, под Озаричи. Расположившиеся было на недельный, как предполагалось раньше, отдых, солдаты спешно укладывали вещевые мешки и батарейное имущество в кузова машин, прицепляли передки и орудия, и батарея, как, впрочем, и весь наш полк, выстраивалась в походную колонну на улице. Снег скрипел и вминался под ногами бойцов, под резиновыми скатами машин; было безветренно, морозно, все вокруг искрилось в холодных лучах встававшего низкого зимнего солнца. Мы стояли у головной машины: я, капитан Филев и младший лейтенант Антоненко. Капитан должен был еще сходить в штаб полка и уточнить маршрут движения, а пока отдавал последние перед маршем распоряжения по батарее. Улучив минуту, когда все уже как будто было сказано комбатом, я спросил, оглядываясь на Антоненко и смущаясь почему-то именно его, а не капитана:

«А как быть с санитаркой, товарищ комбат?»

«Какой еще санитаркой?»

«А что вчера...»

«Да вы что?! Ей еще и семнадцати нет, вы что? Выбросьте из головы вашу дурь, для всякой шутки есть место. Мы и так вчера натворили, вон глядите...»

На крыльце избы, куда мы с Антоненко, повернувшись, посмотрели, том самом крыльце, где я пережил вчера несколько счастливых минут, положив руку, как на гашетку, на холодные, заиндевелые перила, стояла подбочась Мария Семеновна; она глядела на нас, на машины, на орудия, на всю уже выстроившуюся вдоль улицы колонну, и хотя издали трудно было разглядеть выражение ее лица, но по виду, как она держалась, нельзя было не заметить, что она недовольна и строжится. Дверь в избу за ее спиной была подперта широкой, местами обледенелой доскою, и Мария Семеновна, то и дело оборачиваясь, то окидывала взглядом доску,

то дотрагивалась до нее рукой, проверяя, не сдвинулась ли, прочно ли держит дверь.

«Чего это она?» — спросил Антоненко.

«Дочь стережет, не пускает, а та в одну душу: пойду на батарею, и все. Слезы, рев, боже мой!»

«А почему бы не взять, если просится?»

«И вы тоже?!»

Не знаю, о чем еще говорили Антоненко и комбат, для меня разговор их уже не существовал; как-то вдруг, мгновенно я как бы отключился от всего внешнего мира и мыслями, всем собою был там, в избе, где в слезах и отчаянии — я сразу представил себе, как и что с ней, — находилась Ксеня. Если накануне вечером, когда мы сидели рядом и я смотрел на нее, мне казалось, что я понимал ее, то теперь, утром, глядя на подпертую доской дверь, я чувствовал себя так, будто сам был за той дверью и рвался наружу. Я понимал порыв ее души; хотя, в общем-то, мы не сказали вчера друг другу ни одного нежного слова, а утром, занятый сборами, я и вовсе не видел ее, но мне казалось, я твердо знал, что то чувство, какое испытывал к ней я, передалось ей, не могло не передаться, как всякое чистое, доброе и сильное чувство, и она рвется теперь и на батарею и ко мне. «Ко мне, да, ко мне, — мысленно произносил я. — Что-то же надо делать! Что?» Молча, не оглядываясь на комбата и Антоненко, я решительно направился было к избе, но громкий голос капитана остановил меня:

«Назад!»

Я замер и продолжал смотреть на крыльцо, на Марию Семеновну, на доску, которой была подперта дверь, на всю избу, ни секунды не сомневаясь в том, что там сейчас и «слезы», и «рев», и «боже мой», как сказал комбат.

Но Ксеня оказалась совершенно иной девушкой. Она недолго плакала; надев пальто и закутав голову шалью, она через сенцы забралась на чердак и как раз в те минуты, когда все мы смотрели на избу, в ту самую секунду, когда комбат остановил меня окриком, — плечом выдавливала узкую, подгнившую, но еще крепкую теперь, на морозе, и синюю от инея тесину на крыше. Я увидел, как дрогнула, сдвинулась, роняя снег, хрустя и потрескивая, сначала одна, потом другая тесина и в образовавшуюся щель высунулась по пояс Ксеня. Мария Семеновна по-прежнему еще стояла на крыльце,

ничего не слыша и не подозревая, а мы — я, комбат и младший лейтенант Антоненко — во все глаза смотрели на Ксеню, недоумевая, что же еще будет она делать теперь. Она выбралась на крутую, скользкую, покрытую снегом и ледком под снегом крышу и приготовилась прыгать. Я до сих пор не могу простить себе, что не побежал, не остановил и не предупредил ее, что нельзя прыгать в том месте, где она решила, — там был расчищен снег, это был двор, там не было сугроба, который мог бы смягчить удар при падении; когда я бросился вперед, крикнув: «Нельзя, Ксеня!» — она уже летела вниз, распластав руки, к сизой и жесткой мерзлой земле; черное пальто, распахнувшись, хлопало полами за ее спиною.

Я не помню, как бежал; я видел только черный ком на мерзлой земле и спешил к нему, ни на что не обращая внимания; но когда подбежал и, склонившись, ладонью приподняв от снега голову Ксени, спросил: «Вы живы? Вы ушиблись?» — вокруг уже толпились подоспевшие сюда комбат, Антоненко, несколько бойцов с передней машины и, конечно же, Мария Семеновна. С испуганными глазами, еще, как видно, не вполне успокоившаяся от недавнего разговора с дочерью и не ожидавшая, что все так обернется, она опустилась на колени и, бледная как снег, смотрела на дочь. «Ты что же это наделала?» — проговорила она, продолжая еще как бы строжиться, но глаза уже заволакивались слезами и посиневшие на морозе губы дрогнули. Ксеня же молча смотрела на всех нас, кто окружил ее, переводя взгляд с одного лица на другое, и в этом тихом, спокойном, как будто молящем взгляде было отражено все ее душевное состояние в те минуты; я не заметил ни боли, ни раскаяния, хотя, как потом утверждал Трифоныч, у нее был будто бы закрытый перелом бедра; своим взглядом она как бы старалась внушить всем: «Вот видите, а вы не хотели брать меня!» Я держал на ладони ее голову, от дальней машины уже бежал Трифоныч с носилками и санитарной сумкой за спиною, а комбат говорил старшине Шебанову: «Отвезешь на своей машине. Да мигом, ждать долго не могу. Пока уточняю маршрут, чтобы все было сделано». Потом подошел к Ксене, наклонился и долго, как мне показалось, вглядывался в ее лицо; притронувшись к ее руке, он заметно пожал ее и сказал: «Ничего, до свадьбы заживет», — затем поднялся и, уже не оборачиваясь,

зашагал к штабу полка. А я помог Трифонычу уложить Ксеню на носилки и проводил ее до машины.

«Почему вы не взяли меня?» — негромким, еле слышным голосом спросила Ксеня, когда я прощался с ней в машине.

«Возьмем. Все решено, обязательно возьмем», — ответил я, совершенно искренне веря в тот момент, что теперь действительно все решено, что комбат не сможет отказаться и что мы непременно возьмем ее санитаркой на батарею.

Она ничего не сказала, а только продолжала смотреть на меня.

«Я обязательно приеду за вами, — тут же добавил я, беря ее руку и так же, как это только что сделал капитан Филев, слегка пожимая ее. — До свиданья, поправляйтесь скорее».

Спустя час мы уже проезжали последние улицы Калинковичей, сквозь стекло машины я смотрел на серые деревянные избы, на тесовые и соломенные крыши, покрытые ледком и снегом, и думал о Ксене; мне было жаль ее, я чувствовал себя виноватым перед ней, мне хотелось вернуться и крикнуть: «Простите! Извините!» — и сказать эти слова Марии Семеновне, которая, так и оставив дом с подпиравшею дверь доскою, вместе с Трифонычем и старшиною поехала сопровождать дочь до санчасти. Я видел перед собою лицо Марии Семеновны — недавнее, бледное как снег, когда она опустилась на колени перед дочерью; и видел лицо Ксени — то розовым, разгоряченным, красивым, с косами вокруг шеи и по груди, какой она сидела вечером возле меня, то как будто угасшим, спокойным, как в минуту, когда прощались, и все то, что должно было твориться в ее душе, я чувствовал в себе, понимая ее желание (ведь еще совсем недавно, всего лишь год с небольшим тому назад, сам я забрасывал военкомат заявлениями, прося досрочно призвать в армию — я еще расскажу об этом, — забирался в проходившие через Читу воинские эшелоны, стремясь попасть на фронт, и вырывался и дрался, когда снимали с платформы или выводили из вагона), и оттого еще больше жалел ее. Мне кажется, всем на батарее было как-то не по себе, грустно от этого случая, но никто не осуждал Ксеню: лишь когда старшина Шебанов, оставив ее в санча[illegible] догнал колонну, комбат, спросив его: «Ну как, [illegible] порядке?» — и услышав ответ: «Все в порядке, [illegible]

рищ капитан», — сказал: «Дите, девчонка, вообразила!» — но ни Шебанов, ни я ничего не ответили на это комбату.

ЧАС ТРЕТИЙ

— Через неделю, в Озаричах, во время одной из ночных контратак немцев, — продолжал Евгений Иванович, — меня ранило в ногу; мина разорвалась недалеко позади орудия, и маленький шершавый осколок влетел прямо в подколенную ямку. Я говорю «маленький» и «шершавый», потому что держал его в руках, вот, на ладони, разумеется, после того, как хирург извлек его из ноги; я завернул его тогда в кусочек бинта, положил в полевую сумку, и с тех пор он так и лежит в сумке, которую я храню, а для чего, спросить, и сам не знаю: если как память, то воспоминания навеиваются не из приятных, да и сумка довольно потертая, ветхая, ни к чему не пригодная, а вот — храню! Ну а в общем, это не к делу. За всю неделю ни комбат, ни Антоненко, ни старшина Шебанов, ни я ни разу не заговорили между собою о Ксене; правда, во время боев не очень-то поговоришь о постороннем, потому что все нервы и все внимание сосредоточено на другом, но выпадали же, однако, и минуты передышек, когда мы сходились на командном пункте или на батарее вместе и ужинали или обедали, но и тогда ни Ксени, ни всего, что случилось с ней, как будто не существовало для нас. Только я один, как мне казалось, ни на мгновенье не забывал о ней; во мне происходило, как вам сказать, ну, примерно то же, как на экранах телевизоров во время трансляции матчей, когда показывают повторно, да еще в замедленном темпе, как был забит гол, и вся секунду назад виденная картина проходит перед глазами вновь, уже в подробностях, в деталях, и ты видишь не только, как взлетел и упал вратарь, но и на сколько сантиметров он не дотянулся рукой до мяча; во мне как будто включалась эта повторная и замедленная лента, и я все видел с мгновения, когда на крыше вдруг дрогнула и с хрустом, роняя снежок, сдвинулась тесина, другая, и вот уже Ксеня лежит на снегу возле бревенчатой стены, на сизой и мерзлой земле, и я подбегаю к ней; и ее глаза, и заплаканные глаза Марии Семеновны, даже то, как комбат, прощаясь, пожал Ксене руку, — все это не по од-

иому и ие по два раза прокручивалось в воображении. А главиое, я постояиио чувствовал, что я поиимаю ее, и это какое-то единство духа, что ли, как будто перекатывалось во мие, держало поминутио в приподнятом, счастливом настроеиии. Я уже тогда говорил себе: «Я приеду к тебе, Ксеия, как только кончится войиа, сразу же приеду. А может быть, и раиьше, после ранеиия, по пути из госпиталя. Все может быть». Да, мие казалось, что я один помиил о ией, ио иа самом деле все было ииаче, и через два года, когда, демобилизовавшись, я действительно приехал за ией в Калииковичи, я с горечью узиал, что ие только я одии все эти месяцы вспомииал и думал о ией.

Но — давайте по порядку, как все было.

После госпиталя я уже ие попал в свою часть. Меия иаправили в иовый, формировавшийся тогда под Бряиском артиллерийский корпус, иас бросили иа юг, под Будапешт, против таиковых дивизий Гудериаиа, потом мы освобождали Пап, Веиу, а закончил войиу я почти у самой швейцарской граиицы, в иебольшом австрийском городке Пургшталь. Это был красивый зелеиый городок, совершеиио ие троиутый войиою, и я как сейчас вижу словно сгрудившиеся у каиала одиоэтажиые и двухэтажиые белые домики с островерхими черепичиыми крышами; мы простояли в том городке до поздией осеии, и все эти месяцы, разумеется, я жил лишь одиой мыслью — поскорее пройти медицииискую комиссию, демобилизоваться и уехать к *ней*, в Калииковичи. Я вспомииал и о иашей батарее, и о капитаие Филеве, и о том поедиике с иемецкими самоходками под деревией Гольцы, с чего, собствеиио, и иачалось все, ио вспоминал лишь потому, что все это было связаио с думами о *ней*. «Какой же я был дурак, — говорил я себе, — иадо же было так опростоволоситься, ие взять ее адрес! А ведь старший лейтеиаит Сургии советовал, так иет, куда там, иайду, если поиадобится!» В том, что я иайду ее, я ие сомиевался, ио у меия было такое желаиие иаписать ей, что иногда хотелось прямо-таки взять и крикиуть: «Отпустите! Да отпустите же, я не могу, видите!» — но я, разумеется, ие кричал, а закрывался в своей комиате, брал листок бумаги и, торопясь и брызгая чериилами, писал очередиой рапорт об увольиеиии. Раиеиие у меия было тяжелое, и я зиал, что так или ииаче должиы демобилизовать, и ждал только своей очереди. Домой я уже ие сочииял и ие от-

правлял, как бывало прежде, подробиых писем — ии матери, ни Рае; события детства представлялись мне какими-то поблекшими, далекими, и все заслоняла собою встреча в Калинковичах с Ксеией; да и поедииков с танками было сколько и до и после Калинковичей, особеиио когда под Будапештом «тигры» Гудериана прижали иас к Дунаю, а вот помиится же яснее, чем все другое, бревенчатый иастил, горящие иаши танки, заснеженный лес с прокатывающимся по иему грохотом разрывов, и как будто виовь возвращаются ко мне те чувства, с какими я целился, стрелял и отпрыгивал затем в щель, на обочину дороги. Но почему так? Что было особенного в тот вечер, когда я впервые увидел Ксеню? Ничего, а вот как будто стоят передо мною ее глаза, ее косы, и я не могу ничего поделать, чтобы не смотреть на них, вериее, чтобы забыть о них; я чувствую ее доброту и иежиость, вот так просто, чувствую, и все, и доброта эта мыслеиная, ее словно согревает во мне что-то, я волнуюсь, радуюсь, десятки планов иа будущее пробегают в созиаиии, и я тороплю день и час своего увольиеиия; когда же иакоиец с чемодаиом в руке и вещевым мешком за спиною я очутился в поезде, — почти целые сутки, ие присаживаясь и ие ложась, простоял у окна, глядя иа пробегавшие мимо города, разъезды и стаиции; каждая отстукаиная колесами вагона верста приближала меня к желаиной цели.

В Калииковичи я приехал поздней декабрьской ночью, и с первой же минуты, я даже ие зиаю отчего, как только вышел иа перрои, какое-то страиное беспокойство начало овладевать мною; может быть, происходило оно оттого, что было слякотио и иеуютио на тускло освещеиной иочной незнакомой станции (мы ведь тогда только пересекли город и ие были на вокзале), может быть, от вида дощатого барака, который, так как здаиие вокзала только еще восстаиавливалось, был иаскоро сколочен для пассажиров как зал ожидания (все шли к этому бараку; немного постояв иа перроне, и я направился к иему), а может, как я думаю теперь, главиой причиной была вдруг возиикшая иеувереиность, как, знаете, случается иногда иа состязаниях: несется конь по плацу легко, лихо, и кажется, без труда возьмет сейчас все барьеры, но перед первым же препятствием вдруг останавливается, приседает иа задние иоги и шарахается в сторону; нечто такое, по-моему, произошло и со мной. Препятствия, собственно, еще ие было,

я лишь подумал, что — а вдруг все совершенно не так, как я представляю себе? Вдруг отказ? Мысль о том, поправилась ли она после падения или нет, никогда не возникала во мне; раз в госпитале, значит, непременно поправится, говорил я себе, и это разумелось само собой, а тревожило другое — живы ли в ней те чувства, которые так поразили меня тогда и в существование которых я до этого самого часа, пока не ступил на перрон калинковичского вокзала, твердо верил. Забравшись в теплый дощатый барак —тепло в нем было от людской тесноты, а не оттого, что топили, — до самого рассвета я просидел на чемодане у стены, положив вещевой мешок между ног, и думал о завтрашней встрече с Ксеней. То, что всегда представлялось мне простым и ясным, как я приду и скажу: «Здравствуй, Ксеня, вот и приехал твой жених, принимай!» — теперь казалось неприемлемым, грубым; я перебирал десятки вариантов, как войду в избу и что скажу, и чем больше было этих вариантов, тем сильнее я волновался и тем нерешительнее чувствовал себя. Ни для Марии Семеновны, ни для Ксени у меня не было никаких подарков, я не собирал за границей часов и браслетов; в вещевом мешке лежала полная фляжка водки, маргарин, несколько банок консервов и сухари, что, в общем, было положено тогда офицеру по пищевому довольствию, и я воображал, как буду выкладывать все это на стол.

«Помните, Мария Семеновна?»

«Как же».

«По пути заглянул посмотреть, как вы тут живете».

«Спасибо. Мать-то жива?»

«А как же».

«Ждет, поди».

«А как же».

Вот так мысленно я разговаривал то с Марией Семеновной, то с Ксеней и уже заранее, еще ничего не зная, как все будет, то чувствовал себя неловко, стесненно, когда мне казалось, что я буду принят равнодушно, холодно, то как будто вдруг все заливалось во мне счастьем, и я, наверное, улыбался в сумрачной духоте зала, когда видел (словно все происходило наяву) радостные и доверчивые, обращенные на меня глаза Ксении; я воображал все до деталей, как буду встречен, но то, что на самом деле ожидало меня, обладай я даже сверхвоображением, я бы ни за что на свете не

смог представить себе. Но ведь я тревожился и теперь знаю, что было причиной этой тревоги; теперь, но ни в коем случае не тогда. Я с нетерпением ждал рассвета, и когда в маленьких низких окнах ясной синевою забрезжило утро, оставаться в бараке уже ни одной минуты не мог; на привокзальной площади в занесенном снегом сквере отыскал место, где снег был чистым, сбросил шинель и гимнастерку и умылся этим снегом, натерев докрасна лицо, шею, руки, и бодрый, свежий, как будто и не было ни долгой утомительной дороги, ни прошедшей бессонной ночи в бараке (да и что значило для меня тогда не поспать ночь! Это теперь — чуть что, уже и лицо помято, и вялость, и все на свете, а тогда!), готов был идти и отыскивать дом Ксени.

«Мы въезжали в город со стороны шоссе Мозырь — Калинковичи, — рассуждал я, — с севера, или, вернее, северо-востока, и остановились где-то сразу на окраине. Значит, прежде всего надо выйти на то шоссе».

Я определил приблизительно, где была северная сторона города, и, надев вещевой мешок и взяв чемодан, зашагал необычной для себя размашистой походкой по слякотной — в те дни стояла оттепель! — разбитой машинами дороге. Движение было еще редкое, город только просыпался от долгой зимней ночи, открывались ставни на окнах изб, закуривались дымки над трубами, и дворники с деревянными лопатами еще только закручивали свои неизменные козьи ножки, примериваясь и приглядываясь к снежной жижице, прежде чем начать работу. Я шел, заткнув полы шинели за пояс, перебрасывал с руки на руку чемодан и оглядывал улицы. Мне казалось, что город мало изменился за те два года, пока меня не было здесь. Это сейчас — другое дело; от того деревянного городка сейчас, в сущности, мало что осталось; и вокзал не тот, многих старых улиц и в помине нет, а выросли новые кварталы; если хотите, и той избы, в которой жила Ксеня, тоже нет, а стоит на том месте белый пятиэтажный панельный корпус; но в то раннее декабрьское утро, когда я пересекал город, все мне казалось как будто знакомым — и избы, и ограды, и сами улицы, широкие и слегка изогнутые, как в деревнях, и лишь не было заметно ни окопов, ни черных воронок, как в памятную зиму, ни остовов сгоревших машин и танков, ни кирпичных развалин, потому что все это было убрано, расчищено, заделано; и все же, знаете, чем-то еще как будто фронтовым, военным веяло от всего, на что я смотрел. Может

быть, потому я так думаю теперь, что не везде лежал плотно снег, а местами были проталины, проглядывала черная земля, чернели оголенные тесовые крыши, и эта черно-белая пестрота как раз и создавала такое впечатление, но мне, собственно, не было тогда никакого дела до того, что *создавало* впечатление, я просто видел знакомый освобожденный город, и те прежние чувства, когда мы впервые морозным утром въезжали в него, и все, что было пережито мною вечером в избе Ксени и что я затем пронес в себе по всем дорогам войны, и эти теперь охватившие меня волнения перед встречей — все сливалось в одну счастливую и тревожную ношу, которую, казалось, было тяжелее нести, чем отдавливавший плечи вещевой мешок и оттягивавший руки чемодан.

Было уже около одиннадцати, когда я наконец вышел к шоссе Мозырь — Калинковичи.

Едва я очутился на шоссе, как тут же мысленно повторил весь маршрут нашего движения и сразу узнал улицу, на которую мы, въезжая, свернули тогда, и еще издали увидел и узнал и избу, в которой ночевал сам, и комбатовскую избу, что стояла напротив, через дорогу, вернее, *ее* избу, в которой были ли дома теперь Мария Семеновна и Ксеня? Я тотчас же как бы увидел нашу выстроившуюся вдоль улицы колонну, готовую к маршу, и определил место, где стояла головная машина и где стояли мы — я, младший лейтенант Антоненко и комбат. Да я и в самом деле стоял на том месте, как в памятное утро, и, опустив чемодан на снег, к ногам, смотрел на избу Ксени; я испытывал, как вам пояснить лучше, такое чувство, словно все мне здесь было не просто знакомо, а было дорогим, близким: и крыльцо, на которое я смотрел, с перилами и ступеньками — все-все, как было тогда, и даже, я сразу заметил, рядом с крыльцом, у стены, лежала та самая широкая доска, которой Мария Семеновна когда-то подпирала дверь, и несколько ржавых гвоздей торчало по краям этой доски (я не сказал вам, но я ведь еще тогда обратил внимание на торчавшие из доски гвозди); и двор, расчищенный от снега, как он был расчищен в то утро, сизые от времени, неизвестно с каких лет не крашеные наличники и ставни на окнах, такой же сизый, некрашеный фронтон и козырек тесовой крыши, а главное — на месте тех самых хрустнувших и надломившихся тесин чернела теперь толевая заплата; вот она, так и стоит перед глазами, я смотрю на нее и чувствую, как все пережитое подымается во мне. Когда позднее я

подходил к родному дому в Чите — у нас тоже дом деревянный, дедом еще моим, отпущенным поселенцем, рубленный, — мне кажется, я так не волновался, так не билось сердце, как в эти минуты, когда стоял перед избой Ксени. И снова, но уже сильнее, чем на вокзале, когда я только-только сошел с подножки вагона на тускло освещенный слякотный перрон, сомнение охватило меня, и я в растерянности и нерешительности говорил себе: «Входить? Не входить? Что я скажу? Зачем пожаловал? Мои чувства! А ее? А Мария Семеновна?» Я оглядел свои забрызганные снежной кашицею и грязью сапоги и опустил полы шинели. Чего я ждал? Чего волновался? Глупо, и теперь я вполне понимаю, что глупо, но ведь в том-то и дело, что понимаем мы все задним числом; я мог бы смело войти в любую другую избу к совершенно незнакомым людям, а к *ней* — все во мне замирало от какого-то странного и тревожного предчувствия. Я смотрел на окна, и за белыми занавесками никого не было видно, и труба над крышей не дымилась, и никто не выходил из дверей во двор и не возвращался в избу. «Да дома ли они? Может, и дома-то никого нет?» Я вошел во двор и постучал в окно, и почти тут же занавеска отогнулась, и я увидел прислонившееся к стеклу лицо Марии Семеновны. Я сразу узнал ее, но она долго смотрела на меня, и по ее взгляду было ясно, что я для нее — незнакомый, чужой, неизвестно зачем постучавшийся к ней человек.

«Это я, Мария Семеновна, я, помните?» — сказал я через стекло, но она, по-моему, либо не разобрала, либо просто не расслышала моих слов, потому что, когда она вышла на крыльцо (она вышла налегке, закутав лишь грудь и шею шалью), спокойным и, чего я более всего опасался, холодным, равнодушным голосом спросила:

«Вам кого?»

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, лишь стараясь всем видом своим напомнить ей, кто я. «Узнаете? Неужели не узнаете?» — глазами говорил я ей.

«Вам кого?» — снова и тем же как будто холодным тоном спросила она.

«Вы не помните меня, Мария Семеновна?» — наконец выговорил я.

«Нет. А кто вы?»

«Я тот самый лейтенант, Женя Федосов». — Я не стал ничего пояснять дальше, полагая, что уже это сказанное должно ей сразу напомнить все.

«Да мало ли тут вас стояло за войну, рази всех упомнишь».

«А Ксеня дома?»

«Дома. Только что с ночного дежурства пришла».

«Можно мне повидать ее?»

«Отчего же нельзя, можно, еще не спит, входите», — сказала Мария Семеновна, открывая передо мною дверь и приглашая пройти через сенцы в избу.

В сенцах, прежде чем переступить порог комнаты, я долго и старательно обметал веником ноги, мысленно и с тревогою снова говоря себе: «Может быть, ничего не было, я все вообразил, и мне не надо было приходить?» — и хотя не оборачивался и не смотрел на Марию Семеновну, которая стояла тут же и ожидала, пока я управлюсь, я чувствовал, что она следит за мною, ежась от холода в своем старом цветном ситцевом платье и кофте с заплатами на локтях, и мне было неловко под этим взглядом. Я вошел в избу бледный и уже совершенно не знал, что и как говорить. Да и на самом деле, что я мог сказать Ксене? Ведь между нами ничего не было, я не писал ей, прошло два года, она могла позабыть обо мне (как позабыла Мария Семеновна), и вдруг вот я, явился! Только в молодости — сколько мне было тогда? Двадцать один? Да, уже двадцать один, — только в молодости можно еще совершать такие необдуманные поступки и ставить себя в столь неловкое положение; я ведь делал все не по разуму, а по чувству: что испытывал, что воображал, то и казалось действительностью, и был счастлив от этого воображения и чувств, и только в то утро впервые, уже когда обметал ноги в сенцах, ощутил отрезвляющее дыхание жизни. Я переступил порог и остановился у двери, не снимая вещевого мешка с плеч, лишь опустив чемодан на пол, и оглядывал комнату; я сразу заметил, что все здесь было не так, как прежде, что комната перегорожена надвое не окрашенною, не оклеенною обоями и не успевшею потемнеть еще дощатою перегородкой, и еще стоял невыветрившийся запах свежеоструганной сосны; огромная русская печь, занимавшая, как мне раньше казалось, добрую четверть комнаты, была теперь в первой, и меньшей, половине, а во вторую вел ничем пока не занавешенный дверной проем, и там, за этим проемом, за перегородкою, была Ксеня. Я не видел ее; только было слышно, будто кто-то переодевался, шуршал платьем.

«Ксеня, к тебе пришли», — сказала Мария Семеновна, направляясь к печи, не оглядываясь на меня и не предлагая ни пройти дальше, ни сесть.

«Кто?»

«Какой-то военный».

«Кто, мам?»

«Да шут вас знает кто, выйди да посмотри».

«Сейчас!»

В шинели, сапогах, с шапкою в руке я продолжал стоять у порога. Ксеня же появилась в проеме дверей неожиданно, вдруг. Так же, как минуты прощания, когда она лежала на носилках в машине, как те часы, когда вечером, при свете висевшей над столом керосиновой лампы я сидел с нею рядом и смотрел на ее лицо и серебристо-серые спадавшие на грудь косы, — так запомнилось мне и это мгновение, когда после двух лет военных дорог, двух лет постоянной думы о ней я вновь увидел ее. Она, наверное, уже собиралась отдыхать после ночного дежурства, была в халате, и, лишь услышав, что кто-то пришел к ней, быстро надела платье, и принялась заплетать косу, я так думаю, потому что, когда она стояла в дверях и я смотрел на нее, тонкие белые пальцы ее еще укладывали последние витки в косе; лицо ее выражало удивление, и ясные, чистые глаза тоже выражали удивление; она была как бы вся на свету, немного пополневшая с того времени, но еще более женственная от этой полноты, и я, знаете, глядя на нее, чувствовал, что не зря все эти годы думал о ней. Вместе с тревогой и растерянностью я испытывал прилив счастья; я старался уловить в ее взгляде прежние и дорогие мне чувства и мысли, и хотя их не было и не могло быть в ней, все же то удивление, какое светилось в ее глазах, было как бы обещанием, надеждой, что все еще вспомнится, вернется и она заживет той жизнью, какой жила тогда, в часы, когда мне понятным и близким был весь мир ее радостных желаний; я говорил ей, мысленно, разумеется, взглядом: «Ну же, ну, вспомни!» — и всматривался в каждую черточку ее лица, ожидая, что вот-вот она ответит, пусть так же беззвучно, мысленно, выражением глаз, я пойму, почувствую и успокоюсь. То, что она была не так свежа после ночного дежурства и лицо ее было утомленным, я заметил позднее, когда уже сидел за столом и она угощала меня чаем и отварной картошкой, залитой подсолнечным маслом; да и сам я как ни бодрился, как ни казался себе полным сил и энер-

гии, тоже, конечно, выглядел утомленным, и Ксеня не только заметила, но и сказала мне об этом; но произошло это потом, позже, а пока я ничего не видел, кроме ее ясных и светлых, обращенных на меня глаз и белых пальцев, которые, замедлив движения, как бы вдруг остановились, так и не закончив плести косу.

«Это вы?!» — не очень громко, с явным удивлением и, как мне показалось, с ноткою радости в голосе сказала наконец Ксеня.

«Да, я».

«А Вася мне ничего не сказал, — добавила она с тем же удивлением. — Вы раздевайтесь, что же вы стоите!— Она подошла ко мне и помогла снять с плеч вещевой мешок. — Мам, ты знаешь, кто к нам пожаловал? — принимая от меня шинель и вешая ее на гвоздь, продолжала она. — Это же тот самый жених мой, помнишь?»

«Господи! — сказала Мария Семеновна, отрываясь от своих дел и уже не с равнодушием, а с заинтересованностью глядя на меня. — Так ты опоздал, парень!»

«Как это опоздал, Мария Семеновна?»

«Ксеня наша уже замужем, уже и свадьба сыграна».

«Как замужем?»

«Как замуж выходят? Вот так и замужем. За тем капитаном твоим. Опередил он».

Я не поверил тому, что сказала Мария Семеновна, принял ее слова за шутку. «Капитан Филев? Василий Александрович? Да зачем ему, он же в военную академию собирался». Я посмотрел на Ксеню; лицо ее, может быть, от смущения, как это бывает, я уже теперь знаю, у молодых супругов, когда при них вдруг начинают говорить об их женитьбе, но, может, от возникшего неожиданно сожаления, что она поторопилась, не подождала меня, от чувства, может быть, вины передо мною (так я думаю для утешения), лицо ее вспыхнуло румянцем, и смотрела она теперь не на меня, а куда-то вниз, то ли на мои сапоги, то ли на половичок, на котором я стоял, а пальцы снова принялись заплетать косу. Я не стал спрашивать ее; я все еще не хотел верить тому, о чем сказала Мария Семеновна, но чем дольше смотрел на Ксеню, тем яснее становилось, что все это правда и что вот отчего так тревожно было у меня на душе еще на вокзале, когда я только вышел из вагона, и так беспокойно билось сердце, когда подходил сюда, к дому. «Не может быть!» — однако продолжал говорить я себе, переводя взгляд с Ксени на Ма-

рию Семеновну и снова на Ксеню. Они молчали; и я молчал; и всем нам было, по-моему, нехорошо, неловко от этого молчания.

«А я ведь не за *тем,* я просто так, по пути, проведать», — сказал я, краснея оттого, что произносил ложь, и чувствуя, что ни Мария Семеновна, теперь как будто с еще большим вниманием смотревшая на меня, ни Ксеня, тоже взглянувшая на меня, не верят мне. Но что я мог еще сказать им?

«Да что же вы не проходите? — сказала Ксеня, разрушая эту минуту неловкости. — Проходите в комнату. Вот Вася-то будет рад, — добавила она, пододвигая мне стул. — Он на работе, в диспетчерской. А вы завтракали? Могу угостить картошкой с постным маслом, уж что есть, могу приготовить чай. Да что, собственно, я спрашиваю, боже мой, человек с дороги, а я спрашиваю. Посидите, я сейчас». И она вышла, оставив меня одного в комнате.

Не знаю, сколько времени я просидел, ожидая, пока войдет Ксеня и начнет накрывать стол; минуты эти показались мне долгими, но я был так ошеломлен и растерян, что не успел ничего разглядеть, что и как было убрано в комнате; я думал о своем бывшем комбате, который, как сказала Мария Семеновна, опередил меня, он вставал передо мною таким, каким запомнился в те годы, когда служили вместе: то вот он на наблюдательном пункте с биноклем у глаз, молчаливый, решающий все сам, про себя, и отдающий распоряжения лишь короткими, ничего не объясняющими фразами («Делать так, и все, и не иначе!»), то проверяющий стволы орудий на батарее, как вычищены и смазаны после боя, перед маршем; то вдруг вижу его за ужином или обедом — единственно когда появлялась на лице его улыбка; мне он нравился таким, суровым, и я теперь, представляя его себе, не без зависти и не без гордости смотрел на него, но вместе с тем сейчас я искал в нем то, что могло быть привлекательным для Ксени, и казавшаяся замечательной тогда суровость его души, а может быть, черствость, которой я восхищался, представлялась теперь несовместимой с чистым, добрым и доверчивым сердцем Ксени. «Будет ли она счастлива с ним? — спрашивал я себя и тут же отвечал: — Нет». Мне не хотелось думать плохо о бывшем своем комбате, я видел лишь несоответствие характеров, и было в этом несоответствии что-то обнадеживающее для меня. Но, знаете, я ошибался тогда, потому что рассуждения мои были продиктованы не разумом, а опять-

таки чувством, мне казалось, что то, что испытываю я к Ксене, не может и не в состоянии испытывать никто другой, что только во мне столько нежности и любви, столько доброты, что я могу одарить не только Ксеню, но весь мир своею щедростью, и что *это,* что есть во мне, не может и не должно быть, по крайней мере по отношению к Ксене, ни в ком другом на свете; к сожалению, думая так в молодости, мы все ошибаемся: то, что есть во мне, вполне может быть и в другом, и в третьем, и в четвертом. Но я вот так думал о своем бывшем комбате и, сравнивая его с собою, чувствовал, что я бы более осчастливил Ксеню, чем он; и чем отчетливее представлял себе это, тем мучительнее и больнее было на душе. Я сидел неподвижно, склонившись, обхватив виски ладонями и упершись локтями в колени, и лицо мое, наверное, было красным от возбуждения, мыслей и чувств; за перегородкой о чем-то разговаривали Мария Семеновна с Ксеней, я слышал отрывки фраз, смысл которых, однако, совершенно не доходил до моего сознания; я был занят собою и говорил себе: «Так вот почему он так долго смотрел на нее тогда, в то утро, когда она, прыгнув с крыши, лежала на снегу, а я держал на ладони ее голову, и вон что означали его нежное пожатие и его слова: «До свадьбы заживет!» Как же я не сообразил тогда? Вот что все это значило», — повторял я, ясно представляя, как все было в то морозное утро, и какой-то как будто нерассасывающийся клубок боли все сильнее сдавливал мне грудь. «Зачем я приехал? Для чего завтрак? Надо сейчас же встать и уйти, да, сейчас же, и забыть, не думать, все равно уже ничего не вернешь», — про себя произносил я, продолжая, однако, сидеть все в той же позе, не двигаясь, даже, когда по звукам шагов почувствовал, что вошла Ксеня и что, остановившись, смотрит на меня.

«Вы устали?» — спросила она.

«Да, немного есть, — подтвердил я, разгибаясь и глядя на нее. — Но ничего, что вы, пусть это вас не волнует, — тут же поправился я, заметив озабоченность на ее лице. — Горячего чайку, и все пройдет. Я ведь только проведать... после того... помните? А вечером — дальше, домой».

«Когда ваш поезд?»

«Вечером. Ночью».

«Вася придет с работы в шесть, вы уж дождитесь, он будет рад. Мы ведь не раз вспоминали о вас, — сказала

она, и при этих словах опять румянец вспыхнул на ее лице. — Вы, может быть, хотите умыться с дороги? — сейчас же спросила она, чтобы, наверное, перевести разговор на другое. — Умывальник в сенцах, там и полотенце чистое я повесила, пожалуйста, а потом и к столу, пока картошка горячая и чай».

Я умывался и не чувствовал, что вода была холодной; все та же мысль — *опоздал!* — как будто переполняла мою голову, но думал я уже не о бывшем своем комбате, а о том, что, если бы отпустили меня по первому поданному мною рапорту, а было это еще ранней осенью, как только дошла до нас весть о разгроме Квантунской армии и капитуляции Японии, — если бы тогда сразу отпустили, все было бы иначе, и не я, а комбат хлюпался бы сейчас под умывальником, ругая себя, досадуя и переживая; того, что ему еще на Сандомирском плацдарме оторвало руку, что приехал он уже около года назад и что, подай я рапорт даже раньше, сразу после взятия Берлина, все равно бы не успел, — этого я еще не знал и проклинал про себя тот маленький зеленый австрийский городок Пургшталь, по улицам которого бродил в ожидании, когда наконец будет решен мой вопрос, и в тоске по этим нашим теперь заснеженным и еще как будто пахнущим фронтовым дымком русским деревянным избам Калинковичей. Уже сидя за столом, я продолжал думать все о том же, о своем, и прилагал немало усилий, чтобы хоть на время приглушить этот поток растравлявших душу мыслей и послушать Ксеню. Она рассказывала, как лежала в Брянске в госпитале, куда отвезли ее вместе с ранеными в санитарном поезде и куда несколько раз, упрашивая кондукторов и забираясь в попутные эшелоны, приезжала к ней мать, Мария Семеновна, но из всего того, что говорила Ксеня, я понял лишь одно: что все обошлось, слава богу, благополучно, что пока никаких последствий нет, хотя и надо беречься; она еще говорила, как, вернувшись домой, пошла работать нянечкой в стоявший тогда в Калинковичах военный госпиталь (теперь это была уже городская больница) и поступила на курсы медицинских сестер; я слушал, смотрел на нее с болью, чувствуя, как счастье уплывает от меня; я бы не мог сейчас пересказать с подробностями, о чем она говорила, но одну фразу помню дословно, потому что она особенно поразила меня: «Зря вы не взяли меня тогда санитаркой на батарею, я так хотела, я, вы знаете, готова была на все», — и слова эти ее как бы вновь

мгновенно вернули меня в то морозное январское утро, когда она, худенькая девочка, лежа на носилках, просила: «Почему вы не взяли меня?» Краснея в который раз за эти часы, пока был здесь, в доме Ксени и Марии Семеновны, и разговаривал с ними, я протянул руку и, как тогда, в машине, пожал мягкую и теплую ладонь Ксени. Слов, чтобы выразить свои чувства, у меня не было, и я сделал это — пожал, и все! — хотя и сознавал, что нельзя было так делать, что это было неловко, глупо, смешно, наконец, нетактично, ведь она замужняя женщина, но я не мог сдержаться, и, понимая свою нетактичность и видя, как взглянула на меня при этом Ксеня, как посмотрела сидевшая тут же Мария Семеновна, покраснел еще больше и, как будто намереваясь протереть глаза, прикрыл ладонью лоб и щеки. «Теперь-то для чего все это», — торопливо сказал я себе. Я ни минуты уже не сомневался, что они знают, для чего я приехал к ним, и мне было, с одной стороны, приятно сознавать, что понимают, а с другой — я чувствовал себя в каком-то глупейшем, униженном положении. Я ел мало, и чай казался мне безвкусным и пресным; о том, что лежало в моем вещевом мешке и что собирался я с торжественностью (вот ведь как играет иногда воображение!) высыпать на стол, я совсем забыл; мне было не до этого; допив чай и поблагодарив Ксеню и Марию Семеновну, я сказал, что хочу пройтись по городу и посмотреть, как он выглядит теперь, этот самый их город, который когда-то, два года назад, я освобождал вот в такую же зимнюю пору, и что уже по одному этому он и мне дорог и памятен; фактически же я уходил просто потому, что не мог оставаться далее в избе, рядом с Ксеней, хотелось побыть одному, чтобы пережить и обдумать все то, что случилось со мной.

«Пусть пока чемодан и вещевой мешок полежат у вас», — попросил я.

«Какой разговор», — ответила Мария Семеновна.

«Может быть, вы бы отдохнули с дороги?» — сказала Ксеня, на лице которой я все более замечал растерянность и какое-то еще чувство, будто жалости или сострадания ко мне, чего я еще не мог да и не в состоянии был определить.

«Нет, спасибо. У меня ведь только один день, и я все должен посмотреть».

«Но к обеду мы вас ждем, возвращайтесь непременно!»

«Постараюсь», — сказал я и, слегка поклонившись сам не зная для чего, в знак благодарности за гостеприимство и завтрак, что ли, вышел на улицу.

Но куда мне было идти? Что смотреть? Я зашагал к центру, разбрызгивая сапогами жидкую снежную кашицу, глядя по сторонам и снова как будто чувствуя, что да, чем-то фронтовым веет от этих обветшалых деревянных изб; кое-где из-под снега проглядывали то фундамент, то остов кирпичной печи на месте разнесенных когда-то снарядами и сгоревших домов. Я дошел до вокзала, до барака, в котором ночевал, и повернул обратно к центру; несколько раз я то оказывался вдруг на шоссе Мозырь — Калинковичи, то опять у дощатого барака, вышагивая, наверное, по одним и тем же улицам, но не замечая этого, не замечая оживления возле магазинов и киосков, возникавшего к полудню; я не замечал даже усталости, потому что мир, которым я жил все эти часы, не имел ничего общего с тем внешним — избами, людьми, магазинами, тротуарами, — который окружал меня; то, что за многие месяцы было создано в моем воображении, что представлялось и в напряженные минуты боя, и затем в далеком Пургштале, не только возможным, но непременным, неминуемым, неизбежным, теперь рушилось во мне, рушился мир, в котором я мог бы жить и чувствовать себя счастливым. Но что все же так влекло меня к Ксене: тот ли порыв души, когда она, преодолевая все преграды, стремилась к нам на батарею (я знаю, она бы вышла тогда за меня замуж, не колеблясь ни одной секунды, хотя, как я узнал уже спустя много лет, была у нее и другая, *своя,* личная причина пойти на фронт хоть санитаркой, хоть заряжающим к орудию, все равно, как она сама говорила); или вид ее серебристо-серых кос, ясных глаз и неповторимых, как мне и теперь кажется, линий ее лица; или то неразгаданное, что я только чувствовал в ней, улавливая огромную доброту ее души, ту женскую доброту, которая может сделать счастливым любого живущего на земле человека; да, скорее всего именно это было главным, отчего я так тянулся к ней, и проявлялась эта доброта в ней не отчетливо, не вдруг, не так, чтобы сразу видна и понятна, а в разных как будто мелочах, в движениях, во взгляде, в тоне голоса, в незначительных поступках, свидетелем которых я был и в тот далекий вечер, когда впервые увидел ее, и вот сейчас, в день этой встречи, — как она принимала, разговаривала и как вела себя; доброта в ней была есте-

ственной, природной, а не вынужденной или продиктованной рассудком, и этого нельзя было не почувствовать с первой же минуты знакомства с ней, и я снова убедился в этом, когда вечером, вернувшись, наблюдал, как она распоряжалась и хозяйничала в доме. Я пришел поздно, было уже довольно темно; уставший, в заляпанных грязью сапогах, я еще стоял у калитки, а на крыльцо, приготовившись встречать меня, уже вышел капитан Филев, бывший мой комбат и теперь счастливчик, опередивший меня, — я сразу узнал его и сразу же заметил пустой рукав еще армейской гимнастерки, заткнутый за широкий офицерский ремень; вышла и Ксеня в платке; и даже Мария Семеновна, не желавшая, очевидно, отставать от всех и проникшаяся общим добрым настроением, стояла тут же, позади дочери.

«Ты что же это, — с упреком и радостью сказал Василий Александрович, шагнув мне навстречу и одною рукою обнимая меня, и я почувствовал, как теплые губы его и жесткая щетина не бритого, наверное, со вчерашнего дня лица прильнули к моей щеке. — Мы тебя ждем, Ксеня ко мне на работу бегала, я пришел пораньше, отпросился, мы ждем тебя, а ты, чертяка... — И он снова обнял меня и приложился своею жесткою щетиной. — До старшого дослужился, вижу. В отпуск? Или по чистой?»

«По чистой».

«Домой?»

«Да».

«Гражданку тянуть?»

«Да».

«Ну, заходи, чертяка. Орден боевого-то получил? Носишь? А жаль, что Героя не утвердили. Я часто вспоминаю, как ты лихо тогда!.. И подполковник Снежников... как он настаивал! Мы ведь все видели, мы ни на минуту не спускали с тебя глаз», — говорил Василий Александрович, снимая с меня шинель и усаживая за стол, на котором уже были расставлены тарелки с квашеной капустой, мочеными яблоками, солеными огурцами и залитой уксусом селедкой, а в центре возвышалась бутылка с коричневою сургучовою головкой; да, было видно, что они ждали давно, и Василий Александрович особенно суетился, выказывая гостеприимство. Во все время вечера он казался возбужденным и веселым, и было что-то необычное, вернее сказать, непривычное для меня в этом его настроении; я знал его другим, угрюмым, малоразго-

ворчивым; лишь однажды, в день того ложного сватовства в этом же вот доме, он держался оживленно, но тогда заметна была искусственность в его шутках; теперь же будто что-то изменилось в нем, и чем внимательнее (насколько, разумеется, хватало у меня внимания при том моем состоянии) я слушал его и наблюдал за ним, тем сильнее утверждался в догадке, что да, что-то действительно изменилось в характере бывшего моего сурового и строгого комбата. На самом ли деле радовался он моему приезду, или перемена имела иную и более вескую причину — доброе влияние Ксени? — я еще не знал тогда, лишь отдаленно возникала у меня такая мысль, но время показало, что я был прав в своем предположении, которое, кстати, в те минуты отнюдь не радовало, а, напротив, только огорчало меня. Я вспомнил о времени потому, что много лет спустя Василий Александрович как-то в порыве откровения сказал мне такую фразу: «Очень важно, Женя, кто рядом с тобой. Важно для жизни». А ведь рядом с ним была Ксеня, и для меня в тот вечер было особенно больно, что она с ним, а не со мной. Я выложил из вещевого мешка консервы, сухари, все, что было из продуктов, и достал фляжку с водкой; рюмку за рюмкой поднимал я вместе с бывшим своим комбатом, теперь — Ксениным мужем, провозглашая тосты за их счастье, за победу, потому что все мы жили тогда еще тем радостным чувством, что разгромили врага, что тяжелые будни войны уже позади и что — пусть потихоньку, по-малому, но жизнь теперь пойдет в гору, на улучшение, что легче будет народу, а значит, легче и нам; словом, разные тосты поднимали мы, я пил, закусывал. но в противоположность Василию Александровичу не только не пьянел и не веселел, но с каждой минутой все более тревожные и мучительные думы охватывали меня. В голосе Ксени, когда она, обращаясь к мужу, произносила «Вася!» — мне казалось, было что-то особенное и я пытался уловить ту особенность интонации, представить, как бы звучало мое имя в ее устах; до боли в сердце мне нравилось, как она ухаживала за всеми нами, в том числе и за матерью, Марией Семеновной, заменяя тарелки, предлагая кушанья и не оговариваясь, не стесняясь той скромности угощений, какие были на столе; она знала, что подано все, что только имелось в доме лучшего, щедрость эта была для нее естественной и потому радовала ее; как и во время первой встречи, когда я смотрел на ее лицо, оно представлялось мне не просто

красивым само по себе своими правильными и четкими линиями, — оно опять будто было подсвечено тем внутренним светом, теми чувствами (может быть, и воспоминаниями того морозного январского вечера), какие теснились в ней теперь и отражали всю ее ясную, чистую и щедрую своей добротою натуру. Эти чувства были обращены не ко мне, а к мужу, Василию Александровичу, я понимал это, и именно это делало мучительной для меня встречу. Чем более я сознавал, что Ксеня потеряна для меня, тем отчетливее, казалось, чувствовал, что никогда не смогу позабыть ее и что жизнь без нее будет для меня пустой, неинтересной, ненужной. Не в силах сдерживать себя, я мрачнел и все чаще поглядывал на часы, будто и в самом деле надо было спешить на вокзал, к поезду, хотя никакого билета у меня не было и утром я сказал неправду Ксене, что уезжаю сегодня же; но сейчас я даже сам как будто верил, что мне надо спешить на вокзал.

«Во сколько отходит?» — спрашивал Василий Александрович.

«В три тридцать».

«О-о, еще есть время, еще успеешь».

Немного погодя я снова смотрел на часы, и опять между нами происходил тот же разговор.

«Еще успеешь! Мы с Ксеней проводим тебя. Ей завтра все равно на работу не идти, а я ничего, еще отосплюсь. Как хорошо все-таки, что ты приехал, чертяка!» — говорил он, но я все явственнее чувствовал, что не могу более оставаться здесь.

В двенадцатом часу наконец я встал и решительно заявил, что ухожу.

«Собирайся, Ксеня, проводим».

«Нет, не надо», — возразил я.

«Почему?»

«Не надо», — повторил я даже, наверное, немного грубовато, потому что мне действительно не хотелось, чтобы они провожали меня. Пожав всем руки и пожелав Ксене и Василию Александровичу счастья, я надел шинель, накинул на плечи теперь уже порожний вещевой мешок и вышел на крыльцо.

Следом за мною вышли Василий Александрович и Ксеня.

К ночи подморозило, перила крыльца схватились тонким скользким ледком, я почуствовал это сразу, едва положил на них руку, и ощущение холода под ладонью

живо напомнило тот, казавшийся мне теперь далеким-далеким морозный январский вечер, когда вот так же, разгоряченный, но с совершенно иным настроением, счастливый, я стоял здесь, на крыльце, на этом же самом месте, ожидая комбата четвертой старшего лейтенанта Сургина, и, как на гашетку — «Огонь! Огонь! Огонь!» — нажимал на заиндевелые и начавшие уже подтаивать под рукою перила крыльца, салютуя своим радостным чувствам, а впереди по горизонту полыхали зарева пожарищ; и хотя теперь передо мною в ночи не было горевших деревень, а лишь мирно светились уличные фонари засыпавших Калинковичей да редкие еще в то время огни витрин — за этими огнями, вдали, я видел те когда-то озарявшие небо зловещие всполохи войны; инстинктивно, не знаю сам как, возникло во мне это желание, только я раз за разом, быстро и, конечно же, незаметно ни для Ксени, ни для Василия Александровича нажал ладонью на перила крыльца, как на гашетку, точно так же, как тогда, про себя считая: «Раз! Раз! Раз!» — какое-то страшное, злое чувство охватило меня, будто стрелял я не просто в пространство, а, как в том заснеженном лесу, под деревней Гольцы, — по перекрывшим дорогу немецким самоходкам. Но длилось это всего несколько секунд. Ни Ксеня, ни Василий Александрович, я думаю, даже не догадывались, что творилось в моей душе, полагая, что я засмотрелся на ночные Калинковичи, которые были хорошо видны с крыльца, так как изба стояла на возвышении. Василий Александрович, дружески тронув меня за плечо, спросил:

«Любуешься? Я тоже долго не мог привыкнуть к этим мирным огням. Бывало ведь как — папиросу в рукав, да еще и под полу шинели».

«Да, — ответил я как будто Василию Александровичу, но более своему течению мыслей. — Будем привыкать к новому». И, еще раз пожелав счастья Ксене и своему бывшему комбату, поднял чемодан и пошел по подмерзшей теперь дорожке через двор на улицу.

Ксеня осталась на крыльце. Было темно, я не разглядел ее лица, Василий Александрович же проводил меня до калитки.

«Ты погоди, — сказал он вдруг, когда я шагнул было уже на тротуар, — не уходи с сердцем, я же вижу, ты пойми, я не мог иначе. Ты вот едешь домой, к матери, а мне куда было? Сожжено все: ни избы, ни родных, ни деревни, ничего! И к тому же — ведь я люблю ее»,—

добавил он, и по тону голоса я почувствовал, что он говорит правду.

«Желаю счастья», — однако сухо и даже с раздражением, как мне кажется теперь, ответил я и, ничего не говоря более ему, зашагал по знакомой, исхоженной днем дороге на вокзал.

Я уходил с чувством, что больше никогда не вернусь сюда, а жизнь за моей, как говорится, спиною снова уже прокладывала для меня дорогу к этому дому.

ЧАС ЧЕТВЕРТЫЙ

— Почти двое суток прожил я в станционном дощатом бараке, — продолжал Евгений Иванович, — прежде чем военный комендант поместил меня в один из проходивших на Москву и переполненных до отказа демобилизованными воинами поездов. Днем я то сидел на чемодане, то стоял в тамбуре с обледенелыми и плохо закрывавшимися дверями, и только по ночам, когда особенно поджимал мороз и, казалось, некуда было деться от сквозняков, грохота, леденящего дыхания железной обшивки стен и никелированных ручек, за которые нельзя было взяться, не почувствовав, как примерзают пальцы, и не ощутив вдруг, как коченеют ноги на вышарканном солдатскими сапогами металлическом полу, — я входил в вагон, вернее, втискивался, чтобы отогреться, говоря спасибо какому-то рябоватому, с оспинным лицом старшине, который уступал мне место, а сам на время уходил в тамбур; он тоже ехал в Сибирь, но куда точно, я уже теперь не помню, как не помню и его фамилии, а знаю только, что звали его Порфирием, что воевал он на Третьем Украинском, где и я, брал Пап, Веспрем, Вену, в общем, почти однополчанин, и, надо сказать, в том положении, в каком я находился, он очень выручил меня. От Москвы же я продолжал путь уже в плацкартном вагоне, и хотя полка была боковая, на проходе, все же я мог часами лежать теперь, вытянув ноги, блаженствуя в тепле, или смотреть в окно то на заснеженные леса, то на деревеньки у замерзших и тоже заснеженных речек, то на разъезды, полустанки и станции, на вокзалы, где как будто и не было никаких следов войны, но где на перронах шумел и толкался с котелками и чайниками все тот же военный люд — в гимнастерках, шинелях, защитного цвета телогрейках, в ремнях и без ремней, с орденами, медалями; казалось,

что вместе с поездами прибывало сюда, в малолюдные еще тогда сибирские города, дыхание недавно окончившейся победно войны, оседая, дробясь, растекаясь с вокзалов по деревням, по притихшим, осевшим и словно почерневшим от ожидания крестьянским избам. Я до сих пор храню в себе это впечатление, и все, на что смотрел тогда сквозь запорошенное снежной пылью и прихваченное морозцем стекло, — все это часто и теперь разворачивается передо мною, я вновь подъезжаю к родному городу и смотрю на сопки, снега, на темную, то подступавшую к самой дороге, то вдруг убегавшую к горизонту кромку тайги. За этой тайгою, за сопками, лежала деревня Севастьяновка, куда я уезжал на лето к своему деду по матери, и хотя из окна вагона не было видно этой деревни, но сознание того, что вот сейчас я проезжаю мимо нее, что еще шесть полустанков, всего только шесть отделяют меня от Читы-I и от Читы-II, пассажирской, пробуждало совершенно иные, чем когда я подъезжал к Калинковичам, мысли и чувства. Как ни был я огорчен и как ни мучительна была для меня ревность, какую испытывал я с будто нараставшей, чем дальше отвозил меня поезд от Калинковичей, силой, — все то, пережитое, как бы уходило на задний план, отдалялось, свертывалось, словно укладывалось на покой на время где-то в тайниках души, а на смену этому с каждым часом, особенно в утро, когда подъезжали к Чите, появлялось новое, радостное и тревожное волнение. Мы часто говорим: «Босоногое детство». Вот это самое босоногое детство вставало перед глазами, и было радостно сознавать, что оно было, что живо в памяти, и что все происходило на этой вот земле, что лежит за окном, под снегом, и что именно там, на желтой и мокрой под сугробами траве, на песчаном откосе у парома на Омутовке, тоже, наверное, покрытого ледяною коркой, время еще хранит следы твоих босых ног. Фантазия, конечно, воображение; сейчас както не возникает таких ассоциаций; а тогда — хотя за плечами была война, и уже колючею щетиной покрывались за ночь щеки, и сам я чувствовал себя так, будто был не просто мужчиной, но человеком, прожившим, по крайней мере, первую и главную половину своей жизни, — хотя именно так я думал и считал себя вполне возмужавшим и лишенным всякой *не присущей* мужчинам чувствительности (наивно, конечно, звучит это теперь!), но в воображении я все же представлял себе

те самые следы своих босых иог на траве и песке. Мы бегали из деревни на Омутовку ие только порыбачить и покупаться, но, главиое, интересио было смотреть, как старый, облеплеиный лягушечьей зелеиью паром, нагруженный возами с сеном, скрипя и вздрагивая, двигался от одного берега реки к другому, натягивал висевший иад водою толстый железиый трос. Я видел все это, а вернее, воображал, глядя на покрывавший землю и замерзшие речушки ослепительио белый под солнцем сиег, и воспомииаиия то словно уводили меия вглубь, к вечерам, когда мы, деревеиские ребятишки (хотя я и приезжал всего лишь иа лето, но так сживался и так дружил со своими сверстниками из Севастьяновки, что к концу лета обычио ие только сам, ио и иикто ие считал меня иедеревенским), когда мы собирались у костра, закапывали принесеиную за пазухой картошку в горячую золу и потом, обжигая руки и губы, ели ее, иногда иепропечеииую, иногда иаполовиину сгоревшую, похрустывая зауглившимися корочками, и слушали, как паромщик рассказывал длинную, мие так казалось, нескоичаемую историю про драгоцеииый, сверкавший золотом и алмазами китайский императорский скипетр. Теперь я зиаю — есть об этом толстая киига; ио тот иаш паромщик, дядя Яков, за всю жизнь только и прочитал эту книгу и пересказывал нам ее иа свой лад, добавляя, по-своему изменяя и усиливая самые такие щипательиые места, и в этом, думаю, был для иего какой-то свой, особый интерес и смысл жизии, а для иас — тоже свой, мальчишеский иитерес. Да, так вот, то уводила меня память, как я уже говорил, к тому костру, тем вечерам, и я видел себя сидящим перед дядей Яковом с разломлеииой картошкою в руках и с широко раскрытыми глазами, то вдруг вставали перед мысленным взором месяцы и дни, когда уже шла война и я тайком от матери готовился убежать иа фроит. Нас было шестеро — все из одного девятого «Б», — и замысел свой держали в тайне; мы приходили в школу пораиьше, засовывали портфели за дровяной штабель, сложеииый в школьиом дворе, и отправлялись либо в воеикомат с зажатыми в ладонях заявлениями (в воеикомате нас уже, конечно, хорошо знали, и дежурный офицер, еще издали завидя иас, выходил из своего кабинета с окошечком и стаиовился посреди дверей, улыбаясь и преграждая дорогу), либо бежали на вокзал, высматривали и выискивали пути, как лучше и незаметнее про-

браться в уходивший на фронт эшелон. Но походы эти не всегда заканчивались для нас гладко. Однажды, вернувшись в школьный двор к полудню, как обычно, к концу занятий, мы не нашли своих портфелей за дровяным штабелем; их обнаружил истопник, почтенный Семен Игнатьевич, как его все звали, и отнес директору на стол. Он поджидал нас, стоя за остекленной дверью, и когда мы, озадаченные пропажей — как можно явиться домой без портфеля! — толклись возле штабеля, вышел из-за двери и, растворяя довольную улыбку в окладистой и длинной, какие носят теперь только швейцары в ресторанах, седой бороде и поманивая пальцем, проговорил: «Сюда, сюда, голубчики, к директору в кабинет, там и дорогие мамаши вас поджидают». Стоя у окна вагона, волнуясь и улыбаясь про себя, я как живого видел теперь выходившего из-за двери почтенного Семена Игнатьевича и видел всех нас шестерых, с опущенными головами стоявших в директорском кабинете; на покрытом зеленой суконной скатертью столе лежали рядком, один возле другого, наши набитые учебниками и тетрадями портфели, и даже глобус, по-моему, был переставлен по этому случаю на подоконник, чтобы освободить место. Что говорил директор? Ну, ясно, что он мог говорить. Как смотрели на нас матери? Как смотрела на меня моя мать? Так же отчетливо, как почтенного Семена Игнатьевича, как наши разложенные на столе портфели, я видел теперь перед собою лицо матери с усталыми, заплаканными глазами, и, может быть, как раз в эти минуты, в поезде, когда вспоминал все, впервые мне стало не просто жалко мать, а какое-то не испытанное прежде чувство вины за причиненную ей боль как бы обожгло сердце. Мать не ругала; она ничего не сказала тогда; мы вышли из школы, она взяла меня за руку, пальцы ее были холодными, глаза то и дело наполнялись слезами, а я чувствовал себя подавленным, видя ее такой, и думал, что все это из-за меня, и только лишь вечером узнал, что пришла похоронная на отца. Эта похоронная лежала на комоде, сложенная вдвое, и я случайно, уже перед самым сном, заметив незнакомую бумажку и развернув, прочитал ее. У меня не тряслись руки, помню, но я весь белый, как будто обескровленный, стоял у комода; потом прошел в комнату, где лежала мать на кровати, нераздетая, в черном платье и с красными от слез глазами, и, упав на колени, уткнулся лицом в ее мягкую грудь.

«Ничего, — сказала она тихо, почти шепотом, погладив ладонью мою тогда еще, конечно, не седую голову. — Только ты не убегай больше, Женя».

«Не буду, мама».

Я с торжественностью говорил себе, что буду теперь примерным сыном, что не оставлю мать и не побегу больше ни на вокзал, ни в военкомат, а дождусь дня, когда сама собою придет повестка, и уже как положено, без лишних слез и причитаний (как провожала мать в армию отца), соберет она меня в трудную военную дорогу, благословив своим материнским словом, а пока буду помогать ей во всем, как делал отец и как должен я теперь, единственный в доме мужчина; так говорил я себе, но, как мне сейчас кажется, уже тогда, в те минуты, я знал, что не смогу выполнить это обещание, потому что есть еще клятва перед ребятами, есть страшная договоренность: «На фронт!» — которую я действительно-таки нарушить не мог, и похоронная на отца уже в тот вечер вместе с болью и жалостью к матери пробуждала во мне и чувство долга, расплаты за смерть отца. И я все же ушел добровольцем, правда, не на фронт, а в военное училище, как и все друзья мои по девятому «Б», и вот теперь, в приближавшемся к Чите поезде, те будто забытые за время окопной жизни и будто заслоненные думой о Калинковичах, о Ксене, о воображаемой совместной жизни с ней переживания повторялись в сознании, и я не в силах был ни долго стоять у окна, ни сидеть на одном месте, ни слушать, что говорили мне и о чем вообще рассуждали в вагоне люди, а, волнуясь, торопил стук колес и отсчитывал в уме остававшиеся еще до Читы перегоны.

Все воспоминания связывались больше всего с матерью: и то, что я писал ей последнее время редко, да и суховато, как мне казалось, и что поехал сначала в Калинковичи, а не домой («Эх, Ксеня, Ксеня,—говорил я про себя, — а могли бы ехать сейчас вместе!»), и что о своей демобилизации сообщил не из Пургшталя, а только из Калинковичей и в день отъезда, — все это теперь каким-то тревожным упреком ложилось на душу; особенно неприятно было вспоминать тот далекий прощальный вечер, когда, вместо того чтобы побыть с матерью, я почти до трех ночи, как уже говорил вам, пробродил с Раей по морозным улицам Читы, заходя в чужие подъезды и таясь по темным углам. Мне не вспоминалось ни ее лицо, ни черное заталенное пальто с узким

беличьим воротничком и такими же узкими манжетами из беличьего меха и опушкой понизу, в каком она была в ту ночь, ни слова, о чем мы говорили, ни чувства, вернее, ничего, что было тогда значительным и казалось незабвенным, а все время как бы стояла перед глазами наша изба со ступенчатым, под навесом крыльцом, с печью на кухне и комнатою, где сидела в одиночестве, скрестив, наверное, на груди руки, мать, ожидая меня и глядя на остывавший на столе прощально-праздничный ужин; я не мог простить себе это бесцельное, как оно представлялось мне теперь, ночное хождение по морозным улицам, и каждый раз, как только передо мной открывалась картина, как я вошел в комнату и увидел дремлющую на стуле мать и накрытый салфетками остывший ужин, я морщился, как от боли, от щемящего чувства вины перед матерью. «Нет, такого больше не будет, — говорил я себе в утешение. — К черту все, и Раю, и Ксеню, все-все к черту!» С этим чувством вины и сознанием того, что уже ничто подобное со мной не повторится в жизни, я сошел на родной читинский перрон. Но когда я встретился с матерью, лишь в первые часы (может быть, даже в первые минуты), пока мы смотрели друг на друга и она, вытирая слезы радости, говорила, что счастлива, что не спала ночи, ожидая, как только получила телеграмму, что еду, — лишь в эти первые часы встречи, как бы забыв все, я испытывал искреннюю радость, был оживлен и весел и тем радовал мать. Мы просидели за столом весь день и вечер, приходили соседи, поднимали рюмки, поздравляли и уходили, а мать, похудевшая с тех пор, как в последний раз, это было зимой сорок второго, я видел ее, поседевшая, в знакомом мне синем шерстяном платье, суетилась, не зная, как угодить, что поставить передо мною, и то и дело, подходя, прижимала мою голову к себе, и гладила, и разглядывала уже начавшие тогда, в двадцать один год, седеть виски. Вот сейчас, когда я рассказываю обо всем этом, мне кажется, что день тот прошел в каком-то хмельном — не столько от выпивки, как от волнений и разговоров — угаре, и я только помню, что, когда уже лежал в постели и засыпал, мать сидела рядом на стуле и все смотрела на меня счастливыми(ни раньше, мне кажется, ни потом я уже никогда больше не видел ее такой счастливой), как только могли быть у матери, дождавшейся с войны сына, глазами.

На другой день как будто еще продолжалось то приподнятое настроение, хотя, в сущности, я уже только казался веселым, только внешне поддерживал тон разговора и улыбался, даже смеялся, когда это было к месту, но время от времени вдруг вспоминались Калинковичи, Ксеня, *опередивший* меня комбат, и я весь как бы перемещался в ту сферу мучительных переживаний, будто все еще находился в дощатом станционном бараке, досадуя, злясь и торопя коменданта, чтобы поскорее посадил меня в любой проходивший на Москву поезд; только в первое утро, когда деревянной лопатой расчищал во дворе наметенный за ночь снег, сознание того, что я дома, что вот они, в голубом инее с детства знакомые до каждой трещинки бревенчатые стены родной избы, еще вызывало радостное чувство, но уже на второй и третий все казалось будничным, обычным, и за этими стенами виделись другие, те, что памятны были по Калинковичам; только в самом начале, когда ходил в военкомат, чтобы стать на учет, получить военный билет и положенную мне как фронтовику, хотя я еще нигде не работал, хлебную карточку, — еще как бы в новизну были немного забытые и радовавшие теперь глаз кирпичные здания на центральной улице и деревянные избы на окраинных, почти примыкавших к тайге, я останавливался и любовался всем, но спустя неделю ничто уже не привлекало внимания, а мысли как бы сами собою переносили меня в то недавнее прошлое, к тем событиям, которые еще свежи были в памяти, и я в каждом деревянном домике, в том числе и в своей избе, искал и находил сходство с той, что стояла в Калинковичах на въезде со стороны Мозырского шоссе. Переживал я про себя, молча; матери же представлялся каким-то, как я думаю теперь, чужим, непривычно замкнутым, каким никогда не был прежде; сколько раз я ловил на себе ее вопросительно-тревожные взгляды и понимал, что означали эти взгляды, но не мог пересилить себя и только более мрачнел и замыкался.

Я знаю, что думала обо мне мать; она полагала, что все это от вида крови, от страшных картин войны.

«Слава богу, хоть не пьет», — сказала она однажды соседке, и я случайно, сидя как-то у раскрытого окна, дело было уже летом, услышал этот разговор.

«А у Никитиных вон тожеть не пьет, а по ночам такие команды выкрикивает, душу леденит».

«Молчит мой, уж что с ним, молчит. Ни на вечера, никуда, а ведь и невеста была, и хороша, и характером мягка, а уж угодить готова была, да и в жизни пристроена, учительница, но и слышать не хочет».

«Насмотрелся, поди, смертей-то?»

«Уж как ни насмотрелся».

«Вот и отбило охоту жить, это бывает так».

«Не знаю что и думать».

«А по ночам кричит?»

«Нет».

«Ну, милая, тебе еще повезло, скажу».

Не раз, конечно, они говорили вот так обо мне, как говорили тогда о своих вернувшихся с войны огрубевших и очерствевших сыновьях и мужьях, наверное, все матери и жены, но что было делать мне? Матери я ничего не рассказывал; я никому ничего не рассказывал, старался забыть все, не думать, не растравлять душу, но только умом и понимал, что думать не надо, а в том незримом мире, вернее, невидимом для других мире, который, я верю, носит в себе каждый человек, продолжал жить прежними тревожными воспоминаниями; и я никак не мог примириться с тем, что комбат *опередил* меня; мне казалось, что я имел больше прав на Ксеню, что я сделал бы ее счастливее, чем он, потому что чувствовал, сколько копилось во мне добра, тепла и нежности к ней. Оттого-то и был я неразговорчивым и мрачным. Мать же понимала только одно — война сделала меня таким, как будто не ее сыном, она и умерла, знаете, с этой сокрушавшей ее мыслью, так и не узнав правды, и меня теперь запоздало мучает иногда по ночам совесть. Но, может быть, она и была права: конечно же, война! Иначе разве я попал бы в Калинковичи и случилось ли бы со мной все то, что было? Однако я опять забежал вперед; мать умерла спустя почти семь лет после того, как я вернулся, а в ту первую зиму она еще старалась, как она говорила, вернуть меня к жизни, особенно в первые недели, и то и дело напоминала о Раечке, которая жила теперь уже под Читой, в Антипихе — есть такая небольшая железнодорожная станция с крутым песчаным откосом и высокими соснами, будто рассыпным строем, как атакующая пехота, вбегавшими в станционный поселок, — и вела там первый класс начальной школы.

«А у нас Раечка была, — обычно начинала разговор мать, когда я возвращался после первых и неопре-

деленных еще поисков работы домой. — Привет тебе передавала. Ты что же, забыл ее?»

«Очень хорошо», — отвечал я и уходил к себе в комнату.

Рая приезжала еще и еще, но каждый раз появлялась в доме в те часы, будто специально, когда меня не было, и я узнавал обо всем лишь от матери; не помню теперь точно, что побудило меня, но однажды, уступив советам матери, я все же решил поехать в Антипиху и навестить Раю.

Было безветренно, тепло, как только может быть тепло в декабре, когда пошедший еще ночью снег продолжал устилать, разумеется, уже не первою порошею землю, и от медленно и густо падавших снежинок, от низко нависшего над головою, отяжелевшего темного неба, от вида будто сгрудившихся домов и спешащих по улицам машин, наконец, от людской толчеи, которая, чем ближе я подходил к вокзалу, тоже торопясь, чтобы успеть на очередной отходивший на Антипиху пригородный поезд, тем становилось заметнее, создавалось впечатление сумрачного зимнего вечера, хотя было всего около двенадцати дня; это впечатление довершали горевшие вдоль всего перрона электрические фонари, возле которых кружились, как мошкара, крупные снежные хлопья, и опушенный снегом состав поблескивал в свете этих фонарей. Все вокруг было словно наполнено нашей особенной, сибирской красотой и размягчало душу; есть все же что-то успокаивающее в мерно падающих белых снежинках, и оттого-то, наверное, и во мне все как бы наливалось покоем, умиротворением, я с удовольствием смотрел на заснеженные фуражки проводников, на лица, мокрые, будто вспотевшие от подтаивавшего на щеках снега, и только в самый последний момент, когда состав уже тронулся, вскочил на подножку и вошел в вагон. За окном, пока поезд шел, был все тот же застилавший все белым снег; той же будто медленно и ровно оседавшей пеленою ложился он под ноги, когда я шагал уже среди деревянных домиков маленького станционного поселка, поглядывая на полузалепленные летящими хлопьями номера на фасадах, с трудом разбирая и отыскивая нужный мне. Я не знал, где жила Раиса теперь, но у меня был ее адрес, и в этот

воскресный день я надеялся застать ее дома. От вида ли падающего мерно снега, от чего ли другого, но только, как я уже говорил, какое-то именно удивительное спокойствие, даже будто безразличие владело мною: нельзя сказать, чтобы я совсем не думал о прежних своих отношениях с Раей, о наших встречах, в конце концов, о письмах, которые писал ей в первые месяцы с фронта, но воспоминания эти, пока я не увидел самою Раю, не волновали меня. «Ну учились вместе, — говорил я себе, — ну и что? Разве первая записка, в которой я написал: «Есть билеты в кино. Хочешь? Буду ждать у входа», — но что та записка и что оттого, что Рая пришла тогда?» С какой-то холодной медлительностью, как падавший на плечи снег (я был в шинели; я ведь, знаете, почти три года носил ее, прежде чем сумел заменить на обыкновенное гражданское пальто), и с какой-то, как теперь мне кажется, непростительной и незаметной, разумеется, на лице усмешкой я вспоминал, как мы сидели в тот вечер в зале кинотеатра, какое уж было там кино, я больше поглядывал на нее, чем на экран, и хотел и боялся дотронуться до нее; мне смешно было теперь видеть себя тем глупым, вообразившим невесть что девятиклассником, а главное, когда я спрашивал себя: «Что я нашел в ней хорошего?» — ничего сколько-нибудь вразумительного не приходило в голову. «И отличницей не была, — думал я, — разве что стихи умела читать, как никто в классе. Да, стихи, конечно, она умела читать», — повторил я, чувствуя, как теплотою вдруг отдалось это воспоминание во мне. Она читала их не на сцене, а в классе на уроках литературы, и все мы, обычно повернувшись, смотрели на нее; она жила тем, о чем говорила, свой, особенный мир подымался и играл на ее лице, и я не мог оторвать глаз от нее в такие минуты; чем-то все-таки привлекала же она меня; но мир этот ее был как бы мгновенным и затухал сразу же, как только, закончив чтение и услышав от учительницы: «Молодец, Скворцова, ставлю «отлично», — она садилась за парту; да, мир ее был мгновенным, вспыхивавшим и угасавшим под влиянием проникновенных ли строк поэтов или еще от чего-то, о чем я не знал, да и не узнаю теперь до конца жизни, а у Ксени, которую я не мог мысленно не сравнивать с Раей и которая в сравнении представлялась мне еще более привлекательной и красивой, у Ксени *мир этот* был постоянным, все время

жил в ней и, я лишь повторю сказанное, как бы подсвечивал, одухотворял ее лицо; *мир этот* был естественным состоянием ее жизни, я чувствовал и верил в это, хотя к тому времени лишь два раза встречался с ней; и не ошибался, вы узнаете потом, нет, не ошибался, и это только еще раз подтверждает мое предположение, что есть между людьми какое-то бессловесное взаимопонимание; с горечью, не обращая внимания на залеплявший глаза снег, я думал, что потеря Ксени равна для меня, в сущности, потери жизни и что, конечно же, ни Рая, ни кто-либо еще не смогут затмить в моем сознании память о ней, но, думая так, продолжал все же шаг за шагом приближаться к дому Раи. Запорошенный сырым, липким снегом, почти один на широкой пустынной улице станционного поселка, я все чаще останавливался возле длинных, барачного типа, рубленных еще до войны изб и, когда, найдя наконец нужный номер, вошел, стряхнув с себя снег, в тусклый, пахнущий кухней коридор, — вдруг так же, как в Калинковичах перед домом Ксени и Марии Семеновны, остановился, ощутив острое желание сейчас же вернуться домой и лечь на притуленный к теплой печи диван, который уже тогда, в те первые прожитые дома недели, стал для меня излюбленным местом дум и воспоминаний; но если в Калинковичах я не решался войти из боязни как буду принят, помнят ли меня, из боязни, в сущности, отказа, то теперь, когда стоял перед комнатою Раи, опасения совсем иного порядка заставляли меня молча смотреть на обитую черным дерматином дверь; мне казалось, что, если я сейчас переступлю порог, что-то святое и чистое будет разрушено во мне и что я уже никогда не смогу простить себе этого; но в то же время и уйти я не мог, потому что как бы чувствовал, что за моей спиною стоит мать и смотрит, как смотрела утром, обрадованная, когда провожала меня, и уже только от одного сознания, что своим уходом я огорчу ее, я мучительно морщился. Вот так, в нерешительности, не вполне уверенный, что делаю то, что нужно, я все же шагнул к двери и негромко постучал в нее.

Я застал Раю в том обыденном, домашнем одеянии— халате — и со слегка взлохмаченными, не очень тщательно причесанными волосами, проще говоря в том виде, в каком женщины, по обыкновению, не любят представать перед мужчинами, полагая, что выставляют себя в самом невыгодном для них свете, тогда как имен-

но в этой самой *домашности*, без украшений и подмазок, они бывают гораздо привлекательнее, веет от них сущностью жизни, приятным и добрым семейным уютом. Но это так, к слову. Едва только Рая открыла дверь и увидела меня, руки ее мгновенно схватились за неприлично широко, как ей, наверное, показалось, расстегнутый ворот халата, и она запахнула его, потом поправила ладонями прическу, и снова руки ее прижались к груди у ворота. Так же, как и Ксеня (есть, очевидно, что-то общее при неожиданных встречах, во всяком случае, хотя бы в произносимых словах), но только не с удивлением, а скорее с испугом на лице и в глазах Рая спросила:

«Ты?»

«Да, я».

«Что же ты не предупредил? Я в таком виде. Ну входи, входи же, как ты неожиданно! Когда ждала, не приходил, а перестала ждать — явился. Ну проходи же!»

Еще когда только собирался сюда, я знал, что жила Рая одна, что комнату эту предоставила ей школа, а что родители так и остались в Чите и лишь изредка, занятые своими делами, приезжали к ней (или она приезжала к ним), и теперь, войдя, раздевшись и присев на предложенный стул, не без любопытства, хотя все с той же, может быть даже заметной для Раи, холодностью и отчужденностью поглядывал на кровать, шифоньер, стол, на все то, чем и как была убрана и обставлена комната, и в то же время то и дело вскидывал взгляд на Раю, которая в совершенной, как мне казалось, растерянности, так и не выпуская из пальцев запахнутый на шее ворот халата, издали, от дверей, глядела на меня, она ждала, что я скажу, и я видел и понимал это; более того, я знал, каких слов она ждала, но слов этих у меня не было, и мне жалко и больно было смотреть на Раю. «Ну вот, пришел, — с раздражением говорил я себе, уже не думая о матери, о всех тех причинах, которые побудили меня прийти сюда (было же в мыслях и такое: «Не только на Ксене все сошлось клином!»), а сообразуясь лишь с теми чувствами, какие сейчас возникали во мне и вызывали как раз это самое раздражение. — А для чего пришел? Кому нужна эта неприятная, по крайней мере для меня, сцена? Ведь я же знал, что она... я же знал...» — продолжал я повторять про себя. Все те перемены, которые произошли

с Раей с тех пор, как я в последний раз видел ее, я заметил еще в минуту, когда она только открыла мне дверь, и сейчас — то первое впечатление, что она похудела, вытянулась и что от прежней школьницы ничего не осталось, а что передо мною стояла теперь молодая женщина лишь со знакомыми чертами лица, — то первое впечатление все более утверждалось во мне, чем дольше мы молчали и смотрели друг на друга. На вешалке, и это я сразу отметил про себя, когда еще с шинелью в руках подходил к ней, висело аккуратно надетое на плечики все то же черное, с узким беличьим воротничком и опушкой понизу знакомое мне пальто, и Рая, уловив мой взгляд, еще тогда, в ту же секунду, как-то вдруг съежилась, как бы стесняясь этой подмеченной мною бедности; и халат на ней был хотя чистенький, байковый, но заметно потертый, и она стеснялась и этого; да и все в комнате было скромно, бедно, на покрытом клеенкою столе рядом со стопкою ученических тетрадей, которые она, наверное, только что проверяла, стояла ученическая непроливашка с торчавшею из нее тоненькой, и, как мне подумалось тогда, еще школьной ее ручкой, и она, видя, как я оглядываю все это, с тревогою и смущением следила за мною. Я понимаю, да и тогда сразу понимал, как бы ей хотелось устроить жизнь и как принять меня, и как раз оттого, может быть, что понимал, от той все больше возникавшей жалости к ней я чувствовал, как что-то далекое, прошлое и пережитое вдруг шевельнулось во мнѐ, и я уже не с холодностью, а, сам того не замечая пока, с участием посмотрел на нее; и сейчас же, знаете, взгляд этот был принят и понят ею, и она сказала:

«Я рада, Женя, что ты пришел, а то я уже начала думать, что ты совсем забыл обо мне. Как ты возмужал, боже мой, — ни на секунду не отрывая от меня взгляда и теперь уже как будто с удивлением продолжила она. — Боже мой! — громче повторила она, и слова эти, которые прежде я слышал только от матери и вообще от пожилых людей, с той же естественной простотою, как они обычно звучали в устах матери, прозвучали в ее голосе. — Чем же угостить тебя? Так все неожиданно, вдруг!»

«Ничем меня не надо угощать».

«Это почему?»

«Я ненадолго».

«Что значит «ненадолго»? Я просто не отпущу тебя, столько не виделись, и вдруг ненадолго», — сказала она, все еще сжимая ворот халата, и белые пальцы ее рук, казалось, слились с таким же белым, чуть удлиненным от худобы и наклоненным теперь к груди подбородком. Ей надо было переодеться и уложить волосы, она с беспокойством то и дело оглядывала комнату, где бы можно было сделать это, я видел ее беспокойство, но не понимал, отчего оно (это ведь только теперь, задним, как говорится, числом мне все ясно, а тогда не только это, но и еще многое другое я толковал иначе, чем оно было на самом деле); взять платье и уйти в общий и холодный коридор она не решалась и, в конце концов, только слегка поправив перед зеркалом волосы и заколов ворот халата какою-то перламутровою в виде тоненького листика брошью, принялась хозяйничать у стола и возле электрической плитки. Лицо ее как бы посветлело, когда она расстилала на столе скатерть, раскладывала и расставляла тарелки, стаканы, вилки и ложечки, и я, совершенно не думая о том, как воспримет Рая, что я смотрю на нее, даже, по-моему, сам того не замечая, что делаю, молча и внимательно следил за ней; она готовила омлет из яичного порошка; движения ее были мягкими, красивыми, и происходило это, наверное, как раз потому, что она, чувствуя на себе мои взгляды, все более обретала уверенность, и минуты эти были для нее, конечно, минутами счастья. Не то чтобы она старалась, но все само как-то особенно ладилось в ее руках, и она радовалась этому, была вполне довольна собой, и когда, улучив мгновение, оглядывалась на меня, все эти мысли и чувства были как бы ясно написаны на ее возбужденном и немного раскрасневшемся от этого возбуждения лице. Она включила электрическую лампочку, чтобы было светлее, и задернула белые ситцевые шторки на окне; когда омлет был готов, достала бутылку водки и банку консервов со свиной тушенкой, которые приготовила и берегла, разумеется, для этой встречи, и, поставив все это перед мной и извинившись, что только вот хлеба маловато, потому что у нее не *рабочая,* а лишь *служащая* карточка и что она тут ничего не может поделать, попросила открыть консервы и водку.

«Женя, ты же победитель, — сказала она, когда мы, произнеся первый за встречу и сегодняшний вечер тост, выпили и уже закусывали горячим, еще и не осевшим

омлетом (она-то лишь отхлебнула глоток и, сморщившись и закашлявшись, поставила стакан на стол; да и потом она только пригубляла и морщилась, произнося каждый раз: «Боже мой, как только вы пьете ее!»). — Ты же победитель, — повторила она, — прошел такую войну, выжил, вернулся, ты должен радоваться, а на тебя скучно смотреть. Ты же победитель, — в третий раз проговорила она, глазами, всем выражением лица, как я теперь вижу, стараясь вызвать во мне то самое чувство, какое должно было стоять за этим словом *победитель.* — Ты должен радоваться, а ты!.. Ну уж мы ладно, мы терпели и делали все, чтобы вам было легче там, на фронте, и мы ждали, я говорю «мы», Женя, не потому, что хочу приобщить себя к какой-то большой, общей жизни, но поверь, я знаю, что думали женщины, по крайней мере, матери моих первоклашек, да и сама я, ах, боже мой, да что говорить, мы ждали, что вот вы, вернувшись со славою, вдохнете жизнь во все это обветшалое, — слегка рукою она показала на стены и сгорбленный потолок своей барачной коммунальной квартиры, — заждавшееся настоящих мужских рук, а ты какой-то угрюмый, мрачный. Что с тобой?»

«Вдохнуть жизнь», — с усмешкою повторил я, не скрывая ее от Раи.

Мне странными показались тогда ее слова, как бы наполненные неуместной для той минуты приподнятостью, и потому усмешка, хотя Рая еще долго продолжала говорить об этом, все время, пока она говорила, не сходила с моего лица; но теперь я чувствую себя неловко за то свое поведение; ведь я не понимал ее, она казалась мне неинтересной, скучной с этими своими рассуждениями, в то время как в ней теплился свой и по-своему, наверное, красивый мир забот, счастья и горя; я почти не смотрел на Раю, но будь я чуть повнимательнее, непременно уловил бы проявление этого мира и в словах и в голосе, как она произносила их и глядела на меня при этом, и заметил бы, сколько тревоги, той, что всегда готова перейти в радость от одного только ласкового жеста или слова, было в ее глазах. Мне думается, что, говоря о женщинах и вернувшихся с войны победителях, которые должны были уже лишь своим настроением вдохнуть жизнь во все истосковавшееся и ожидавшее их, она имела в виду себя, свои желания и надежды, но, может быть — и чем дальше отдаляет меня время от того вечера, тем острее

я начинаю осознавать это, — она жила общею с людьми жизнью, их мысли были ее мыслями, она не выделяла себя и была права в своих упреках. Мы иногда считаем (я имею в виду мы — фронтовики), что именно нам выпало на долю перенести всю главную тяжесть войны, тогда как вот сейчас, возвращаясь к прошлому и представляя, как все могло быть с Раей, как ей, в сущности еще школьнице, только-только окончившей десятый класс, с нежною, еще не окрепшею в убеждениях душой пришлось окунуться вдруг, сразу, в мир труда, забот, напряжения и горя, как она, в сущности, я говорю, еще школьница, приняв первый класс, заходила в дома к своим ученикам и, разговаривая с родителями, выслушивала их нужды, читала похоронные, и уже в силу того положения, что она — учительница, должна была утешать, ободрять, вселять надежду во всех этих людей, в то время как отец ее уже без ног лежал в госпитале где-то под Куйбышевом и должен был вот-вот вернуться домой, а от брата-танкиста так и не было еще писем с тех пор, как он отправился на фронт, да и я тоже почти перестал писать ей после Калинковичей, так вот, возвращаясь к прошлому и представляя себе все, я уже по-другому смотрю на прожитое, и боль, какую причинял в тот вечер Рае, каждый раз вспоминая, испытываю сам и говорю себе лишь в утешение известную, с позволения сказать, народную мудрость: «Век живи, век учись». В том своем черном заталенном пальтишке с беличьим воротником и беличьей опушкой понизу, которое я хорошо знал, которым любовался когда-то, когда оно еще было новеньким на ней и которое все еще служило ей и теперь, обветшалое и потертое, и висело на вешалке у входа, в подшитых валенках, которые тоже стояли у порога и на которые я часто взглядывал в тот вечер, сидя за столом напротив Раи, я как живую вижу ее бегущей по морозу от избы к избе и от барака к бараку в маленькой заснеженной Антипихе со ступившими на улицу заиндевелыми соснами и снова и снова ощущаю всю ту несправедливость, может быть даже жестокость, с какою я обошелся с ней в тот вечер. Но что я мог поделать? Я пил и усмехался всему, что она говорила, и, знаете, удивительно, сколько же было в ней терпения, что она как бы не замечала эту мою усмешку. Мне кажется, она делала все, чтобы удержать меня, и старалась понять, что же произошло, отчего я так переменился к ней, и надежда, что все еще

может наладиться, все эти часы, по-моему, пока я был у нее, ни на секунду не покидала ее; под конец она даже решилась на такой шаг, который стоил ей, конечно же, огромных душевных усилий. Все было так, что я не могу без упрека и сожаления вспоминать об этом, потому что, очевидно, причиняя другому боль, человек не может не чувствовать той же боли в себе или, по крайней мере, не сознавать ее, пусть потом, после, спустя день, год или в конце жизни.

А случилось вот что.

Последний пригородный поезд отправлялся из Антипихи в Читу в двенадцать тридцать ночи, и я, подчиняясь настоянию Раи, согласился ехать этим последним поездом. Было еще только начало одиннадцатого, когда она, по-своему, наверное, истолковывая мое мрачное настроение и желая еще хоть чем-то угодить мне, предложила прилечь на кровать и отдохнуть. «Ты же устал, я вижу, чего уж тут», — говорила она, снимая и аккуратно складывая голубовато-светлое покрывало с кровати, и хотя я не чувствовал себя усталым и в голове, казалось, все было ясно и чисто, я поднялся из-за стола и, охотно входя в эту предложенную роль утомленного и огрузневшего от угощений человека (так легче было скрывать свои чувства от Раи), не раздеваясь и не снимая сапог, прилег на кровать и свесил к полу ноги. Сначала я лежал с открытыми глазами, потом прикрыл их, некоторое время еще прислушиваясь к тому, о чем говорила убиравшая со стола Рая, но я уже как бы погружался в тот мир дорогих мне воспоминаний, который и в этот вечер, да и потом многие годы, что бы я ни делал и о чем бы ни думал, постоянно жил во мне и волновал меня. Иногда Рая спрашивала, перебивая себя: «Ты слышишь, Женя?» — и, не дожидаясь ответа и не замечая, что я уже не слушаю ее, продолжала свое. Но в какую-то минуту, наверное, вдруг почувствовав, что я совершенно не участвую в разговоре, громко спросила:

«Женя, ты что, спишь?»

Я не ответил.

«Ты спишь, Женя?» — повторила она и, чуть выждав и снова не услышав ответа, оставила свое занятие и тихо, на цыпочках, подошла ко мне.

Прошло столько лет, а я хорошо помню, как она, наклонившись и разглядывая мое сонное, как ей казалось, лицо, погладила волосы, прикоснувшись ладонью ко

лбу, и мне приятно было это прикосновение; подбородком, щеками, прикрытыми веками чувствовал я на себе ее дыхание, близость ее ласково, конечно, смотревших на меня глаз, и все это тоже вызывало приятное ощущение. Я все еще продолжал думать о Ксене, но вместе с тем представлял себе все то, что делала Рая, — не только выражение ее глаз, не только движение рук и губ, когда она, все еще склоненная надо мной, со знакомой уже и теперь особенно трогавшей естественностью и простотою произнесла не раз за сегодняшний вечер слышанное мною «боже мой», относя это уже к тому, как я быстро заснул, но и то, как за провисшим воротом халата должна была проглядывать сейчас оголившаяся до груди ее худая, высокая и, как мне казалось, красивая белая шея; я не только как бы следил за внешними движениями, определяя по звукам, как Рая отошла и, еще убрав что-то со стола и составив в шкаф, вернулась и принялась стаскивать с меня сапоги, отстегивать ремень и портупею, но и за тем ходом ее чувств, какие она испытывала в минуты, когда, выключив свет и сбросив халат, вся теплая и доступная, съежившись, укладывалась возле меня на кровати; я понимал, на что она решилась и чего ждала от меня, но не шевелился, сам не зная пока, для чего, может быть, чтобы уловить еще какое-то новое подтверждение ее любви ко мне, что ли, старался как бы продлить у нее то впечатление, будто я действительно сплю и ничего не чувствую и не слышу. Она прижалась щекой к моему плечу и представлялась мне маленьким, доверчивым и беззащитным существом, в котором беспокойно и гулко, так, что, казалось, было ясно слышно в густой темноте комнаты, билось сердце. «Боже мой, — машинально, лишь потому только, что слова эти произносила Рая, мысленно проговорил я себе, — и это *она,* та самая, на которую я когда-то смотрел на уроках и на переменах в школьном коридоре как на божество, замирая чистой (но я говорил, конечно, — глупой) мальчишеской душой!» Я лежал тихо, не ворочаясь, и она, пригревшись, тоже лежала спокойно и, конечно, так же, как и я, не спала, и, наверное, десятки разных дум и надежд возникали в ее голове; я не знаю, что переживала она, но ожидание счастья, это знакомое всем нам чувство, каждому человеку, особенно когда счастье кажется действительно реальным и остается сделать к нему лишь один шаг, — это чувство близости

счастья, несомненно, заглушало в ней все иные и то морозцем, потому что я чувствовал, как временами словно дрожь пробегала по ее телу, то жаром, потому что я ощущал и это, как бы вдруг вспыхивавшее тепло, отдавалось в ней. Я совершенно далек от мысли, что ей просто хотелось провести со мною ночь; ни тогда, ни теперь я не могу представить себе такой Раю; перед ее глазами в те минуты, наверное, проходила жизнь, прошлая, девичья, с мечтами и планами, и она воображала меня, каким казался я ей тогда и каким оставался в памяти вплоть до сегодняшнего вечера, и вставали картины ее бытия в Антипихе, и уже новые и не такие возвышенные, как прежде, а основанные на познанной сложности и трудности жизни виделись мечты и надежды, она выстраивала, складывала свою судьбу, тревожась и радуясь, и мне теперь, искренне говоря, жаль, что это ее состояние так ясно я понимаю лишь сейчас, вернее, понял потом, спустя много лет, вспоминая, а не тогда, когда доверчивая и беззащитная, жаждавшая и ожидавшая от меня счастья, она лежала рядом со мной. Не опасаясь, что она может заметить, я открыл глаза и смотрел в темноту, то видя временами синий просвет окна, как будто где-то далеко за лесом, за снежными сугробами светлою полосою уже начинал брезжить рассвет (на самом же деле это за крышею соседнего барака горел электрический фонарь на столбе, и слабый свет от него, притушенный все еще густо порошившим снегом, падал на окно), то временами как бы не было ни синеющего окна, ни темноты комнаты и даже как будто ни лежащей рядом Раи, а я видел себя бегущим к избе там, в Калинковичах, и вот уже держу в ладони приподнятую от снега голову Ксени, и выражение ее лица, молящее выражение глаз: «Видите, а вы не верили и не хотели брать меня», — как упрек, поднимали во мне всю ту прежнюю, уже пережитую боль. Я прислушивался, как дышит Рая, и в то же время весь как бы переносился в тот фронтовой вечер, когда сидел рядом с Ксеней, и серебристо-серые косы (я уже говорил вам, что серебрились они от света керосиновой лампы, висевшей над столом), и то счастливое лицо Ксени опять и опять словно наплывали на меня; морозное крыльцо, и ощущение холодных перил под ладонью, и ощущение гашетки, как я нажимал на нее, стреляя по немецким самоходкам, и прыгающая с крыши Ксеня, и Рая в своем заталенном черном

пальто с узким беличьим воротом, и мать, дремавшая на стуле перед остывшим праздничным ужином тогда, зимой сорок второго иа сорок третий, когда я уезжал в воеииое училище, и ее счастливые глаза теперь, когда я сегодня утром сказал ей, что еду к Рае, и слова Марии Семеиовны, что я *опоздал*, и как будто извиияющийся голос бывшего моего комбата капитаиа Филева: «Но я не мог ииаче, пойми!» — все попеременио, вне всякой последовательиости проясиялось и угасало, и я ии иа чем ие мог остаиовиться, чем более думал обо всем, и чувствовал лишь, что мие жарко, и капельки пота, иеприятио щекоча, скатывались со щеки по шее на подушку. Не зиаю, долго ли я пролежал так; как будто долго; но постепенио, хотя спать, как мие казалось, я не хотел, все расплывчивее и приглушеииее виделись мие картины, все неслышиее становилось дыхаиие Раи, и я не заметил, как задремал и засиул. Когда же проснулся, было утро и Рая, уже успевшая сбегать в магазин за хлебом, готовила завтрак.

Как только она заметила, что я подиялся и сел на кровати, она подошла ко мие, вся улыбающаяся, счастливая и совсем непохожая иа ту, какой я видел ее вчера вечером, и сказала:

«Доброе утро, Женя. Как спалось?»

«Ничего, спасибо».

«Сейчас будем завтракать», — прибавила оиа, глядя иа меия все теми же светившимися счастьем глазами.

Но в то время как оиа чему-то (я иедоумевал чему) радовалась, я чувствовал себя иеловко уже оттого, что сидел перед ией в помятой и расстегиутой гимнастерке; чтобы ие смотреть иа Раю, а главное, ие выказывать своего смущеиия («Как же я заснул», — говорил я себе, живо припомииая подробности и морщась), я подтянул сапоги и иачал обуваться. Пока накручивал портяики, Рая стояла рядом, и хотя я не видел ее, а лишь чувствовал, что она смотрит иа меня, но, знаете, стоит мие хотя бы вот сейчас на минуту прикрыть глаза, как она — вся та, нарядная — сиова как бы оживает передо мною. Она была в голубом, с белой отделкой платье, сшитом, навериое, специально для этой иашей встречи, и волосы были причесаны так, что делали ее лицо чем-то очеиь похожим иа прежиее, школьиое, какое когда-то иравилось мне, я уловил это, и иа мгиовеиие даже старое и забытое уже чувство к ией будто шевельнулось во мие, но именно только на мгновение, потому что бо-

лее всего занимало меня то, в каком, как мне казалось, нехорошем и двусмысленном положении я был теперь перед Раей. Оттого, что я не понимал, чему она радовалась, уже сама эта радость ее вызывала неприязнь и раздражение. «Как же я заснул, черт!» — продолжал я говорить себе, не находя ничего другого, и Раины хлопоты с завтраком тоже представлялись мне излишними и ненужными.

«Я тороплюсь», — сказал я Рае, подходя к вешалке и снимая шинель. — «Все, конец, надо прервать это состояние и мысли», — для себя продолжил я.

«Как? А завтрак?»

«Я тороплюсь», — повторил я.

«Но хоть чаю выпей».

«Не могу».

Я надевал шинель, застегивал пояс и опять не смотрел на Раю; но когда перед тем, как проститься и открыть дверь, взглянул на нее — лицо ее уже не светилось, как только что, счастьем; но и ни отчаяния и ни испуга тоже не было в глазах, а смотрела она тем особенным, присущим только нашим русским женщинам взглядом, в котором улавливалось не то чтобы смирение, а какое-то глубокое спокойствие перед тем, что совершилось, и только руки она вновь держала прижатыми к груди возле шеи, как будто стесняясь, как вчера в минуту встречи, когда запахнула ворот халата, и пожалуй, лишь только это движение ее рук выдавало в ней то чувство, какое на самом деле должна была испытывать она; сейчас я это хорошо понимаю и даже могу вполне представить себе мир ее мыслей, но тогда, мрачно и поверх ее плеч глядя на невзрачный, старый и выцветший коврик, прибитый над кроватью, я сказал: «Извини, я тороплюсь. Извини», — открыл дверь и вышел в коридор. Но в коридоре что-то еще как будто заставило меня задержаться у двери, я прислушался; в комнате не раздавалось ни звука, и тогда, как бы подчиняясь этой тишине, медленно, стараясь не стучать каблуками, я прошел по коридору к выходу.

ЧАС ПЯТЫЙ

— Может быть, это только у меня такой характер — переживать за все и за всех, — продолжал Евгений Иванович, — но уж так было, что ни в тот день, когда вернулся от Раи, ни во все последующие, пока устраивал-

ся на работу, я не мог не думать о ней, и в то время как мне казалось, что я поступил правильно и что всякое другое решение было бы невозможно и отвратительно для меня, — как только оставался один (дома или где-нибудь в приемной, ожидая очереди, но особенно по вечерам, перед сном, когда, погасив свет, еще лежал с открытыми глазами), я постоянно как бы видел перед собою Раю в той позе, с прижатыми к груди возле шеи руками, как оставил ее, и то ли жалость, а точнее, даже не жалость, а будто все то состояние, что испытывала и о чем думала она в то утро (мне же все это было, в сущности, знакомо, я ведь пережил это в Калинковичах), охватывало меня, и я уже мучился и за себя, вспоминая по-прежнему Ксеню и бывшего своего комбата, и за Раю, потому что причиною ее рухнувших надежд был сам, и по утрам, мрачный и неразговорчивый, стараясь обходить взглядом мать, торопливо завтракал и убегал из дому. В довершение ко всему я чувствовал себя виноватым и перед матерью, которой так хотелось, чтобы я был счастлив, и которая, как все, наверное, матери на земле, по-своему понимая мир и людей, видела именно в ней, в Рае, мое счастье.

Когда в тот день мать открыла мне дверь, она с удивлением спросила:

«Один?»

«Да, мама».

«Вы что, поссорились?» — тут же добавила она, потому что нельзя было не спросить этого, глядя на меня.

«Нет, с чего ты?»

Она ожидала нас вместе, готовилась, и потому ее, конечно, особенно огорчило, что я пришел один, но она больше ничего не сказала, а лишь, вздохнув, принялась за свои домашние дела; и на другой день, и на третий тоже ничего не говорила, но я постоянно, как только бывал у нее на глазах, ловил на себе пристальные взгляды, словно она, присматриваясь, как чужого, изучала меня.

Работать я устроился грузчиком на товарную станцию, а с осени пошел учиться в вечернюю школу, потому что надо было еще закончить десятый класс, прежде чем думать об институте; короче говоря, надо было сначала начинать жизнь, и я, знаете, как ни было тогда трудно, всегда с удовлетворением вспоминаю те годы, они кажутся мне удивительными уже тем, как в лишениях и нужде мы настойчиво стремились к цели. Рабо-

та и учеба отнимали столько времени, что, в сущности, некогда было думать ни о Ксене, ни о Рае, да, мне кажется, тогда я действительно как бы забыл о них, и на душе было просветленно, легко, хотя физически уставал иногда так, что вечером, когда приходил домой, не хотелось ни раздеваться, ни ужинать, я прямо в гимнастерке, лишь сбросив сапоги и шинель, валился на кровать и засыпал тут же, мгновенно, ни о чем не думая и не тревожась. Я не повторял слова Раи *«вдохнуть жизнь»* и вообще, как мне кажется, не вспоминал о том нашем с ней разговоре, вернее, о ее упреках, которые вызвали во мне тогда лишь усмешку; но именно они, эти слова, были и остаются теперь, как бы сказать точнее, вроде движущей пружиной в моем сознании, и обязан я этим, конечно же, Рае. Сейчас, спустя столько лет, я говорю это особенно уверенно. В каждом человеке, очевидно, само собою живет такое чувство, но иногда до поры до времени остается неразбуженным, и самое страшное, если остается неразбуженным навсегда. Зимой ли, летом ли, в одних и тех же жестких брезентовых рукавицах, на разгрузке или на погрузке, куда бы ни направлял бригадир, я испытывал то самое чувство — *вдохнуть жизнь,* — какое как раз и делало радостной и работу и жизнь. Я прыгал с подножки крана на крышу контейнера, прицеплял крючья и, подняв руку и крикнув: «Готово!» — снова, едва успевали натянуться тросы, стоял уже на подножке, и негромкий скрежет этих тросов, скрип плывущих контейнеров, стук колес крана на рельсах, наконец, вся видимая мне как бы с высоты жизнь товарного тупика представлялась частицею огромного, набирающего мощь организма. Да, вот так я вижу теперь то свое прошлое. А может, каждому поколению своя молодость всегда видится особенной? Во всяком случае, не только на работе, но и в школе, а позднее и на лекциях в институте, и в публичной библиотеке, где я просиживал за книгами вечера и воскресные дни, принося с собой карандаши, тетради и завернутый в бумажку ломтик серого хлеба, намазанный маргарином, я постоянно испытывал все то же чувство, какое как бы *вдохнула* (видите, я даже теперь употребляю ее слова) в меня Рая, не зная, наверное, сама того, всем своим поведением, как она держалась в тот вечер, всей своей жизнью, как мы теперь называем, тыловика, какою жила она и какая давала ей право на возвышенные слова. Но, еще раз повторяю,

все это понял я потом, а тогда главные впечатления моей только начинавшейся, как я считаю сейчас, жизни были связаны с войной, с Калинковичами, с Ксеней; там все было понятно и близко, а этот мир, то самое, что Филев называл «тянуть гражданку», — этот мир был как бы далек от меня, я только начинал познавать его, и как и первое соприкосновение с ним, так, впрочем, и второе, и еще более запомнившееся, было связано у меня с Раей.

Тогда я только еще заканчивал первый курс института. В один из холодных дождливых вечеров, вернувшись из публички, где подбирал материалы для курсовой работы, я застал мать какою-то непривычно встревоженной и грустной. Она была в черном платье, как в памятный для меня день, когда мы получили похоронную на отца, я заметил этот ее траурный наряд сразу же, едва вошел в комнату, и еще от порога, сняв с одного лишь плеча шинель и так и замерев в нехорошем предчувствии, проговорил:

«Что-нибудь случилось, мама?»

«Да».

«Что?»

«Рая умерла».

Я повесил шинель и прошел в комнату.

«От чего?» — спросил я, мгновенно вспомнив все, что было когда-то между мной и Раей, и еще совершенно не зная, отчего она умерла, но невольно связывая тот свой поступок, когда я ушел от нее, с ее смертью. «Что за чушь», — про себя проговорил я, отгоняя нелепую и, казалось, невесть с чего взявшуюся мысль, и снова спросил у матери:

«От чего?»

Не уверен, что мать не слышала вопроса, но только она ничего не ответила, молча собирая на стол, и можете себе представить, как подействовало на меня это ее молчание. «Да нет, что за ерунда, прошло два с лишним года, что за ерунда», — продолжал я говорить себе. Мысль эта, что я виноват в смерти Раи, конечно же, была нелепой, но, вдруг возникнув, до самой ночи, пока не заснул, не покидала меня; тем более, что, когда я еще в третий раз попытался было узнать, отчего же все-таки умерла Рая, мать так и не ответила, а лишь, выбрав момент, когда еще сидели за столом и ужинали, сказала:

«Завтра похороны, надо пойти попрощаться».

«Надо бы, — ответил я и тут же, так как мать, как мне показалось, с осуждением посмотрела на меня, торопливо добавил: — Конечно, пойду. Надо сходить, а как же».

В тот вечер, знаете, я не подумал, каким образом мать узнала о смерти Раи; мне казалось, что с тех пор, как я уехал от Раи из Антипихи, она никогда не бывала у нас в доме, да и мать как будто не ездила к ней, и никогда не возникал вообще разговор о Рае; она не существовала для меня, а значит, и для матери, так полагал я, но ошибался. Теперь, конечно, когда ни Раи, ни матери нет в живых, я не могу установить, как и что было, Рая ли приезжала к нам, мать ли ездила к ней, чувствуя какой-то долг перед нею, но то, что они встречались, это несомненно, и можно представить, о чем они говорили, как сокрушались, думая обо мне, тогда как я ничего не знал об этом: мне страшно иногда бывает теперь, что я не замечал ничего, живя своим миром, в то время как рядом существовал огромный и мучившийся мир Раи. Не в этом ли и состоит ужасающее человеческое равнодушие? Или, может быть, не всегда, очевидно, и не между всеми людьми есть бессловесный язык, понимание, какое возникло с первой же, кажется, минуты встречи у меня с Ксеней и какого не было между мной и Раей, даже между мной и матерью, но какое появилось потом, вернее, теперь, когда их уже нет, когда все позади, а появилось, наверное, для того лишь, чтобы приносить страдания. Я говорю «страдания», но ведь если бы жизнь могла повториться, если бы вновь я пришел к Рае, — даже при всем том, что я понимаю теперь, я не мог бы поступить иначе, чем так, как поступил, я знаю это и оттого, может быть, и мучаюсь, что живу не как все, не разуму подчиняюсь, а чувству, иногда минутному и ложному. А может, мне только кажется, что все в жизни я делал да и продолжаю делать не так, как нужно, но что, напротив, все это естественно и не должно и не может быть иначе?

Дождя не было, но тучи, черные и низкие, неслись над самыми крышами, и холодный, пронизывающий ветер, казалось, срывал с петель ставни, хлопая ими о бревенчатую стену избы, скрипел калиткой, наваливаясь на нее то с улицы, то со двора. Несколько секунд

я стоял на крыльце, прислушиваясь к этим порывам, пока мать запирала комнату, а когда уже вместе с ней очутился на тротуаре, где ветер как будто дул еще сильнее и буквально окатывал лицо сырым и промозглым воздухом, ссутулясь, втянув, как говорится, голову в плечи, я поднял воротник шинели и так, глядя лишь себе под ноги, прошагал почти до самого дома Раи. Может быть, не так уж и было холодно, но удрученное состояние, в каком находился я с самого утра, как только поднялся с постели (все вчерашние мысли и чувства, как лента, как, знаете, конвейер, который только остановили на ночь, снова пришли в движение с началом дня и жизни), заставляло ежиться, мне было жаль Раю, я снова видел ее перед собой со вскинутыми и прижатыми к груди и шее руками, какой оставил в то уже давнее утро, и жест ее был сейчас особенно ясен мне (как когда-то был ясен взгляд Ксени, когда она, прыгнув с крыши, лежала на снегу и я, подбежав, приподнял ее голову), словно она говорила: «Не уходи, Женя, я не могу одна, со мной непременно что-то случится, не уходи!» Все попытки отвлечься и не думать об этом не приводили ни к чему; идя к Рае и зная, что она лежит сейчас в гробу, я не мог, разумеется, размышлять ни о чем другом, кроме как о ней; иногда я посматривал на мать, которая шагала рядом и тоже, закутанная в шаль и как будто сгорбленная на встречном ледяном ветру, глядела себе под ноги и молчала. Она была худа и тогда уже безнадежно больна и знала это (только я ничего еще не подозревал, потому что она никогда не жаловалась, лишь постепенно и как бы незаметно для меня слабея и усыхая), а смерть Раи, наверное, лишь усугубила ее болезнь; во всяком случае, так я думаю теперь, да, пожалуй, так оно и было, и я, как бы ни хотел, не могу снять с себя эту тяжесть. И еще одно обстоятельство, над которым я тогда не задумывался, часто тревожит меня сейчас: как, каким образом и когда (может быть, в войну, а может, уже потом, после того как я ушел от Раи) мать познакомилась с Раиными родителями — Петром Кирилловичем, когда-то веселым, красивым и разговорчивым, каким я знал его, банковским служащим, а теперь безногим, беспомощным, передвигающимся на роликовой тележке, каким, ужаснувшись, увидел его в это утро, инвалидом, и Лией Михайловной, тоже когда-то красивой и теперь поседевшей от бед женщиной; мать бывала

у них и когда Рая еще была жива, и потом, когда ее не стало, а когда умерла сама, и Лия Михайловна и Петр Кириллович приехали на инвалидной машине на ее похороны, я это хорошо помню, и проводили до самой могилы. Они встречались, разговаривали, дружили, может быть, надеясь еще на что-то, а я ничего не знал; со мной лишь здоровались, не больше, а в сущности, обходили молчанием, и это, тогда как-то не замечавшееся, чему я не придавал значения, теперь, естественно, видится по-другому и тоже лежит грузом на сердце. Да, тогда я на многое не обращал внимания и, шагая рядом с матерью, был совершенно далек от мира ее восприятий и чувств, и только свое собственное — даже еще не смерть Раи (весь смысл того, что ее уже нет в живых, я ощутил лишь в минуту, когда, стоя перед гробом, смотрел на ее лицо), а то, что я ушел, бросив ее в *том* состоянии отчаяния и растерянности, — подавляло меня.

До войны я бывал в доме Раи; теперь, когда мы с матерью, войдя во двор, поднимались на крыльцо, как ни был я занят своими мыслями, не мог не заметить, как все здесь обветшало за эти годы, потемнело, словно осело в землю: и дровяной сарай со свисавшими с крыши лохмотьями толя, и крыльцо с давно не крашенными, почерневшими и потрескавшимися от ветров, дождей и морозов перилами, и сама изба с завалинкой, поднятой для тепла до подоконников; да и в комнате, куда, протиснувшись сквозь толпу молчаливо стоявших в сумрачных сенцах людей, мы вошли, тоже все показалось обветшалым и мрачным — может быть, от людской тесноты, оттого, что люди заслонили спинами и без того слабо пропускавшие дневной свет низкие и завешанные густым тюлем окна. Но не это, разумеется, не обветшание было главным, что поразило меня; тогда после войны, все мы жили еще бедно и с трудом, с натяжкой входили в привычное житейское русло; я увидел установленный посреди комнаты на табуретках гроб, некрашеный, сосновый, — я говорю так уверенно «сосновый» потому, что, несмотря на духоту, какая была в комнате, и на то, что покойница уже более суток находилась здесь после того, как ее привезли из больницы, смолистый запах свежеобструганных сосновых досок еще ясно чувствовался в воздухе. Многие, я знаю, радуются, когда пахнет обструганной сосной, потому что уже сам запах этот несет какое-то обновление, а для меня

он так с тех пор и остался запахом смерти, похорон, горя. Я остаиовился тогда сразу, как только переступил порог, и иесколько мгиовеиий смотрел издали, из-за чьего-то плеча, а потом, следуя за матерью, прошел ближе к изголовью. Гроб был накрыт белой простыией, и под ией заметно бугрились сложенные на груди руки Раи; я медлеиио как бы двигался взглядом по простыне через эти бугрившиеся руки к лицу, не замечая пока никого и иичего вокруг и только чувствуя, как все во мне словио замирает от иапряжения; я боялся взглянуть иа ее лицо; что я мог прочитать иа ием: упрек ли, осуждеиие или усмешку: «Не ожидал? Мучайся теперь!» — или вообще просто страшно было вдруг увидеть ее лицо мертвым, не могу ответить, ио, так или иначе, даже теперь, когда, вспомииая, рассказываю об этом, то же иапряжение, та же боязнь как будто вновь нарастают во мне, и вот-вот, мгновеиие, еще мгновеиие — и передо мною откроется ее лицо, вся ее тщательно причесаииая худенькая головка на иссиня-белой подстилке гроба. Не могу сказать, как я выглядел, наверное. был бледен так же, как мать Раи, как ее отец, Петр Кириллович, как большинство из тех, кто пришел проводить Раю (как потом я узнал, в основном это были ее сослуживцы, учителя и миогие родители ее учеииков), я все еще ие замечал никого и ничего вокруг и, чуть выдвинувшись вперед (разумеется, не замечая и этого, что был теперь у всех иа виду), смотрел на Раю; я не увидел иа ее лице ни упрека, ии осуждеиия; как все лица мертвецов, оио показалось мне в первые секунды спокойиым и невыразительиым, как будто оиа спала, и только та особеииая мертвенная синева проступала иа щеках, губах, подбородке; но вместе с тем в те же первые, кажется, секунды я почувствовал, что спокойствие на ее лице неестественное, напускиое, как, знаете, когда человек, желая скрыть свои тревоги, как бы накидывает на себя маску равиодушия, и я поиял, что то, как Рая жила, наверное, последние месяцы, скрывая за виешиим спокойствием свое душевиое состояние, так и сохраиила все иа лице, чтобы даже теперь, когда мертва, никто не мог проникнуть в мир мучивших ее тревог и желаний. Чем дольше я вглядывался, тем ясиее стаиовилось мне это ее предсмертное желаиие, и потому, что я еще ие знал настоящей причииы ее смерти, виновником всех ее страдаиий еще более считал себя, и все во мне сжималось от

жалости, отчаяния и боли. «Боже мой», — про себя повторил я те самые слова, какие говорила тогда при встрече Рая, не осознавая, конечно, что это ее слова, не вдумываясь в смысл, а просто вкладывая в них все то чувство, какое испытывал теперь, стоя перед гробом. А в комнате было тихо, никто не плакал, не всхлипывал, и это тоже производило гнетущее впечатление. Мать Раи сидела у изголовья покойной, прямо напротив меня, на той стороне гроба, вся в черном, сгорбленная и неподвижная, и молча и неотрывно смотрела на дочь; пальцами она как бы придерживала темный платок у шеи, и этот уже знакомый мне жест растерянности (как Рая, точно так же, когда я уходил от нее) я тоже до сих пор не могу забыть! Отец же Петр Кириллович, без ног, как обрубок, сидевший на своей плоской и низкой роликовой тележке, бледный и также растерянный от неожиданно свалившегося на семью горя, не понимая, очевидно, того, что делает, то прокатывался от изголовья к ногам гроба, и роликовые колесики скрипели и повизгивали на деревянном полу, то катился обратно, упираясь руками в пол, и, остановившись, вдруг поднимал седую, взъерошенную голову и смотрел на свисавшую по краям гроба простыню.

Около полудня к дому подъехала накрытая полинялым ковриком повозка (тогда, знаете, не было еще, по крайней мере в нашем городе, специальных похоронных машин, и покойников не сжигали, как теперь, а отвозили на городское кладбище, где, в сущности, был свой *город* из деревянных, железных и каменных крестов, оградок, памятников и буйной, как всегда на погостах, зелени); четверо мужчин, незнакомых мне, очевидно соседи, пришедшие помочь безногому Петру Кирилловичу, подняли на полотенцах гроб и осторожно, пригибаясь в дверях, начали выносить его на улицу, и опять — ни вскрика, ни плача, ничего, что обычно сопровождает похороны и что было бы естественно и, если хотите, облегчило бы душу, а все делалось молча, как-то приглушенно, когда что-то надо было непременно сказать, то произносили шепотом, и мать Раи Лия Михайловна, так и не выпуская из пальцев темный платок, с совершенно обескровленным лицом смотрела, как словно уплывал, покачиваясь на полотенцах, некрашеный — концы простыни уже не висели, а были подобраны и подоткнуты — гроб с телом дочери. Пер-

вым за гробом, не разрешив никому помочь себе, двинулся Петр Кириллович; развернувшись боком, как было, наверное, привычно ему, он будто ссаживал себя вместе с привязанной к телу тележкой со ступеньки на ступеньку крыльца, работая лишь руками, и все, остановившись, следили за ним; лишь когда выкатился за калитку и оказался у повозки, те же, что несли гроб, мужчины приподняли его и усадили рядом с покойной дочерью. А Лию Михайловну вывели под руки. «Ты плачь, плачь», — кто-то говорил ей, но она ничего не слышала, для нее не существовало, наверное, ни этого голоса, никого, кроме установленного на повозке гроба, к которому подводили ее. Холодный и пронизывающий ветер по-прежнему, как и утром, гнал низкие темные тучи над крышами, сметал к оградам уже подсохшую после вчерашнего дождя жухлую прошлогоднюю листву, трепал концы платков, отворачивал полы пальто и шинелей, порывами как бы налегал на спины, торопя и лошаденку, которая тянула повозку, и кучера, который шагал рядом и, забросив вожжи на круп, своим шагом направлял движение лошади, и всей тянувшейся за повозкой процессии; я помню так хорошо эти подробности, может быть, потому, что для меня похороны были не просто утратой близкого человека, как для всех тех, кто пришел проводить в последний путь Раю, но утрата эта с каждым часом, казалось, все сильнее связывалась с чувством вины перед Раей, перед ее отцом Петром Кирилловичем, перед матерью, перед всеми, кто шел сейчас на кладбище и кого я видел перед собою, не замечая лишь одного: что не только не горбился теперь на ветру и не поднимал воротника шинели, а, напротив, как стоял в комнате расстегнувшись и держа за спиною в руках фуражку, так и шагал рядом с какими-то людьми, очевидно Раиными сослуживцами, которые были в шапках и с закутанными в шарфы шеями, и производил на них (это я сейчас, вспоминая их взгляды, думаю) странное впечатление. Но что мне было до них? Я говорил себе: «Вот и все, и нет мира: ни того преходящего, когда она читала стихи, ни этого, которым мучилась перед смертью», — и снова, может быть, уже в десятый раз только за эти часы, вспомнились мне вечер и ночь, та, зимняя, когда я заснул на ее кровати, и утро, как уходил от нее, и я отчетливо представлял себе, что не было и не могло быть ничего ужаснее для Раи, чем то, как я поступил с ней.

Я не исключал той возможности, что она умерла от болезии («Да, пожалуй, так оно и было», — думал я), но это ничуть не оправдывало меня; мне казалось, что, если бы не произошло того, что случилось, если бы она была рядом со мной, ничто не сломило бы ее, потому что в каждом человеке есть, так сказать, цепкость жизни, сознание, что ты нужен кому-то, что приносишь радость уже тем, что живешь, и эта сила неодолима в человеке, она способна побороть любые болезни; мне казалось, что и сам я никогда бы не допустил ее смерти, будь рядом с ней, ибо я тоже чувствовал в себе ту самую силу жизни; в общем, целая философия, конечно, примитивная и не новая, но для меня тогда как бы открывавшаяся заново и потому обретавшая власть над мыслями, вырастала в сознании, и я, шагая в толпе провожающих за гробом, в одно и то же время как будто и отмечал про себя все, что делалось вокруг, когда пересекли ворота городского кладбища и когда остановились у свежевырытой могилы, и вместе с тем тяжело, с болью нагромождал в себе эту запоздало обнадеживающую философию *силы жизни.* Только неожиданный и резкий вскрик Лии Михайловны, когда двое могильщиков (рабочих кладбища), накрыв крышкой гроб, начали приколачивать ее, как бы вдруг разбудил меня, и я отчетливо услышал и стук молотков, и шорох подсовываемых под гроб канатов, и говор рабочих: «Приподними-ка, еще чуток, еще», — увидел ясно, как бывает, когда после мутного изображения вдруг поймана точка резкости в объективе, и Лию Михайловну, которую, отнеся на руках от могилы и уложив на землю, старались привести в сознание, и с трудом подкатывавшего к ней на своей роликовой тележке по сырой и рыхлой земле Петра Кирилловича, а в это время кто-то из мужчин, тех, что выносили из дому покойницу, торопил спускавших на веревках в могилу гроб рабочих: «Побыстрее, товарищи, можно побыстрее», — и эти слова его «побыстрее» не только не казались странными, потому что где-где, а уж на похоронах все должно делаться размеренно и безо всякой поспешности, но, напротив, представлялись самыми естественными и нужными для данной минуты. Широкими грабарками захватывая влажные комья, рабочие швыряли их в могилу, и было слышно, как эти комья дробно ударялись о крышку гроба; я не знаю, что означает обычай, когда бросают горсть земли в могилу, но все

делали это молча, с непокрытыми головами подходя к краю могилы; бросал горсть земли и я, затем стоял и смотрел, как заполнялась яма и вырастал холмик, который могильщики утрамбовывали и оглаживали тыльными сторонами грабарок. Все это делалось, как мне кажется и теперь, действительно в какой-то спешке, чтобы, наверное, прервать страдания матери и отца, и тем не менее, когда все было кончено, никто не осмелился воспротивиться желанию Лии Михайловны побыть еще последние минуты с дочерью, полежать, припав грудью к сырому и холодному могильному холмику, и поплакать; спина ее вздрагивала от рыданий, а рядом с нею, как будто вкопанный по пояс в землю, молча и с опущенной головою сидел на своей тележке безногий Петр Кириллович.

С кладбища почти все направились к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича.

Я шел медленно, чуть приотстав от всех, и так уж случилось, что рядом со мною в какую-то минуту опять оказались те самые с закутанными в шарфы шеями Раины сослуживцы по школе, учителя, с которыми лишь час назад шагал сюда, на кладбище. Один из них, назвав другого Юрием Лукичом, сказал:

«Ужасная смерть, не правда ли?»

«Да, — подтвердил Юрий Лукич. — Но ведь на это надо было мужество, — добавил он и, заметив, как я удивленно и вопросительно посмотрел на него, уже обращаясь ко мне, спросил: — Вы разве не знаете, как она умерла?»

«Нет», — ответил я.

«В самом деле не знаете?»

«Нет», — снова проговорил я.

«Да что вы! — как будто даже оживляясь, сказал Юрий Лукич. — По логическому построению фактов... — продолжил он, повернувшись сначала к своему коллеге, затем опять ко мне и тем как бы давая понять, что хочет высказать нечто такое, что должно заинтересовать не только меня. — По логическому построению, а я привык в таких случаях мыслить только логически, вырисовывается следующая картина: кто-то жесточайшим образом, с кем она сошлась близко, обманул ее и бросил, а она к тому времени была уже в положении, и что? Аборт? Но на это она не могла решиться, потому что в ее понимании, как я думаю, это должно было звучать равнозначно убийству, и тут вдруг — ребенок

рождается мертвым. Удар, да еще какой! Итак, в итоге: первое — бросил, второе — мертвенький мальчик, чего она уже не могла скрыть от нас, и мы, разумеется, из лучших побуждений, принялись выражать ей сочувствие, иногда и не без намеков, что, увы, мы умеем делать, и каково-то было ей принимать это наше сочувствие, и что оставалось предпринять при ее-то характере — полотенце на шею! Что она, кстати, и сделала. Вот о чем говорит логическое построение фактов, — заключил он и, так как я, совершенно потрясенный этим неожиданным рассказом («А ведь мать знала, точно знала, потому и молчала», — тут же подумал я), продолжал идти молча, через минуту, посмотрев на нас, снова заговорил: — Я не ходил, не видел, но Пал Палыч, наш завуч, — пояснил он, специально наклоняясь ко мне, — был там, когда взламывали дверь, и рассказывал мне все те ужасающие подробности. Записки она никакой не оставила, кто ее обманщик — неведомо никому, да и не удастся теперь восстановить, а повесилась она за шифоньером, согнув ноги в коленях, и знаете, всего несколько сантиметров колени не доставали до пола. Всего несколько сантиметров, — повторил он, и все мы снова с минуту шагали молча. — Кто бы что ни говорил, — затем опять начал Юрий Лукич, — но мы, конечно, будь в нас побольше чуткости, могли бы предотвратить это событие, а теперь что ж, пятно на всю школу, да что на школу — каждому на душу, мы же в глаза друг другу смотреть не можем, я не имею в виду Пал Палыча, он что, у него свое моральное кредо, я имею в виду нас, и вынесем ли мы из этого урок и какой — вот вопрос.

Он еще говорил (почти все время, пока шли к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича), что бы можно было предпринять *тогда,* какие *коллективные* меры и какие выводы должен сделать каждый для себя *теперь* и какими должны быть *коллективные* выводы, но все это, может быть, потому, что интересы школы были далеки от меня, я почти не слушал и не воспринимал; то, что для Юрия Лукича было лишь логическим построением фактов, во мне оборачивалось жизнью, какой жила Рая, и болью, какую испытывала она, а точнее, логическим движением чувств, как они должны были возникать и, нарастая, тяготить ее, и, главное, я не переставал думать, как я сам был виноват в этой ее страшной трагедии. Мать свою я не упрекал за то,

что она ничего не рассказала мне о смерти Раи: ни перед поминальным ужином, когда еще стояли во дворе, ни когда возвращались домой, мы вообще ни о чем не говорили, а шли молча, сутулясь, как и утром, на ледяном ветру и торопясь, потому что начинал уже накрапывать мелкий моросящий дождь; продрогшая и уставшая мать сразу легла в постель, а я, закрывшись в комнате, провел первую, как мне казалось, в своей жизни по-настоящему тяжелую бессонную ночь. Я исключал, разумеется, те, что выпадали на фронте, да и в Калинковичах в станционном дощатом бараке, хотя тоже не спал, но первой и страшной все же и теперь представляется мне именно эта, когда я вернулся с похорон Раи и когда за стеною во тьме, как будто специально для того, чтобы не успокаивалась память, хлопали на ветру не закрытые с вечера на засов ставни.

«Ведь, в сущности, не я, а он, тот, другой, был повинен во всем, что случилось с Раей, — говорил я себе. — Да, конечно, в положении, ребенок...» — повторял я. Но, как ни старался внушить себе, что при чем же тут теперь я, весь ход размышлений как бы сам собой разворачивался совсем в другом и мучительном для меня направлении. Всю жизнь Раи, как я знал ее, и мое отношение к ней и чувства, какие испытывал когда-то, я как бы заново пережил в эту ночь, то прохаживаясь от печи к окну и обратно, то сидя за столом перед раскрытой книгой (временами я старался отвлечься, но только пробегал глазами по буквам, ничего не понимая, словно стол, свет, комната и то, что я сижу за столом, было сном, а то, о чем думал, то было жизнью); может быть, вы не поверите, но в равной степени и даже как будто с подробностями, которые мог лишь увидеть и запомнить сам, представлял я себе не только те годы, когда действительно встречался с Раей, но и другие, когда, уйдя от нее, как бы совсем забыл о ней и ничего не ведал о ее существовании; помимо моей воли во мне возникло чувство, в каком я оставил Раю в то зимнее утро, и чувство это — ступень за ступенью, событие за событием, — снова и снова начинаясь, вело к той ужасающей смерти, какою умерла Рая. Я видел ясно комнату Раи с ее скромным убранством, с черным заталенным пальтишком на вешалке, и за столом — так же как когда-то сидел я — сидел теперь тот, другой, о котором она не оставила записки и ко-

торого, как выразился Юрий Лукич, никому не удастся теперь восстановить, и Рая так же, как для меня, готовила для него омлет, и при виде этой картины (а я видел ее так, словно был в эти минуты там, в комнате) все вздрагивало во мне от протеста, что уже невозможно ничего ни остановить, ни изменить; мне казалось, что Рая знает, что я здесь, и на лице ее то и дело возникает адресованная лишь мне усмешка: «Ну, смотри! Смотри и мучайся, я специально делаю это, чтобы ты знал и мучился!» — и все, что было со мной, теперь как бы повторяется с тем, другим: он укладывается на кровать, она разувает его, говорит ему «боже мой» и, потушив свет и раздевшись, ложится рядом с ним, доверчиво прижимаясь к его плечу, а мне хочется кричать: «Рая! Рая!» — и я кричу-таки мысленно, стоя возле стола в своей комнате, слушая удары ставней под ветром и до белизны сжимая сцепленные пальцы. Это я мог уснуть, а тот, другой, не спал, и одна эта мысль уже вызывала во мне страдание. С ужасающей ясностью я представлял себе, как тот, другой, опять и опять приходил к Рае, мне кажется, я даже слышал, как и что он говорил ей, и тот момент, когда он, узнав, что она в положении, последний раз уходил от нее, — Рая стояла в глубине комнаты, в растерянности и испуге прижимая к груди у шеи худые белые руки, и оттуда, издали, смотрела на него. Сцена эта как бы повторялась во мне и производила особенно тягостное впечатление. Я не думал, как отнеслись к ее несчастью родители; и вся та атмосфера в школе, как обрисовал ее Юрий Лукич, тоже выпадала из цепи событий, а все, и я уже не знаю теперь почему, сосредоточивалось на родившемся мертвом ребенке. Мне трудно судить (да я и сейчас не знаю), показывают ли мертвеньких младенцев роженицам или нет и как все это там делается, но в моем воображении все это происходило так, словно вот они, нянечки в белых халатах, протягивают Рае завернутое в белую же простынку мертвое, холодное тельце ребенка, и тот ужас, какой должна была испытывать Рая, принимая в руки холодный сверток, охватывал меня, я чувствовал в ладонях этот сверток, и холодок от ладоней растекался и леденил душу. Я думаю, этот холод в ладонях, какой она вынесла из родильного дома, и холод в душе, какой наложила на нее встреча со мной, потом с тем, другим, а в общем, с жизнью, были главной причиной того, на что она решилась: я по-

нимал, как она жила с этим ощущением холода, как ходила по комнате в тот последний для нее вечер, отыскивая место и заглядывая за шифоньер, как оказалось у нее в руках полотенце, и, знаете, вышагивая с заложенными за спину руками по своей комнате, я то и дело останавливался возле своего шифоньера, как бы примеряя, как все могло быть, и минутами, кажется, сам был на грани той страшной решимости. Может быть, оттого, что сквозь занавешенные окна уже начал пробиваться рассвет, и еще, наверное, оттого, что мать несколько раз, вставая и приоткрывая дверь в мою комнату, говорила: «Ты не спишь? Спи. Чего не спишь?» — я отрывал взгляд от шифоньера, и воображение снова как бы отбрасывало меня к истоку, к тому событию (когда я ушел от Раи), с чего, собственно, и началась вся ее трагедия.

ЧАС ШЕСТОЙ

— То ли я действительно испугался, что могу что-либо сделать с собой, — продолжал Евгений Иванович, — то ли просто потому, что хотелось избавиться от предмета, который напоминал о смерти Раи, трудно теперь сказать точно, но только утром, едва мать встала и послышались в комнате ее шаги, я тут же открыл дверь и принялся перетаскивать шифоньер в переднюю. Я делал все торопливо и помню, мать не только ничего не возразила, но и не спросила, чем это было вызвано; вероятно, она понимала, что волновало меня, но я-то — я даже покрикивал на нее: «Ну что стоишь, скрестив руки, подвинь табуретку!» — когда она как будто спокойным и грустным взглядом от плиты следила за мной. «Половик убери, слышишь, половик!» — выглядывая из-за шифоньера и видя, что она опять стоит у плиты со скрещенными на груди руками, кричал я. И на другой и на третий день я был мрачен и раздражителен; но в то же самое время, как я грубил матери и грубил, как мне кажется теперь, товарищам по институту, которые действительно не знали, что со мной происходит, — по вечерам, оставаясь один, я начинал думать, что же, в конце концов, представляет собою добро и зло и существует ли общее для всех людей понимание добра и зла; мне казалось, что нет общего понимания, хотя оно, конечно же, есть, и я знаю, да и все мы знаем, что есть, но в ту весну мне казалось, что

счастье одного всегда происходит за счет счастья другого и что такова правда жизни в противоположность тем сказкам о добре и зле, которые внушали нам с детства. «Бывший мой комбат счастлив потому, что, *опередив* меня, в сущности, отобрал у меня счастье, — рассуждал я. — Я ушел от Раи потому, что хотел лучшего себе, но это мое *лучшее* для нее обернулось горем; она умерла, а тот, другой (может быть, он и не знает, что она умерла), рад, что снова *свободен*, и потому несчастье Раи для него, по существу, счастье». Я понимаю, что вот так, в пересказе, все это выглядит упрощенно, да и вообще думаю, что нет и не может быть одной и определенной мерки даже для схожих человеческих судеб, но тогда я не просто открывал, как говорится, для себя эту, в общем-то, представлявшуюся мне откровением истину, но жил ею, искренне веря, что все именно так и есть, что счастье одного всегда оборачивается несчастьем для другого, и соответственно с этой истиной старался держаться обособленно, не принимая ни от кого и сам не отдавая никому ни частицы своего душевного тепла. Весна не была для меня весной, и я равнодушно смотрел, как подымалась и зеленела во дворе и на обочинах трава, как распускались почки на молодых дубках, когда-то посаженных вдоль улицы, и с безразличием смотрел на цветы сирени, росшей в палисаднике, когда по утрам, просыпаясь, открывал окно, или ночами, когда из того же палисадника как бы незаметным тихим током весны вливался сквозь открытое окно воздух, а я, прохаживаясь по комнате с книгою в руках, вдруг на минуту задумавшись, останавливался перед этим окном; я ничему не радовался, а когда вспоминал о Ксене — неожиданные и странные мысли приходили в голову, и я говорил себе, что, пожалуй, хорошо, что я *опоздал* тогда, и что, появись я в Калинковичах раньше, просто-напросто отобрал бы счастье у бывшего своего комбата и была бы на свете еще одна трагическая судьба.

В один из таких вечеров, когда были уже сданы все весенние зачеты и экзамены, мать вошла ко мне в комнату и, присев напротив меня, сказала:

«Поехал бы куда-нибудь, сынок, развеялся».

«Ты что, мама!»

«Я же вижу, ты не скрывай. Хотя бы на лето».

«Но куда? В Севастьяновку? Там давно уже ни деда, ни бабушки...»

«В лагерь вожатым, как вон у Глушковых».

«Это мне-то? В лагерь?» — с усмешкою проговорил я.

«Но ведь так или иначе...»

«Я понимаю, ты хочешь сказать, что так или иначе, а надо идти работать?»

«Не к тому я, сынок. Как-нибудь...»

«Я все понял, ясно, — не без раздражения, конечно, сказал я, потому что вопрос этот и сам не раз уже ставил перед собой, так как жить только на материну пенсию и на мою маленькую, какие выплачивали тогда, стипендию было трудно. — Ясно!» — повторил я еще более резко, желая закончить разговор на эту неприятную и больную для меня тему. «К черту заочное! Ни на какое заочное я не пойду!» — с той же запальчивостью, но уже про себя, мысленно, докончил я, когда мать, поднявшись со стула, пошла из комнаты. Но хотя я и решил так, осенью все же подал заявление в деканат с просьбой перевести на заочное отделение и затем по направлению областного отдела народного образования, где меня как бывшего фронтовика и теперь студента-заочника педагогического института приняли довольно приветливо, поехал в отдаленный таежный рабочий поселок с названием Москитовка (ужасно комариное место на север от Читы), в школу, вести средние классы. Какая-то, знаете, ирония судьбы, что ли, — я повторял путь Раи; и хотя тогда как-то не совсем осознавал это, но все же в глубине души нет-нет и возникало, как волнует иногда неясное и тревожное предчувствие, беспокойство, что я именно повторяю путь Раи; это лишь потом, спустя почти пять с лишним лет, когда закончил институт и подал в аспирантуру, — только тогда перебрался снова в Читу и устроился в техникум, а начинал, как видите, со школы.

Может быть, я бы не стал рассказывать, как жил в этом таежном рабочем поселке, если бы не то обстоятельство, что как раз там-то я и сошелся с женщиной — Зиной, или Зинаидой Григорьевной, так тогда, в первые годы, называл я ее, с которой живу и сейчас как с женой, хотя никогда между нами не было разговора ни о любви, ни о женитьбе, ни вообще о чем-либо подобном, а все произошло как бы само собой, по какому-то обоюдному молчаливому согласию; в какой-то день вдруг, придя из школы, я уже не за квартиру и не за услуги заплатил ей, как делал прежде, а отдал всю зар-

плату как хозяйке, и для меня это было естественно, так же как, будь я женат на Ксене или Рае, отдавал бы все деньги им, как, впрочем, заведено было у нас в доме между отцом и матерью и как, наверное, живут все счастливые и согласные семьи (конечно, я могу вспомнить, как вспыхнуло радостью лицо Зины, как она взглянула на меня при этом, но для меня, еще раз повторяю, все было тем естественным течением жизни, что я чувствовал, что не могу поступить иначе чем так, как поступил); в какую-то ночь, вдруг проснувшись, я увидел сидящую возле меня на кровати Зину, и она показалась мне особенной в белой ночной рубашке, с распущенными на плечи волосами и вся освещенная проникавшим в комнату холодным лунным светом (уже потом, спустя много лет, она призналась, что была тогда не первый раз, что приходила и прежде, и только я не просыпался и не открывал глаза); мне, знаете, даже сейчас, когда рассказываю, кажется, что она всегда была рядом, и я не могу представить себе подушку там, конечно, дома в Чите, без рассыпанных по ней темных Зининых волос; и ее тепло, и ее всегда ровное и спокойное дыхание, и то, как она каждый раз неслышно встает по утрам, чтобы приготовить завтрак, — все так прочно вошло в мой быт, что я иногда сам удивляюсь, как, когда и каким образом случилось это. Может быть, как съязвил бы кто-нибудь, что опутала, окрутила, но эти слова не подходят к Зине; она не из тех, кто окручивает, я-то ведь знаю, как все было, и помню, как она, бросив дом и хозяйство, поехала со мной в Читу, когда я, как уже говорил, поступил в аспирантуру; забегая вперед скажу, что хотя она и не знала ничего о Рае и о моем когда-то отношении к ней и не знала ничего о дружбе моей матери с Раиными родителями, но когда Раина мать, Лия Михайловна, умерла, а беспомощный Петр Кириллович (единственное, что он умел, — плести корзинки из краснотала) остался один и я предложил взять его к нам, Зина ни словом, ни взглядом не только не возразила (а ведь за старым и безногим человеком предстояло ухаживать), но, напротив, и, как мне показалось тогда, с охотою согласилась, и в тот же день мы перевезли Петра Кирилловича к себе. Он и сейчас живет с нами. Но не слишком ли я опять забежал вперед, потому что не все складывалось вот так просто, а главное именно там, в Москитовке, началась для меня та самая двойная жизнь, какой я живу и теперь: с одной стороны, с внеш-

ней, конечно, если взглянуть, как все люди, вроде и счастливо, спокойно, в согласии и, может быть, даже в любви с Зиной, а с другой — надо мною постоянно словно висит прошлое, и какой-то иной, воображаемый, что ли, если хотите, но как будто такой же реальный, как и этот, мир людей и событий окружает меня, и то, как бы жила Рая (я думаю о ней и словно продолжаю ее жизнь в себе), как жили бы ее родители, окажись судьба их дочери счастливой (ведь Петр Кириллович, в сущности, постоянно у меня на глазах), и все, что связывало да и продолжает связывать меня с Калинковичами: судьба Ксени, ее матери и мужа, Василия Александровича (тут особый разговор, к этому-то я как раз и веду рассказ), — все это движется, чувствует, мыслит, а в общем, живет во мне своим обособленным миром, и я иногда так явственно ощущаю себя в этом воображенном обособленном мире (но ведь все могло быть не воображенным, а действительным, сложись по-другому обстоятельства, ведь вот что страшно!), что порой, как ни наивно звучит сейчас это, мне представлялось, что Зина, дом в Чите. техникум — это в воображении, а Рая, Ксения, Мария Семеновна — это действительность. Да, именно так, и никакие переезды и перемены не оставляют прошлое за чертой; прошлое всегда с нами, и я убежден, что никто и ничто не может снять с нас этот багаж.

Однако тогда, в те годы, я еще думал иначе.

Уезжая в Москитовку, я считал, что начинаю новую жизнь и что ни обстановка, ни люди, с которыми придется работать, уже не смогут будоражить память, все успокоится, уляжется, я погружусь в дела и заботы школы, но вот самым, казалось, неожиданным образом (случись это не со мной, а с кем-нибудь другим или бы мне сказали об этом заранее, я бы не поверил) именно школа день за днем все более и глубже расшевеливала во мне воспоминания; и не беседы с директором Зиновием Юрьевичем, который тоже был фронтовиком и артиллеристом, воевал на разных фронтах, в том числе и на Белорусском, и даже при форсировании Сожа наши части находились где-то неподалеку, потому что, разговаривая, мы называли почти одни и те же населенные пункты, и он помнил Ветку и Хальчичи на противоположном крутом и обрывистом берегу, — нет, не эти беседы, хотя и они, разумеется, оказывали свое действие (Зиновий Юрьевич был гораздо старше меня, учитель с

довоеиным, как говорится, стажем, кадровый, и я всегда с добром думаю о ием, как ои помогал иам, молодым, ие только мие, коиечио, но войиа так въелась в его душу, что ии одиого вечера, когда мы собирались вместе, ие проходило без того, чтобы он не припомиил и не рассказал какой-иибудь эпизод из своей фроитовой жизии), и все же нет, ие эти рассказы Зииовия Юрьевича, а светлый, иаполиеиый детишками класс, девочки с косичками, сидевшие за партами возле солиечных окон, когда я смотрел на них, как бы переносили меия в далекие засиеженные Калииковичи, в избу, где на торжествениом в честь моего ие состоявшегося еще тогда награждеиия вечере я сидел рядом с Ксеней, худеиькой девушкой, казавшейся мие школьиицей, и с неповторимым уже теперь волиением смотрел иа ее серые и серебрившиеся от света висевшей иад столом керосиновой лампы косы. Я испытал это в первый же как будто деиь, как только вошел в класс, во всяком случае, такое осталось у меня с тех пор впечатлеиие; ио особеио воспомииаиия иачали тревожить иа второй или, вериее, иа третий год, когда я уже вел математику в старших классах. Я думаю теперь: школа ли в той таежиой Москитовке была построеиа так удачио, что окиа почти всех классов выходили иа солиечную стороиу, а впрочем, у иас ведь все школы строят так, или что-то еще особениое — девушки с косами, хотя ведь в каждом классе, да вот и в техникуме, где я преподаю сейчас, есть и пострижеииые коротко, и с косами, — словом, дело, навериое, ие в том, какой была школа и какими ученицы в Москитовке, а скорее во мие самом, что каждое утро, как только, открыв дверь, я входил в класс, хотел или ие хотел этого, но сразу же иевольио обращал внимание, как солнечиые лучи, проиикавшие сквозь просториые окна, каким-то до боли зиакомым серебристым отблеском лежали на косах девушек; и дело ие в том, что косы были серыми, черными или каштановыми, и не в том, что лица, что ли, напомииали какими-то своими черточками лицо Ксени, нет, а просто в общей этой картине было что-то такое, что с давних, фронтовых еще лет храиилось в моей памяти, и потому каждый раз, переступив порог, с минуту я стоял молча, не в силах побороть воспомииания и иачать урок, и притихшие ребята с удивлеиием и, коиечно, с иедоумением смотрели на меия. Иногда такое повторялось среди урока, что было особенно иеприятио, и тогда я переживал вдвойне: и за

свою минутную растерянность перед учениками, и за те мучительные дни и ночи, которые я провел когда-то в станционном дощатом бараке Калинковичей. И ведь что любопытно: вспоминалась не Рая, хотя все школьное у меня было связано именно с ней — мы же учились вместе, — да и трагическая смерть ее была по времени ближе и должна бы помниться отчетливее, но, наверное, ничто не может сравниться с впечатлениями войны, со всем тем, что довелось испытать нам тогда, в самой что ни на есть молодости, когда, в сущности, только-только начинаешь познавать жизнь (девятнадцать лет, что вы хотите!) и все воспринимается острее и ложится глубоким, нестираемым следом. В общем, и в классе, и когда возвращался домой, а точнее, в дом Зинаиды Григорьевны, который стоял почти напротив школы, маленький, деревянный, чем-то напоминавший и калинковичскую избу Ксени, и мою, ту, в которой жила теперь одиноко мать, — в общем, и когда возвращался домой и садился за проверку тетрадей или, приглашенный Зинаидой Григорьевной к столу, ел поданный ею борщ или картошку, залитую молоком и яйцами и зарумяненную в печи, воспоминания, возникшие еще в классе, продолжали волновать меня, и бывало так до позднего вечера, до самого того момента, пока не смыкал в усталости глаза и не засыпал наконец, чтобы утром, встав, весь вчерашний прожитый день повторить сначала. Не то чтобы я снова хотел увидеть Ксеню (я понимал, что она замужем и уже отрезанный, как говорится, ломоть), но как бы исподволь, само собою возникало желание проехать по местам боев, постоять на том повороте шоссе Мозырь — Калинковичи, где горели наши танки и откуда стреляли мы по немецким самоходкам, увидеть бревенчатый настил, где они занимали оборону, и щель у обочины, в которую, нажав на гашетку, я отпрыгивал и скатывался, попадая на руки к бойцам, и увидеть места, где были подбиты одна за одной зенитные установки, — словом, пережить все сначала (конечно же, все предшествовавшее встрече с Ксеней, но эту мысль я хранил глубоко в себе, подавлял, не давал развиться), и тогда, как мне казалось, будет спокойнее на душе и легче; помню, что, раз зародившись, идея поездки уже не отпускала меня, и еще с зимы я начал готовиться к ней, экономя деньги и приобретая всякие дорожные, а сказать точнее, походные — ведь я собирался пройти пешком по местам боев, доехав поездом лишь до Калинковичей или до

Мозыря, что было, в общем-то, еще не решено, — вещи, а с наступлением теплых весенних дней уже с нетерпением ждал часа, когда, наконец, вскинув рюкзак на плечи, зашагаю напрямик укороченною тропкой через тайгу до ближайшей от Москитовки железнодорожной станции. Мать в тот год еще была жива, и я заранее написал ей о своем намерении; с Зинаидой Григорьевной же, мне казалось, не о чем было говорить; тогда между нами еще ничего не было, вернее, я еще не замечал ничего, принимая как должное все ее заботы обо мне и лишь изредка удивляясь доброте и кротости этой молодой женщины, которая и успевала управляться с хозяйством — корова, куры, не так просто! — и еще ходила на какие-то подсобные работы к лесосплавщикам: то ли распутывать канаты, то ли даже шорничать (овдовев в войну, она научилась всему), я так до сих пор и не знаю толком, так как в то время, в сущности, мне не было никакого дела до ее домашних забот и тревог. Она была старше меня года на три, но выглядела молодо, так, словно и не выходила замуж; да и теперь выглядит, мне кажется, так же молодо рядом со мной, седым и издерганным человеком, но это так, между прочим, к слову; с Зинаидой Григорьевной мне тогда не о чем было говорить, да и ей, по-моему, во всяком случае, так представлялось мне, было безразлично, куда я еду — ну, еду и еду, может быть, в Читу к матери, как каждое лето, — но на самом деле, оказывается, все происходило иначе, и только потому, что я был занят собою, жил поездкой и чувствами, которые предстояло испытать, не видел, с каким беспокойством следила за моими приготовлениями Зина. Женщины — мы недооцениваем только — понимают и чувствуют гораздо больше и глубже, чем мы с вами; по каким-то им одним, наверное, приметным деталям они улавливают наши помыслы и настроения. Откровенно говоря, я немало удивился, когда вдруг почти в самый канун моего отъезда, вечером, заведя и поставив квашню на теплую плиту, она сказала, подойдя ко мне и посмотрев на меня:

«Дорога-то дальняя, но вы не беспокойтесь, Евгений Иванович, я наготовлю вам на всю дорогу».

«А вы почему знаете, что дорога дальняя?»

«Как же, аль не вижу, как вы собираетесь?»

«Что рюкзак, что ли?»

«Да и рюкзак. Да и все», — добавила она, и я впервые тогда, удивленно, как уже говорил, глядя на нее,

заметил, что в глазах ее было нечто большее, чем если бы просто хозяйка дома провожала своего квартиранта. «Да нет же», — про себя сказал я, смущаясь и думая, что ошибся, что ничего *подобного* нет и не может быть у нее в мыслях и я лишь только вообразил бог знает что.

«Я еду в Белоруссию, Зинаида Григорьевна, — отчетливо проговорил я, тоном голоса и твердостью давая понять, что никакого секрета, разумеется, из своей поездки не делал и не делаю и что, так или иначе, может быть, даже вот сейчас, не заговори она первой, сам бы сказал обо всем этом. — По местам боев. Хочется посмотреть, как там теперь. Тянет. А что дорога дальняя — верно, но только зачем вам-то эти лишние хлопоты?»

«Какие уж тут хлопоты».

«Конечно, хлопоты».

«Да разве я могу вас так отпустить!»

«Ну-ну, только чем я отплачивать буду», — как бы в шутку ответил я, продолжая осматривать рюкзак, все ли уложено, и совсем не придавая того значения словам, какое могла придать им Зинаида Григорьевна. Она вышла к себе на кухню, а спустя некоторое время, все еще возясь с рюкзаком, я как-то невольно опять вернулся к нашему разговору и подумал: «Да нет же, это она просто от доброты... просто повезло мне на хорошую хозяйку, и все. Славная женщина, что и говорить, славная», — повторил я, прислушиваясь, как она осаживала тесто в квашне.

На другой день к обеду, к тому часу, как мне выходить из дому (откровенно, я не заметил, когда она вернулась с работы, отпросилась ли, и когда успела переодеться), как бы неожиданно оглянувшись на дверь, я увидел стоявшую у порога нарядно одетую Зинаиду Григорьевну; я не помню, как посмотрел на нее, очевидно же, не без восхищения и, наверное, с откровенной радостью, потому что, кроме того, что я действительно увидел ее необычной, какой ни разу не видел прежде, и это было приятно мне, никаких иных мыслей не было, но для нее, и я знаю теперь, тот мой взгляд имел свое определенное и важное значение: она все истолковала посвоему (она и сейчас убеждена, что именно тогда понравилась мне, а я уже не хочу разубеждать ее) и чувствовала себя, конечно, счастливой в ту минуту. На ней была новенькая сатиновая кофточка, плотно облегавшая грудь и плечи, какие еще и сейчас, знаете, в отдаленных

таежных деревнях носят сибирячки, и волосы — ведь вот как будто и не сидела в парикмахерской, а так неповторимо женственно были собраны и сколоты брошью на затылке, что я, видите, и теперь говорю не без волнения, а шелковый платок, будто небрежно соскользнувший на плечи, как раз и открывал эту ее *деревенскую, крестьянскую* прическу и придавал лицу то до сих пор неизъяснимое, по крайней мере для меня, очарование — не красоты, нет, а как бы вам сказать, очарование простоты и естественности жизни; не вполне, конечно, осознанное, но именно это чувство промелькнуло во мне тогда, только промелькнуло, потому что всеми мыслями я был уже, в сущности, в Белоруссии, в Калинковичах, и чтобы как-то оправдать свой нескрываемо восторженный взгляд, сказал Зинаиде Григорьевне:

«Какая вы сегодня нарядная».

«Вам нравится?» — спросила она, имея в виду то ли новую кофточку, то ли платок.

«Да. И куда вы собрались?» — заметив в руках ее узелок, продолжил я. Все то, что она напекла и наготовила утром на дорогу, было уже собрано и уложено, и я, разумеется, не мог предположить, что и узелок этот тоже предназначался мне.

«С вами. На станцию».

«Как на станцию?» — переспросил я, потому что никогда, сколько я жил, не было у нее никаких дел на станции.

«Разве нельзя?»

«Отчего же, можно. Кто-нибудь приезжает?»

«Кто ко мне может приехать, Евгений Иванович? Кто мог бы, так на того давно похоронная лежит, а кого бы я хотела, тот и не знает, что счастье его от тоски сохнет в тайге».

«И все же?»

«Да что вы пытаете иль не хотите вместе идти?»

«Почему, Зинаида Григорьевна, ради бога, вместе даже веселее. Но ведь это двенадцать верст!»

«Будто я уж и не ходила».

«Ну-ну», — произнес я привязавшуюся ко мне тогда эту присловицу и, подняв набитый вещами и продуктами рюкзак и сказав: «Что ж, идемте», — направился мимо нее из комнаты.

Я стоял во дворе и ждал, пока она запирала избу; потом она помогла мне умостить на спину рюкзак, и мы, выйдя за околицу поселка, свернули на тропинку к тай-

ге, к орешнику, дубам и елям, заслонявшим собой блеклое по горизонту полуденное небо; я шагал впереди и время от времени, когда, приостановившись, оборачивался, чтобы окинуть прощальным взглядом Москитовку, — я любил, уезжая, смотреть на поселок издали, на деревянные домики с тесовыми крышами, на корпуса завода у изгиба реки и на плоты, прижатые к желтому песчаному откосу, на людей и машины возле тех плотов, и вся эта панорама замедленной, будто остановившейся на миг таежной жизни каждый раз вызывала во мне то волнение, какое возникает обычно у людей при виде родных мест (может быть, прижившись, я только не замечал, что и для меня все стало здесь родным и близким), — словом, когда оборачивался, передо мною как бы специально для того, чтобы я не мог видеть поселка, вырастала фигура Зинаиды Григорьевны, и я невольно смотрел на нее, лишь за плечом, вдали, различая знакомые силуэты домиков, и Зинаида Григорьевна, перехватывая мой взгляд и улыбаясь — конечно же, она опять все истолковывала по-своему, — тоже останавливалась и, обернувшись, тоже смотрела на для нее-то уж несомненно родные места. На солнце, на фоне высокой зеленой травы она казалась мне еще нарядней, чем в ту минуту, когда я увидел ее в комнате, у двери, и все же при всем том, что я не без восхищения, как уже говорил, разглядывал ее стройную, в длинной и широкой, какие носили тогда, юбке и плотно облегавшей грудь и плечи кофточке фигуру и любовался простотой ее прически (ветерок, набегая, слегка лохматил ей волосы, и оттого она казалась еще привлекательнее), я не могу сказать, чтобы испытывал к ней в те минуты что-либо такое, что хоть отдаленно напомнило бы чувства, какие когда-то обуревали меня в первые же почти мгновения, как только я сел рядом с Ксеней. Во всяком случае, так все представляется мне теперь, и я это хорошо помню, что как только я снова начинал шагать по тропинке, и поселок и Зина словно перестали существовать для меня, и я принимался думать, как, выйдя на перрон в Калинковичах, увижу знакомые места. «Стоит ли еще тот дощатый барак, — про себя говорил я, — может, и стоит, для чего-нибудь и приспособили. А что, все может быть». Мы шли и шли по тайге — два человека, два мира, настолько далеких друг от друга, что трудно представить что-либо такое, что хоть как-то сближало бы нас; в то время как мне рисовались картины, может

быть, даже встречи с Ксеней, хотя для чего нужна была эта встреча, я не отдавал себе отчета, Зина, конечно же, думала обо мне, и в ее сознании разворачивался свой, и не менее радовавший ее (чем мой меня) мир надежд, мечты и счастья; так же, как между мной и Раей в тот памятный зимний вечер не было взаимопонимания, но которое пришло потом, запоздало, когда оставалось только вспоминать и мучиться, — так не было этого взаимопонимания между мной и Зиной, но которое тоже пришло потом, позднее, и, знаете, мне всегда бывает теперь неприятно и неловко, когда вспоминаю, как был нем к ее чувствам в те часы, когда она, в сущности, не по своим делам собралась на станцию, а шла проводить меня до поезда, а я понял это лишь тогда, когда мы были уже на перроне, сидели на скамейке и ожидали поезда.

За сопки, за тайгу уходило солнце, и длинные тени от фонарных столбов, что возвышались над устланным досками перроном, словно темные шлагбаумы, лежали на железнодорожных путях, перерезая их, искривляясь во впадинах и на шпалах; почти сразу за путями стеною начиналась тайга, и белые стволы как бы выдвинутых вперед берез, и макушки дальних дубов и елей, освещенные тем заходящим солнцем, будто хранили на себе отсвет далеких пожаров, а мне при виде этих закатных багровых тонов вспоминалась война. На станции не было ни маневрового паровоза, ни разгрузочных площадок, лишь в отдаленном тупике стояло несколько порожних платформ да красный пульман с известково-белыми раздвинутыми дверями, и все же тот привычный станционный запах железа, мазута и шпал, как ни перебивался он вечерней таежной сыростью, был ощутим и тоже пробуждал воспоминания. И только Зина, сидевшая рядом, — ведь должен же был я говорить с ней, не сидеть же молча! — постоянно как бы прерывала мои устремлявшиеся вперед, туда, в Калинковичи, мысли. Она не улыбалась, и я не только не замечал радости и счастья на ее лице, как в полдень, когда выходили из дому, а, напротив, видел, что грустна, что глаза ее с тревогою посматривают на меня, и именно этот ее тревожный взгляд вызывал во мне тоже какое-то, прямо скажу, неприятное беспокойство. «Ну вот, — думал я, — как же это я допустил? И что же она?.. Хотя бы поезд скорее, что ли! Вот ведь как! Ну что теперь? Что вот теперь делать?» — продолжал я.

«Как же вы пойдете домой, Зинаида Григорьевна?» — с как будто передавшейся мне ее тревогой проговорил я, понимая, что не только вечереет, но близится ночь, а на таежной тропе уже теперь сумрачно, да и жутко будет возвращаться одной и небезопасно.

«Иль я не ходила, что ли», — опять ответила она знакомою уже фразой.

«Не боитесь?»

«Чего бояться-то?»

«Так ведь ночь».

«Можно и переночевать, утра дождаться».

«Что, знакомые здесь?»

«Знакомые, не знакомые — люди же, иль не пустят? Да вы не волнуйтесь за меня, Евгений Иванович. Я-то что, я дома».

«Зря вы все же, зря», — покачав головой, повторил я, так как вся ее затея с проводами действительно представлялась мне нелепой, обременительной и только вызывающей ненужное беспокойство. «Ну что с ней делать теперь, не оставаться же мне здесь», — с досадою подумал я, снова принимаясь смотреть на уже затухавшие на стволах и листве багровые краски летнего таежного вечера.

Я помню, как с радостью (а теперь вот запоздало вижу, как глупо и нетактично поступил тогда) вскочил со скамейки и вскрикнул: «Наконец-то, вот!» — когда за поворотом в уже синеющей дали вдруг показался желтый и рассекающий эту синюю таежную даль глаз паровоза. «Вот!» — повторил я, беря рюкзак, направляясь к краю платформы и чувствуя, как следом за мной, приотстав, может быть, лишь на полшага, двинулась Зина. Мы стояли рядом, когда зеленые пассажирские вагоны, замедляя бег, остановились наконец на минуту, чтобы затем, набрав скорость и ритм, надолго запечатлеться красным удаляющимся огоньком в глазах Зины, — для нее ведь это были не первые проводы, когда-то вот так же она отправляла мужа, который не вернулся, а теперь, может быть, даже с большим волнением, чем тогда, отправляла меня, но для меня в эту минуту не существовало ее любви; я лишь произнес: «Ну, счастливо, Зинаида Григорьевна, только дождитесь утра, обязательно дождитесь», — схватился за поручни, готовый уже вспрыгнуть на подножку.

«Вот, возьмите, Евгений Иванович», — сказала она, подавая мне тот самый узелок.

«Что это?»

«На дорогу».

«А-а, — протянул я, беря узелок. — Ну, счастливо, только у́тра, непременно у́тра!»

Я не обнял ее, не пожал ей руку; поезд тронулся, и я из тамбура, из-за плеча проводника, смотрел на удалявшуюся — как будто удалялся не я, а она — фигуру Зины. Она не махала ни платком, ни рукою, как распространено у нас, сколько я езжу и вижу, в народе, и пальцы как будто не держала прижатыми к груди у шеи, как Рая, когда я уходил от нее, а, напротив, руки ее были опущены и вся она стояла неподвижно, даже не качнувшись в сторону уходившего поезда, но и в этой ее прямой осанке, в неподвижности были еще как будто яснее, чем в жесте Раи, я отчетливо почувствовал это тогда, выражены и спокойствие, и тревога, и смирение, если случится вдруг еще раз пережить горе, и надежда на счастье, какая всегда живет в русском человеке в любой, даже самый безысходный час, особенно в русской женщине, на долю которой веками выпадали такие испытания.

Станция уже скрылась из виду, я вошел в вагон, но Зина еще долго как бы стояла на удалявшемся дощатом перроне перед моими глазами.

Как это обычно бывает, в первый же вечер, пока ехали по тайге и пока свежи еще были впечатления от прощания с Зиной, я думал о ней, о Москитовке, которая действительно-таки уже вошла в мою жизнь как что-то родное, близкое, может быть, как раз благодаря только тому, что Зинаида Григорьевна (я повторял и еще сто раз буду повторять: как все-таки жаль, что обо всем хорошем, что делается для нас, мы лишь вспоминаем, а в самый тот момент, когда все происходит, слепы, да-да, слепы!) по-своему, как могла, создавала уют и скрашивала мое, особенно в первую осень, не очень-то радостное бытие, думал и о школе, и о Зиновии Юрьевиче («Сколько же повидал за свою жизнь этот человек, — говорил я себе, — будь он теперь в вагоне, до утра хватило бы разговоров!»), но как ни свежи были эти впечатления, вместе с затихавшим как будто стуком колес, вместе с той дремотою, которая как раз после всех пережитых волнений дня и вечера все сильнее одолевала меня, и воспоминания и думы словно отдалялись, уходи-

ли и растворялись, как только что, когда я еще стоял в тамбуре и смотрел на огоньки станции, уплывал и растворялся в синем ночном сумраке короткий дощатый перрон со стоявшей на нем Зинаидой Григорьевной; я не заметил, как заснул, убаюканный ритмом движения, монотонным покачиванием вагона, а утром, когда проснулся, так же как я сам был уже далек от Москитовки, так же далеки были и воспоминания о ней. В дороге, и я давно заметил это, волнует тебя не то, что осталось где-то позади, а другое, что ожидает, к чему едешь и что — именно потому, что ты еще не знаешь, как все обернется, — вызывает особенные чувства. Мне казалось тогда, что я не думал о Ксене, а все мысли были сосредоточены только на одном: как я ступлю на землю, на которой воевал, где и в морозные и в слякотные зимние дни пришлось испытать немало страшных минут, где все и теперь еще, наверное, было наполнено звуками стрельбы и разрывов, где были похоронены (не под деревней Гольцы, нет, а вообще в Белоруссии) боевые друзья, солдаты нашей батареи, и те зенитчики, что выдвигали свои орудия против немецких самоходок и которых затем уносили на плащ-палатках лесом, в общем, мне казалось, что я думал лишь об этом, и с каждым километром, чем ближе подвозил меня поезд к заветным местам, тем отчетливее вспоминалось прошлое; о том, чтобы задержаться в Москве, как предполагал, отправляясь из Москитовки, потому что надо было выполнить кое-какие поручения, в том числе и Зиновия Юрьевича, теперь не могло быть и речи; я говорил себе: «На обратном пути, только на обратном», — и едва лишь сошел на перрон Казанского вокзала, как тут же нанял такси, перебрался на Белорусский и в тот же вечер уже снова лежал на полке в купе, и будто не было пересадки и не прерывались доставлявшие мне и удовлетворение и тревогу размышления.

В Калинковичи я приехал утром.

Я ступил на перрон с тем чувством, словно не там, в Чите, а здесь была моя родина, и с такой жадностью всматривался во все: в новое здание вокзала, в киоски, в людей, в пристанционные деревянные избы (только они тогда, в сущности, да еще дощатый барак, приспособленный, как я и предполагал, под пакгауз, напоминали *те,* старые и жившие в моей памяти Калинковичи), — что со стороны, наверное, казался странным, будто впервые приехавшим невесть из какой глуши в го-

род человеком; может быть, потому-то возле пакгауза, когда я, обходя вокруг него, всматривался в потемневшие от времени доски — для меня они были книгой, рассказом, памятью, — какой-то железнодорожник в форменной фуражке, думаю, весовщик из этого же пакгауза, довольно громко и резко спросил: «Вам чего здесь нужно, гражданин?» Несколько мгновений я смотрел на него; лицо его было не очень приветливым, и я, решив про себя: «Да что он поймет!» — повернулся и зашагал на привокзальную площадь. Я уже не помнил, что минуту назад, на перроне, мысленно провел черту между собой и домом Ксени; потемневшие стены станционного дощатого барака так живо восстановили в памяти прошлое, что теперь, когда я удалялся от него, хотя и говорил себе: «В Гольцы! Сейчас же, сразу в Гольцы!» — все же не сел в автобус и не поехал к центральному колхозному рынку, где легче всего можно было найти попутную машину в Гольцы, а невольно, почти не осознавая того, что делаю, с тяжелым рюкзаком за спиною пошел через весь город по знакомой — правда, она была не заснежена, как тогда, все было обрамлено зеленью, но для меня она по-прежнему оставалась *той,* заснеженной, — улице, чтобы если уж не зайти, то, по крайней мере, взглянуть на дорогую мне избу с высоким крыльцом и высокими и холодными, как мне почему-то и теперь кажется, перилами; ведь я только внушал себе, что тянуло к местам боев, тогда как настоящей причиной было, конечно, другое, и я постоянно чувствовал это, а подходя к дому Ксени, чувствовал особенно. И все же я не зашел в тот день к Ксене; издали, с обочины, оглядел я до мелочей памятные мне фасад и крышу и затем, остановив какую-то направлявшуюся через Гольцы райпотребсоюзовскую, кажется, полуторку, забрался в кузов на ящики и, чтобы не видеть удалявшихся окраинных домиков Калинковичей, принялся смотреть вперед, на дорогу. Я узнавал, разумеется, лесные опушки, на которых когда-то мы разворачивали батарею, и взгорья, по которым, то залегая в снег, то подымаясь, когда-то двигалась наступающая пехота, но вместе с тем я не испытывал того радостного, что ли, волнения, какое, как мне казалось, должен бы испытывать (какое, помните, овладевало мною в вагоне, когда только подъезжал к Калинковичам); напротив, будто даже с безразличием смотрел я вокруг, и были минуты, когда хотелось тут же постучать в кабину водителя, остановить

машину и, спрыгнув на шоссе, кинуться обратно: на вокзал, на поезд, в Читу, в Москитовку, где все — и эти места (в мыслях, конечно), — все представлялось наполненным жизнью. «Вот уж действительно дурная голова ногам покою не дает, — с усмешкою думал я про себя. — Ну, были здесь бои, ну что? Стоят хлеба, все запахано, заросло, а там... зарастает могила Раи. И Зинаида Григорьевна! Как неподвижна была она на растворявшемся в сумерках дощатом перроне», — продолжал я, попеременно возвращаясь то к одному, то к другому, но с одинаковым как будто равнодушием, и соглашаясь лишь, как вам сказать, с формулой, что ли, «жизнь есть жизнь, и каждому в ней свое». «А мне свое — эта тряская дорога, кузов и прыгающие ящики в нем», — продолжал я. Так как в Гольцы мы приехали под вечер, я вошел в первую приглянувшуюся на краю деревни избу и, ничего не рассказывая о себе хозяйке Евдокии Архиповне, как назвалась она, попросился на ночлег.

«Отчего же нельзя, можно, ночуйте», — сказала она.

«А что-нибудь поужинать — молока, картошки, я заплачу».

«Да чего уж, можно».

Она отварила картофель, принесла молоко из погреба, и я, поужинав, отправился на сеновал, не желая нарушать привычной вечерней жизни хозяев дома — Евдокии Архиповны и ее дочери Вари. Тогда я еще не знал, что у нее есть и сын, который учился в то время в городе; да многого я еще не знал о ней: ни того, что муж ее партизанил и погиб в здешних лесах, ни, главное, того, что в памятный для меня холодный январский день, когда мы вели поединок с немецкими самоходками, за бревенчатым настилом, здесь, в деревне, в промерзшем подполе своей избы двое суток отсиживалась она со своими маленькими детишками, а когда в деревню ворвались наши автоматчики, кто-то из бойцов, видя окоченевших ее детей, снял из-под своей шинели ватную телогрейку и укутал ею ребят; словом, ничего этого я не знал, да и не стремился в тот вечер узнать хоть что-либо, занятый весь собою и жаждавший уединения, — я ведь потом, приезжая в Гольцы, всегда останавливался у нее в доме, и сын ее Костя, Константин Макарович, на моих, в сущности, глазах был и учителем, и директором местной школы, и много лет затем секретарем пар-

тийной организации колхоза, и вот теперь уже третий год председательствует, и, говорят, неплохо, да и дочь вышла в лаборантки на молочном приемном пункте, ну а вообще-то вспомнил я это так, не к делу, просто становились на моих глазах жизни, и все, а в тот вечер мне хотелось уединения, и я, с удовольствием растянувшись на прошлогоднем, пересохшем и колком под тонкой подстилкой сене, долго смотрел на синее звездное июльское небо. Я был огорчен и разочарован своей поездкой, ничто не утешало меня, никакие, даже добрые воспоминания. «Нет, порывы души — это одно, а жизнь — это совсем другое, — говорил я себе. — Жизнь проще, и она требует рассудка». Ведь все это, что теперь происходит со мной, можно было предугадать, предвидеть, и Зинаида Григорьевна (она все время возникала передо мной в воображении: то на дощатом перроне, какой я оставил ее, то в комнате у двери, нарядная и с тем выражением надежды и счастья на лице, какое я уловил тогда) — вот она все, конечно, знала, потому и была так грустна, стояла неподвижно, и в этой ее неподвижности — как же я сразу-то не сообразил! — было сказано все: «Куда, зачем и для чего едешь?» Я думал так, вместе с тем прислушиваясь, как засыпала деревня, как затихали дальние звуки и как именно оттого, что затихали те, яснее слышались ближние, и мне чудилось, что будто где-то совсем рядом со мною (на самом деле под сеном, под жердевой крышею, в хлеву), облизывая, наверное, языком свои мокрые розовые губы, беспрерывно и бесконечно жевала жвачку хозяйская корова; я и проснулся утром с тем ощущением, что напрасно приехал сюда, что всякие чувства — это ложь и что никогда нельзя поддаваться порывам. «Да хотя бы и Ксеня, — думал я. — Благородный порыв, минутное чувство, и что из этого? В госпиталь! А ведь все могло быть иначе, да и было бы все иначе, что говорить — ясно бесспорно, а главное, просто, так все просто, что удивительно, как можно было видеть когда-то все по-другому!» Не позавтракав, не сказав никому ничего, я вышел со двора мрачным, нахмуренным, и только когда, очутившись уже за деревней, ступил на бревенчатый настил (тогда, в первый мой приезд, был еще этот бревенчатый настил через заросшую кустарником топь и маленькую речушку, а дорогу насыпали потом, спустя лишь несколько лет, и тоже, как говорится, на моих глазах), — да, так вот, только когда ступил на бревенчатый настил, как

будто что-то переключилось во мне; не сразу, разумеется, не вдруг; сначала я принялся искать место, где стояли тогда немецкие самоходки, и хотя никаких следов с тех пор, само собой, не сохранилось, да и бревна в настиле были давно подновлены, но, как бывший военный, бывший комбат — если помните, ведь я закончил войну в должности командира батареи, — я прикидывал, осматривая местность, где удобнее было им стоять, где бы, вернее, я сам поставил их, будучи, скажем, немцем; незаметно, но все явственнее втягиваясь в атмосферу того боя, какой когда-то разыгрался здесь и участником которого я был, я торопливо зашагал через бревенчатый настил на другую сторону болота, на *нашу,* чтобы час за часом, минута за минутой вновь пережить весь поединок с немцами, и еще не выйдя из кустарника и не войдя в лес, уже чувствовал — не в самом себе, нет, а как будто вокруг — звуки нараставшего артиллерийского обстрела. В лесу, где стояла наша батарея (следов от окопов и ровиков не было и здесь, трава закрывала все, а я не раздвигал ее и не всматривался), я прижался щекой к стволу ближней березы (мне казалось, к той, что и тогда, в январе сорок четвертого) и совершенно отчетливо слышал, как тяжелые, резкие и оглушительные разрывы прокатывались по лесу. «Вон там стояли зенитные орудия, — говорил я себе, — а здесь горели наши танки, а вот тут, перед самым кустарником, были врыты орудия нашей батареи». Я смотрел, говорил себе это, и прошлое, пережитое, как бы само собою разворачивалось во мне, и хотя я, то и дело поправляя на спине тяжелый рюкзак, шел к тому месту, где были подбиты зенитные орудия (именно туда в первую очередь тянуло меня, хотя я и теперь не могу объяснить почему), в то же время в мыслях я как будто бежал на командный пункт к комбату и, вытянувшись и замерев, выслушивал приказание подполковника, а потом, вернувшись на батарею, отдавал распоряжение сержанту Приходько и вместе с бойцами его расчета вытягивал к обочине дороги орудие; для меня одинаково реально было и то, к чему я подходил и что осматривал сейчас, и то, что происходило тогда и горячило теперь воображение. Постояв возле нескольких обмелевших, если так можно выразиться, и заросших травою воронок, которые когда-то устрашающе чернели на белом снегу и от которых уносили убитых и раненых зенитчиков, я спустился ниже по дороге, где мы разворачивали перед горя-

щими танками наше орудие на прямую наводку, и с удивлением в первое мгновение увидел, что щель на обочине жива, понимаете, *жива,* хотя тоже обмелела и тоже заросла, и я с минуту стоял перед ней, как перед памятником, и смотрел, как по краям рядом с жилистыми листьями подорожника на высоких зеленовато-белых стрелках чуть шевелились на ветру крупные белые головки одуванчиков. Затем, повернувшись, взглянул на дорогу, на бревенчатый настил, который теперь, в ясное солнечное утро, был виден намного отчетливее, чем тогда, в пасмурный зимний день, казался совсем рядом, будто начинался вот, метрах в пятидесяти от места, где я стоял, и хотя, разумеется, никаких самоходок сейчас на нем не было, а даль просматривалась так хорошо, что можно было различить крыши окраинных изб деревни, но для меня все вокруг, может быть, на какие-то доли секунды словно преобразилось, и не было листвы на кустарнике, и по краям дороги лежал снег, багрово-розовый от горевших танков, а я, пригнувшись, ловлю в перекрестие прицела бронированный лоб самоходки и чувствую, как ладонь ложится на холодную, покрытую, как перед тем, первым, выстрелом, колким игольчатым инеем металлическую гашетку; мгновение, сейчас грянет выстрел, я прыгну и покачусь в щель, и все оживет: и лица, и руки, и согнутые спины солдат в шершавых и обсыпанных комками красной глины шинелях, и звонкое «шлеп! шлеп!» раздастся там, возле уже подбитых зенитных установок, и сержант Приходько шепотом скажет: «Пронесло», — скажет так, с тем неповторимым оттенком, как произносилось это слово только на войне и только в определенные минуты боя. Я слышал и видел все, глядя на щель и бревенчатый настил, но вместе с тем как эта ожившая картина казалась мне реальностью (она продолжалась и потом, когда я, уже сняв рюкзак, сидел на траве, свесив ноги в бывшую глубокую и теперь обмелевшую щель, вырытую, как я и сейчас с удовлетворением отмечал про себя, разумно и расчетливо, не поперек, а вдоль дороги), я не пригнулся и не кинулся в щель, как тогда, во время поединка; я медленно сошел с дороги и сел, как путник, решивший отдохнуть, а в ушах все еще гремели выстрелы и разрывы, перед глазами все еще прочерчивались огненные трассы бронебойных снарядов, а со стороны леса уже доносились голоса подходивших к орудию подполковника Снежникова и нашего комбата капитана

Филева; вот-вот они примутся обнимать и пожимать руки и прозвучат и теперь дорогие мне слова: «Всех к награде! Сержанта — к боевому Знамени, лейтенанта — к Герою!»

Не помню, сколько времени просидел я возле той заросшей одуванчиками и подорожником щели и сколько выкурил папирос; по шоссе проезжали машины, правда редко, и обдавали газом и пылью, но я, по-моему, не замечал и этого; вероятно, они тоже воспринимались как те танки, что, огибая орудие, когда-то с рокотом и треском устремлялись мимо нас вперед; мне действительно казалось, что только что отгремел бой, и не было еще у меня ни Пургшталя, ни Калинковичей, ни Читы, ни Москитовки, а все только еще должно было быть, и в этом *должно* на первом плане стояла встреча с Ксеней. В какую-то минуту я снова вышел на дорогу, остановил машину, но шедшую не в сторону Мозыря, а в противоположную, на Калинковичи, и в сумерках — правда, еще хорошо были различимы заборы и избы — на самом въезде в город попросил водителя затормозить и, расплатившись с ним и поблагодарив, остался один на дороге.

Как и много лет назад, в ту фронтовую снежную зиму, когда, разбуженный ординарцем комбата и весь находившийся еще, хотя и после сна, под впечатлением недавнего боя, я появился в избе Ксени, готовый выполнить любое задание, так и теперь во мне как будто жило то же чувство: и когда открывал калитку, и когда затем, поднявшись на крыльцо, проходил через сенцы и переступал порог комнаты. Но, знаете, как ни ярки бывают в человеке воспоминания и прежние чувства — сейчас-то я вполне могу судить об этом, — отключиться полностью от того, что окружает его, он не может, каждая минута жизни рождает новые ощущения и мысли, и, вероятно, потому-то, как ни спешил я увидеть Ксеню, как ни представлялось мне, что все пережитое должно сейчас повториться, волнения дня, иллюзия боя и встречи — все, как спадает иногда с плеч наспех накинутое пальто, стоит лишь резко повернуться, все как бы вдруг спало, осело во мне, едва только, войдя в избу, я увидел Марию Семеновну, Василия Александровича и Ксеню. Не то чтобы они встретили нерадушно, напротив, и Василий Александрович, сразу же принявшийся обнимать меня своею крепкою, мускулистой рукою, и Ксеня, помогавшая снимать с плеч рюкзак, и даже Мария Се-

меновна, ничуть, как мне казалось, не постаревшая за эти годы, молчаливо, но приветливо оглядывавшая меня со своего, наверное, привычного уже места, от печи, — все как будто были рады моему неожиданному появлению, и, естественно, должен был радоваться и я, и я действительно улыбался, проходя в комнату и усаживаясь на предложенный стул, но, сказать откровенно, никакой радости на душе у меня не было. Я то и дело посматривал на Ксеню, хотя было неловко и неприлично делать это, я понимал, краснел, но, говоря себе: «Нельзя, не надо», — продолжал смотреть, и Василию Александровичу, я видел, было неловко, да и Марии Семеновне — она постоянно отзывала Ксеню, то чтобы сказать что-то, то просила помочь, и все это, конечно же, для того, лишь бы поменьше на глазах; и все же, как бы там ни было, а я, пожалуй, только и видел в эти первые минуты Ксеню, куда бы ни поворачивал голову, и мне казалось, что и она не изменилась с тех давних пор, а была все такая же красивая, и в свете (уже, разумеется, не керосиновой, а электрической) горевшей под потолком лампы серые волосы ее отливали тем же серебристым блеском, а в глазах, я уловил сразу же, в голосе, как она произносила слова, даже будто в движениях рук жил все тот же понятный мне огромный мир человеческой доброты, щедрости и счастья. Я говорю «понятный», но если бы вдруг тогда спросили меня, в чем же состояли эти ее доброта, щедрость и счастье, вряд ли сказал бы что-нибудь вразумительное; теперь-то я знаю в *чем*, потому что позднее открылись мне многие стороны ее жизни, а в тот вечер, как, впрочем, и в первые мои встречи с ней, мне лишь казалось, что я понимал ее, и мир ее представлялся прекрасным, как и сама она, ее лицо, глаза, косы, ее голос, в котором, пожалуй, обращалась ли она к матери, мужу или ко мне, более всего чувствовалась вся ее доверчивая к людям натура. Я почти обожествлял ее, разумеется, не сознавая этого и не задумываясь над тем, хорошо ли, глупо ли это; когда я смотрел на Марию Семеновну или Василия Александровича, одна и та же мысль приходила мне в голову, что они не видят и не понимают, какой человек живет рядом с ними, и что, не понимая, не могут оценить всей прелести ее души (только я один вижу и могу сделать это!), и что оттого счастье Ксени должно быть неполным, но что она, по всему, не замечает этого, а если и замечает, то в силу опять-таки своей щедрости прощает

им эту их близорукость. Вот так думал и так чувствовал я в те первые минуты встречи, хотя внешне все было просто: в доме гость, хозяева рады гостю и собирают на стол, идет разговор, какой обычно бывает в таких случаях, о прожитых годах, и Ксеня — может быть, действительно в ней не было ничего особенного, женщина, как сотни других, но вот представлялась же она мне необыкновенной, а чем объяснить это — *чем?* — откровенно, до сих пор не знаю; разве только тем самым пониманием, тем бессловесным, как я уже говорил, языком, который все же существует между людьми? Чем дольше я смотрел на Ксеню и думал о ней, тем острее, потому что человек не может жить только в мире воображаемых картин, чувствовал неловкость и оттого, может быть, держался смущенно, скованно, в то время как Василий Александрович, Мария Семеновна, Ксеня словно не замечали этой моей скованности и в разговоре между собой, и в обращениях ко мне вели себя просто, не выказывая ни особенной радости, ни того, что гость, так неожиданно нарушивший привычный ритм их семейной жизни, был им в какой-то мере в тягость; и все же, думаю, Василий Александрович чувствовал напряженность встречи, потому что иногда в его взгляде, когда он смотрел на меня, вдруг появлялось что-то недоброе, будто он спрашивал: «Зачем пришел? Я же все объяснил тогда тебе» (и был, конечно, прав, как я понимаю теперь), — но взгляды эти были мимолетными, и он до конца, пока я не ушел, оставался внешне, по крайней мере, радушным и спокойным хозяином.

Когда мы уже сидели за столом и минуты первых волнений были позади — может быть, потому, что я понимал, что ни Василий Александрович, ни Ксеня, ни тем более Мария Семеновна не расскажут всего, как они живут («Как все, не лучше, не хуже, «тянем гражданку», — только и сказал о себе, слегка усмехнувшись, Василий Александрович), — я невольно, вместе с тем как будто все время видел перед собой только Ксеню, приглядывался и к вещам, что наполняли комнату, и к одежде, в чем были Мария Семеновна, Василий Александрович, Ксеня. Я не придавал значения тому, что все они были одеты скромно, по-домашнему, как я застал их, и что ситцевый фартук на Марии Семеновне был прожжен и в неотстирывавщихся, застарелых пятнах, но то общее впечатление, какое осталось у меня тогда, в первый приезд, и это нынешнее, что создавалось теперь

всем видом комнаты с кухонным столом, белыми шторками на окнах, длинною скамьею с ведрами вдоль печи и шестком, уставленным чугунами, были одинаковыми, словно жизнь здесь ни на шаг не продвинулась вперед, и это так не совмещалось с тем, что привык думать о Ксене, что иногда как бы вдруг, ни с того ни с сего начинал протирать глаза, чтобы увидеть все по-другому. И на лице Ксени, когда внимательнее пригляделся к нему, заметил какую-то будто усталость, что-то было в нем болезненное: то ли в бледности, то ли в каких-то еле уловимых черточках и линиях; да и Мария Семеновна тоже теперь казалась постаревшей и чем-то, я чувствовал, глубоко озабоченной, и Василий Александрович хотя и старался шутить, но и в его глазах минутами вспыхивало какое-то непонятное и не связанное с моим приходом беспокойство; что крылось за всем этим: нескладная ли семейная жизнь, ссоры, недостаток, неурядицы ли по работе или еще что-то, чего тогда, разумеется, я не мог даже предположить, но, во всяком случае, мне ясно было одно, что не все ладилось здесь, и я смотрел уже и на них, и на все, что попадалось на глаза, с тревогою, будто эти подразумеваемые несчастья были не Ксенины, не Василия Александровича и Марии Семеновны, а моими. «Нет, — временами говорил я себе, — все это мне только кажется, потому что думаю, что я бы сделал Ксеню счастливее. Конечно, только кажется», — повторял я для убедительности, но почти тут же, так как Ксеня сидела за столом напротив меня, лишь чуть приподнимал голову, видел, как болезненно бледны ее щеки, а когда поворачивался на вопрос Василия Александровича (или чтобы ответить ему), опять и опять ловил на лице его беспокойство, словно он чего-то стеснялся, своей, может быть, именно этой семейной неустроенности, что ли.

«Все там же, в диспетчерской?» — спросил я, когда все, что можно было рассказать о себе, было уже рассказано и хотелось хоть что-нибудь услышать от Василия Александровича.

«А куда еще?» — вопросом же ответил он, приподняв для подтверждения единственную свою правую руку.

«Учиться не думал?»

«Нет, — сказал он уверенно и твердо, но я заметил, как он недоуменно переглянулся с Ксеней. — Нет», — чуть выждав, повторил он и снова взглянул на Ксеню,

как будто ему самому было не ясно, верно ли он говорит или нет.

«Почему?»

«Ну как тебе сказать...»

«Да что уж, какая тут учеба, — неожиданно вставила свое слово долго сидевшая молча Мария Семеновна. — Валенки подшивать по ночам — вот и вся ему учеба».

«Мама!» — воскликнула Ксеня.

«Что «мама»? Разве ж я от худа какого? Али человек сам не видит? Нужду за пазуху не скроешь».

«Мама!»

«Тут, Евгений, все гораздо сложнее, — сказал Василий Александрович, кладя мне руку на плечо и взглядом прося при этом жену и тещу замолчать и успокоиться. — Я ведь еще с детства не любил учиться, — шутливо добавил он, чтобы хоть как-то сгладить то впечатление, какое, он видел, произвели на меня слова Марии Семеновны и Ксени. — Дотянул до десятого, и куда дальше? Где полегче? В военное училище. Тут, скажу тебе, была у меня жилка, была, душой чувствовал, да, впрочем, ты же знаешь, сколько месяцев бок о бок на передовой, а? Или ты обо мне иного мнения был?»

«Какой разговор, Василий Александрович!»

«Разговор обыкновенный: была жилка, была, Женя, и никто отрицать не сможет, да и осталась на Сандомирском. — Произнеся это, он чуть заметно, искоса посмотрел на пустой левый рукав своей рубашки. — А в общем, чего жалеть: победили, вернулись, живем, и все идет как надо, но ты-то, ты — молодец! Да ты всегда был, сколько помню, молодцом, и зря тебе тогда не утвердили Героя. А мы ведь дополнительно писали, и Снежников хлопотал — душа-человек, отличный командир, он сейчас уже генерал и служит где-то там у вас на Дальнем Востоке, и напрасно мы не переписываемся, порастерялись, позамыкались каждый в свою скорлупу, а-а, даже не хочется об этом... Из Москитовки, наверное, как закончишь институт, опять в Читу? В глуши-то чего сидеть?» — как будто незаметно, будто само собою (но для меня теперь да и тогда было вполне очевидно, что он просто уклонялся от серьезного разговора), вдруг прервав свои рассуждения, спросил он.

«Пока не решил. Надо закончить, а после видно будет».

«Поселок-то большой? Есть перспективы?»

«Какие могут быть, Василий Александрович, там у нас перспективы? Лесозавод, а в общем, лесоперевалка, вот и все».

«А люди как живут?»

«В каком смысле?»

«Ну, уровень, что ли».

«Уровень в целом, насколько я могу судить, что ж, уровень — я же бываю в домах своих учеников, — как везде сейчас, неплохой, подымается. Но тоже, хоть и фронт будто не проходил, и разрушений нет, а война и там наследила, домишки поосевшие, да и народ все еще как-то по-настоящему встряхнуться не может, рук не хватает: на плотах — бабы, у пилорам — бабы», — начал я, хотя казалось, что все, что можно было рассказать, было уже рассказано и о Чите и о Москитовке и ничего уже не оставалось в памяти. Но Василий Александрович спрашивал, а я отвечал, и оба мы долго еще вели как будто интересующий нас разговор, хотя ни ему, ни мне не доставлял он ни интереса, ни удовлетворения. Не знаю, какие думы охватывали его, но я постоянно и с еще большим теперь, кажется, волнением посматривал на Ксеню, уже не только обращая внимание на болезненную бледность ее щек, а мысленно представляя, как должна была жить она, что уже сейчас, когда ей нет еще и тридцати, уже и эта бледность и утомленность; я воображал, конечно, по-своему, как жила она, но мне опять казалось, что я понимал ее, и хотелось (в какие-то доли секунды я был совершенно готов к этому и не помню, как только сдерживался), прямо взглянув в глаза Василию Александровичу, спросить: «Что ты сделал с Ксеней?» Но, однако, мы продолжали вежливый и как будто радовавший всех нас разговор, пока наконец Василий Александрович, посмотрев на часы, не встал из-за стола и не сказал, устало потянувшись:

«Ты где остановился?»

«Как где?»

«Где, говорю, остановился, в гостинице?»

«Да», — ответил я, хотя даже не знал, есть ли в городе гостиница и где расположена она.

«А то остался бы у нас, нашли бы место, где переночевать».

«Нет, спасибо».

«А из Калинковичей когда? Завтра?»

«Думаю, завтра».

«Куда?»

«В Речицу».

«А-а, это ты хочешь на вокзал, где нам снайпера прицелы поразбивали, ну-ну».

«Потом в Ветку».

«А-а, на тот самый песчаный откос, на лобное место, ну-ну, помню».

Он помнил, конечно, и уличные бои, которые мы вели в Речице, и вокзал, где немецкие снайперы так прижали нас к земле, что до самой ночи мы не только не могли поднять головы, но боялись пошевелиться, и помнил так же хорошо песчаный откос на берегу Сожа, под Веткой, где была развернута батарея на прямую наводку, чтобы поддержать переправу, и куда после неудачного форсирования, когда немцы танковым контрударом сбросили нашу пехоту в воду, прибивало волнами посиневшие трупы солдат, но, помня все, вместе с тем не хотел сейчас, и это было заметно, вдаваться в подробности; в том, как он произносил «ну-ну», будто снисходительно похлопывая в знак одобрения по плечу, в мгновенном взгляде, какой бросил на рюкзак, как только я тоже, поднявшись, вышел из-за стола, нельзя было не почувствовать, что он желает лишь одного — поскорее распроститься со мной. Даже самого элементарного: «Посидел бы еще, куда торопишься, столько лет не виделись», — что говорят в таких случаях иногда и не очень гостеприимные хозяева своим не очень-то желанным гостям, Василий Александрович не сказал, и оттого, может быть, никогда прежде не испытывавший к нему неприязни и не позволявший себе в тот, прошлый приезд думать о нем плохо, теперь, видя и чувствуя это его желание поскорее проводить меня, я с раздражением говорил себе: «Вот ты какой, вот когда раскрылось твое нутро! С годами раскрывается, правильно говорят, с годами, и ты не имел права жениться на Ксене. Ты сделал ее несчастной, взгляни, ты сделал ее такой!» Я горячился, хотя все это было напрасно, и позднее, когда с Василием Александровичем мы снова стали друзьями и многое объяснилось, и на эту встречу, и на его поведение я смотрел уже иначе, но в тот вечер все во мне бурлило, и я лишь сдерживал себя, чтобы не наговорить грубостей (не наговорить, главное, при Ксене) бывшему своему комбату. Стараясь не смотреть на него, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом, я начал прощаться с женщинами.

«Спасибо, Мария Семеновна, — как можно ласковее проговорил я и, когда она протянула руку, пожал ее. — Спасибо и вам, Ксеня, за вечер и до свиданья», — обратившись к ней и слегка наклонив голову по старой, еще военной, офицерской привычке, продолжил я и, так как она тоже протянула руку, пожал ее холодные белые пальцы; когда же повернулся к двери, чтобы взять лежавший у порога рюкзак, прямо передо мною уже с рюкзаком в руке словно выросла, загораживая все, фигура Василия Александровича.

«Я помогу», — сказал он.

Я молча взял у него рюкзак и накинул на плечи.

«Ну, до свидания, — еще раз обратился я к женщинам, которые, было видно, не собирались провожать меня. — Желаю вам здоровья и счастья. Ну, Василий Александрович...» — начал было я, но он не дал договорить.

«Я провожу, ничего, мы еще обнимемся», — сказал он и открыл дверь.

Молча прошли мы через темные сенцы, спустились с крыльца и так же молча прошли через двор; когда уже оказались за калиткой, как и во время того, давнего прощания, он вдруг жестко взял меня за плечо и, взглянув в темноте в лицо, с какою-то будто просьбой проговорил:

«Не думай обо мне плохо».

«А я и не думаю».

«Облить грязью человека всегда легко, а понять его душу трудно. Не думай плохо, слышишь, говорю тебе».

«А я и не думаю».

«Ну, дай обниму на прощание, что ли, — добавил он, и я снова ощутил под рюкзаком на спине его широкую, теплую и жесткую ладонь и возле щеки своей его щеку. — Иди. И хорошо, что зашел, и заходи еще, ради бога».

Я не оглядывался, когда по неосвещенной, темной улице уходил от дома Ксени, но знал, что Василий Александрович стоит у калитки и смотрит мне в спину; ему тоже, наверное, как и мне, нелегко было теперь, после этой нашей встречи, он по-своему видел, понимал и переживал ее, представляя, как он обошелся со мной, бывшим своим фронтовым товарищем, но все мы в какие-то минуты жизни бываем эгоистичны, и потому я не думал, с каким чувством остался Василий Александрович у калитки; меня не волновали его переживания;

даже злости той, что испытывал в комнате, прощаясь со всеми, теперь как будто не было во мне, а лежало на душе лишь какое-то горькое, неприятное ощущение, будто я проглотил что-то колючее, жесткое и надо было чем-то запить, чтобы размягчилось и растворилось это колючее и жесткое. Я невольно сравнивал то, как Василий Александрович держался дома, в присутствии Ксени, с тем, как разговаривал со мной (и ведь это не первый раз!) только что, когда мы стояли вдвоем, и мне казалось, что было что-то унизительное в его словах: «Облить грязью легко, а понять душу трудно» — и особенно в просьбе: «Не думай плохо». «Конечно же, он виноват, — говорил я себе, — и все дело в нем, как они живут, в каких-то дурных, может быть, отвратительных поступках, которые он совершает, понимая, однако, что делает гадко, но повторяет снова и снова, не в силах побороть своего характера, и потом кается, — есть же такие люди, и сколько угодно, терзающие свои семьи! — вымаливает прощение у Ксени и Марии Семеновны, как вот сейчас вымаливал у меня. Но Ксеня, Ксеня!..» Ни в какую гостиницу, разумеется, я не пошел, это не входило в мои планы; и в Речицу и Ветку я уже не поехал; знакомая с давних лет дорога привела меня на вокзал, и я до утра просидел уже, конечно, не в холодном дощатом бараке, а в теплом и светлом зале ожидания для пассажиров, на скамье рядом с разросшимся в дубовой кадке и заслонившим своими широкими листьями весь угол фикусом, а как только открылись кассы, взял билет на Москву.

Покидал я Калинковичи опустошенным, на душе было так тяжело, что ни о чем не хотелось думать; но и не думать я не мог, передо мною постоянно словно стояли две Ксени: та, какою я знал ее прежде, и эта, какой увидел теперь, похудевшая, утомленная, — и при одной лишь мысли, что она несчастна, а в том, что она несчастна, я ни минуты не сомневался, я весь как бы съеживался от страдания и боли. Я не знал, в чем она несчастна, но мне казалось, что все было понятно мне. Мне было жалко ее; вместе с тем, как ни обвинял я Василия Александровича и как ни казался он мне жестоким и нехорошим, было жалко и его, и Марию Семеновну, и те ее слова: «По ночам валенки подшивать» — теперь будто расшифровывались, и я представлял, как Василий Александрович, вернувшись с дежурства из диспетчерской, пристраивался на низенькой скамеечке у

стены (я видел эту скамеечку, она стояла под лавкой, у печи), брал валенок, зажимал между коленями и, однорукий, сгорбленный, ловчась, помогая себе подбородком, плечом, грудью, работал до поздней ночи, подрабатывал, а зачем? Где его приработок? Вся жизнь Василия Александровича, Марии Семеновны, Ксени с ее явной семейной неустроенностью и непонятною (ведь с приработком!) нуждою оставляла тяжелое чувство. «Опоздал», — мысленно говорил я себе, лежа на полке в купе, и ни на что как будто не глядя, и ничего не замечая вокруг, лишь чувствуя, как все прошлое — и мое и Ксени — и будущее словно сливалось в этом одном и горестно звучавшем для меня слове.

ЧАС СЕДЬМОЙ

— В Москитовку я вернулся иным человеком, — продолжал Евгений Иванович. — Правда, сам я не замечал, какие произошли во мне перемены, но Зинаиде Григорьевне, как она потом рассказывала, я показался и похудевшим, и утомленным, и необычайно расстроенным, и каким-то даже будто рассеянным и забывчивым («Смотришь на меня и не видишь, — говорила она, — хоть воду подай, хоть щи, хлебаешь ложкой, а вкуса нет, гляжу, сердце заходит!»), и она, разумеется, не знавшая, что произошло со мной, всей душой, как она выразилась, ненавидела те далекие и неведомые ей Калинковичи, которые *испортили,* сделали как бы чужим дорогого ей человека; она даже молилась по ночам, устанавливая в уголок икону и зажигая свечу, но, повторяю, узнал я об этом позднее, а в тот год, когда вернулся, помню лишь, что на целые дни, пока, конечно, не начались занятия в школе, уходил в лес, и осенние краски — желтая листва берез и темная зелень елей — производили на меня то успокаивающее действие, какое, как я давно уже убедился, всегда производит природа на человека, особенно горожанина, как только он выезжает в поле, на море или в лес. Бродил я бесцельно, без ружья — убивать птиц и зверей ради удовольствия, пусть спортивного, нет, увольте, это не для меня! — разгребая сапогами опавшие сухие желтые листья, иногда по колена зарываясь в них, и шорох, и особенный запах увядания, и небо сквозь полуоголенные, в редких еще листочках ветви, белесое, осеннее, как будто выгоревшее и уставшее за лето, — все-все было словно чем-то новым для

меня, я все замечал, всем любовался, и все так закрепилось в памяти, что часто и теперь, вспоминая, мысленно переношусь в тот осенний лес, и в такие минуты все как бы укладывается во мне, и я — нет, не говорю себе, это было бы смешно и глупо, но всем будто существом чувствую то непрерывное и ободряющее движение жизни, что после каждой осени непременно будет весна и лето и что после каждой горечи — непременно успокоение и новые, может быть радостные, волнения. Несложное, как видите, нехитрое повторение, а вот содержит же какую-то неизмеримую глубину. Помню еще, что зима в том году пришла рано и была снежной, метельной; сугробы лежали вровень с крышами; когда же стихали ветры, в морозные ясные дни все покрывалось густым сизоватым инеем: и бревенчатые стены изб, и телеграфные столбы, и провода на них, отяжелев, как белые канаты, висели в воздухе, и ветви берез, елей, и воротники, спины и шапки шагавших в синей рассветной мгле на работу людей — все покрывалось инеем, и у меня тоже, когда входил в теплый коридор школы или, уже поздно вечером, входил в натопленную избу Зинаиды Григорьевны, брови бывали так опушены, что приходилось платком вытирать, как слезы, этот таявший иней. В общем, жизнь не останавливалась, текла день за днем своим чередом, выдвигая разные новые заботы, и, откровенно говоря, я не думал ни о Ксене, ни о Василии Александровиче, а просто, знаете, как это бывает иногда, испытывал равнодушие ко всему; может быть, и с вами случалось такое, когда все равно, живешь или не живешь; но с первыми весенними днями, когда над окнами повисли длинные голубые сосульки и когда солнце все чаще начало заглядывать в класс, освещая склоненные головки ребят, опять, сперва исподволь, постепенно, но с каждою неделей все сильнее, прежняя же мысль о поездке по местам боев возникала и будоражила сознание. Правда, Калинковичи даже мысленно я старался не затрагивать и говорил себе: «В Речицу или Ветку». Я опять обманывал себя, но, как и раньше, не замечал этого, и как только сошел снег, к великому огорчению Зинаиды Григорьевны, вновь принялся собираться в дорогу.

Опять мы шли по тропинке через тайгу, но, прежде чем войти в густой березняк и ельник, останавливались и, оглянувшись, смотрели на деревянные домики поселка, на корпуса лесозавода, изгиб реки, пристань и плоты у желтого песчаного откоса, и опять словно спе-

циально (потому что она шла позади меня) вырастала в эти минуты передо мною стройная и нарядная фигура Зинаиды Григорьевны, и я смотрел на все поверх ее головы и плеч: и шагали молча; и так же долго сидели на скамейке, ожидая поезд, а солнце, клонившееся к горизонту, обагряло своими закатными красками тайгу, а когда зеленые вагоны, прогромыхав, на секунду остановились, так же торопливо, пожелав лишь счастливо добраться домой, но не обняв и не пожав руки Зинаиде Григорьевне, вспрыгнул на подножку и уже оттуда, из тамбура, из-за плеча проводника смотрел, как уплывал в сумерках дощатый перрон вместе с неподвижно стоявшей на нем Зиной. Вообще-то многое тогда напоминало мне первую поездку, с той лишь разницей, что, прибыв в Калинковичи, с вокзала я не пошел к дому Ксени, а, добравшись на автобусе до рынка, сразу же на попутной машине отправился в Гольцы; да и в Гольцах, постоянно заглушая в себе желание увидеть Ксеню, прожил лишь день, а когда вновь вернулся в город, снял номер в гостинице и почти все время с утра до вечера лежал на кровати, как больной, вспоминая, прислушиваясь к шуму улицы, забываясь в дремоте и снова, очнувшись, продолжая думать и вспоминать. Меня беспокоила судьба Ксени. Я был убежден, что она несчастна, и мучился оттого, что ничего не мог сделать для нее. «Но, может быть, я ошибаюсь и все не так», — пробовал говорить я себе и, хотя уже пора было мне уезжать, со дня на день откладывал сборы, чувствуя, что не могу уехать, не повидав ее и не узнав, как живет она и что поделывает Василий Александрович (к нему-то, впрочем, была у меня как будто определенная, устоявшаяся неприязнь), и в то же время не решаясь идти к ним. Сознание того, что я чужой, лишний и нежеланный там человек, угнетало и удерживало меня от этого шага. Несколько раз в сумерках все же я подходил к дому Ксени, но, постояв у калитки, возвращался в гостиницу и, только когда уже был куплен билет и все уложено в дорогу, буквально почти за час до отхода поезда не выдержал и помчался к ним.

Все, как и в прошлый раз, — и Ксеня, и Василий Александрович, и Мария Семеновна — были дома и, как в прошлый раз, встретили будто радостно и были заметно огорчены, когда, достав из кармана билет, я сказал, что заглянул лишь повидаться и что даже стакан чаю выпить с ними нет времени; но за те короткие

минуты, пока был у них, я опять сидел на стуле как будто перед шестком и длинной скамьею с ведрами и чугунками, — успел и разглядеть все (все было по-прежнему, и низкая сапожная табуретка, на которой Василий Александрович по вечерам подшивал валенки, стояла там же, под скамьей у печи), и уловить то недоброжелательное друг к другу отношение (как иногда Василий Александрович неожиданным резким взглядом останавливал намеревавшуюся что-либо произнести Ксеню и как Мария Семеновна снова, как в прошлый раз, вдруг вмешавшись в разговор, с горечью бросила: «Живем? Что живем — тянем с рубля на копейку!»), и, главное, вновь поразило меня лицо Ксени. Может быть, я преувеличивал, находясь в возбужденном состоянии, и все заключалось лишь в том, как она стояла к свету — лампочка горела позади нее над головою, и оттого под глазами и у губ лежали глубокие и старившие ее лицо тени, — но мне некогда было раздумывать, отчего под глазами тени, от верхнего света ли, или от семейной неустроенности; когда, распрощавшись, я вышел из комнаты, а Василий Александрович, как и раньше, проводив до калитки, приготовился было обнять меня, я отвел его руку и тихо, но решительно, как никогда прежде не разговарил с бывшим своим комбатом, спросил:

«Ты что с ней сделал?»

«А что?»

«Я спрашиваю: что сделал с ней?» — резче повторил я, наклоняясь к нему, чтобы в сумерках, когда он будет отвечать, увидеть его глаза.

«Если ты еще произнесешь хоть слово, — так же тихо, но угрожающе проговорил он, — ударю».

«За что?»

«Знаешь».

«За что же?»

«Иди, а то опоздаешь на поезд».

Я еще стоял и смотрел на него, а он, будто меня уже не было, закрыл калитку и, не сказав даже до свиданья, повернулся и пошел в темноте через двор в избу; и сейчас же послышалось, как в сенцах за дверью громыхнула задвижка.

Догнать, крикнуть, остановить, снова постучаться — все это было бессмысленно: я помню, что еще несколько минут смотрел на избу, которая мне казалась огромной на фоне синего ночного неба, и затем побрел к автобусной остановке. Мне было все равно, успею я или не

успею на поезд, и до сих пор не могу понять, как случилось, поезд ли шел с нарушением графика, но только когда я очутился на вокзале, поток пассажиров только-только хлынул к входным на перрон воротам. Я уезжал из Калинковичей с таким злым чувством, какого еще никогда не испытывал в жизни, и, как только приехал в Москитовку, сейчас же написал Василию Александровичу письмо, длинное, подробное, изложив все, что думал о нем, о судьбе Ксени и вообще о жизни, как понимал ее тогда. Послал на диспетчерскую, где он работал, так как не хотел, чтобы о письме знала Ксеня; мне представлялось это лишь нашим, мужским разговором, на который я имел, думаю так и теперь, полное право, но он не ответил мне; спустя несколько месяцев я написал еще и, опять не получив ответа, послал уже на домашний адрес (разумеется, в этом, последнем, только осведомлялся, живы ли и здоровы они и что поделывают) и когда уже совсем разуверился, что хоть что-нибудь ответит мне Василий Александрович, неожиданно весной, в конце мая, получил от него наконец маленькое послание, в котором он сообщал, что «все хорошо, жизнь идет как должно», но что «Ксеню вот положили в больницу», и что ей «предстоит серьезная операция». В тот же день я дал телеграмму: «Чем могу помочь?» — и хотя получил ответ: «Спасибо, ничего не надо», — да и дела складывались так, что мне нельзя было уезжать, все сразу: и защита дипломной, и мать, жалуясь на здоровье, просила приехать в Читу, и к тому же с Зинаидой Григорьевной я уже жил не как с хозяйкой, у которой снимал квартиру, а как с женой, и ей надо было теперь объяснять все, — я все же, взяв отпуск, срочно выехал в Калинковичи.

«Примчался?»

«Да».

«Я это знал, — добавил Василий Александрович, закрывая за мной дверь. — Бросай рюкзак на лавку, раздевайся и проходи».

Он был в доме один, я понял это сразу, оглядев показавшуюся мне пустой и неуютной комнату.

«В больнице еще, — сказал Василий Александрович, перехватив мой взгляд. — Операция вроде прошла удачно, дело идет на поправку».

«А Мария Семеновна где?»

«Там же, в больнице».

«С ней что?»

«Но ты же еще не знаешь, что с Ксеней», — недовольно перебил он.

«Да, конечно, что с ней?»

«То-то, «что с ней»... Чаю хочешь? Еще горячий, могу угостить, — предложил он и тут же, не дожидаясь ответа, направился к висевшему на стене потемневшему деревянному посудному шкафчику и, открыв дверку, принялся одною своею рукою доставать граненые стаканы и блюдца и устанавливать на столе. — Что с ней? Почку удалили, — уже на ходу продолжил он. — Да и оставшаяся, говорят, не очень. А Мария Семеновна, что ж, как нянечка при ней, и все. А-а, — протянул он вдруг, перебивая себя и с нескрываемой досадой махнув рукой, — все на лечение, ты не знаешь и не можешь представить себе, Евгений, сколько потрачено на ее лечение! А сколько она совершила глупостей! А-а, говоря между нами, откровенно, я уже измучился, устал, и все мне надоело, осточертело, вот, на загривке все», — докончил он, ребром ладони пропилив по своей согнутой шее.

Никогда прежде и никогда потом я уже не видел Василия Александровича таким расстроенным, удрученным, недовольным собой и жизнью, каким он был в этот вечер, когда мы вдвоем сидели за столом в той самой избе, которая была нам обоим памятна еще с фронтовой зимы, когда на рассвете мы вступили в освобожденные Калинковичи, и которая была давно уже теперь его родной избой, семейным, но не сложившимся, как он с горечью выразился, очагом, где жизнь стала для него не радостью, какою она должна быть для всех и какою, как ему казалось, живут, по крайней мере, многие и многие, а одною бесконечною и трудною, как для рабочей лошади дорогою. Он говорил неторопливо, долго, весь вечер: и пока пили чай, и после, когда просто сидели за столом друг против друга, и удивительно — как я теперь понимаю, несчастья всегда сближают людей! — держались мы так, будто ни разу не ссорились, а, напротив, всегда оставались друзьями, даже более: словно и не первым был этот доверительный, душевный разговор, а давно уже мы делились жизненными впечатлениями, и будто я не только слушал и понимал, что он говорит, но и вполне разделял его мнение и сочувствовал

ему. Да и на самом деле, ошеломленный этим его неожиданным откровением, я, казалось, действительно понимал и действительно сочувствовал ему; он выглядел настолько постаревшим (в те свои приезды я ведь смотрел только на Ксеню, и волновало меня лишь то, что происходило с ней!), что минутами не верилось, что передо мною сидит теперь тот самый бывший мой комбат капитан Филев, обычно подтянутый, стройный, строгий к себе и окружающим, как он запомнился мне с тех лет и представлялся в воображении, а какой-то другой, пожилой, опустившийся и сгорбленный под тяжестью жизни человек, у которого никогда будто не было ни боевой молодости, ни просвета, как не было сейчас левой руки, и он будто никогда не выходил за порог этой деревянной, с низким потолком и большой русской печью избы. Виски его были седыми, по всему лбу, разрезая его на линии, лежали глубокие морщины; днем они, наверное, не были так заметны, как теперь, вечером, при верхнем свете, потому что в них собирались тени; морщины постоянно двигались вместе с бровями, которые Василий Александрович то вскидывал в недоумении, то сдвигал, хмурил, когда хотелось ему, очевидно, выразить особенное недовольство тем, о чем говорил, и видеть эти двигавшиеся морщины на когда-то молодом, красивом, полном жизни лице было грустно. Я думал: «Что я знаю о нем? И что знал, когда служили вместе?» Ведь это нам лишь кажется, что мы знаем своих друзей, а в сущности, если разобраться, я только и помнил, что родом он откуда-то из-под Смоленска, что крестьянский сын, и что деревня его сожжена немцами дотла, и все родные погибли, но то, как он жил до того, как мы познакомились на фронте, когда я пришел к нему на батарею, и то, как жил потом, эти годы, когда женился на Ксене, я по-настоящему не знал; а предположения, что ж, разве могут быть верными они, если я судил обо всем лишь по впечатлениям от своих коротких и редких наездов? Я смотрел на его руку, которую он держал на столе, на широкую крестьянскую ладонь и пальцы с прокуренно-желтыми ногтями, жесткие, грубые и с уже непромывающейся чернотою (это оттого, наверное, что он постоянно имел дело с дратвой, иглой и шилом), и поглядывал на низенькую табуретку, которая находилась все на том же, под лавкою, месте, где стояла и в прошлый и в позапрошлый раз, когда я приезжал к Василию Александровичу, и, хотя я никогда не видел его за рабо-

той, вся картина, как он, ловчась, изворачиваясь, орудовал иглою и шилом, вставала перед глазами.

«И что это дает?»

«Копейки, конечно. Но ведь и копейка к копейке — рубль!»

«А чем-нибудь другим заняться?»

«Чем? С одною-то рукой? А главное, время. Может, чему-нибудь и выучился бы, да кто бы семью кормить стал?»

Разговора такого не было; это потом, вспоминая, я думал, что именно так бы Василий Александрович ответил на мои вопросы, а в тот вечер я был, как уже говорил, настолько ошеломлен, особенно вначале, этой открывшейся мне жизнью, что больше слушал, чем спрашивал, и, может быть, от жалости к Василию Александровичу, а скорее от того давнего чувства уважения к нему как к комбату (старшему по званию, по опыту жизни и по годам человеку), которое все еще было живо во мне, я не мог говорить ему ничего поучительного, лишь выбрав момент, спросил:

«Но болезнь-то у нее откуда? Как случилось все?»

«О, это история длинная».

«Может быть?..»

«Ты думаешь, от того падения? Нет, не только».

«Но...»

«Не забегай, не надо, лучше послушай, ведь ты все равно ничего не знаешь о ней. Ну что ты знаешь? И я ничего не знал. Все мы открываемся постепенно и открываем людей постепенно. Пришел однажды к нам незнакомый старик, на втором или на третьем году, как мы поженились, снял шапку, поклонился и говорит: «Здесь живет Ксеня Захарова?» — «Ну, здесь», — отвечаю, и все мы вот тут, в комнате, собрались, смотрим на него и думаем: чего ему надо? А он тоже оглядел нас, затем сбросил с плеч мешок, достал из него завернутое в тряпицу сало, а тогда, знаешь, еще карточки были, положил на стол и, повернувшись к Ксене, низко, почти до полу поклонился и сказал: «От внучки моей, от Нади, тебе поклон и спасибо. Она умерла, а перед смертью просила обязательно найти тебя и поблагодарить. Так о тебе до последней минуты и вспоминала. Я обещал, и давно бы надо прийти, да все недосуг, все собирался, ан, может, гостинец какой получше, да ведь и нам отведены богом дни. Спасибо тебе, дочка, за Надюшу и от меня». И он еще раз низко поклонился Ксене. Мария

Семеновна-то знала все и потому не удивилась, а я сейчас же с вопросами к старику, к Ксене: какая Надя? что было? А было, оказывается, вот что: согнали немцы с окрестных деревень девушек на вокзал, прихватили и из Калинковичей, в том числе попала и Ксеня, и всех их в эшелон и в Германию, как тогда они делали. Ночью на каком-то перегоне девушки в том вагоне, в котором была Ксеня, выломали пол и поныряли на шпалы, а зима, холод. Ксеня-то выпрыгнула удачно, а эта самая Надя (там же подружились, в вагоне) попереломала себе руки да и позвоночник повредила, вот Ксеня двое суток и волокла ее через лес до деревни. Пообморозилась, простыла, а все же приволокла, спасла от смерти тогда, ну та и благодарна. Вот что было. В двух словах, а за словами-то — жизнь! Потом и ей самой люди помогли добраться до Калинковичей, и почти год жила она в погребе, пряталась от немцев, с тех пор и застужены почки. Но ведь этого могло и не быть, вот главное. — При этих словах Василий Александрович как-то особенно, будто грозил кому-то, поднял указательный палец. — На другой день, когда старик ушел, Мария Семеновна и говорит: «По дурости она попала, Фроську побегла предупреждать, подружку, да и влипла сама. Там ее вместе с Фроськой и взяли. А сидела бы в сарае, куда я ее спрятала, и отсиделась бы, так нет, к Фросе...» — «Мама!» — крикнула Ксеня. «Ну чего «мама», или не так? Есть, Женя, в ней эта черта, — продолжал Василий Александрович, в то время как я, молча глядя на него и слушая, невольно представлял, как все происходило, как Ксеня, краснея и умоляюще глядя на мать, просила замолчать ее (так уже было раз при мне, я хорошо помнил ту сцену). — Есть в ней этакая, я бы сказал, вселенская доброта. Женщина она хорошая, ничего дурного не скажешь, но эта ее черта... А прыгнула она тогда с крыши? Зачем? Прыжок не прошел даром. Да что прыжок, его еще можно объяснить, а вот кровь отдавала — она же, помнишь, в больнице сестрой работала, — это к чему? Сама-то уже больная, а туда же, берите, спасайте, как будто никого там, в больнице, кроме нее, и нет. Ночью, во время дежурств, разумеется. Да и узнавал-то я потом, после. А на картошку осенью... Вот уж чего ей совершенно нельзя было делать, так опять же подругу пожалела: к какой-то там Дусе ли, Мусе ли муж или брат из армии приехал, а ее в колхоз картофель копать, так не кто-нибудь, а Ксеня

вызвалась подменить ее и уехала на две недели, а вернулась оттуда желтая, кожа да кости. А ну-ка две недели по сырой земле да согнувшись, и это при ее-то здоровье! С той осени, собственно, все и началось: посылали ее и в Трускавец, и в стационар клали, и, в конце концов, забрал я ее с работы, и все. Может, и хуже сделал, да какая она работница, дома и чугунок поднять не может. А все из-за чего, Женя? Из-за этой своей, ну, как я говорил, вселенской, что ли, доброты. Она нужна, я понимаю, но ведь и всему мера должна быть. Поклон какого-нибудь старика — это еще не жизнь. К людям с добром, а к себе, к семье, к мужу? Где тут грань? Чужих жалко, а себя, ближних? Вот и окинь теперь, как и что было. А всякая щедрость за счет других — не такое уж и великое дело. А-а, — опять протянул он и, как и в самом начале разговора, досадливо махнул рукой, — что я говорю! Пережить это надо, потянуть лямку, и без слов станет ясно что к чему, так что ты не очень-то жалей, ты знаешь, о чем я, а то тебе пришлось бы сейчас вот так рассказывать, а я бы молчал и слушал».

Мы долго еще сидели за столом, и Василий Александрович то затихал и тогда, склонив голову, всей пятерней своей единственной руки прочесывал и приглаживал довольно густые еще и лохматившиеся волосы, то опять начинал говорить, возвращаясь к тому же, что давно уже, как видно, мучило его, с чувством какого-то будто удовлетворения отыскивая в памяти новые и новые примеры Ксениной *вселенской* — он уже с усмешкой произносил это слово — доброты; у меня осталось такое впечатление, словно он перекладывал груз со своих плеч на другие, потому что, в то время как ему становилось как будто легче от того, что он говорил, я испытывал совершенно иное чувство. Я не мог твердо сказать себе, прав ли Василий Александрович или нет. То мне казалось, что он прав, и во всем был согласен с ним, то вдруг, когда как бы становился на сторону Ксени, все во мне поворачивалось, я тоже наклонял голову и прочесывал пальцами волосы, но делал это для того, чтобы прикрыть ладонью вспыхивавшую на лице неприязнь к Василию Александровичу. «Что он говорит? Как можно?» — думал я, из-под пальцев глядя на Василия Александровича.

Стакан с недопитым и остывшим чаем так и остался на столе, когда уставший от разговора Василий Александрович предложил наконец отправляться на покой,

так как утром чуть свет ему надо было бежать в диспетчерскую, а вечером после пяти навестить Ксеню в больнице.

«Пойдем вместе, — сказал он, — если хочешь».

«Разумеется».

«Спать можешь сколько душе угодно, Мария Семеновна придет часам к одиннадцати — прибрать, обед сготовить. Ну, спокойной ночи. Вот тебе топчан, а вот простыня, одеяло и подушка», — добавил он, подавая их из-за перегородки.

Все, что он рассказывал, было для него повседневной жизнью, и потому, может быть, как только он потушил свет и лег в кровать, сейчас же послышался из-за перегородки его негромкий, какой бывает всегда у усталых мужчин, храп; он заснул сразу же, тогда как я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Для меня его рассказ тоже был жизнью, но не повседневной, а новой, только что и неожиданно открывшейся, и потому я не мог не волноваться и не думать об этой жизни, а вернее, не думать о Ксене, Василии Александровиче и обо всем том, что узнал от него в этот вечер. «Может быть, ты и прав, — мысленно говорил я, будто мы все еще сидели за столом, и то, что надо было сказать Василию Александровичу тогда, я произносил, как всегда, запоздало, лишь теперь. — Но ведь и живем мы для чего? Не под себя же все подгребать, а людям. А люди нам. И в этом — общество, в этом — единство и цель. А что можно предложить взамен? Каждый для себя? Но это уже было, веками было, и надо хоть чуточку знать историю, тогда сразу все станет на свои места», — продолжал я, чувствуя, однако, что эти привычные, всегда казавшиеся незыблемыми формулировки — да и что может быть благороднее, точнее, понятнее и проще, чем: «Жизнь для счастья людей!» — звучали будто неестественно, ложно, а перед глазами постоянно возникало постаревшее, усталое и морщинистое лицо Василия Александровича. «И он прав, и она по-своему права, — через минуту снова начинал рассуждать я. — Два разных человека, два взгляда на жизнь, я и раньше знал это, им нельзя было сходиться, вот и все, и нечего ломать голову. Главное, все у нее идет на поправку». Но, как я ни утешал себя, не желая обвинять ни Василия Александровича, ни Ксеню, заснуть не мог, в избе казалось душно; чтобы освежиться и развеяться, я оделся и потихоньку, стараясь не разбудить хозяина, вышел во двор.

Мы редко видим рассветы, а еще реже — ясные лунные ночи, и так мало знаем о красоте этих удивительных минут, что в первые мгновенья, как только я очутился на крыльце и как только взглянул на залитые холодным сказочно-синим светом крыши дальних и ближних изб, которые, как стога, как, знаете, копны на сжатом хлебном поле, перекатываясь, уходили к темному, в уличных фонарях (желтые огни фонарей как раз и создавали иллюзию темноты) горизонту, — все тяжелые мысли как будто вдруг отступили, и я сначала с крыльца, а потом уже стоя посреди двора, с удовольствием смотрел на все, что было вокруг и что представлялось иным, чем обычно видится днем, нечетким, не угловатым, расплывчатым, даже у теней, казалось, не было ни размежающих линий, ни форм, и наслаждался тишиной и прохладой. «Как все-таки разнообразна красота жизни и как суживаем мы эту красоту только до дневных красок, а еще чаще — до серых комнатных стен», — уже прохаживаясь по дорожке от калитки вдоль закрытых ставень избы до крыльца и обратно и все еще с удивлением глядя вокруг, говорил я себе. Я то посматривал на луну, которая сползла за крышу сарая, то опускал голову, когда входил в полосу тени и когда хотелось отыскать глазами как раз ту разделяющую черту, что непременно лежала на земле, и в какую-то минуту — я даже не заметил, как случилось это, — остановившись, почувствовал, что ни луна, ни ночь, ни тени не интересуют меня и я снова думаю о Ксене. Я присел на ступеньку крыльца, пытаясь еще во что-то вглядываться, чтобы вырваться от наседавших дум, но это что-то — жердевая ли ограда, смутное ли очертание избы на противоположной стороне улицы — уже не привлекало и не удивляло меня; я как бы втягивался в мир, которым жила Ксеня и который всегда казался понятным мне, и на все рассказанное Василием Александровичем смотрел не своими и не его, а ее глазами. «Вот здесь, в этом дворе, в этой избе, в этом сарае происходило все», — мысленно произносил я. Я не закрывал глаз, чтобы представить, как все было, как Мария Семеновна, узнав от кого-то (мне не важно было, от кого, я не уточнял это), что будет облава, что полицаи и немцы пойдут по избам забирать девушек для угона в Германию, прибежала запыхавшаяся, бледная и, ничего не говоря дочери, а схватив ее за руку, торопливо, лишь причитая: «О господи, да живее ты, живее», — потащила в сарай, чтобы спря-

тать за лари, за дровяной штабель, за ворох невесть когда привезенной потемневшей и слежавшейся соломы, и уже затем, сидя по одну сторону поленницы или вороха (Ксеня же, спрятанная, сидела по другую, у стены), наконец начала негромко, как она вообще говорит (как всегда произносила фразы при мне), объяснять, чтобы Ксеня сидела тихо, не шелохнувшись, когда придут эти ироды человеческие искать ее, — нет, мне не надо было закрывать глаза, чтобы представить и услышать это; я смотрел на сарай, на синие в темноте и запертые его двери, и то прошедшее — необъяснимой таки бывает порой сила человеческого воображения! — чего я не знал и о чем лишь только сегодня услышал от Василия Александровича, разворачивалось передо мной живой жизнью, будто я сам когда-то испытал все, сам сидел за поленницей и слушал негромкий и взволнованный голос Марии Семеновны. Я думаю теперь, что, может быть, все было не так, и наверняка, пожалуй, не так, и не за поленницей дров, а за старыми, пыльными досками была спрятана Ксеня или даже в той самой трехлетней давности соломе, но мне представлялось тогда, что все было именно так, и минутами я лишь с удивлением восклицал: «Так вот почему мне всегда был понятен ее мир: я непременно поступил бы так же, как она, и побежал бы предупреждать товарища; я-то спасусь, а он? Его угонят?» «Фрося! Она ничего не знает! Предупредить, сказать!» — с этой мыслью, замирая, придерживая дыхание, прислушивалась Ксеня к удалявшимся шагам матери, к тому, как звякнула на морозе дверная железная щеколда с наружной стороны сарая. Глаза ее приглядывались к наступившей темноте; от березовых поленьев, от заиндевелой бревенчатой стены веяло в лицо холодом; когда же наконец в тусклом свете, который все же откуда-то проникал за поленницу, стали различимы предметы, Ксеня настороженно приподнялась; секунда, другая — и вот она уже расшвыривает неколотые березовые чурбаки, которыми заложила ее мать, кидается к двери и еще через секунду уже бежит по огородам, подлезая под жерди и перепрыгивая через плетни, к дому Фроси; я вижу, как бежит она, а кажется, бегу сам, хватаюсь голыми, без варежек руками за те самые опушенные снегом жерди, и — вот он, дом Фроси, вон улица, и по ней, направляясь прямо к дому Фроси, двигаются полицаи и немцы с черными, отвисшими на груди автоматами. Я смотрю на них, стоя за углом баньки, что

на огороде, и тороплю себя: «Скорее, надо успеть», — бросаюсь к дому, но уже поздно; и назад поздно; но я не кричу: «Мама!» — нет, я знаю, и Ксеня не кричала, а вместе с подругой, подталкиваемая в спину автоматами, вышла со двора на улицу.

«Шнель! Шнель, русиш фрейлейн!»

В то время как я неподвижно сижу на ступеньке крыльца, почти над самым ухом отчетливо слышу, как звучат эти немецкие слова (может быть, фрицы выкрикивали что-нибудь другое, да в этом ли дело?), и ужас перед тем, что ожидает меня и Фросю (Ксеню, разумеется, и ее подругу), охватывает сознание; я не просто вижу, как всех их, согнанных на перрон девушек, вталкивают в вагоны, но чувствую в себе, что испытывали Ксеня, Фрося, все-все, находившиеся и по эту сторону конвоя, в вагонах, и по ту, где в толпе голосивших и заламывающих руки от отчаяния и горя женщин стояла Мария Семеновна. Перед самым как будто моим лицом с грохотом захлопываются тяжелые двери вагона, и под громкие выкрики непонятных команд, под плач и вой провожающей толпы, лай спущенных с поводков овчарок и автоматные очереди — все это теперь звучит приглушенно за деревянной стеной вагона — состав трогается, набирает скорость, и вот уже во всем притихшем эшелоне слышен лишь один скорбный, разрывающий душу стук колес о промерзлые рельсы. Ледяной ветер пронизывает вагон, белыми снежными швами затягиваются щели на стыках досок; даже солома на нарах сизая от инея, и сидят на этой заиндевелой соломе Фрося, Ксеня, Надя, та самая Надя, которую потом, ночью, Ксеня потащит на спине по снежным сугробам через лес к деревне, а пока они еще незнакомы, лишь жмутся друг к другу, в пальтишках, платках, спина к спине, плечо к плечу, как солдаты, как мы в землянках, помните, чтобы было теплее; и все молчат, у всех одно чувство; и тем сильнее оно, чем сумрачнее и холоднее становится в вагоне.

«Ты откуда?»

«Из Гольцов».

«Как тебя звать?»

«Надя».

Не из Гольцов, конечно, она; я не запомнил деревню, которую назвал, рассказывая, Василий Александрович (да и назвал ли вообще?); но выдумывать я не мог, за словом «Гольцы» стояла действительность, и потому

таким представлялся мне разговор между Ксеней и Надей.

«А как тебя?»

«Ксеня».

«Ты откуда?»

«Мы с Фросей из Калинковичей».

«Что же теперь будет с нами?»

«Надо бежать!»

Откуда-то снизу, как будто из-под нар, раздался этот резкий и решительный голос.

«Но как?»

«Пусть только стемнеет!..»

«Пусть только стемнеет», — мысленно повторяю я и так же, как когда-то Ксеня, жду этой ночной темноты, когда все должно решиться; ступеньки крыльца — для меня нары, а все еще залитый лунным светом двор — та самая зимняя дорога, шпалы и рельсы, на которой вот-вот окажусь я, нырнувший в темный и грохочущий провал вслед за Фросей и Надей. Я все вижу и все делаю, как делала Ксеня, мне так же страшно, как было ей и всем, кто ехал с нею, но слежу я более не за этим внешним, что само по себе уже вызывает дрожь, а за чувством, которое определяло поступки Ксени. «Да, — говорю я себе, — очутившись один на заснеженной железнодорожной насыпи, я тоже не побежал бы сразу в лес спасаться, а пошел бы искать товарищей». И мне приятно, что именно так, а не иначе поступила Ксеня, что, наткнувшись на израненную и незнакомую мне Надю, не бросила ее, а понесла и, замерзая сама, укрывала ее снятым с себя платком или шалью; и все последующее: как она двое суток пробиралась по снегу, что говорила, как ночью постучалась наконец в чью-то избу и ее впустили, отогрели, накормили и держали, пока не наберется сил, и то, как добралась домой, как встретилась с ошеломленной, испуганной и обрадованной матерью, а затем отсиживалась месяцами в подполе, выходя лишь глубокой ночью, — все хотя и виделось в деталях, в подробностях, но главное, за чем я следил и что особенно волновало меня, был душевный мир Ксени. Мне казалось, что я еще никогда не понимал так ясно этот ее мир, как в эти минуты, и никогда не был он так близок мне, как теперь; и то, как она просилась на батарею, ее прыжок с крыши — все как будто поворачивалось иной стороной, и я отчетливо сознавал, что, конечно же, не от любви ко мне (хотя я ведь и

тогда понимал это) стремилась она к нам в часть и на фронт, а двигало ею другое и высшее чувство, и я радовался теперь, что оно было в ней, это высшее чувство, то самое как раз, что мы называем иногда «жить жизнью народа, страдать и радоваться вместе с ним», что было оно естественным и что я не ошибался *тогда,* а чувствовал, понимал, видел в ней это. «Как же он может осуждать ее? — снова, теперь уже с нескрываемым недоумением мысленно спрашивал я Василия Александровича, хотя он не сидел рядом, здесь, на ступеньках крыльца, а утомленно похрапывал в своей комнате, там, за дощатыми сенцами и бревенчатой стеною. — Да что он! Он что?» Мне казалось непростительной сухостью, с какою Василий Александрович говорил о приходившем к ним в дом Надином дедушке; я знал, что испытывал бы совершенно иное чувство к нему, чем Василий Александрович, и был бы счастлив и горд за Ксеню, видя склоненного перед нею в благодарности старого человека. «Поклон старика — еще не жизнь... Да, не жизнь, но признание жизни, признание добра, что ты сделал людям, и надо еще заслужить эту честь, чтобы тебе поклонились в ноги», — с запальчивостью продолжал я, как будто передо мною в эти самые минуты старческие крестьянские руки выкладывают на стол и разворачивают самый дорогой, какой только мог тогда принести деревенский человек в город, гостинец — кусок обсыпанного комочками соли обыкновенного домашнего сала. «Да, да, надо еще заслужить этот поклон», — повторял я, в то время как вся последующая жизнь Ксени, как я знал ее теперь по рассказу Василия Александровича, событие за событием проходила передо мной, и я то как будто присутствовал при разговоре в больнице, когда срочно требовалась кровь для оперируемого (слава богу, не один раз лежал в госпитале, потому легко и представлял себе все; мне ведь тоже после тяжелого ранения, когда извлекали осколок из ноги, было это в Брянске, вливали донорскую кровь!), как выходила вперед Ксеня и предлагала свою, ее вели в специальную комнату, укладывали на застланную светло-желтой больничной клеенкой кушетку, вводили в перетянутую и набухшую вену иглу, а через несколько минут, бледная, под цвет своего белого халата, но удовлетворенная тем, что сделала, лежала одна в палате, отдыхая, набираясь сил, и это ее счастье так же, как весь мир ее мыслей, было понятно и дорого мне, дорого, может быть,

именно потому, что я поступил бы так же, как она, а не иначе. И ее поездка в колхоз на уборку картофеля, и еще разные добрые дела, которые, как выразился Василий Александрович, делала она для других в ущерб семье и мужу («Легко быть добрым за счет других!» — нет, я не повторял эту фразу Василия Александровича, но ежесекундно помнил о ней и всей своею, а вместе с тем и Ксениной жизнью протестовал против нее), — все представлялось как лучшие порывы души, которые следовало бы ценить, а не осуждать, как это делал сегодня недовольный своей судьбою Василий Александрович. То, как приходилось ему, я сбрасывал со счетов; я думал, что нельзя не ощущать себя счастливым уже потому, что живешь рядом с такой женщиной, как Ксеня; я снова как бы обожествлял ее, и все, что когда-либо испытывал к ней, все повторялось во мне с удесятеренной, наверное, силой, и я понимал и ценил Ксеню больше, чем когда бы то ни было. «Конечно же, что — цвет волос, что — красота лица! Красота души — вот главное, что в ней, и я сразу, тогда еще, во время первой встречи, почувствовал это, хотя не знал ничего из того, что знаю теперь, — думал я. — А может, знал?» И мне казалось, когда задавал себе этот вопрос, что да, знал, потому и тянулся к ней, приезжал все эти годы, потому и сейчас сижу здесь, на ступеньке крыльца ее дома, перебираю в уме подробности ее жизни, и память уводит меня в далекое прошлое, к той фронтовой зиме, когда впервые увидел ее, — как я сидел рядом с ней за столом и с замиранием и теперь уже неповторимым юношеским восторгом поглядывал на ее серые и серебрившиеся в свете керосиновой лампы косы. «Если бы все могло повториться, — рассуждал я, оглядывая все тот же залитый холодным лунным светом двор, — я бы теперь сделал все, чтобы не опоздать, а опередить, именно *опередить* моего бывшего комбата».

Наверное, я долго сидел на крыльце, потому что, когда, почувствовав холод, поднялся, чтобы встряхнуться и поразмяться, с удивлением заметил, что над городом уже поднималась на востоке и расползалась по небу светлая полоса рассвета.

«Надо хоть часок вздремнуть», — сказал я себе и так же тихо, как выходил, стараясь ни за что не задеть, вошел в избу. За перегородкой по-прежнему ровно похрапывал спавший Василий Александрович.

«Это ты? — вдруг послышался его голос, когда я, уже раздевшись, укладывался на жестком топчане у

стены. — Чего шастаешь? Спи, завтра пойдем к ней, все обойдется, спи».

Проснулся я поздно, около одиннадцати, и едва открыл глаза, весь вчерашний разговор с Василием Александровичем и ночные размышления, когда ходил по двору и сидел на крыльце, все сразу как бы вновь возникло передо мною, и до самого вечера, о чем бы я ни начинал думать, постоянно возвращался к Ксене, и вся ее жизнь, которую, как мне казалось, теперь-то я хорошо знал, и жизнь Василия Александровича, тоже представлявшаяся совершенно ясной, вызывали не просто тревогу, а го беспокойство, будто я сам был виноват перед ними: Ксеней, Василием Александровичем, даже Марией Семеновной, которую не видел еще в этот свой приезд, да так, впрочем, и не увидел в тот день, — словом, беспокойство, какое однажды уже испытывал, когда вдруг узнал о смерти Раи. Но там, тогда я действительно был в чем-то виноват, хотя бы в том, что не понял Раю, не принял ее любви и ушел, оставив в растерянности и печали, а что было здесь? Почему это же чувство возникало теперь? Не могу ответить и не могу понять; помню лишь, что чем нетерпеливее ожидал возвращения из больницы Марии Семеновны (ведь она непременно должна была прийти, чтобы прибрать в доме и приготовить ужин для Василия Александровича!) и чем дольше она не появлялась, тем с большей тревогой думал я о Ксене. Я то лежал на топчане, то выходил во двор и, как и ночью, сидел на ступеньке крыльца, посматривая сквозь редкую и решетчатую изгородь на дорогу, не идет ли Мария Семеновна, или, когда уже день начал клониться к вечеру — не идет ли Василий Александрович; несколько раз входил в сарай и осматривал высокую, до самых жердевых перекладин и в два ряда выложенную поленницу дров, и тогда снова и с особенной как бы ясностью всплывало в памяти, как в ту далекую снежную зиму перепуганная Мария Семеновна завела сюда дочь, чтобы укрыть от немцев и полицаев, и я чувствовал, как от березовых чурбаков, от серых и пыльных сейчас бревенчатых стен веяло будто той же ледяной стужей, как и тогда, в ту зиму, и я глазами определял место, где могла быть спрятана Ксеня, мысленно разбрасывал чурбаки, как делала, наверное, она, высвобождаясь из этого холодного плена, а когда выходил во двор, невольно смотрел на зеленый теперь под солнцем огород, который, однако, представлялся мне заснеженным, с наме-

теиными вдоль плетня сугробами, и я видел торопливо бегущую по этим сугробам к Фросиному дому Ксеню. «Да иначе и не могло быть! Как же иначе?» — в сотый раз, может быть, повторял я одну и ту же фразу. Со стороиы я казался спокойным: прохаживается неторопливо человек по двору, разглядывает капустные грядки иа незнакомом, чужом огороде, сидит на крыльце или лежит в избе на топчане, заложив руки за голову, но, знаете, и я смело берусь утверждать, не в суете, не в мельтешении, не в той виешней оживленности, что обычно бывает на виду, заключается полнота жизни; я не могу припомнить для себя более трудный и деятельный день, чем этот, что провел тогда в доме Ксени и Василия Александровича; все вспоминалось, даже детство, Севастьяновка, паром и песчаиая отмель на Омутовке, и Рая, и Зинаида Григорьевиа, и бревенчатый настил, и, разумеется, поединок с немецкими самоходками — словом, все-все, что когда-то было пережито, а главное, еще не побывав в больиице у Ксени, я старался представить ее в палате, как она выглядела и что испытывала теперь, когда ей удалили почку и когда другая, оставшаяся, тоже, как сказал Василий Александрович «ие очеиь»... Угрюмый, раздражеиный, я все чаще подходил к калитке и вглядывался в заросшую травой — с одной лишь серою и даже будто тележною колеею посередине — улицу; когда же иаконец в лучах уже спускавшегося за крыши домов солица показалась вдали фигура Василия Алексаидровича (я сразу узнал, что это он, по заткнутому за пояс пустому рукаву пиджака), — от иетерпения ли, что иадо было скорее идти в больиицу, от радости ли, что хоть кончится теперь одиночество, я вышел иа дорожку и торопливо зашагал навстречу, готовясь издали еще упрекающе крикнуть: «Да что же это ты, Василий Алексаидрович, так задержался!» Но мне не пришлось говорить ему этих слов; почти в ту же минуту, едва только вышел за калитку, я заметил, что Василий Александрович идет неровною, пьяною походкой, сгорбившись, глядя под ноги и балансируя время от времени рукой, словно хватаясь за воздух; почти вплотную приблизившись ко мие, он остановился и иесколько мгновеиий смотрел, как на совершенио иезиакомого человека, силясь, может быть, узиать или понять, что за препятствие выросло на его пути, потом молча, как только это способны делать пьяные люди, отстранил меня рукой с дороги и сиова, пошатываясь, иаправился к калитке;

уже войдя во двор и поднявшись на крыльцо, долго шарил в карманах, пока достал ключ, и хотя дверь была не заперта, а только приоткрыта, дрожащими, непослушными пальцами так же долго проталкивал ключ в замочную скважину, а на мои слова: «Да открыта же!» — лишь оборачивался и молча, недоуменно и невидяще смотрел на меня. Я же от растерянности не знал, что делать; после всех тех мыслей и переживаний, какие одолевали меня весь день, появление пьяного Василия Александровича было так неожиданно, что у меня не было слов, чтобы сказать ему, и я лишь с каждой секундой, чем дольше смотрел на него, отчетливее чувствовал, как что-то отталкивающее и брезгливое подымалось в душе к этому человеку. Я знаю, по давней традиции — так уж, говорят, повелось, — к пьяным у нас и нищим относятся с состраданием: дескать, что ж, несчастный человек, как не пожалеть, — но только я не могу принять этого; может быть, и надо жалеть, и тем более надо было пожалеть Василия Александровича, у которого имелась причина, и немаловажная, но так или иначе в те минуты, входя следом за ним в комнату, я испытывал лишь одно отвращение; когда он, покачиваясь, искал рукою поддержки, я не только не пытался помочь ему, но, напротив, отстранялся, как бы боясь, что он вдруг прикоснется ко мне своей трясущейся ладонью. Нехорошо, понимаю, но что я тогда мог поделать с собою? Я лишь следил взглядом, как он вынул из кармана недоеденный и завернутый в какую-то пожелтевшую бумагу кусок ливерной колбасы, положил ее на стол и затем, пройдя за перегородку и не раздеваясь, а так, в чем был, плюхнулся на кровать и сейчас же заснул пьяным мертвецким сном. На обескровленное, синевато-серое лицо его падал от окна свет, и мне казалось, что я смотрю на покойника; я подумал, что не раз, наверное, вот так же стоя перед ним, смотрели на него Ксеня, Мария Семеновна, и почувствовал еще большее отвращение к когда-то уважаемому мною комбату. «Вселенская доброта... а есть еще вселенское негодяйство, есть еще *пользование* чужой и безответной добротой» — может быть, да и скорее всего так оно и было, что я не произносил эти слова, но смысл их как бы сам собою жил во мне, вызывая негодующее чувство, и оттого я тоже, наверное, был бледен, во всяком случае, смотрел нахмуренно, зло. Тогда же, сразу, я понял, что это не впервые случилось с Василием Александровичем, хотя

узнал обо всем гораздо позднее, после того, как поговорил с Марией Семеновной; потому-то она и не приходила в этот день из больницы домой, что знала, каким «тепленьким» вернется с работы Василий Александрович, — «Ведь сегодня получка, а в получку он всегда так!» — и не хотела видеть его и расстраиваться.

«Как выпьет, подходи не подходи — все одно: и знать никого не знает, и видеть никого не видит, на кровать в сапожищах, и тут хоть что».

«Не шумит?»

«Чего нет, того нет. И денег нет, все спустит, а потом сидит по ночам с иглою и дратвой».

«И давно так?»

«Да уж откель счет? Сразу-то, первые годы, вроде ничего, а потом ровно муха какая вжалила, ровно плюнул кто, и пошло, о господи! Тут с Ксеней, ей-то каково, тут еще с ним...»

Позже, спустя почти неделю, говорила это Мария Семеновна, но мне казалось, что рассказывала она лишь то, что я уже знал, вернее, что понял именно тогда, когда стоял перед лежавшим на кровати пьяным Василием Александровичем. Вот и подумайте теперь: человек раскрывается постепенно... Вероятно, сам Василий Александрович и раскрывался постепенно перед Ксеней и Марией Семеновной, но для меня он открылся сразу, за одну эту встречу: и когда вечером рассказывал про Ксеню, и когда затем на другой день явился с работы вот в таком виде, как опустившийся, безвольный, раздавленный жизнью человек. Еще несколько минут я смотрел на его неуклюже свернувшуюся на кровати фигуру, говоря про себя: «Ну, докатился!» — и затем, еще не зная, что буду делать, куда пойду, вышел из дому.

Но, если откровенно, это ведь я просто так говорю, что не знал, куда пойду; конечно же, знал — в больницу к Ксене, иной мысли и не было; уже через полчаса я стоял перед дежурной сестрой, держа в руке небольшой букет ранних красных гвоздик, который купил где-то в центре, когда, расспрашивая, как найти городскую больницу, проходил мимо колхозного рынка; корешки гвоздик были завернуты в газету, и газета казалась влажной от горячей и потной ладони.

«Здесь лежит Ксеня Филева?»

«Да, — ответила мне сестра, полистав книгу записей. — Восьмая палата, второй этаж».

«Можно пройти к ней?»

«Что же вы так поздно? Время свиданий уже заканчивается, — сказала она, но заметив, может быть, как умоляюще я смотрел на нее, с неохотою, но все же достала из тумбочки белый халат и протянула мне. — Только не задерживайтесь».

«Нет-нет, что вы, благодарю вас!»

Я накинул на плечи этот белый больничный халат и торопливо, ничего не слыша и не чувствуя жестких ступеней под ногою, — сознавал я разве только одно: что сейчас увижу Ксеню! — почти взбежал на второй этаж. Как в самый первый приезд после войны, когда прямо из маленького австрийского городка, демобилизовавшись, я примчался в Калинковичи и подходил к дому Ксени, то же волнение, хотя прошло уже столько лет, неожиданно охватило меня, будто я еще не виделся в Чите ни с матерью, ни с Раей, и не было ни Раиных похорон, ни института, ни Москитовки и Зинаиды Григорьевны — ведь вот как устроен человек: все как в воду, в пропасть, и только один светящийся огонек впереди! — и не видел даже только что пьяным Василия Александровича (через минуту, когда буду стоять у Ксениной постели, все пережитое вновь, конечно, вернется и поплывет перед глазами), а лишь, переполненный той давней юношеской надеждою, чувствовал себя так, что будто вот-вот переступлю порог столь памятной мне избы. Какой-то невероятный возврат, какое-то затмение, что ли: все позабыто, и Зинаида Григорьевна, с которой, как вы знаете, я тогда уже жил как с женой, и если начистоту, были же у меня и чувства к ней, а вот поди ж ты рассуди — все позабыто, и я, волнуясь, как мальчишка, шел по больничному коридору, ловя глазами на дверях номера палат. Перед восьмой палатой остановился и негромко постучал; никто не ответил, тогда я снова постучал так же негромко, но продолжительнее и, чуть выждав, осторожно приоткрыл дверь. Сперва я увидел пустую кровать сразу от двери у стены, а за нею, за голубовато-белой больничной тумбочкой — вторую кровать, а на ней укрытую лишь простынею по самый подбородок Ксеню. Она смотрела на меня. Бледное худое лицо ее и глаза в первое мгновение были как бы безразличны — ну, входит кто-то и входит, может быть, нянечка, может быть, дежурная сестра, а может, просто мать (кстати сказать, Марии Семеновны в это время не было в палате; как я узнал потом, она все же поехала домой, чтобы хоть запереть избу, потому что: «Ведь он и

этого не сделает, а в комнате какие-никакие, а вещи!»), — в общем, в первое мгновение, помню, лицо ее было столь равнодушным, что я даже подумал, она это или не она, потому что ни разу прежде не видел ее такой; но когда, спросив: «Можно?» — двинулся к ее постели и когда особенно она поняла, а вернее, узнала, кто входит в палату, все в ней как бы преобразилось, и вроде прежние и привычные удивление и радость появились в ее глазах.

«Вы?!»

Мне кажется, она не произнесла этого слова, а спросила беззвучно, взглядом; а может, и прошептала тихо, так, что я не расслышал, но что-то же, конечно, сказала, потому что я помню, что ответил: «Да, я». Я остановился посреди палаты и несколько секунд стоял, словно пригвожденный к полу, продолжая неотрывно и, как ей, наверное, казалось, странно-растерянно смотреть на нее; я почти уверен, что именно так и восприняла она это мое, может быть, и действительно-таки представлявшееся странным со стороны поведение: приехал бог весть откуда, спешил повидать, а теперь будто язык отрезало, боится подойти к кровати и смотрит как на незнакомую, — но, я думаю, да и фактически, если разобраться, ничего странного в моем поведении не было, а просто болезненный вид Ксени, белая простыня, которой она была укрыта, и особенно землисто-серый цвет лица (впечатление это создавалось, как я позднее, приглядевшись, заметил, еще и тем, что висевшее на спинке кровати полотенце отгораживало ее от проникавшего сквозь окно в палату и без того слабого, на улице уже вечерело, света) вызвали в памяти неожиданно как будто и забытые, давно улегшиеся, но до мельчайших подробностей вдруг ожившие перед глазами минуты прощания и похорон Раи. Я даже на миг зажмурился и тряхнул головой, чтобы сбросить это воспоминание, но как только опять взглянул на белую простыню и на бугрившиеся под нею Ксенины руки (как и у Раи тогда, когда она лежала в гробу, как вообще складывают их покойникам на груди), будто и Ксеня и в то же время не Ксеня передо мною, и я в палате, но в то же время и не в палате, а там, в Чите, в доме Лии Михайловны и Петра Кирилловича, и вот-вот увижу то будто спокойное выражение лица Раи, за которым, я знаю, скрывалось огромное желание не выказать, унести с собой весь свой душевный мир забот и страданий. Разница мне представ-

лялась лишь в том, что я не успел и Рая уже не могла ничего сказать, а здесь еще можно поговорить, расспросить, утешить, а главное, попросить прощения. За что, как, почему — я не думал об этом; я только чувствовал, что не сделал для Ксени того, что мог бы, и чувство это было настолько сильно, что в какую-то секунду, ничего не говоря, шагнул вперед и, как кладут цветы к изголовью покойникам, положил гвоздики на прикрытую простынею грудь Ксени. Что она подумала? Как восприняла это? Тогда, сразу, чуть склонившись, я лишь смотрел, как она медленно высвободила из-под простыни руки и, сухими белыми пальцами обхватив корешки гвоздик, прислонила цветы к лицу; глаза ее увлажнились, она прикрыла веки, и в синих морщинках у самой переносицы появились светящиеся капельки слез. Для того, наверное, чтобы я не смотрел, как она плачет, она еще плотнее прикрыла лицо цветами и отвернулась к стене. Да и у меня перед глазами от волнения все начало мутнеть и расплываться, как за дождевым стеклом, и, чтобы успокоиться самому и дать успокоиться Ксене, я отошел к столу за табуреткой и с минуту стоял, подняв ее и держа перед собой; когда же вернулся к постели, хотя как будто удалось подавить чувство жалости к ней, но, как мне и теперь кажется, до самого конца встречи я смотрел на нее так, вернее, с тем выражением сострадания, любви и печали, что то и дело, потому что не могла же она не понимать, что я думаю о ней, глаза ее заволакивались слезами.

«Спасибо вам, Женя», — сказала она, кончиком простыни вытерев слезы.

«Ну что вы».

«Мне еще никто никогда не преподносил цветы», — тихо добавила она и опять отвернула лицо к стене.

«Как вы себя чувствуете? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое. — Что говорят врачи? Василий Александрович сказал, что все идет на поправку».

«Вы его видели?»

«Да».

«Когда? Сегодня?»

«Нет, — солгал я, даже не знаю почему, инстинктивно, что ли, заметив, как все насторожилось в Ксене. — Вчера вечером мы сидели с ним и разговаривали», — докончил я, чувствуя на себе ее пристальный взгляд и стараясь тоже смотреть на нее прямо, открыто, будто и в самом деле говорил только то, что было.

«А вы опять в Гольцы?»

«Да».

«Надолго?»

«На неделю-две, как всегда».

«И вам не наскучило: каждый год?»

«Разве может наскучить то, чем живешь, Ксеня? Гольцы для меня — что родная Чита, что Сибирь, что Севастьяновка, есть такая деревенька под Читой», — начал я и, сказав это, сам не зная почему, повел рассказ про Омутовку, про паром и паромщика дядьку Якова, а для чего? Ведь на душе у меня было совершенно другое, и чувствовал и думал я о другом, а этим рассказом лишь бессознательно, наверное, так считаю, старался приглушить в себе как раз те, *другие* мысли и чувства. Я смотрел на худое лицо Ксени, и в то время как произносил «дядька Яков», этот самый дядька представлялся мне стариком, что однажды неожиданно пришел в дом Ксени; вот он разворачивает и кладет на стол свой драгоценный деревенский гостинец и затем склоняет перед Ксеней белую старческую голову, я вижу счастливое лицо Ксени и весь ее удивительный мир доброты, счастья и радости жизни и радуюсь, что он есть, что я встретился с ним и что живет он вот с ней, Ксеней, в ее глазах, в движениях ее рук (временами, всматриваясь, я действительно как будто начинал различать прежнюю красоту ее лица), но, как подтачивает червь дерево, въедалась, разрушая и опрокидывая это, в общем-то, уже прошлое, пережитое чувство, тревожная мысль, та же, что возникла, когда я еще только вошел в палату: что я, в сущности, прощаюсь с Ксеней, что это последний мой разговор с ней и что, самое страшное, я бессилен что-либо изменить. «И Рае не хотелось умирать, — думал я, чувствуя, знаете, как если бы то, что случилось с Раей, случилось со мной, как ей не хотелось умирать. — Но она ушла. И Ксеня уйдет, а я жив, и Василий Александрович жив, и тот, о ком Рая не оставила записки, тоже жив! Добро к людям... А плата за это добро? К кому добра жизнь?» Я удивляюсь теперь, как можно было одновременно и думать вот так, о чем я сейчас говорю, и в то же время рассказывать Ксене о разных, и не смешных вовсе, хотя я и старался как можно естественнее улыбаться, чтобы развеселить ее, ребячьих шалостях, какие проделывали мы — да кто из мальчишек не лазил по чужим огородам, боже мой! — в Севастьяновке, и удивляюсь, если хотите, не столько

раздвоенности — она возможна, и с вами, наверное, бывало такое, — а тому, как люди, в данном случае я и Ксеня, вполне сознавая, что разговор этот вовсе не интересен для нас, ложен, что говорить надо о другом, а что эти слова — и мои и ее — лишь скользят, как, знаете, капли воды по гладкой, отполированной поверхности, — как мы, я подчеркиваю, притворялись, делая вид, что с интересом я говорю, а она слушает, тогда как главным для нас обоих был совсем другой разговор, безмолвный, что мы читали в глазах друг друга. Ведь она ничего не знала о моей жизни, я никогда не рассказывал ей ни о любви к ней, ни о пережитой когда-то любви к Рае, и о том, как хоронил ее, и, конечно же, ни о Москитовке и Зинаиде Григорьевне, но Ксеня смотрела на меня так, будто знала все, и так же, как я жалел ее и чувствовал, что мог бы сделать ее счастливой, я видел, она жалела меня, будто ей было известно, как мучился я эти годы, тоскуя и думая о ней, известны все малейшие движения моей души, и ей было больно, что она кому-то, кто не оценил ее, а не мне отдала копившиеся в ней для жизни добрые чувства. «Вот видите, — как бы говорила она, минутами вскидывая на меня глаза, — если бы *тогда* вы взяли меня или хотя бы не *опоздали,* ничего этого не было бы сейчас. А разве я не хотела поехать с вами? И разве не говорила вам об этом?» Может быть, поддавшись тому давнему воспоминанию, я вдруг — точно помню, что вдруг, потому что и ее смутил и сам смутился, — нагнувшись, взял ее руку и так же, как когда-то в подражание комбату, но, разумеется, теперь не думая о том пожал ее холодные пальцы.

«Ничего, Ксеня, все будет хорошо, — проговорил я, как и тогда, зимой, в покидаемых нами Калинковичах. — Главное... — Но то, что действительно было для меня главным, произнести не мог и потому, краснея и не выпуская ее пальцев из своей ладони, несколько раз еще повторил про себя: «Главное... главное...» — прежде чем нашел нужные для завершения фразы слова: — Поправляйтесь и берегите себя».

«Вы уже уходите?»

«Да», — сказал я, хотя секунду назад не собирался уходить.

«Вы еще придете?»

«Непременно».

«У Васи сегодня много дел, а мама здесь, со мной. Приходите, она будет рада».

«Непременно», — повторил я, еще раз пожав — я уже стоял, склонившись над ней, — ее согревшиеся теперь пальцы.

Прежде чем выйти из палаты, у самой двери, чуть приоткрыв ее, я остановился, обернулся и снова взглянул на Ксеню; в палате было сумрачно, и я уже не мог издали разглядеть лица Ксени, но тени, лежавшие в провалах ее щек и глаз, и белая простыня, прикрывавшая ее вытянутое на постели худое тело, опять как бы отбросили меня к тем минутам, когда я стоял перед лежащей в гробу Раей, и какой-то будто могильный холодок прокатился по съежившейся спине. «Да нет, да что я, просто тени так», — подумал я, уже спускаясь по лестнице и передавая халат дежурной сестре. Но впечатление всегда сильнее любых утешительных слов. Я вышел из больницы как будто выпотрошенный, да и всю неделю потом жил какою-то неестественной, *неживой,* что ли, жизнью, только лишь думая, да и то с вялостью, — так уже однажды было со мной, если помните, после похорон Раи. Я не пошел к Василию Александровичу в тот вечер, а провел ночь в фойе гостиницы в кресле, полудремля, полубодрствуя и опять и опять думая обо всем прожитом и пережитом мною, а в общем, о жизни, сколько в ней справедливости и к кому и, если хотите, даже что такое вообще справедливость, чем можно измерить ее и равно ли понимается это слово всеми или у каждого *своя* справедливость, как и свое понятие добра, любви, ненависти; вероятно, и следующую ночь, так как свободных номеров не было, я просидел бы все в том же кресле, если бы не Василий Александрович, который еще утром, проснувшись и не обнаружив меня, заволновался, забеспокоился и после работы сразу побежал в больницу, хотя и был неприемный день, потом ездил на вокзал и обшарил, как он выразился, все уголки зала ожидания («Обидчивый же ты! А если я вот так плюну и обижусь, а?») и оттуда прямо в гостиницу.

«Ну пойдем, чего уж».

Мне же не хотелось идти к нему в дом, и я долго молча и в упор смотрел на него.

«Ну чего ты? Пойдем, слышишь?»

Уже дорогой он сказал, что, если бы не нашел меня здесь, в гостинице, поехал бы разыскивать в Гольцы.

«Это уже ни к чему», — сухо ответил я.

«К чему, ни к чему... только каждый раз не наотпрашиваешься».

«И не надо».

В доме после всего пережитого мне показалось еще более неуютно, неприбранно, грязно. Василий Александрович молча приготовил ужин; и сидели за столом и ели молча, стараясь не глядеть друг на друга. Не знаю, о чем думал он, но я никак не мог сосредоточиться, и то видел перед собою Зинаиду Григорьевну на удалявшемся дощатом перроне (вот видите, и к ней уже потянуло, хотя и казалась жизнь пустой, как будто прожитой бесцельно, как ни за что не зацепившаяся шестеренка, а ведь было же что-то в душе, что могло бы осчастливить ну хотя бы ту же Ксеню и самому ощутить возле нее счастье!), то лежащую в гробу Раю, то Ксеню, какой оставил ее в сумрачной больничной палате; конечно, как мне кажется теперь, я уже не испытывал в тот вечер ни тех особенных чувств к Ксене, ни того волнения, с каким еще вчера взбегал по лестнице на второй этаж и, шагая по коридору, ловил взглядом номера палат, отыскивая, в которой лежала она, но жалость, с какою думал о ней, была мучительна, как раскаяние, как сознание того, что мог бы и должен бы, но не сделал, что нужно даже не для счастья, а просто для жизни дорогого мне человека. Я сидел, облокотившись на стол и подперев ладонью голову, а Василий Александрович, раскуривая папиросу за папиросой, прохаживался перед столом и передо мною, то глядя себе под ноги, то изредка на меня; в какую-то минуту вдруг остановился и, повернувшись ко мне, как будто отдавая команду, резко и решительно проговорил: «Все! Даю слово, Евгений, больше не будет этого, все!» — и хотя не пояснил, что означало его «все» и «больше не будет этого», а я не спросил, но мне было вполне ясно, что он имел в виду, и я, может быть, за весь вечер впервые в тот момент — ведь человек отходчив, что говорить! — посмотрел на него с неожиданной даже для самого себя доверчивостью и теплотою.

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

— Как обычно, весь отпуск прожил я и в эту весну в Калинковичах, — продолжал Евгений Иванович. — Правда, несколько раз выезжал в Гольцы, потому что там у меня действительно-таки были дела, да к тому времени я уже сдружился с Константином Макаровичем, помните, рассказывал, сыном Евдокии Архиповны,

у которой ночевал на сеновале, когда первый раз после войны приезжал в деревню? Ну, словом, ездил в Гольцы, хотя что говорить о тех делах и о Константине Макаровиче, тут, если начать, тоже хватило бы на целый вечер, а вообще, не будем отвлекаться; Ксеня по-прежнему оставалась для меня главной причиной волнений, и каждую среду и воскресенье, когда бывали приемные дни, я приходил к ней, но теперь уже вместе с Василием Александровичем, который и в самом деле после данного мне, а вернее, самому себе слова, что больше не будет пить, держался вполне достойно, был вежлив и ласков не только со мной, но и, прежде всего, с Ксеней и Марией Семеновной, откровенно радуя их этой своею переменой.

«Ведь вот можно же, — говорила Мария Семеновна, глядя хотя и укоризненно, но беззлобно на зятя (разумеется, не в палате, не в присутствии дочери). — И давно надо бы».

«Ну ладно, ладно, мать», — с улыбкою отвечал Василий Александрович.

«Хоть ты и капитаном был, а вот и скажи спасибо другу своему, — продолжала она. — Я бы и в ноги поклонилась, не грех. С войны в один, считай, год пришли, а он вон уже скоро и в профессора, а ты?»

«Ладно, ладно, мать».

Василий Александрович еще улыбался, но по глазам, как он смотрел, было видно, что слова Марии Семеновны неприятно и больно задевают его, и тут вмешивался в разговор я:

«Дело не в этом, Мария Семеновна».

«А и в этом, а как же», — возражала она, не отступаясь от своего.

«Достоинство человека...»

«Да я-то об чем?»

Когда мы теперь приходили в больницу — как все-таки обстановка действует на людей! — и Ксеня как будто выглядела лучше, была веселее, и что-то от прежнего счастливого выражения появлялось на ее лице. Может быть, она действительно чувствовала себя лучше и все шло, как и говорил врач, на поправку, а может, это только казалось мне, что она повеселела, потому что хотелось видеть ее здоровой и счастливой, но скорее всего — я уже сейчас думаю — все объяснялось проще: тем, что мы приходили к ней, когда солнце еще не касалось крыш, то есть намного раньше, чем я в тот ве-

чер, и в палате было светлее, оживленнее, да и немаловажно, если ты не один, а с кем-то, тогда и разговор течет по-другому, и улыбок больше, и шуток, — в общем, трудно, конечно, теперь установить истину, но так или иначе, а у меня складывалось впечатление благополучия, и, когда я уезжал из Калинковичей, на душе не было тяжелого чувства. Что ж, и жизнь Василия Александровича, и жизнь Ксени, и жизнь Марии Семеновны — все было как будто на виду, было ясно, и будущее как будто не рисовалось мрачным. «Одумался... да что ж, можно было и раньше одуматься», — говорил я себе, лежа, как обычно, на покачивавшейся полке вагона, и, как обычно, чем дальше отъезжал от Калинковичей, тем отчетливее вставали прежние, домашние заботы, и я уже думал и о дипломной, которую предстояло еще завершить и затем защитить этим летом, и о матери, что жила в Чите, коротая старость в своем деревянном, как и Ксенин, домике, и беспрерывно в письмах звала к себе, и о Зинаиде Григорьевне, которая, я знал, ждала и готовилась к встрече; она за сутки раньше придет на разъезд, я знал и это, и мне приятно было думать, что это так, и оттого еще как будто покойнее становилось на сердце. Я не случайно употребляю сейчас эти слова «как будто», потому что, по существу, если разобраться, спокойствие было относительным, настороженным; как на фронте, знаете, перед атакой: сидишь в окопе, прислушиваешься, и небо над тобою в звездах, и травка шелестит за бруствером, и — ни выстрела, ни одного тревожного звука, и только время от времени вспыхивают и спускаются к земле на белых парашютиках осветительные ракеты, напоминая о том, что ты не в ночном и что вовсе не та беда, что кони потравят пшеницу, подстерегает тебя под утро. Но что тогда тревожило меня, что было этими белыми парашютиками — слишком ли быстрая перемена в характере Василия Александровича («Да надолго ли? Всерьез ли? Столько лет... а тут вдруг! Как-то все подозрительно поспешно» — и такая мысль приходила в голову, хотя я и гнал ее прочь), или просто сознание того, что с одной, и к тому же больной, почкой она все равно не жилец («А ведь и главный врач говорил неуверенно, да как же, еще тогда, сразу, я почувствовал это по тону его голоса, как же!» — вспоминалось и это, хотя и тут я находил возражения, и даже весьма серьезные), или что-то еще; то ли чувство неудовлетворенности своей жизнью,

что когда-то и что-то не сделал так, как надо бы (и по отношению к Рае, разумеется, и, главное, по отношению к Ксене), а может, еще что-либо другое, что, если подумать, непременно вспомнится сейчас, но как бы там ни было, парашютики взлетали, выхватывая словно из тьмы и освещая разные неожиданные подробности из прошлого и исподволь, изнутри, незаметно, но настойчиво, день за днем, особенно когда я уже был дома, да и после защиты дипломной — чего бы уж, казалось, не радоваться! — разрушали это как будто обретенное в Калинковичах спокойствие. Я знаю теперь цену ложному спокойствию и мгновенным переменам в людях; нет мгновенных перемен; может быть, мой приезд, разговор, а вернее, молчание и пробудили у Василия Александровича желание *обновить* жизнь и он, как это говорят в народе, взялся было за ум, только ненадолго хватило того ума; когда я на следующий год, подгоняемый все этим же своим беспокойством, снова поехал в Калинковичи, при всем моем даже иногда разгоряченном воображении я не мог представить себе и доли того, что ожидало меня.

Ксени в живых уже не было.

Но я еще не знал об этом.

С вокзала — уже ходил автобус до Мозырьского шоссе — я доехал до нужной остановки и, как только вышел на узкую асфальтированную площадку, увидел лежащего у столба, в пыли и мусоре, с посиневшим от выпитой водки лицом Василия Александровича. Ноги его были неуклюже подогнуты, а пустой рукав пиджака откинут назад, за спину. Рядом с ним, молча и, как мне показалось в первую секунду, спокойно-равнодушно глядя на него, стояла Мария Семеновна. Она была в темном платке и синем в белый горошек широком и длинном, какие носят обычно проведшие жизнь в домашних заботах у шестка и кухонного стола пожилые женщины, ситцевом платье; на старчески сутулую спину ее падали лучи низкого вечернего солнца, и длинною тенью своею Мария Семеновна как бы накрывала зятя, отгораживая его от взглядов прохожих. Но на остановке уже никого не было, автобус увез пассажиров, а те, что приехали — все же с одной улицы, все знали друг друга, и валявшийся в пыли Василий Александрович давно уже, наверное, не удивлял их, для них это была обычная картина, — удалялись, даже не оглядываясь, как будто ничего не видели и ничто на свете не касалось их. Я подо-

шел к Марии Семеновне и от растерянности, что ли, от неожиданности, может быть, — да разве я мог подумать, что встречу ее вот так и здесь! — каким-то вроде чужим, извиняющимся голосом спросил, поздоровавшись:

«Что с ним?»

«Ай не видишь, набрался, да спасибо хоть соседи сказали, вот пришла, жду, пока протверезится, а то ведь и последний пиджак сымут», — ответила она, и ответила так, словно я не уезжал из Калинковичей и не было годичного перерыва, а только вчера еще мы встречались, разговаривали, и я будто был членом их семьи или, по крайней мере, очень близким человеком; и тогда это не показалось мне странным; да и теперь думаю, что ничего удивительного нет: день за днем для Марии Семеновны жизнь проходила так однообразно, что вовсе не мудрено было в ее-то годы потерять чувство времени, но, если уж говорить откровенно, я действительно-таки не был для нее чужим.

«Надо домой его».

«Да разве ж я справлюсь?»

«Мы сейчас», — сказал я и, передав свой небольшой чемоданчик Марии Семеновне, морщась, потому что мне неприятно было поднимать и вести Василия Александровича, не повел, а буквально поволок его к дому.

В избе помог Марии Семеновне раздеть и уложить его в постель и лишь после этого, оглядевшись, спросил:

«А Ксеня где?»

«Умерла», — ответила Мария Семеновна.

«Как умерла?»

«Как умирают, так и умерла, и похоронили».

«Давно?»

«Да уж скоро год как».

«Но когда я уезжал...»

«Тогда-то она вроде ничего была, домой взяли, а потом — о, господи! Может, и лучше, что бог прибрал, мучилась она».

Мария Семеновна стояла у шестка, спиной прислонясь к печи, как она и прежде любила стоять, скрестив на груди руки, и все ее морщинистое и еще более даже с прошлого года, когда я в последний раз видел ее, постаревшее лицо, повернутое к окну, к свету, было ясно видно мне. Я смотрел на Марию Семеновну и не верил тому, что она сказала. Мне казалось, что вот-вот из-за дощатой перегородки, где спал мертвецки пьяный Василий Александрович, выйдет Ксеня, как *тогда, давно,* в

только что наспех накинутом платье и с еще не до конца заплетенною косою и, задержав на косе пальцы и с удивлением приподняв брови, произнесет свое негромкое: «Вы?» Но я не оглядывался на перегородку (потому, может быть, что боялся увидеть пустою дверь), а, как прикованный, не сводил взгляда с Марии Семеновны и лишь прислушивался, не шелестит ли одеваемое Ксеней за перегородкою платье и не слышны ли уже ее шаги. Но никаких шагов не было слышно, а только доносился пока еще не очень раскатистый храп Василия Александровича.

«Господи, — как бы вдруг спохватившись, снова произнесла Мария Семеновна, — из ума, что ли, выжила, чего это я стою: с дороги ведь, голоден, поди?»

«Нет, зачем, спасибо».

Но Мария Семеновна, будто не слыша этих слов, принялась даже излишне суетливо, по-моему, — от старости ли или оттого, что ей на самом деле хотелось угостить меня? — хлопотать возле стола и печи. Я молча поглядывал на нее, не в силах еще примириться с мыслью, что Ксени нет, и, думая о ней, снова и снова медленно оглядывал комнату, где когда-то впервые увидел ее за столом при свете горевшей под потолком керосиновой лампы, и мне опять казалось, что будто с тех пор ничего не изменилось здесь (кроме разве только этой вот возведенной Василием Александровичем дощатой перегородки) — ни убавилось, ни прибавилось (не считая разве низенькой сапожной табуретки, что вон у печи, под лавкой, которая, впрочем, может, и тогда уже стояла тут, да только я не заметил); все было тем же, знакомым, и находилось на привычном для меня месте, и лишь не обогревалось, как тогда, прежде, лучившейся Ксениной добротою, а выглядело холодным, застывшим, ветхим и, если хотите, убогим — я преувеличивал, конечно, и теперь вполне понимаю это, но тогда с болью смотрел на все, и почти до слез было жалко готовившую ужин несчастную Марию Семеновну, особенно когда она поворачивалась спиной, нагибалась, и под кофточкой проступала старческая худоба. Временами возникало такое чувство, что я смотрю не на нее, а на свою мать. Для Марии Семеновны же все то, что волновало меня, было повседневной жизнью, и потому весь ход ее мыслей двигался в том направлении и ритме, как он двигался всегда, сообразуясь с мягкой и приветливой ее натурой; теперь ее заботило лишь одно — получ-

ше принять (как принимали когда-то, в те, *хорошие* годы Ксеня и Василий Александрович) и угостить меня, и она старалась трогательно, как это всегда умеют старые люди. Она даже и вопросы поначалу задавала те же, какие обычно, когда я приезжал, задавали или Василий Александрович, или Ксеня.

«Опять, поди, в эти самые свои Гольцы?»

«А куда же мне еще, Мария Семеновна?»

«Вот уж дались...»

«Да я и сам думаю...»

Она предложила переночевать у нее («Еще наживешься в гостинице, успеется»), и я не смог отказать ей. Ответом моим она осталась довольна. Мы долго сидели за столом после ужина, и, как в прошлый мой приезд с Василием Александровичем, теперь с Марией Семеновной, я чувствовал, как бы сам собою завязывался откровенный разговор. У каждого человека, очевидно, бывают минуты, когда вдруг хочется ему раскрыться перед собеседником; я ведь тоже в тот вечер много рассказывал Марии Семеновне о себе, но для меня важным было другое — то, что я услышал от нее и что неожиданно как бы приоткрыло совсем с иной стороны завесу над жизнью Василия Александровича и Ксени; я то прислушивался к храпу за перегородкой и тогда не мог сдержать в себе неприятно прокатывавшегося озноба, то все как будто затихало для меня, и я видел перед собою лишь старое и усталое лицо Марии Семеновны.

«Ведь он был замечательным человеком», — говорил я.

«То-то и оно что был».

«Да с чего же тогда?..»

«С чего, с дури. Может, я неправильно сужу, побабьи, ты уж извини, а если по правде, то и спотыкается человек не оттого, что пень на дороге, а оттого, что смотрел не туда, — по-своему, может быть, по старой крестьянской привычке объяснять все предметно (она из крестьян, я знал, как-то еще в прошлые разы рассказывала о себе), говорила она. — По службе не пошел вверх, видно, не дано ему это, а и в другом не преуспел. От меня-то они многое скрывали, а по ночам, как проснусь, слышу, все чего-то шушукаются, все чего-то пересуживают. А чего? Разве от матери скроешь? Думал он дом перестроить, пятистенник срубить, как вон наискосок, на той стороне от нас, видел? Коломивцева домина? Тожеть без руки, а чаша полная, на пять ступеней, не

достать, ну и Василий Александрович за ним, да ведь на все деньги нужны! Тот-то, Коломивцев, голова вон какая, сколотил артель, да по колхозам, по деревням фермы ладить, ну, по договорам, конечно, и что ни осень — смотришь, и хлеб машинами, и деньга. Вот и наш уволился было и тожеть в артель, да Ксеня не пустила. «Нет!» — и все, а то и шушукались по ночам. А потом и ее с работы начал срывать: «Шей и на толкучку, как Коломивчиха, и будет тебе что ни день, то и месячная зарплата!» И машинку швейную купил, «Зингера», ножную, а она опять свое: «Нет!» — и все. Я-то что, человек старый, им виднее, как жить, только гляжу, дело к ссоре, уж и говорю дочери: «Может, он и прав? Смирись да послушайся, кто ж в доме хозяин, если не мужик? Да и плохого ли он хочет?» А она свое: «Нет!» — и все. А потом болезни — ведь она с войны квелая, — раз в больницу, два, да на курорт, «Зингера» продали и еще кое-какие вещи. Она в больницу, а он за эту проклятую, за водку. Так и пошло. С чего же, как не с дури? Власть бы проявить мужичью, или уж отступиться да по службе идтить, а то ни того, ни другого. Все — кто как! — в люди вышли, а он остался ни с чем. Да хоть бы сейчас опомнился, разве поздно? «Ляг, — говорю ему, — в больницу, есть же такая, где от алкоголя лечат», — и вправду люди говорят, что есть, так он и слышать не хочет. Как еще только на работе держат, ума не приложу. Может, что инвалид, оттого и прощают. А в больницу бы надо, да и все советуют, о господи, не чужой же, свой, куды денешь».

Мне кажется, еще сильнее, чем известие о смерти Ксении (все же как-никак, а я был готов к нему), взволновал меня рассказ Марии Семеновны; что, в сущности, произошло: вся жизнь Ксении, Василия Александровича и Марии Семеновны, как я представлял ее себе, все рухнуло, и надо было заново прослеживать и выстраивать ее в своем воображении. Вы спросите — для чего? Конечно, можно и так поставить: «А для чего?» Но ведь не посторонними же они были мне, во всяком случае, я так считал, и как бы там ни было, а судьба Ксени — как она прожила жизнь? — даже вот и теперь постоянно, как подумаю, не может не тревожить меня. Не знаю, говорил я Марии Семеновне или нет, что Василия Александровича действительно-таки следует положить в больницу, обещал ли помочь в этом или не обещал, но хорошо помню, что, когда уже лежал на топчане (том са-

мом, на который когда-то положил меня спать и Василий Александрович), именно эта мысль, как бы вклиниваясь в общий ход воспоминаний и раздумий, то и дело приходила в голову. «Завтра непременно же, не откладывая», — говорил я себе, прислушиваясь, как за перегородкой — теперь Василий Александрович уже не храпел — раздавалось негромкое посапывание спящего человека. В избе казалось душно, как и тогда, помните, в ту ночь, после разговора с Василием Александровичем, но я не выходил во двор; ставни не были закрыты, и холодный лунный свет наполнял комнату, делая все — и стены, и печь, и не убранную со стола посуду — голубоватым и призрачным, и я, знаете, с тех пор, наверное, боюсь этих светлых лунных ночей. Вероятно, призрачный лунный свет только для того и существует, чтобы бередить души и как бы перебрасывать людей из действительности в прошлое, в воспоминания, чтобы, оглядевшись и заново пройдя уже однажды пройденное, яснее можно было увидеть ошибки, понять их и не повторять. Все может быть, хотя я ведь и не о своих ошибках думал; что касалось меня, только одна боль не отпускала ни на минуту: что я бы при любых обстоятельствах сделал Ксеню счастливее. Я понимал ее, как прежде, и был с нею (такое, по крайней мере, испытывал ощущение) и за нее, когда она будто при мне теперь говорила Василию Александровичу: «Нет!» «Но у него-то откуда, — думал я, — взялась эта страсть: шабашить?.. Откуда это у него?» Я не мог не верить Марии Семеновне, но вместе с тем не мог и представить себе Василия Александровича таким, каким изобразила его мать Ксени. Может быть, она и права была, что он с *того* начал пить, но, может, дело тут и в душевной слабости, и, если хотите, в привязанности, в любви к Ксене. Что он любил ее, в этом я не сомневаюсь, хотя и любовь, в общем-то, странная. Во всяком случае, в ту ночь я думал разное о нем и к какому-то определенному выводу, с чего же началось его падение, прийти не мог; да и теперь не уверен, потому что чужую душу не вывернешь. И все же... Совсем недавно, когда я в этот раз ехал сюда, услышал в вагоне весьма любопытный и, знаете, в какой-то мере проливающий свет на поведение Василия Александровича разговор. В салоне вагона-ресторана, куда я пошел пообедать, я сел за столик, за которым уже находились двое не очень пожилых еще и довольно прилично одетых людей; трапезу они, видно, за-

кончили, и один из них, худощавый, гладко выбритый, с заметно лысеющим лбом, допивал пиво, каждый глоток как бы закусывая порцией табачного дыма, а другой заострял спичку, собираясь поковырять в зубах, — в общем, обычная картина, и я бы не обратил на них внимания, если бы не тот, худощавый, что допивал пиво, словно невзначай, так, вдруг, между прочим, не обронил бы, по крайней мере, для меня интригующе прозвучавшую фразу:

«А знаете ли вы, Дмитрий Степаныч, что-либо о водоразделе человеческих душ?»

«Нет», — неохотно ответил тот.

Я не вмешивался в их беседу, а только слушал; даже не смотрел на них, вернее, старался не смотреть, чтобы, как это бывает, не прервать, не нарушить течение их разговора.

«А он существует, этот водораздел».

«Выбор профессии? Вы это имеете в виду, когда молодые люди вступают в жизнь?»

«Нет. Выбор профессии — это мелочь, деталь всегонавсего, а то, о чем я сейчас, если хотите послушать, скажу, касается всех возрастов и всех профессий. Это — коренной вопрос жизни».

«Ну-ну, пожалуйста, просветите».

«Начну с примера, чтобы понятней, а если позволите, с жизни своего отца. Крестьянский сын, солдат первой мировой войны, солдат гражданской, красногвардеец, бьет Юденича под Питером и возвращается домой — почетный боец революции, израненный, с наградами, и тут вот тебе: водораздел! Идти бы ему по партийной линии или по государственной, голодать, холодать вместе со всеми, двигаться вперед, так нет, засверкали нэпманские монеты перед глазами, заискрилось легкодоступное золотишко, и подался в купцы. Нажился, потом все отняли, и хотя не посадили, а жизнь сломана, никто. Душа сломана, водка и могила — один прямой путь, вот и все».

«Ну и что же тут нового?»

«Погодите. Это я рассказал о явном, видимом водоразделе. А бывает еще невидимый, который существует повседневно, ежечасно и встает перед каждым человеком. В том ли, в другом варианте, хрустящей ли бумажкой, а манит этот золотистый блеск, и если уж начистоту — вот я сижу перед вами, а ведь я, в сущности, повторил судьбу своего отца. В тяжелые послево-

сиивые годы нет чтобы работать, чиинов добиваться, потому что мне как фронтовику все двери были открыты, так тоже на легкое потянуло, на толкучку, и нажил, конечно, пачками деньги считал, не на штуки, а пачками, а потом в один прекрасный час как помелом — р-раз, и не успел я опомниться, как уже за решеткой. Отсидел, вышел, а жизнь-то сломана. Водораздел позади. Езжу от отца Серафима, заготавливаю по деревням воск для церквушек, что еще побрякивают колоколами, будят старушонок, ну, живу, жаловаться особенно не могу, не хуже других, чего бога гневить, а удовлетворения нет. Нет! Как подумаю, кем бы мог быть да кто есть на самом деле — душу воротит. Жизнь сломлена, водораздел пройден, и вот он, локоть, да не укусишь».

«В отца, значит, кровь».

«Может, и кровь, но знай я раньше, разве бы совершил такую ошибку? Если бы отец сказал мне, а то ведь нет, сам додумался, огляиувшись. Додумался, да поздно».

«Стать человеком никогда не поздно».

«Высот достичь поздно. Высот! Для каждого они начинаются на водоразделе, и человек должен быть провидцем — куда примкнуть, за что браться. Бывают годы, когда все ясно, за что, как сейчас, а бывает, когда не знаешь, куда колесо повернется, в какую сторону, вот тут и выбрасывает тебя на самый что ни на есть страшный стрежень водораздела».

«Ничего страшного».

«Как?!»

«Все это можно объяснить просто: одни честно трудятся, другие ищут легкой жизни — вот и весь ваш водораздел».

«Нет уж, не-ет, извините, не так все просто».

«Для кого как».

«Не всегда, не во все времена бывает ясно, куда повернется колесо истории и за что нужно цепляться человеку — вот в чем вопрос».

Не ручаюсь, что пересказал дословно весь их разговор; может быть, что-то и упустил или передал не так, но, по-моему, не столь важны подробности этого разговора, как сама суть, о чем вели они речь — *о человеческих душах,* которые попадают на стрежень *водораздела.* Мне кажется, он действительно-таки есть, и не в том плане, «за что цепляться, куда повернется колесо истории», — ведь тут у этого лысеющего со лба явно

был свой, и довольно скользкий, если не сказать больше, подтекст, а в другом, в водоразделе между честной, трудовой жизнью и соблазном легкой наживы. Кто-то проходит водораздел незаметно, как будто его и вовсе не существует для него; передо мною, например, никогда не стоял такой вопрос; а Василий Александрович, очевидно, попал на этот самый, как говорил тот, с наметившейся со лба лысиной, страшный стрежень, но только не ухватился ни за то, ни за другое и остался промеж, а ведь к чему-то готовился в жизни? В военную академию мечтал, да что там, конечно, мог и с этого запить, от сознания своей никчемности, от жизненной пустоты, в которую, в сущности, если верить Марии Семеновне, сам бросил себя, но ведь как ни объясняй, а все равно жалко человека. Так уж сложились для него обстоятельства. Жалко. Да и тогда, когда я лежал на топчане в залитой синим лунным светом комнате и под впечатлением рассказа Марии Семеновны думал о судьбе Ксени и о жизни Василия Александровича, как ни поднималось во мне отвращение, а все же и тогда я уже испытывал в какой-то степени жалость к нему. «Живет, а для чего? Сам мучается и других возле себя», — рассуждал я, разумеется, еще более, чем Василия Александровича, жалея Ксеню. Я опять чувствовал сквозь все тревожные раздумья, что есть во всей этой истории какая-то и моя вина, но какая, понять не мог, как, впрочем, и теперь не могу, а она все же была; вина есть, раз мучаюсь совестью. *Опоздал* — все, видимо, заключается в этом, но, может быть, и не только в этом. Во всяком случае, утром я встал почти больной, расстроенный, злой, и с Василием Александровичем состоялся у меня, пожалуй, самый резкий за все наши встречи разговор.

«А-а, ты», — протянул он, выходя из-за перегородки и потягиваясь, когда я, уже одетый, сидел еще на топчане и раздумывал, что делать. День был воскресный, и Василий Александрович не собирался на работу. Мария Семеновна же готовила завтрак и стояла у печи (вы скажете: «Все у печи! У печи!» Но так оно и есть, только у печи я и видел ее каждый раз и никак иначе не могу представить себе!); она лишь повернулась и своими старческими подслеповатыми глазами смотрела на нас.

«Как видишь», — ответил я.

«Чего приехал? Ее-то нет».

«Но ты не сообщил».

«Чего сообщать, ты же и так все за сто верст насквозь видишь, или на сей раз подвело тебя твое провидение? Чего глаза таращишь, нет ее, нет Ксени, понял?»

«Ты еще пьян».

«А это не твое дело. Не ты поил, не перед тобой и ответ держать. Если с добром приехал, ставь четок, тогда и разговор будет».

«Раньше ты пил, потому что Ксеня мешала тебе жить. Добротою своею, как ты мне говорил, вселенской добротою, да еще за чужой, вернее, за твой...»

«Да, за мой, да, потому и пил».

«А теперь?»

«Теперь пью потому, что ее нет рядом, и тебе не понять этого. Хоть ты и провидец, а слеп, как телок, слеп, ясно? Ее нет, и такого человека больше не будет, а ты слеп, и не твое дело лезть ко мне в душу»

«Я не лезу».

«Лезешь!».

«Нет».

«Для чего ездишь сюда? Чтобы в Гольцы?..»

«Да, и в Гольцы».

«Нашел дурака, хе-хе. Знаю, давно лезешь, да ладно уж, по старой памяти не прогоню, не пугайся, ставь четок на опохмелье, и все. Ставь, ну чего тебе, жалко?»

Не сразу, не вдруг, но все же удалось мне тогда уговорить Василия Александровича лечь в больницу. Мария Семеновна была рада и благодарна. Потом мы ходили с ней на могилу Ксени, и там, у не совсем еще обросшего травою серого холмика, обнесенного низкой деревянной оградкой, при ярком свете полуденного солнца я впервые почувствовал, как она стара, суетлива и, в сущности, беспомощна и что — да ей ли ухаживать за Василием Александровичем, когда сама она, как дитя, нуждается и в уходе и в ласке. Прежде как будто она не была набожной, или я просто не знал за ней этого, но тут вдруг еще за несколько дней до того, как пойти на кладбище, начала готовиться: купила конфет, пряников, напекла пирожков с рисом и яйцами, а потом щедро раздавала все это сидевшим и стоявшим у кладбищенских ворот старикам и старушкам (бог весть откуда они

берутся, но я давно приметил, что всегда они толкутся у кладбищенских ворот и готовы помолиться за упокой любой души, лишь бы — подношение!) и озабоченно, как будто молитвы этих сгорбленных годами людей действительно могли что-то значить, произносила: «За Ксеню». Возле могилы мы присели на траву, она развязала еще узелок с продуктами, что был приготовлен, очевидно, для нас, и предложила откушать за добрую память усопшей.

«Пусть покоится ее душа, царствия ей», — сказала она, перекрестясь и принимаясь за еду.

Она поглядывала то на крест, то на травку, как будто вползавшую на могильный холмик, то на меня, и какие-то свои, наверное, известные и понятные ей одной думы ворошились в старческом сознании. Время от времени она повторяла почти одну и ту же фразу: «Мучалась она, ой, как мучалась», — и фраза эта для самой Марии Семеновны была, конечно, всеобъемлющей, вбиравшей весь ход охватывавших ее воспоминаний. У меня же были свои грустные думы. Я принес Ксене цветы. Они лежали неразвернутым букетом у самого основания креста, я смотрел на них, и мне вспоминалось, как *тогда* вечером я пришел к ней в палату и положил на грудь несколько ранних весенних красных гвоздик. «Ну вот, — думал я, — при жизни не приносили, зато теперь я буду носить их тебе». Но все это, разумеется, были только добрые намерения, ибо как же я мог носить их, живя в Чите? Разве только снова приезжая сюда в Калинковичи? А для чего мне было теперь приезжать? К кому? И наверное, я бы действительно никогда больше не приехал, если бы не Мария Семеновна да отчасти и Василий Александрович, которого, как ни осуждай, а все же жалко.

Впервые тогда Мария Семеновна пошла провожать меня на вокзал.

«Ты уж не забывай нас, — просила она. — Может, и со всей семьею, будем рады. Дети-то есть?»

«Есть, сынишка растет».

«Ну вот, все вместе, да ты уж, христа ради, не забывай нас. Он-то сегодня так, а завтра кто знает, а что я с ним?»

«Вылечат, Мария Семеновна, не такие болезни лечат».

«Дай-то бог, да кто знает, всякое может быть. Дай-то бог...»

И что вы думаете, Мария Семеновна оказалась права: года Василий Александрович не продержался, снова запил, да еще как, и я теперь езжу не к Ксене и даже не потому, что жалко Василия Александровича — как-никак, а бывший комбат, воевали вместе! — а к Марии Семеновне. Вот уж на кого действительно не могу без боли смотреть. Почти слепая, живет на пенсию, а этот Василий Александрович не то чтобы в дом, а из дому что только возможно тянет. Квартиру дали однокомнатную, чего бы еще, а все пьет. Не буянит, не шумит, да в этом ли суть? При мне, как приеду, вроде держится, дает слово, клянется, а как уеду — все по-старому. Трудно даже представить, до чего дошло. Ведь Мария Семеновна не только прятать деньги, пенсию свою, но даже продукты вынуждена держать у соседки в холодильнике. Разве это жизнь? А с Василия Александровича, что ни втолковывай ему, как с гуся вода; вроде и соглашается, клянет себя, а на деле — как подгнивший столб, только и держится что на подпорке, а чуть отпустил, уже на земле; но ведь и подпорка — раз в году, кто же мне даст два отпуска? Пробовал, приезжая, еще укладывать в больницу, но толку что.

«Губишь себя», — говорю.

«А что? Для кого беречь? Ее-то нет».

Я уж и так пробовал:

«Но я-то вот не пью».

«Э-э, ты святой человек, — отвечает, хотя знал бы, как эта святость дается. — Ты, Женя, святой человек, давай за твое здоровье по последней, неси четок, и все, завяжу. Навек завяжу».

Недавно, четыре дня назад, такой же вот разговор был; я ведь опять уложил его в больницу; четка, конечно, не принес ему, а вчера вечером прихожу в палату, сидит нахмуренный, от больничного халата ли, от белой ли больничной обстановки или, может, от мрачных дум —лицо даже будто зеленое; не смотрит, отворачивается.

«Ну что, — говорю, — Василий Александрович, как дела?»

«Ладно, — отвечает, — сказал: все, не буду, поезжай спокойно».

Но это слова, не больше. Опять сорвется, чувствую, если не убежит из больницы, так запьет, и пойдет все по старому кругу, по колесу, ведь вот в чем вопрос, а как остановить, как разрубить круг, выпрямить линию,

ума не приложу. Здесь они — Мария Семеновна, Василий Александрович, а там, в Чите, — Зинаида Григорьевна, Саша, семь, восьмой, да еще ж и Петр Кириллович, им ведь тоже мои поездки не в радость же; правда, от Зинаиды Григорьевны я ни разу не слышал упрека, молчит, только иногда глаза заволакиваются, а что за этими сдерживаемыми слезами? Стоит на перроне, не шелохнется, держит за руку сына и смотрит, как я, высунувшись из тамбура, из-за плеча проводника помахиваю ладонью; и Саша в нее, тоже молчит, ручки вниз, как по швам, одни глазенки — вот они, как живые, передо мною, и я знаю, что за этим взглядом, знаю, о чем думают и Зина и он, что чувствуют, весь их мир — во мне, и разве не болит у меня сердце за них? Невольно, не хочу, а думаю иногда, что, может быть, и я добр за счет *чужой* доброты, за счет доброты Зинаиды Григорьевны, сына, Петра Кирилловича? Зина-то не скажет, уверен, а Петр Кириллович смотрел, видно, смотрел, как она мучается, терпел-терпел да и не вытерпел — перед самым моим отъездом в этот раз (наедине, конечно, выбрал момент) говорит: «Ты что делаешь? Седой весь, семья, не видишь, что ли, как возле тебя человек сохнет!» Это он про Зину. Я не ответил. А что я мог ответить? Мир-то весь во мне: и этот, что в Калинковичах, и тот, что в Чите; во мне он единый, целостный, а в жизни — разорван. Как его соединить? Как тут будешь спокойным? Оттого и езжу, как это я вначале вам говорил, *отдыхать* сюда, и гостиница эта — почти родной дом; и на следующее лето, наверняка знаю, уверен, опять буду здесь; мир целостен, хотя я и мечусь туда и сюда, как будто и разрываюсь, а в душе разорвать не могу, как он сложился для меня, так и есть, как у каждого, думаю, свой и тоже, наверное, для самого себя всегда целостный.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Закончив рассказывать, Евгений Иванович почти тут же поднялся с кресла, но, прежде чем лечь в постель, хотя час уже был поздний, за полночь, еще некоторое время, заложив руки за спину и опустив голову, прохаживался по комнате — от окна к двери и обратно; я смотрел на его высокую, худощавую и чуть сутулую фигуру (нет, он не был сутул; впечатление такое создавалось, очевидно, от заложенных за спину рук), и, может быть, из-за этой самой *видимой* сутулости, может быть, оттого, что настольная лампа была уже выключена и свет, падавший только от люстры, накладывал резкие и старившие его лицо тени у глаз и губ, особенно когда он выходил к центру и оказывался почти под самой люстрой, а может, лишь от рассказа — какую прожил жизнь — он казался мне постаревшим, как будто действительно можно было постареть за эти часы, что мы просидели в креслах, да и сам я тоже представлялся себе другим, как если бы вместе с Евгением Ивановичем каждый год приезжал в Калинковичи. Я еще не мог понять, хорошо ли было то, как поступал Евгений Иванович, в этом ли, в доброте ли, какую он проповедовал и какую, было ясно, носил в себе, заключались цель и смысл бытия, или это лишь часть, одна линия, личная, тогда как на самом деле в жизни доброта измеряется не только жалостью к ближнему. Потому и взволновала меня его история, и потому, вероятно, я не мог долго заснуть, когда уже, пожелав друг другу спокойной ночи, мы лежали, укрытые холодными, тонкими одеялами. Я лежал спокойно, не ворочался, чтобы, как внушал себе, не мешать сразу же притихшему и заснувшему Евгению Ивановичу, хотя на самом деле мне просто не хотелось выдавать себя, что я не сплю; очевидно, и с моим соседом происходило то же, и он также лишь не хотел выказывать, что не спит. Но, может быть, я ошибаюсь, и он заснул сейчас же, едва только прикоснулся головой к подушке, потому что — ведь так же, как для незнакомого мне Василия Александровича его рассказ, а для Марии Семеновны ее, так и для Евгения Ивановича все то, о чем он говорил, было по-

вседневною, привычною и, как воздух окружает нас, окружавшей его жизнью, и он, пересказав все, лишь облегчил, проветрил, как проветривают комнату, открывая форточку, душу, и был теперь удовлетворен и спокоен; передо мною же — смыкал ли глаза, лежал ли в темноте с открытыми — одна за одною, как сменяющиеся на экране кадры, то живые, движущиеся, то неподвижные, как бы застывшие на каком-то мгновении, возникали события своих минувших лет, но виделись они теперь по-иному, чем прежде (как и все люди, я ведь тоже часто любил и люблю предаваться воспоминаниям и в начале, кажется, уже говорил об этом), до встречи с Евгением Ивановичем. Я думал о нем, о Ксене, Рае, Зинаиде Григорьевне, которая, впрочем, более всего представлялась мне интересной и в чем-то даже таинственной, хотя именно о ней как раз скупее всего рассказывал Евгений Иванович; я воображал и Москитовку, и Читу, и Калинковичи, какими они могли быть тогда, в те времена, когда еще Ксеня была жива и Евгений Иванович, такой же, наверное, как и теперь, худощавый, не седой еще, с рюкзаком за спиною, шагал через весь город, разбрызгивая сапогами снежную кашицу, спеша к заветной избе, что у въезда по Мозырьскому шоссе, и еще разные врезавшиеся в память сцены: то в больничной палате у Ксени, то на похоронах Раи, то как будто я сам вот стою на дощатом перроне далекого таежного полустанка и ожидаю пассажирский поезд, но на все это накладывалась моя собственная, светившаяся другими красками и оттенками и, пожалуй (во всяком случае, тогда мне думалось так), не менее драматичная и сложная жизнь. Разумеется, я не хотел и не собирался спорить с Евгением Ивановичем, но вместе с тем все, что приходило теперь в голову, рождалось как бы наперекор тому, как жил и к чему стремился он. «Его бы заботы да мне, да каждому, — мысленно рассуждал я. — Ну и что, что любовь? Любовь к женщине это, в конце концов, частное дело, личное, трагедия одного человека, одной семьи, тогда как есть еще интересы общества, народа, страны. Он осуждает Василия Александровича, — продолжал все так же мысленно я, — но за что? Значит, есть еще совесть у человека, раз пьет, значит, не все потеряно. Не эти люди страшны, нет, а другие, те, что совершают разные гнусные дела и не пьют, не терзаются по ночам, а спокойно спят и процветают, уверенные в своей непогрешимости, и вот их-

то уж наверняка ни в какую больницу не уложишь. Так что — той ли мерою меряются добрые дела? Услугой ли ближнему? Или есть еще иная, когда — для людей, для всех! Эта доброта — в ненависти, в борьбе, в беспощадности к злу, и она, только она может и должна быть мерой всему», — уже в запальчивости продолжал я. Мне действительно тогда казалось, что жизнь Евгения Ивановича только и состояла в том, что он мучился от неразделенной любви к Ксене, и ездил то в Читу, то в Калинковичи, но, забегая вперед, скажу, что я далеко не во всем был прав, осуждая его, потому что знал, в сущности, только одну сторону его жизни, тогда как вторая, о чем он умолчал и что открылась мне позднее, после того, как я побывал в Гольцах, многое изменила в суждениях о нем. Но в эту ночь, повторяю, я был под впечатлением только что прослушанного рассказа и не то, чтобы совсем осуждал жизнь Евгения Ивановича, но не такими уж трагическими представлялись мне его страдания. «Да хлебнул ли он настоящей жизни?» — спрашивал я себя и, отвечая: «Нет!» — был вполне уверен, что прав. Да и кто не считает, пусть мысленно, про себя, скрытно, наслаждаясь лишь думами по ночам, что его жизнь более достойна примера, чем чья-либо другая? Все мы в той или иной степени тщеславны, хотя и не замечаем, не признаемся себе в этом. Может быть, и мною руководило то же *незамечаемое* тщеславие, однако не в этом, по-моему, суть; своей историей Евгений Иванович как бы пробудил во мне то, что уже было, в сущности, предано забвению и зарастало травой, как зарастают старые могилы, он заставил оглянуться и увидеть себя, каким был и каким стал, и увидеть жизнь, как видел раньше и как теперь, и потому, споря с Евгением Ивановичем, в то же время я спорил и с собой, как бы снимая с себя мнимо мягкие, вызывавшие только благодушие наросты времени.

Еще вчера я ведь если и вспоминал, то лишь о том, что не рождало ни глубоких раздумий, ни огорчений; ну что — Долгушинские взгорья, что — хранящийся до сих пор у меня дома грубый брезентовый плащ с капюшоном, в котором когда-то в любую погоду — в дождь, ветер, в мокрый снег — ходил по колхозным полям и который, кстати говоря, жена уже не раз намеревалась выкинуть на свалку как ненужный, загромождающий квартиру хлам, что — этот плащ и что — тос-

ка по взгорьям, когда годы не отмечены совершенно иными, и не только для приятных воспоминаний событиями. Что-то же заставило меня покинуть Долгушинское отделение и уехать в город? Не для того же только, чтобы потом, спустя много лет, можно было с грустью в голосе произнести и самому себе, и при случае какому-нибудь приветливому собеседнику: «Да-а, самые счастливые годы... молодость... задор... энергия... черная вспаханная земля, да-а...» — нет, разумеется, не потому я очутился в городе и вот теперь, как вечный командированный, что ни месяц, то в инспекторской поездке, а была причина, которую я просто не ворошил в себе, оберегая покой, но прошлое вот сейчас, как устремляется река в проран, размывая перемычку, — кипящею сменою картин хлынуло прошлое из тайников сознания. «Водораздел человеческих душ, — про себя повторял я слова, принадлежавшие даже не Евгению Ивановичу (но мне было все равно, кому они принадлежали; произнес их он, и потому я отвечал теперь мысленно ему). — Нет такого водораздела для честных людей. Он существует лишь для карьеристов, дельцов, которым действительно в какие-то времена истории приходится выбирать, за что *уцепиться,* по *какой* линии пойти, государственной, добиваться чинов или намывать легкодоступное золотишко, пусть хрустящими рубликами на толкучках и рынках, и совершенно не важно, по какую сторону водораздела окажется такой человек, он одинаково вреден, он — зло, и страшнее еще, когда зло это в чинах. А Василий Александрович — что? Он мучается, переживает, у него еще есть совесть», — продолжал я. И все то, как и что думал я о доме, о Валюше, Ларочке, Наташе, о Петре Семеновиче, у которого сын и который так же, как и я, по второму разу идет по школьной программе, ломая голову над самыми простыми арифметическими задачами, — все это, еще вчера вызывавшее умиление: «Как хорошо, что есть семья, должность, что живу в самом лучшем, самом зеленом районе города и что — достиг же, в конце концов, чего-то в жизни, хотя бы этой вот квартиры и права дремать по вечерам в кресле с газетою в руках или перед телевизором!» — представлялось не чем иным, как мелким, жалким, замкнутым в самом себе существованием, тогда как и в семье, и на работе (мы только закрываем на все глаза, потому что так легче) имеются огромные, действительно-таки затрагивающие

коренные вопросы жизни проблемы. И они сейчас поднимаются как бы из глубины — в противовес рассказанному Евгением Ивановичем и как бы в противовес собственным, еще недавно казавшимся правильным взглядам.

С усмешкою, которую не нужно было скрывать на лице, я говорил себе: «Хорош же я был вчера со своим советом: воспоминания — лучшее средство от бессонницы. Это смотря какие воспоминания. Вот попробуй сейчас засни». Вчера, конечно, я не сказал этого Евгению Ивановичу, только с сожалением подумал, что надо дать такой совет, но мне представлялось, что сказал, и оттого-то я и насмехался теперь над собою.

Тяжелые, до пола, гардины как будто плотно прикрывали и окно, и узкую балконную дверь, но все же свет от горевших на площади фонарей проникал в номер, ложась на стены и потолок блекнущими, расплывающимися желтыми полосками, и оттого темнота не казалась густой, как в первое мгновенье, когда была выключена люстра; я давно уже хорошо различал не только кровать, но и лежавшего на ней Евгения Ивановича, его седую голову на подушке, повернутую лицом к стене; думаю все же, что он спал, так как до самого рассвета, пока не забрезжило за окном синевою утро и пока сам я, утомленный, взволнованный, не забылся наконец коротким и беспокойным предзоревым сном, ни разу не пошевелился, а я рассказывал ему, разумеется мысленно, о своей прожитой жизни.

ЧАС ПЕРВЫЙ

— Вы говорили о случайностях, — начал я, вспомнив самые первые слова, какие произнес Евгений Иванович, когда мы, вернувшись из ресторана, уселись друг против друга в мягких и глубоких гостиничных креслах. — Пожалуй, и так можно представить жизнь, как цепь случайностей, если взглянуть поверхностно. Почему, например, я, городской житель, поступил в сельскохозяйственный техникум? Случайность? Да, если, разумеется, считать случайностью войну, которая грянула в сорок первом, когда я учился еще только в пятом классе, братишка мой — во втором, а сестренка лишь с завистью смотрела на наши новенькие портфельчики, вздыхая по-взрослому, как это умеют толь-

ко с нетерпением ожидающие своего счастливого часа дети, и если, разумеется, считать случайностью, что эта самая война позвала отца на фронт, а в доме потребовался скорый и надежный помощник для матери, и она однажды сказала: «Закончишь седьмой, подавай в техникум. Отца нет, и тебе надо *становиться на ноги»*. Да, вся жизнь могла бы пойти по-другому; жизнь сотен тысяч людей могла бы пойти по-другому, если бы не война, которая, как звено к звену в долгой цепи, событие за событием властно, не считаясь ни с чьим личным желанием, выкладывала свое русло для каждого человека. Но можно и так сказать: почему в сельскохозяйственный? Были же и другие. Может быть, тут-то и кроется случайность? Нет. Ни тогда, ни теперь тем более, я не думаю так; уже само слово «сельскохозяйственный» напоминало деревню и как бы само собою приближало к земле, хлебу; именно к хлебу, потому что — какие еще мысли могли прийти в голову, когда ценнее всех ценностей были в доме продуктовые карточки и когда перспектива жизни (да был ли я исключением!) виделась не в той широте и возможностях будущей работы, как теперь, а чтобы лишь — хоть как-то обеспечить своим трудом в доме достаток. И достатком этим виделся хлеб. Деревня и хлеб — так представлял я свое будущее; хлеб для себя, для братишки, сестры, матери, для всех, для общего блага, и не жалею, что именно с этим представлением о жизни когда-то начинал входить и познавать ее.

Мой отец тоже не вернулся с войны; был и в нашей семье черный день, когда почтальон вручил утром матери похоронную, и я тоже, наверное, повзрослел в тот день, но зачем пересказывать сейчас подробности; они одинаковы у всех; скажу лишь, что было и для меня такое время, когда хоть плачь, а бросай учебу и иди в грузчики, но каким-то образом мать все же не допустила до этого и потому, наверное, особенно радовалась, когда я принес домой диплом агронома и направление на работу.

«Наконец-то», — сказала она.

«Я заберу вас с собой в деревню».

«Конечно, сынок, только сперва поезжай один, поработай, поживи, осмотрись».

«Но почему же?»

«Нет-нет, ты поживи, осмотрись, а тогда уж...»

«Я непременно приеду за вами. Сразу же, как толь-

ко устроюсь. Или вы сами, я напишу и пришлю денег», — настаивал я.

Теплым августовским утром я выехал к месту назначения, в Красно-Дólинский район, с полным ощущением того, что уже — взрослый, кормилец семьи, заменивший отца, и самые счастливые планы, какие только могут возникать в голове девятнадцатилетнего юноши, возбуждали воображение. Пока ехал в поезде, я то и дело подходил к окну и радовался всему, на что смотрел: на желтеющий ли разлив пшеницы, что открывался вдруг, сразу за обрывавшейся березовой рощей, и хотя я еще никогда не видел тех мест, Долгушинских взгорий, где предстояло работать, но ни секунды не сомневался, что и *там*, в будущем моем пристанище, вот таким же разливом взбегают и скатываются по пологим склонам от речушки к речушке, от леска к леску, от укрывшейся за огородами и плетнями деревеньки к другой, звенящие колосом хлеба — звенящие тем колосом, что в техникуме, на стендах, в снопах; я знал — то была отборная пшеница, что на полях она не может расти вся такой, но я улетал мечтою вперед и потому представлял в воображении только лучшее; радовали стада на лугах, и пастух, волочивший за собою по траве длинный веревочный кнут, и уже успевшие осесть и поблекнуть на солнце сметанные стога сена, и мгновенно как бы промелькнувший вдруг переезд с ожидающими у шлагбаума деревенскими телегами и колхозными полуторками, которые, впрочем, давно уже отпылили по дорогам свое и теперь разве только как железный хлам встретятся еще где-нибудь на отдаленной автобазе у нерадивого хозяина, да хранятся, наверное, как экспонаты для истории в заводских музеях, словом, и эти, теперь давно отжившие, полуторки, и красные кирпичные здания станций и полустанков, и даже торговые прилавки под навесами, куда сейчас же устремлялся весь вагонный народ, как только останавливался состав, — все радовало глаз. И когда ехал, именно на полуторке, от железнодорожной станции до Красной Дóлинки, то же настроение владело мною, и я так же, устроившись в кузове, смотрел по сторонам и вперед, подставляя лицо жаркому августовскому дорожному ветру, и с восторгом рано начинающего самостоятельную жизнь молодого человека оглядывал словно дремавшие в полуденном зное под соломенными крышами деревянные крестьянские избы, когда машина, под-

прыгивая на ухабах, проезжала через очередное по дороге село; но на меня не веяло тогда запустением от тех поосевших за войну изб; это ведь теперь, когда знаю нынешнюю деревню и могу сравнивать, запоздалая грусть начинает тревожить сердце, и за каждым окном, за каждой бревенчатой стеною как бы чувствую притаившееся вдовье горе, а тогда — не было и намека на эту грусть; я хорошо помню, как выпрыгнул из кузова с легким чемоданчиком, едва шофер затормозил машину, и потом, стоя посреди пыльной площади, с удовлетворением разглядывал деревянные и кирпичные строения районного центра: здание райкома, исполкома, районного земельного отдела, которое — я сразу догадался, что это оно, по привязанным у крыльца к столбу оседланным коням — особенно привлекло внимание. Одноэтажное, длинное, как барак, с обшарпанной дверью и каким-то плакатом по карнизу на полинялом полотнище (точно не помню: что-то связанное с уборкой и планом), с фундаментом, заметно изъеденным солонцом (но ведь это только теперь я так подробно вижу все и всему придаю значение!), здание не представлялось ни обветшалым, ни мрачным; оно было не лучше, но и не хуже других, соседних, что редкою и как бы неровною толпою обступали пыльную площадь (да ведь и восприятие тогда, в послевоенные годы, было у нас другим: бились за главное, здесь, в районах, за хлеб, а до чего-то не доходили руки, и это разумелось само собой), и что бы я ни говорил теперь, но тогда я ласкал взглядом этот дом, который должен был стать для меня судьбой, жизнью. Я знал, что здесь, у этого крыльца, начнется моя *большая* дорога, и, продолжая еще стоять на площади, торопил время, мысленно забегая вперед, к тем годам, когда и работа, и жизнь — все войдет в одну привычную, спокойную, с уверенностью в завтрашний день колею. Я посмеялся бы над любым, кто осмелился бы сказать мне в те минуты, что я не знаю жизни, что планы мои возведены на песке и что ни следа не останется от них, как только прокатится по ним остужающая волна недоверия; я ответил бы, улыбнувшись, что эта мрачная шутка не для меня, но, к сожалению, теперь вынужден признать, что есть эта остужающая волна, что она окатила меня, хлестнула, да так, что и теперь иногда с боязнью оглядываюсь на прошлое. Но хлестнула не сразу; лишь спустя несколько месяцев я ощутил первое ее студеное дыхание.

У вас в девятнадцать был поединок с немецкими самоходками, в то время как у меня тоже был, в сущности, поединок, схватка, но только иного рода, с иным врагом, да, я не боюсь этого слова, врагом, а точнее, злом, и если уж начистоту — он еще не закончен, этот поединок, по крайней мере, в моей душе; время лишь приглушило все и затянуло мнимой сетъю спокойствия и смирения, но именно мнимой, потому что чувствую же я вот сейчас снова и ту прежнюю решимость, и злость, и свою правоту. Но, позвольте, как и вы мне, я тоже буду рассказывать все по порядку, как было, как ошибался я в людях, полагая, что, как и во мне самом, в каждом человеке живут лишь добро, справедливость, понимание и уважение к ближнему; тогда, на площади, мне нравилось все, на что ни переводил я взгляд, и даже само название села — Красная До́линка, — когда мысленно произносил его, рождало возвышенное, гордое чувство. «Красная», — повторял я, вкладывая свой смысл в это слово, хотя именовалась До́линка Красной давно, еще до революции, а иногда называли это село еще Ярмарочным за шумные зимние ярмарки с каруселями, балаганами и катаниями, какие устраивались здесь, как раз на этой площади, и со всей округи съезжались сюда купцы, лоточники, цыгане, съезжались мужики из деревень, и в кабачном ряду с утра и до самой поздней ночи бушевала пьяная, горланившая песни толпа, дворы были забиты подводами, снег у завалинок устилался подсолнечной шелухою, а в заезжих избах так и не убирались со столов медные ведерные самовары. Так рассказывали потом, так оно, очевидно, и было, но во мне даже и после этих рассказов, помню, название Красная До́линка каждый раз вызывало все то же чувство, какое испытал я, ступив впервые в тот жаркий августовский день на эту пыльную площадь. Я медленно пересек ее, когда полуторка скрылась за поворотом, и потом еще с минуту стоял у крыльца, разглядывая и читая поблекшую зеленую вывеску с надписью «райзо»; из дверей, шумно разговаривая и не замечая меня, вышли трое мужчин, очевидно, председатели колхозов, и я, обернувшись, смотрел, как они отвязывали коней и садились в седла; и в этих председателях с обветренными и потными шеями, в их сытых конях с лоснящимися крупами, что уже взбивали копытами уличную пыль, еще более представлялась мне спокойная и радостная впереди трудовая жизнъ, и с этой счастливой

мыслью, не скрывая довольства на лице, я вошел в узкий и сумрачный коридор.

В нем никого не было.

И за дверьми, в кабинетах, тоже как будто было тихо; лишь в самой глубине коридора, у окна, было слышно, как тарахтела в какой-то комнате пишущая машинка, и я направился на этот как будто единственный живой звук в здании.

«Скажите, — остановившись у порога и глядя на машинистку, спросил я, — как мне пройти к заведующему райзо?»

«Его нет».

«К главному агроному?»

«Тоже нет. В колхозах».

«А когда будут?»

«Не знаю, зайдите к Евсеичу — его помощнику. Дверь напротив», — добавила она, уже принимаясь за работу.

Я прошел к помощнику, и этот же самый разговор повторился.

«Ни заведующего, ни главного агронома нет, а вы, собственно, по какому делу?»

«У меня направление...»

«А-а, кадры! Только к начальнику, эти вопросы решает только он. Оставьте чемодан здесь и пойдите погуляйте. К вечеру он должен быть».

Мне ничего не оставалось, как последовать этому разумному совету, я поставил чемодан за шкаф, к стене и через минуту снова уже был на пыльной площади; ни равнодушный тон машинистки — я даже, по-моему, не разглядел, молодая она или пожилая, в чем одета и как причесана, отстукивает свои простыни-сводки, и пусть отстукивает, — ни такой же равнодушный, как я теперь, оглядываясь назад, на то прошлое, понимаю, тон Евсеича (он листал только что поступившие центральные газеты и на меня смотрел, наклонив голову, из-под очков) не нарушили счастливого состояния, я по-прежнему жил радостным ощущением, что — здесь, что — прибыл, что — вот она, Красная Дóлинка, а то, что не застал на месте заведующего райзо, это всего лишь деталь; рано ли, поздно ли он будет, примет, назначит на должность, а судьба уже, в сущности, решена, и на всю жизнь. Обогнув старую, без колокольни и куполов церковь, я спустился по проулку на околицу села, к реке, вернее, небольшой, с черным илистым дном речушке

Лизухе — название я узнал потом, — и передо мною как бы вдруг распахнулись огороды, луга, леса, поля, уходящие к горизонту под белесовато-выцветшим полуденным небом, и в то время как для местных жителей, для деревенского человека вообще, они, естественно, не представлялись необычными, — они настолько поразили тогда мое воображение и показались неповторимыми, что, сколько потом я ни встречал красивых и удивительных мест, особенно как начал разъезжать по командировкам, — ничто не могло, да и теперь, чувствую, не может сравниться с тем, что увидел я в тот день за околицею Красной До́линки, и ничто не западает так глубоко в душу и не вызывает волнений. Каждый раз, когда я потом, уже из Долгушина, приезжал сюда, в Красную До́линку, как ни бывал занят, непременно выкраивал время и спускался по проулку к реке, выходил к обрыву и, вслушиваясь в тихие всплески воды внизу, под кручей, смотрел: осенью — на багрово-желтый издали лес, черные клинья распаханной под зябью земли и между ними, как острова, яркие зеленя озими, весной — на сиреневую дымку распускавшихся по лесу почек, на белые лысины еще не везде стаявшего снега, и опять — черная пахота и зеленя, и дыхание земли, неба, жизни; я приходил сюда и зимой, когда все было опушено снегом и искрилось в лучах низкого морозного солнца, и — ни речки, ни клиньев озими и паров, а все припорошено, объединено в одно сплошное белое море, и кусты тальника, каждая веточка, обрамлены прозрачным и вместе с тем словно слегка подсиненным голубизною неба инеем, и снова и снова все представлялось неповторимым и прекрасным. Вот что значит иногда первое впечатление или даже не впечатление, а доброе чувство, с каким человек смотрит на все вокруг, с каким смотрел я на незнакомые, впервые видимые мною места; они как бы вливались в мое радостно-возбужденное сознание. Я направился вдоль берега, поглядывая на удивших рыбу мальчишек; мне хотелось заговорить, но я прошел молча мимо маленьких веснушчатых рыболовов, лишь чуть замедлив шаг; молча прошествовал и мимо полоскавшей белье молодой женщины, немного смутившись лишь и покраснев оттого, что она, разогнув спину, смотрела мне вслед, провожала глазами, и я чувствовал это; и прошел мимо старика с прутиком, замыкавшего цепочку спускавшихся к речке гусей; я радовался тихо, по-своему, в душе, по-

тому что — такой, видимо, характер; а может, уже тогда жизнь научила этому — замыкать в себе все: и радость, и горе, как, знаете, теперь замком-«молнией» мгновенно стягивают дорожную сумку; внешне же, разумеется, казался спокойным, не спеша переводил взгляд с одного на другое, и шагал неторопливо, и лишь на лице, но это только потому, что никого не было рядом, постоянно как бы светилась улыбка. Я знаю, что так это было; да иначе и не могло быть; с этой светившейся улыбкой я и вошел снова в сумрачный и прохладный коридор райзо.

«Рано еще, молодой человек. Еще погуляйте».

«Но...»

«На закате, только на закате».

«Но вы?..»

«Повторяю: на закате!»

Все те же развернутые центральные газеты лежали перед ним на столе, и смотрел он так же, наклонив голову из-под очков, но ни этот его взгляд, ни разговор, который оставил-таки на сей раз неприятное впечатление, все же не смогли нарушить общего хорошего настроения; только теперь, очутившись на площади, я не пошел ни к реке, ни по селу, а присел на приступок с теневой стороны церкви, выбрав место так, чтобы видеть крыльцо (для того, конечно, чтобы не заходить больше к Евсеичу и не спрашивать, приехал или не приехал заведующий: «Сам увижу!»), и до заката, как было определено мне время, то вскидывал взгляд на райзо, то на удлинявшуюся тень от церкви, то смотрел себе под ноги, на пыльные ботинки и подмятую под ними траву, которую жалко мне было видеть надломленной и подмятой.

К зданию райзо никто не подъезжал.

Когда же, не выдержав долгих минут ожидания, я опять вошел к Евсеичу, тот только развел руками, дескать, рад бы помочь, да не могу, не в силах.

«Нет?» — все же для убедительности спросил я.

«Нет, — ответил он. — Но должен был сегодня обязательно вернуться. А может, махнул прямо домой, не заезжая сюда, а? — как бы спрашивая меня, продолжил он и, тут же добавив: — Все может быть», — покрутил ручку телефона и снял трубку.

Пока он разговаривал, я все время смотрел на него. Я не слышал, что отвечали ему, но по тем словам, которые произносил он: «Что? Только что? Да, да, по-

жалуйста», — по выражению лица, глаз, словно вдруг оживших и подобревших, особенно когда раздался, наверное, в трубке голос самого Андрея Николаевича (так величали заведующего райзо, и об этом легко можно было догадаться по учтивости, с какою, продолжая разговор, произносил затем это имя и отчество Евсеич), я понял, что заведующий райзо дома, и заволновался, что сегодня он уже не придет сюда, не примет, и все будет перенесено на завтра.

«Что же делать?» — проговорил я, продолжая, однако, еще с надеждою смотреть на Евсеича, и он, снова уловив мое беспокойство, неожиданно, зажав ладонью трубку и наклонившись ко мне, спросил:

«Как фамилия?»

«Пономарев», — быстро ответил я.

«Пономарев, — доложил он в трубку, приоткрыв ладонь, и затем, наклоняясь, задал новый вопрос: — Какая специальность?»

«Агроном».

«Агроном, — опять доложил он и тут же снова обратился ко мне: — Что закончил: институт? Техникум?»

«Техникум».

«Техникум, — повторил он. — Что? В Дом колхозника? Андрей Николаевич, вы же знаете, закрыт на ремонт. Может, здесь, у вас в кабинете, на диване? К вам? Ага, хорошо, хорошо, — заключил Евсеич и положил трубку. С лица его, как только он кончил говорить, словно соскользнуло, слетело, стаяло добродушие; уже знакомым мне холодным, равнодушным тоном он сказал: — Вам повезло, молодой человек. У Андрея Николаевича, э-э, отличное настроение, он приглашает вас к себе в дом. Там и поговорите, и переночуете».

«Спасибо».

«Чего «спасибо»? Куда идти-то, знаешь? За площадью, вон, на южной стороне, на Малой, как мы ее называем, улице, дом восемнадцать, новые ворота, там спросишь. Хотя, что спрашивать, — перебил он себя, — новые ворота!»

«Спасибо».

«Эй, эй, чемодан с собой, тут некому его караулить».

Дом Андрея Николаевича я отыскал сразу, но если говорить о приметах, то сильнее запомнились мне не новые ворота. По заросшей травою Малой улице, по

самому центру ее вилась наезженная телегами колея, а возле дома Андрея Николаевича полукружьем отходила от нее к новым воротам боковая, более узкая; она была явно проложена подъезжавшей сюда по утрам и вечерам пароконной земотделовской рессоркой (тогда ведь районное начальство не ездило, как сейчас, на вездесущих «газиках»; да и самих «газиков» еще не было); по этому узкому колесному следу, разглядывая его, я, собственно, и подошел к нужным воротам. От них действительно, как от свежих сосновых стружек, пахло еще смолой; и крыша дома, показалось мне, тоже была недавно перекрыта, тесины еще не успели потемнеть от дождей и солнца, но это не вызвало тогда никаких подозрительных мыслей; просто дом чем-то вроде выделялся среди других, стоявших вдоль улицы, и скорее даже не воротами и тесовой крышей, а застекленною верандою или выложенной красным кирпичом дорожкой к крыльцу, словом, чем-то да выделялся, я запомнил это, но важным для меня было в те минуты другое: веселое и доброжелательное настроение, с каким Андрей Николаевич, выйдя на крыльцо в брюках с подтяжками поверх белой нательной рубашки, крикнул:

«От Евсеича?»

«Да».

«Проходи!»

«Мне...»

«Проходи, когда приглашают. Собаки нет во дворе, не бойся, проходи!»

Я поднялся по ступенькам на крыльцо, и как только очутился рядом с Андреем Николаевичем, хотел ли, не хотел этого — чаще всего происходит это помимо нашей воли, мы просто как бы попадаем под гипнотическое обаяние хозяина и уже покорно и с улыбкой выполняем все, что ни предложат нам: куда пройти, где сесть, что положить в тарелку и о чем говорить! — так вот и я, хотел ли, не хотел, а невольно оказался в таком положении, когда должен был только слушать, улыбаться и подчиняться гостеприимной и доброй как будто воле Андрея Николаевича; я понимал, что прежде всего нужно сейчас же объяснить будущему своему начальнику, кто я и зачем пришел, но ни на крыльце, ни на застекленной веранде, куда тут же почти втолкнул меня Андрей Николаевич, не смог произнести ни слова; да что там: не смог произнести! — не успел даже

сообразить, что надо хотя бы извиниться за позднее беспокойство, как уже стоял в комнате, у порога, держа чемодан в одной руке, фуражку в другой, и растерянно обводил взглядом сидевших за празднично накрытым столом (они все тоже смотрели на меня, отчего я еще более терялся и чувствовал смущение) людей. Я, в сущности, оказался в том же положении, как и вы, Евгений Иванович, тогда *там,* в освобожденных Калинковичах, когда ординарец комбата поднял вас с постели; вы думали, что сейчас получите очередное боевое задание, а попали на торжественный ужин, и все было неожиданно и, может быть, потому и поразило вас; я ведь тоже не рассчитывал ни на такое гостеприимство, ни на застолье, а свои мысли и планы одолевали меня, и было свое представление о встрече и разговоре с заведующим райзо, и потому долго еще, уже будучи приглашенным за стол, сидел с глупым выражением лица, улыбаясь и подставляя тарелку подо все, что предлагала отведать светловолосая и круглолицая жена хозяина дома Таисья Степановна. Впрочем, еще от порога я прежде всего обратил внимание на нее, потому что она, встав из-за стола раньше, чем Андрей Николаевич представил меня, подошла и, молча взяв из моих рук чемодан и фуражку, понесла их в соседнюю комнату. Я видел ее лицо перед собой, вот, рядом, и потом, может быть, неприлично долго смотрел на спину и коротко постриженные и аккуратно причесанные волосы, когда она удалялась; не знаю, был ли заметен для других этот мой взгляд, но сам я, помню, почувствовал неловкость. Она была довольно-таки еще молода, лет тридцати, в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны и когда все в них соразмерно и сообразно: и полнота, и свежесть, — я не потому так о ней, что понравилась с первого взгляда (какой тут может быть разговор: мне — девятнадцать, ей — тридцать!), или что я потом, что ли, влюбился в нее, нет-нет, просто она произвела на меня приятное впечатление, и та цель, то счастье, какое грезилось днем (какое должно было раскрыть мне объятья здесь, в Красной Дóлинке), показалось как будто еще доступнее, ближе. И одета она была не ярко, не празднично, в том платье, в каком обычно ходила в доме, ведя хозяйство, да и все, на кого я потом смотрел, а гостей-то было всего: Федор Федорович Сапожников, местный, но *государственного масштабу* селекционер с женой Дарьей и тремя невестившимися дочерями: Вик-

торней, Клашей и Фросей (все они были, как мне помнится, на одно лицо, похожие на своего короткошеего и ушастого отца; и платьица были на них одного покроя — со сборками на груди, и одного цвета — белые в мелкий синий горошек), — все были одеты не нарядно, как-то по-домашнему, вернее, по-дорожному скромно, и я сразу же, пока еще стоял у порога, уловил эту непраздничную атмосферу; непраздничную в том смысле, что ни именины, ни, разумеется, Первое мая, ни еще какая-нибудь, пусть даже семейная, дата, а просто Федор Федорович со всеми своими чадами зашел или, может быть, заехал к доброму старому другу так, без всякого повода, лишь навестить, и все, что стояло на столе, было приготовлено наспех, но щедро, так как гостю, несомненно, были рады здесь, и Федор Федорович чувствовал себя как дома, и его жена, и дочери, и Таисья Степановна не сочла нужным принаряднться, да и сам Андрей Николаевич, вышедший чуть вперед меня, заложив большие пальцы за широкие подтяжки брюк, как всегда, наверное, делал, когда бывал доволен собой, похлопывал ладонями по белой, облегавшей живот рубашке.

«Ну, Федорыч, вот и пополнение к нам, агроном, прошу любить и жаловать, — сказал Андрей Николаевич, положив руку на мое плечо и подталкивая к столу (Таисья Степановна с чемоданом и фуражкой уже скрылась за дверьми соседней комнаты; потом, когда она вернулась, Андрей Николаевич представил меня ей, назвав жену по имени и отчеству). — Дождались, а? — продолжил он, обращаясь все так же к Федору Федоровичу. — Поколение, не нюхавшее пороха...»

«Не всё, не всё», — возразил Сапожников.

«Допустим, не всё, спорить не стану. Ну, Пономарев, — теперь уже хлопнув меня по плечу и опять подталкивая к пододвинутой к столу табуретке, сказал он. — Как тебя по?..»

«Алексей. Алексей Петрович».

«Долго сидел у Евсенча?»

«Я приехал днем...»

«А-а, с обеда? Тогда ты все уже знаешь: и о районе, и, надо полагать, все обо мне? Евсенч, поди, уже проинформировал тебя?»

«Он ничего не говорил».

«Как?!»

«Ничего».

«Значит, старик просто не в духе. Но не горюй, все еще впереди, информация за ним не залежится, так я говорю, а, Федорыч? — при этих словах Андрей Николаевич и Федор Федорович понимающе переглянулись. — За ним не залежится... а впрочем, мы и сами сможем тебя проинформировать, садись». — И, когда я сел, он произнес, кивком головы указывая на Сапожникова, ту самую фразу: «Местный, но *государственного масштабу* селекционер», — которую я особенно запомнил в тот вечер и которая до сих пор, когда начинаю думать и вспоминать Федора Федоровича. вызывает улыбку. Но тогда я все воспринимал всерьез и с восхищением смотрел то на Андрея Николаевича, то на представленного им селекционера, на Сапожникова, которому, между прочим, и сам он не скрывал этого, было приятно слышать похвальные слова о себе; приятно, очевидно, потому, что произносил их знавший дело и цену хлебу друг, и, главное, может быть, потому, что друг этот ни мало, ни много, а возглавлял земельный отдел района. Я отлично помню, как на лице и во взгляде Федора Федоровича каждый раз появлялось что-то отечески доброе, едва только речь заходила о селекции, и он казался мне настолько влюбленным в свою работу человеком, что для него нет и не могло быть иной цели, чем эта, однажды поставленная перед собою в жизни. Он заведовал тогда сортоиспытательным участком, который размещался на землях отдаленного, крупного и, пожалуй, самого крепкого в районе колхоза, и Андрей Николаевич, продолжая восхвалять, впрочем, не без глубоко скрытой иронии, Федора Федоровича, говорил: «На Чигиревских у него целое научное заведение, одних названий сортов — черт ноги переломает. И еще где у тебя? В Долгушине?»

Федор Федорович как бы в знак согласия степенно наклонил голову и только уточнил:

«На взгорьях»

«Так что у нас тут — свои университеты, — заключил Андрей Николаевич, — и не малые. Таисья, подай рюмку, я налью гостю. Обедал? — спросил он у меня. — Нет? Ну ничего, для аппетита. Она, брат, хлебная, давай приобщайся. На здоровье!»

Как всегда бывает в таких случаях, все дружно поддержали: «До конца! До дна! Сразу!» — и я, оглушенный этими возгласами, поднес рюмку к губам и выпил.

«Отлично! — воскликнул Андрей Николаевич. — Молодцом! Бери огурчик».

«Хлебом занюхай. Хлебом!» — вставил Федор Федорович.

«Оставьте его, человек не обедал. Может, борща вам?» — спросила Таисья Степановна.

«Да, пожалуйста», — согласился я.

Я ни от чего, как уже говорил, не отказывался, что предлагала Таисья Степановна, и отвечал ей, по-моему, одними и теми же словами «да, да» или «пожалуйста», в то время как с уст не сходила глупейшая, по крайней мере, если не сказать больше, улыбка; я был доволен всем и всеми и пребывал в том *сладостном* состоянии, как только может чувствовать себя впервые выпивший человек, и мне снова и снова казалось, что жизнь самой доброй стороною повернулась ко мне. Для вас там, в заснеженных Калинковичах, счастье составляла сидевшая рядом девушка Ксеня, ее серебристые косы, освещенные горевшей керосиновой лампой, и оттого вечер промелькнул быстро, как будто только что вот произнесен первый тост, и уже надо вставать и расходиться; мне тоже показалось, что вечер у Андрея Николаевича был коротким, но отвлекали и волновали совсем иные, чем вас, мысли; я ел, смотрел на всех, слышал отрывки фраз и даже как будто понимал, о чем говорили между собою, главным образом, Андрей Николаевич и Федор Федорович (не знаю, почему, но мне и теперь думается, что на время они словно специально оставили меня, передав в распоряжение Таисьи Степановны, и оттого-то, куда бы я ни поворачивал голову, постоянно видел перед собою ее круглое, обрамленное белыми волосами и казавшееся мне красивым лицо), но вместе с тем именно в первые минуты после опустошенной рюмки сознание как будто вдруг переключалось, я переставал слышать и видеть, что происходило вокруг, за столом, и передо мной как бы распахивались то разливы желтеющей пшеницы, как они виделись из окна вагона, то огороды, лес и поля до белесого горизонта, те самые, на которые смотрел сегодня, спустившись через площадь по проулку к Лизухе; я как будто опять шагал мимо веснушчатых рыболовов, мимо полоскавшей белье женщины, радуясь про себя, что не пройдет и месяца — «К зиме наверняка, в этом-то уж никакого сомнения!» — как мать, брат и сестренка, вызванные мною сюда, будут так же радоваться этой благодатной

земле и этим, таким гостеприимным людям. «Они еще не догадываются, — думал я, — что уже начало крутиться колесо нашего счастья». А сказать точнее, не думал, просто сама эта мысль, как бы подтвержденная всем ходом сегодняшних событий, и составляла то счастье, какое волновало и будоражило мое юношеское воображение. Иногда мне кажется теперь, что, пожалуй, я был в тот вечер более опьянен именно ощущением близкого счастья — достатка, хлеба! — чем выпитой водкой, потому что, когда, в сущности, хмель прошел и я действительно начал понимать, о чем говорили между собою Андрей Николаевич и Федор Федорович, да и позднее, когда сам включился в их разговор, ни на одно мгновение не покидало меня это радостное ощущение. Я вспомнил, как когда-то в техникуме — мы уже были старшекурсниками — преподаватель почвоведения сказал нам: «Важно еще и то, в чьи руки вы попадете, с кем начнете свой трудовой путь!» «Я-то попал в хорошие, — теперь рассуждал я. — В этом отношении могу быть спокоен, мне нечего опасаться». И все сидевшие за столом, главное же, Андрей Николаевич и Федор Федорович представлялись самыми замечательными людьми на свете. Да и как они могли представляться иначе, когда я еще ничего не знал о них, а видел только их весело улыбающиеся лица; и в доме все производило лишь впечатление доброты, щедрости, уверенности, уюта. Таисья Степановна по-прежнему то и дело пополняла мою тарелку закусками, а Андрей Николаевич, увлеченный беседой, все чаще, слегка подтолкнув рукой в бок, восклицал: «Вы слышите, Алексей? Нет, вы слышите, чего задумал старик, а? Какой размах!» — и в такие мгновения, не в силах сразу прервать свои размышления, я удивленно таращил на него глаза (я говорю «таращил», хотя на самом деле, конечно, не так уж и глупо держался, а если и было что, то по молодости, от простоты душевной, от искренности, от непосредственности восприятий и чувств, чего, к сожалению, лишены мы теперь, вернее, лишаем себя сами, набираясь с годами, как думаем, ума-разума, мудрости жизни), да, я смотрел с удивлением, и, как ни обуревали меня, повторяю, приятные мысли, как ни был я во власти картин, переносивших в недалекое и счастливое будущее, я не мог не прислушаться к тому, что так восторгало заведующего районного земельного отдела. Речь же шла о выведении нового сорта пшеницы, сверх-

засухоустойчивого, *вечного,* как назвал его Федор Федорович. Я, откровенно, в тот вечер так и не смог до конца уяснить, почему сорт именовался «вечным», в чем заключалась его особенная такая живучесть. Раскрылось это передо мною позднее, и я даже сам помогал потом Федору Федоровичу в его, несомненно, ложном, так думаю теперь, но в те времена казавшемся смелым эксперименте. Путем скрещивания пырея и пшеницы он хотел сразу достичь многих целей: и высокой стойкости к засухам, а значит, и ежегодных урожаев, и главное — такую пшеницу сеять надо будет только один раз, а потом убирай, пускай комбайны, и все; как травы на лугу: ни пахать, ни боронить, ни бороться с сорняками; пырей своими корнями переплетет всю землю и задавит любые сорняки. Такова была идея Федора Федоровича. Как люди, изобретавшие вечный двигатель, он изобретал *вечный* сорт пшеницы, и наверняка его должна была постичь неудача, да и постигла — ведь когда это было? Двадцать с лишним лет назад, а где сорт? Его нет. Но дело не в этом; тогда, в тот вечер, я с изумлением смотрел на Федора Федоровича и уже не замечал ни его короткой шеи, ни оттопыренных ушей, а проникался уважением к нему, как и к Андрею Николаевичу, и благодарил судьбу, что она столкнула меня с такими людьми.

«Ты понимаешь, Федорыч, — продолжал между тем Андрей Николаевич, — если у тебя действительно получится все так, как говоришь, то ты же прославишься на всю страну».

«В славе ли дело».

«Эг-гей, ну-ну»

«Дело в стабильности, о чем тысячелетиями мечтал наш русский мужик. Стабильности урожаев. Мы должны дать колхозам такой сорт пшеницы, я имею в виду не только себя, а вообще нас, селекционеров, чтобы при наименьших затратах труда и вне зависимости от климатических условий можно было получать наивысший, а главное, постоянный и устойчивый результат».

«Да ведь это революция в сельском хозяйстве!» — воскликнул Андрей Николаевич.

«В какой-то мере, да, бесспорно. Правда, нужны годы, труд, но идея сама по себе настолько верна, что у меня никаких сомнений нет, да и вообще, стал бы я говорить, если бы хоть на секунду сомневался? Вот молодой специалист рядом, — сказал Федор Федоро-

вич. — Зерновик? — спросил он у меня, и, как только я ответил, что «да, агроном по зерновым культурам», уже обращаясь сразу и ко мне, и к Андрею Николаевичу, продолжил: — Спроси молодого специалиста... Скажите, молодой человек, возможно такое скрещивание? Скрещивание вообще?» — добавил он, уже глядя в упор на меня.

«Да, вполне возможно».

«Вот видишь! — теперь уже воскликнул Федор Федорович. — Вы что закончили? — тут же, повернувшись ко мне, снова спросил он. — Техникум? С отличием? Нет? Но все равно у вас правильное направление мыслей. Пойдете ко мне в помощники?»

«Но-но, кадры не сманивать, мне самому специалисты нужны».

«Для выколачивания планов из председателей? — Федор Федорович усмехнулся. — Что ты еще можешь предложить ему, Андрей, если говорить прямо, а у меня дело. Живое дело, земля!»

«У всех — дело живое, у всех — земля, так что эти свои старые разговоры оставь. У тебя же был помощник, Смирнов. Где он?»

«Ты что, забыл, год как на Озерную перевели».

«Зачем отпускал?»

«На повышение, что я могу».

«А я что могу?»

«Дай, Андрей, парня на Долгушино, ей-богу, это в наших, в государственных, если хочешь, интересах».

«А сам парень что скажет, а?» — спросил Андрей Николаевич, посмотрев на меня.

«Он согласен», — ответил Федор Федорович и тоже посмотрел на меня.

Не знаю, что подтолкнуло меня сказать «да» и произнес ли я вообще это слово или только движением головы дал понять, что согласен, но так или иначе, а судьба была решена вот так просто, неожиданно, именно в эти минуты, и, может быть, потому, что я радовался в тот вечер всему, что видел, что происходило со мной и вокруг, предложение Федора Федоровича, и мягкость, и доброжелательность, с какою Андрей Николаевич проговорил: «Ну что ж, возможно, и есть здесь здравый смысл», — лишь усилили то приятное возбуждение, в каком я находился; я смотрел на Федора Федоровича уже совершенно влюбленными глазами, особенно когда он начал рассказывать о Долгушинских

взгорьях, где мне предстояло теперь работать, и временами казалось, что, кроме меня и Федора Федоровича, никого нет за столом: ни Таисьи Степановны (но она и на самом деле к тому времени ушла готовить постели, потому что — гостей-то сколько! Всех надо было уложить), ни жены и дочерей Федора Федоровича (они тоже, впрочем, хлопотали где-то в другой комнате вместе с хозяйкой дома), ни даже минутами Андрея Николаевича (он несколько раз отходил к телефону); мы выпили за мое назначение, потом за новый, *вечный* сорт пшеницы, и Федор Федорович с удовлетворением (теперь-то все это выглядит смешным), как будто сорт был уже выведен им, выслушивал восторженные фразы и пожелания, и еще пили за что-то, что волновало Андрея Николаевича, и он также с удовлетворением выслушивал похвалы и пожелания своего друга, а когда поднялись из-за стола — и его, и Федора Федоровича женщины отводили к кроватям под руки. Для меня постель была приготовлена на полу — матрас, подушка, одеяло — рядом с кушеткой, на которой уже спал (он захрапел сразу же, не успели потушить свет) Федор Федорович; я разделся, лег, закрыл глаза, но в сознании долго еще продолжался вечер, и все то приятное, что было пережито за день, вновь подымалось во мне, я как бы возвращался к минутам, когда полуторка остановилась на пыльной площади, а я, выпрыгнувший из кузова, стоял и смотрел на здание райзо, совсем не предполагая, что все решится вот *так*, просто, что не разъездным агрономом в отдел, а буду принят на должность помощника заведующего сортоиспытательным участком, и что, может быть, уже завтра придется ехать в Долгушино и принимать дела; я повторял мысленно: «Долгушино», — прислушиваясь к звучанию этого слова, и яснее, чем в вагоне (тогда все было отвлеченно), воображал поля, деревню, взгорья, которые, впрочем, еще только предстояло мне увидеть, но о которых я уже многое, как мне казалось, знал по рассказу Федора Федоровича. Я не спал в тот вечер и не чувствовал себя пьяным; у каждого бывают свои первые бессонные ночи; но не спал не от горя, не от тяжелых раздумий, как теперь, когда за плечами десятки прожитых лет и событий; самые радужные перспективы грезились мне в будущей моей работе, я чувствовал себя счастливым и если испытывал беспокойство, то лишь потому, что неохватным представлялось добро, какое сделали для

меня еще вчера вовсе не знакомые мне Андрей Николаевич и Федор Федорович. «Поверили, спасибо. И что я, не смогу, что ли? — рассуждал я. — Еще как смогу, вот увидите, на что способен молодой специалист. Не пожалеете, нет-нет!» — почти восклицал я, в полусумраке чуть поворачивая голову и глядя вверх, на кушетку, на свисавшее с нее к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах ноги Федора Федоровича; они вклинивались в квадрат оконного лунного света, так что можно было различить и желтизну мозолей на пальцах, и черноту давно не обрезавшихся ногтей, и временами, чуть отрываясь от своих дум, я действительно различал все и тогда поспешно, может быть, даже инстинктивно, отводил взгляд, чтобы не запало в память хоть что-либо, что могло бы затем нарушить уже сложившееся впечатление о Федоре Федоровиче, но временами — ни ног, ни свисавшего одеяла, ни кушетки словно вообще не существовало, а было лишь то счастливое будущее, в котором мне предстояло жить и трудиться, и рисовалось оно полями, засеянными однажды *вечной* пшеницей, которую только молоти по осени, свози хлеб, и всё, и все сыты, довольны и счастливы. Сейчас, конечно, наивным кажется то представление о жизни, сказочным, но тогда, в девятнадцать, просто невозможно было думать иначе, потому что человек не может без мечты и грез, я имею в виду хорошей мечты, входить в жизнь; это было бы противоестественно, так же как если птенец, должный летать, родится без крыльев; я не смеюсь над теми своими юношески восторженными размышлениями, а жалею, что от них почти ничего не осталось теперь; именно они тогда подняли меня с постели и заставили выйти на лунный двор, а потом повели за околицу села, к реке, к тому самому месту, с которого днем я любовался огородами, полями, лесом; не то, чтобы мне не хватало воздуха, а не хватало простора в комнате, простора мыслям, которые, теснясь, бились о стены, даже как будто сдавливали мне голову почти до боли в висках и которые надо было вынести во двор, на волю, где и горизонт не был бы для них ни пределом, ни границей.

Да, верно, мы редко видим красоту летних ночей или красоту зарождающихся рассветов, но происходит это, думаю, не потому, что с годами, старея, предпочитаем по вечерам оставаться в креслах и что никто и ничто не будит нас по ночам, и, тем более, что высокие стены до-

мов вдоль улиц заслоняют собою ту самую черту горизонта, откуда подымается утро, — нет, не годы и не стены отгораживают нас от природы; вот я сейчас, к примеру, много езжу по командировкам, а в дороге всякое бывает: и рассвет застанет в поле, в машине, и случается шагать по селу лунной ночью после «прозаседавшегося» председательского кабинета, и ожидать пассажирский поезд на открытом перроне большой ли станции, полустанка ли, и над головою синее в мерцающих звездах небо (от света фонарей оно кажется чаще черным), но когда в машине, то дремлешь, закрыв глаза и откинувшись на спинку сиденья, а когда идешь по селу, все еще как бы продолжаешь жить только что закончившимся совещанием, перебираешь в уме перипетии событий, и нет ни времени, ни желания посмотреть вокруг, а на перронах — только желтые глаза паровозов и опять же замкнутые в самом себе думы, но уже о доме, жене, детях, которых ие видел давно и по которым соскучился; так что — нет, не в годах и стенах дело, а в настроении, с каким смотришь на мир, в окрыленности мыслей, которые словно уносят тебя вперед, в будущее, разжигают воображение и делают счастливым; тогда все видится и воспринимается по-другому, представляется прекрасным и неповторимым, даже очутись в пустыне, в песках, где все голо, однообразно и скудно, откроются удивительные, которые потом уже невозможно будет забыть, краски. Я и сейчас хорошо помню, как и что было со мною, что испытывал и о чем думал, как только очутился на крыльце и за темными теперь, в ночи, новыми воротами (луна освещала лишь тесовые плашки навеса) завиднелись очертания дальних и ближних изб; подбочась как хозяин (как стоял здесь, встречая меня, Андрей Николаевич в белой рубашке и подтяжках, и я невольно, не сознавая, конечно, этого, подражал сейчас ему), несколько секунд осматривался, будто желая убедиться, все ли на месте, и в какое-то мгновение (может же вот так работать фантазия у человека!) даже почувствовал, словно все это: и залитое лунным светом крыльцо, и сарай, и наполненный пилеными чурбаками навес, и ворота, и остекленная веранда, что за спиною, — все принадлежит мне, вернее, будет принадлежать, и не это, а другое, в другом месте, там, в Долгушине, но такое же добротное, дышащее достатком, как все здесь: и в доме, и во дворе; как будто эгоистичным, но на самом деле нет, не эгоистичным

было это мгновенное чувство; я не хотел, разумеется, достатка только для себя, но для всех, а вместе со всеми — и для себя, и потому не могу осуждать и не осуждаю то, может быть, по молодости и не совсем верное чувство; оно было необходимо мне и было, пожалуй, главным и единственным, из чего, собственно, и складывалось для меня понятие жизни и счастья. Я пересек двор и вышел на улицу; затем медленно, время от времени поглядывая по сторонам, двинулся к центру села. Все то, что днем пестрело разнообразием цвета — голубые наличники, зеленая трава, белые трубы и серые до черноты тесовые крыши, — все было сейчас будто затушевано одною, где гуще, где слабее, синею краской, и трава, бревенчатые стены изб, ограды различались лишь степенью синевы, и было странно, непривычно и удивительно видеть это. Пыльная площадь, которая открылась как бы вдруг, за поворотом, показалась просторнее, шире, чем днем, и мрачная громада кирпичной церкви без куполов и колокольни теперь словно нависала над нею, накрывая почти всю ее своею густою, темною тенью. С реки же, хотя ее еще не было видно, веяло сыростью, и я помню, как то и дело ежился и подергивал плечами, потому что шел без пиджака, в рубашке; когда очутился у обрыва, обхватил грудь руками до самых лопаток; но это не мешало мне вглядываться в бледную синь полей, что лежали на том берегу, и представлять, как заколосится на них, наливаясь зерном, тот самый *вечный* сорт пшеницы, который будет выведен не только Федором Федоровичем, но теперь и мною — так, по крайней мере, хотелось думать, — и ветер как будто уже доносил оттуда напоенный запахами созревшего хлеба воздух... Луна между тем опускалась к лесу, хотя до рассвета было еще далеко; я шел обратно тою же дорогой, улыбаясь мыслям, лаская взглядом все, что попадалось на глаза, и видел дом Андрея Николаевича и ворота, которые (сначала я просто не придал этому значения) почему-то были открыты; ничего не подозревая еще, я зашагал быстрее; потом, когда услышал голоса во дворе, уже охваченный тревогой, почти побежал, думая невесть что, и, только очутившись во дворе и увидев на крыльце — он вышел, как спал, в рубашке и кальсонах — Андрея Николаевича, остановился. Внизу, у крыльца, двое мужчин снимали с брички что-то тяжелое и вносили по ступенькам на остекленную веранду.

«Таисья-то как?» — спрашивал один из них, пожилой, с густой окладистой бородою.

«Ничего, здорова», — отвечал Андрей Николаевич.

«Ну-ть ладно, не буди, обороть заеду».

«К Захарьеву сейчас?»

«А то-ть куды?..»

«О-о, агроном! — воскликнул Андрей Николаевич, заметив меня. — Ты чего не спишъ? Лишнего, что ли, хватил вчера?»

Я кивнул головой.

«Ну ничего, подышать воздухом всегда полезно».

Старик с окладистой бородой и тот, что помоложе (он так и не проронил ни слова), отнесли мешок на веранду и снова появились на крыльце. Не протягивая руки, а лишь бросив Андрею Николаевичу: «Ну, прощай пока», — старик сел в бричку и взял вожжи; тот же, что помоложе, косясь на меня, пошел к воротам, чтобы, когда подвода выедет со двора, запереть их.

«Тесть приезжал, — сказал Андрей Николаевич. — Муки привез. Ну а ты что, еще дышать будешь?»

«Нет».

«Давай тогда, подымайся».

В комнату я вошел так же неслышно, как и выходил из нее. С тем же надрывом и переливами булькающих звуков храпел Федор Федорович. Я разделся, лег, с минуту смотрел на свисавшее, как и прежде, с кушетки к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах (на них уже не падал оконный лунный свет) ноги Федора Федоровича, затем отвернулся к стене, но долго лежал с открытыми в темноте глазами, то и дело слыша как будто скрип выезжавшей со двора подводы.

ЧАС ВТОРОЙ

На другой день рано утром Федор Федорович со всем своим семейством уехал на вокзал. Он отправлял жену и дочерей в город, к родственникам, и не только для того, чтобы повидались и погостили, но главным образом, чтобы купили кое-что из одежды и обуви, чего не было ни в Чигиревском сельпо, ни здесь, в районном центре. Кроме того, старшая дочь Виктория собиралась поступить в педагогический институт, и это создавало дополнительные хлопоты и заботы. С вокзала Федор Федорович обещал вернуться примерно около полудня, зайти в райзо и, прихватив, как он выразился, меня,

двигаться уже в Чнгирево. Еще с вечера я знал обо всем этом н все же, как только, проснувшись и протерев глаза, увидел, что кушетка пуста и даже постель убрана с нее, что-то как будто тревожное прокатилось в сознанин. Мне не хотелось терять так иеожиданио привалившее счастье, н хотя я верил Федору Федоровичу, ио в то же время чувствовал, как в глубиие души постояиио словно гнездилась боязнь (так было и вчера, когда сидел за столом, н потом, когда бродил по ночной пыльиой площади), а вдруг передумает, мало ли что можио иаговорить подвыпив, вдруг откажется брать, и тогда вся уже построениая в мыслях жизнь пойдет по другому, тоже, разумеется, ие плохому, ио все же худшему руслу. Я мгиовеино вспоминл весь прошедший деиь, вечер, иочную прогулку, мужиков и подводу во дворе. «Отчего иочью? Тесть? Не зашел, ие остался?» — и беспокойство еще сильнее охватнло меня, будто все, что происходило со мной, было чем-то иезакоиным, что ли. «Да что может быть иезаконного?» — думал я, вставая и сворачивая постель. Я еще иесколько раз задавал себе этот вопрос в то утро, а проходя по застекленной веранде к умывальнику и возвращаясь затем в комнату, невольно приостаиавливался и смотрел на мешок с мукой, прислоненный к стене, но то ли оттого, что иачииавшийся день был ясным, солнечным и все комнаты и веранда казались иаполнениыми теплом, светом и радостью, или, может быть, потому, что Таисья Степановна, усадившая меня завтракать, опять, как н вчера, представлялась молодой и красивой, и я не без волнения поглядывал на нее, когда она выходила иа кухню, чтобы прннести еще что-инбудь, чем хотела угостить, и даже красиел и смущался, когда наклонялась надо мною и столом, подавая чай, илн просто оттого, что сильнее всех этих возникавших теперь иеясных дум было вчерашнее ощущение близкого счастья, — не могу сказать точно, ио, так или иначе, постепенио ко мне снова вериулось хорошее настроеине, я опять смотрел на все восторженными глазами, и все в мире казалось прекрасным н доступным, людн — добрыми, как добры Аидрей Нниколаевич, Федор Федорович и Таисья Степановна, будущее — безоблачиым, как н этот набиравший силу летннй день. Именно потому — когда, попрощавшнсь и взяв чемодан, выходил из дома, я уже не оглянулся на мешок с мукой, словио его не существовало вовсе. Игриво сбивая носками туфель траву, я шагал по-

середине улицы рядом с тележной колеей, той самой, что вчера привела меня к воротам дома Андрея Николаевича и теперь вела обратно к зданию райзо, и вдруг открывшаяся за поворотом знакомая пыльная площадь, как будто дремавшая сейчас под лучами восходившего к зениту августовского солнца, кирпичная церковь чуть поодаль, на возвышении, с черной крапивою у стен, здания райкома, райсовета и другие толпившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, — все было словно каким-то особенным, новым и в то же время было естественным продолжением, или, сказать иначе, составной частью того мира, каким жил я весь прошлый день, вечер и ночь. Я щурился, вглядываясь в далекое над крышами небо, и улыбался своим мыслям. К Андрею Николаевичу заходить не хотелось; я направился на то место за церковью, где сидел вчера («Что толкаться в коридоре, — вместе с тем, как бы оправдываясь, говорил я себе. — Андрей Николаевич все равно занят, а Федора Федоровича и отсюда увижу!»), и, бросив чемодан на траву и опустившись на холодный каменный приступок, принялся следить за тем, кто подъезжал и кто отъезжал от райзо. Я смотрел на понуро стоявших у привязи коней, видел, как неторопливы были слезавшие с седел люди — агрономы ли, председатели или еще какой начальственный колхозный народ, решавший в этот день в земельном отделе свои дела, но не медлительностью, не тем как будто ленивым течением жизни, как воспринимается обычно деревня, когда впервые попадаешь в нее, и не размышлениями о доме и будущей работе запомнились мне часы, проведенные у церкви; мало ли было случаев и прежде и потом, когда приходилось вот так же томиться, ожидая кого-то или что-то, и думать, расслаивая или наслаивая события; просто сначала мне захотелось лечь на траву, и я прилег, то и дело, однако, приподымаясь и посматривая на земотделовское крыльцо, как только доносился оттуда шум голосов или шорох колес проезжавшей машины, потом принялся разглядывать нависавший над головою красный, из выщербленных кирпичей карниз церкви и небо над ним и, в конце концов, не заметил, как задремал и заснул; проснулся же словно от толчка, будто кто-то вдруг выдернул из-под меня землю; мгновенно, еще не видя ни Андрея Николаевича, ни Федора Федоровича, стоявших тут же и смотревших на меня, схватился руками за траву и только после того, как ощутил

под ладонями опору, облегченно вздохнул и огляделся по сторонам... Я часто теперь думаю, что в том пробуждении было что-то символическое, и вполне согласен с вами, что человек может предчувствовать, но только не научился еще разгадывать свои предчувствия: ведь, если хотите, позднее они действительно-таки вырвали из-под меня землю: и Федор Федорович отчасти, и главным образом Андрей Николаевич (коль забегать вперед, скажу, что не только они, а прежде всего бородатый тесть, что привозил ночью муку, со своим сыном — бригадиром Кузьмой), но лучше все же по порядку, как было; они стояли и улыбались, особенно Андрей Николаевич, а я, теряясь и краснея, поправлял смятую рубашку и пиджак и отряхивался перед ними.

«Тося звонит: «Вышел!» А его нет, — говорил Андрей Николаевич. — Час, второй, его все нет. Евсеича за ним, найти не может. А он, оказывается...»

«Ничего, с кем не бывает», — вставил Федор Федорович.

«Ну-ну, а в общем, собирайтесь, машина ждет. Берите чемодан, пошли».

У крыльца земотдела стояла груженная еще на станции, в тупиках, ящиками с запасными частями для тракторов эмтээсовская полуторка, шофер был недоволен, что приходилось ждать, и еще до того, как мы подошли, только завидев нас, достал из-под сиденья ручку и принялся молча и сосредоточенно заводить мотор. Федор Федорович сел в кабину; мне же нужно было лезть в кузов, и я, перебросив через борт чемодан, долго затем выбирал место среди ящиков, чтобы устроиться поудобнее. То, о чем говорили между собою, прощаясь, Андрей Николаевич и Федор Федорович, я не слышал; я чувствовал себя неловко оттого, что заснул и заставил начальника райзо и заведующего сортоиспытательным участком искать себя, считал, что они теперь, разумеется, разочарованы и не могут с прежней доверчивостью и добротою относиться ко мне, и обрадовался, когда Андрей Николаевич, пройдя вдоль борта, вдруг, привстав на колесо и приподнявшись, протянул мне руку. В глазах его не было насмешки; как и вчера, он смотрел спокойным и приветливым взглядом, и той как будто слегка ироничеcкой улыбки, что заметно светилась на лице там, у церкви, сейчас тоже не было; и в голосе, каким он произнес: «Ну, Пономарев, желаю удачи. Он (при этом посмотрел в сторону кабины) знает дело, но все

же, если что, приезжай ко мне, чем можно будет, всегда помогу, во всяком случае, советом. Ну, счастливо!» — в голосе тоже, казалось, не прозвучало ни одной ложной нотки; он так искренне стиснул в своей широкой ладони мои пальцы, что и теперь, видите, помню это пожатие. Для меня оно тогда было добрым и нужным знаком, потому что много ли надо человеку (я имею в виду — в том юном возрасте), чтобы успокоиться и снова поверить в счастье? Я не знал, что ответить Андрею Николаевичу, и только смущенно кивал, благодаря его и за вчерашнее гостеприимство, и за эти сердечные слова, а потом помахал рукой, когда машина уже удалялась по площади. «Нет, нет, — думал я, — кто бы что ни говорил, а мне повезло: и с Андреем Николаевичем, и с Федором Федоровичем. *Вечный* сорт пшеницы... нет-нет, мне повезло, и крупно, и... никто еще не знает, как мне повезло!» — продолжал я, когда Красная До́линка была уже далеко позади и вдоль дороги, как бы теснясь к ней, стыли в лучах чуть перевалившего зенит солнца желтые с прозеленью, только набиравшие зрелость хлеба. До самого Чигирева тянулись эти поля пшеницы, поля — до горизонта, местами лишь иссеченные черными полосами чистых паров или такими же черными издали рощами, и, знаете, для меня и сейчас нет более привлекательной и волнующей картины, более естественной и в то же время созданной человеком, чем эта — хлеба! хлеба! — я не могу равнодушно смотреть на гигантский человеческий труд и снимаю фуражку, и склоняю голову, как пшеница колос к земле, когда останавливаюсь у кромки поля; и мне кажется, что именно тогда, в тот день, сидя на ящиках в кузове эмтээсовской полуторки, я впервые, представляя себя стоящим возле шелестевших хлебных полей, мысленно снял фуражку и склонил голову перед ними. Мне понравилось и небольшое, как бы стекавшееся избами к пруду Чигирево, и все пять дней, пока жил у Федора Федоровича и пока он знакомил меня с участком и делами (в основном учил, как вести записи в разлинованных карандашом на графы тетрадях, которые были заведены на каждый испытывающийся для районирования сорт), все та же, будто какая-то неуемная радость жизни охватывала меня. Но, разумеется, радость эта жила лишь в душе, я ничем не выказывал ее; она была для меня тем самым миром, какой, как вы говорили, Евгений Иванович, носит в себе каждый человек, и я берег этот мир, боясь, что если открою хоть

кому, пусть Федору Федоровичу, то все исчезнет, рухнет, а жить без ожидания и надежды на счастье все равно что стоять нагим перед взирающей на тебя толпой; да, именно это чувство, и я говорю с уверенностью, потому что испытал его, познал горечь — нет, не отвергнутой любви к женщине или неразделенной, что ли, а любви к земле, работе, людям. Конечно, я не мог тогда предвидеть, что произойдет со мной, поэтому радовался про себя, тихо, так что Федор Федорович заметил:

«А вы, однако, неразговорчивы, молодой человек».

«Разве?»

«Молчаливы, сударь. Молчаливы, государъ!»

Контора испытательного участка, складские помещения, где хранилось сортовое зерно, небольшая конюшня с тремя колхозными лошадьми, закрепленными за Федором Федоровичем, семенной амбар, где женщины-колхозницы с ранней осени и до самой глубокой весны беспрерывно крутили триер, навес, где зимою хранилось сено, а летом — перевернутые вверх полозьями сани, жилая изба, где обитало семейство Сапожниковых (ни одной ночи я не ночевал в этой избе, а уходил под навес, где оставалось еще немного прошлогоднего сена и куда приходил по вечерам сторож Никита с незаряженной старой двустволкой и старой овчинной шубой, в которую заворачивался под утро), — все это размещалось в одном дворе и чем-то напоминало наше техникумовское учебное хозяйство, где мы обычно проходили производственную практику и где все казалось ненастоящим, уменьшенным, домашним, своим; может быть, это плохо, но, может, как раз и было хорошо, что я попал в словно знакомую мне обстановку и не надо было особенно приглядываться и подстраиваться; Федор Федорович (как и наш управляющий учхозом) собирал по утрам женщин посреди двора и, прохаживаясь между ними, распределял, кому куда идти и что делать, называя при этом всех не по именам, а только по отчеству: Кузьминишна, Борисовна, Андреевна, и, когда женщины расходились, приказывал Никитиному внуку Мише запрягать уже почти беззубого серого мерина, мы садились в телегу и медленно, словно на волнах, через все Чигирево ехали к участку. Тетради для научных записей и складные, собственной конструкции, как в первый же день не без гордости объявил Федор Федорович, стол и стул лежали тут же, в телеге. Теперь мне кажется:

двигалось солнце, двигались мы; и разговор между нами был такой же медлительный, степенный. «А ты знаешь, Алексей, — начинал каждый день почти с одной и той же фразы Федор Федорович и, как только я произносил: «Что?» — сейчас же продолжал: — В чем заключается главный смысл нашей агрономической науки? Нет? Главный смысл ее в том, чтобы запечатлеть на бумаге вековой опыт мужика. Возьмем хотя бы, к примеру, севообороты. Разве мужик не давал отдыхать земле? Давал. И я уверен, если копнуть, если взяться за изучение как следует, засучив рукава, да по всей России, то наверняка можно обнаружить примеры не только этой неоправдавшей себя, как теперь считают, трехполки. На моем веку, — это тоже, я заметил, было его любимым выражением, — сколько я живу и вижу, не было еще такого научного открытия в сельском хозяйстве, разумеется, которое не имело бы своего корня в мужицкой практике земледелия или, по крайней мере, не жило в крестьянских умах как желанная, но несбыточная мечта». Он разговаривал, в сущности, один, не умолкал до той минуты, пока Миша громким «тпр-р-ру» не останавливал мерина перед делянками пшеницы, но и потом, когда уже сидели за столиком и вписывали в тетради результаты наблюдений, Федор Федорович вдруг отодвигал карандаш и снова начинал говорить, и, как бы ни казались мне теперь скучными его рассуждения, в те дни я слушал их с интересом; даже в этом замедленном темпе жизнь представлялась мне тогда быстрой, я не заметил, как промелькнула отведенная для знакомства пятидневка, и вот — веснушчатый внук сторожа Никиты уже запрягал беззубого мерина не для поездки на поле, а в дальнюю дорогу, в Долгушино, к месту моей работы, и утро это и день мне также запомнились, как и часы, проведенные в Красной Дóлинке, в доме Андрея Николаевича. Мне было и радостно, и в то же время грустно уезжать из Чигирева. Радостно в том смысле, что я получал наконец самостоятельную работу, в которой, я думал, и ритм будет другой, и размах, и безграничные возможности, только используй, а на это, я чувствовал, имелись у меня и силы, и желание, а грустно потому, что жаль было расставаться с Федором Федоровичем, который казался теперь еще более добрым, умным и порядочным человеком.

Мы ехали долго. Может быть, оттого и пошло название той небольшой деревеньки — Долгушино, что путь

до нее кому-то вот так же когда-то показался долгим? Даже разговорчивый Федор Федорович временами смолкал, и тогда было слышно, как ступает копытами по не очень наезженной, с высокой травою по бокам колее старый мерин и скрипит всеми своими деревянными и железными суставами не менее древняя, чем мерин, телега. Теперь, конечно, трудно увидеть на селе такую картину; и дороги не те, да и по проселкам тоже все больше снуют машины, и нет, наверное, бригадира, который бы не имел мотоцикла, а тогда — вот так будто тихо, не спеша, на лошадке, двигалась жизнь, но, я еще раз хочу подчеркнуть, не было ощущения медлительности и покоя, и происходило это, вероятно, потому, что темп жизни никогда не определяется внешним движением, а заключен в людях, в тех чувствах и мыслях, какие обуревают нас, в целеустремленности и желании творить доброе, вечное; я почти с благоговением смотрел на Федора Федоровича, потому что именно он представлялся мне тем самым творившим доброе, вечное человеком (растить хлеб, разве это не доброе и вечное?), каким я хотел видеть себя и что считал наивысшею мерою и смыслом жизни. Да и в самом деле, как я мог не волноваться и не устремляться мыслью на годы вперед, когда как бы сама собою раскрывалась передо мной перспектива будущих дел — здесь, на этой земле, на этих взгорьях, уже теперь сплошь покрытых желтеющей на солнце пшеницей. «Хм, *вечный* сорт, — про себя говорил я, — но ведь и это не предел. Можно придумать еще что-то, что приподымется и над этим вечным сортом!» — и от одной только думы, что все возможно и нет ничему предела, радостью охватывалось сознание, и я чувствовал, как словно все во мне наливалось силой. Я спрыгивал с телеги, шел по обочине; затем снова садился рядом с Федором Федоровичем. «Да скоро ли деревня?» — спрашивал я себя в нетерпении и вглядывался в даль, не появятся ли за увалами и остистою кромкою хлебов привычные уже глазу контуры соломенных крыш (как в Чигиреве, отчасти и в Красной До́линке), но впереди ничего не было видно. Открылась же взгляду деревня неожиданно. Она лежала в низине, подковкою, притулившись к заросшей тальником речке, и еще более, чем Красная До́линка и Чигирево, показалась мне живописной и уютной. Я думаю, умели же наши предки выбирать места для житья! Дорога, словно пригибаясь под тяжестью подступавшего к ней пшенич-

ного поля, спускалась наискосок по склону к одинаковым теперь издали избам, и мне хотелось сказать нашему кучеру Мише: «Стой!» — выйти на обочину и хотя бы с минуту полюбоваться всей открывшейся панорамой засеянных хлебами взгорий, но я сдерживал в себе это желание, подавлял, как и все эти дни подавлял представлявшуюся неуместной и мальчишеской радость, боясь, что у Федора Федоровича вдруг возникнет мнение, будто я несерьезный, невыдержанный человек; я даже, по-моему, переигрывал в этом своем старании скрыть возникавшие чувства, глядел на все, сощурившись, и только, может быть, потому, что для Федора Федоровича уже привычным было мое молчание (но, думаю, скорее всего, ему было просто не до меня, он сидел в эти минуты, склонившись, свесив с телеги ноги, и, наверное, свои, радостные ли, нерадостные мысли одолевали его), он не заметил моего «мрачного» вида; когда телега, протарахтев по бревенчатым ребрам деревянного моста, начала втягиваться в широкую долгушинскую улицу, как ни в чем не бывало (словно и не ехали мы последние полчаса молча) посмотрел на меня и сказал:

«Ну вот и прибыли, Алексей».

Да я и сам видел и понимал, что прибыли, и оттого, что деревня понравилась мне еще издали, но она не могла не понравиться, потому что в том возбужденном состоянии, в каком я находился, куда бы ни приехал (дело тут не в Долгушине), одинаково радовался бы красоте того места, где предстояло жить и работать; и еще более от сознания, что все эти низкие с завалинками избы, жердевые ограды с росшею вдоль крапивой, палисадники с кустами давно отцветшей сирени станут мне такими же близкими, как и та городская улица, двор и дом, где я родился, рос и где теперь еще ничего не ведавшие о моем счастье жили своей обычной, будничной жизнью братишка, сестренка и мать («Может быть, сегодня они уже получили письмо», — мечтательно думал я, представляя, как огрубевшие материны руки, чуть подрагивая, разрывают конверт), словом, от всех этих навалившихся впечатлений я снова и снова волновался и, чтобы не выказывать этого волнения Федору Федоровичу, продолжал хмуриться и то и дело, словно загораживаясь от яркого солнца, прикрывал ладонью глаза. Я многое уже знал о Долгушине, так как Федор Федорович каждый день исподволь подготавливал меня к жизни и работе в этой деревеньке, рассказы-

вал и о здешних землях, и о людях, и даже о том, что за десять с лишним лет, как он сам знает Долгушино, кого бы ни назначали бригадиром, мужчину или женщину, неизменно верховодил всем в деревне старый и молчаливый мужичок себе на уме, Степан Филимонович Моштаков. «Сейчас-то бригадиром его сын, Кузьма, так что полегче, спору нет, все заодно, а бывало, э-э, как бывало: пустит волну по избам, и — стучись, не стучись, ничем никого в поле не выгонишь, а с него какой спрос? Ухватить не за что, а фундамент бетонный: инвалид гражданской войны, до самого Байкала Колчака гнал. Но... это ведь я так, к слову. А в общем, он здравый старик, знаете, как это раньше говорили, на правде стоит, и тут хоть что, не уступит. С кем-кем, а с ним не ссорятся. И председатель с ним считается, да и Андрею Николаевичу он же — тесть!» Может быть, если бы не это заключительное «тесть», что сразу напомнило мне ночной двор, телегу и бородатого старика, вносившего мешок с мукой на застекленную веранду, я бы не обратил особого внимания на слова Федора Федоровича и не насторожился; но я не стал говорить ему, что уже видел этого «мужичка себе на уме», бородатого тестя заведующего районо, потому что — да, собственно, почему я должен был подозревать в чем-то Андрея Николаевича или того же, пока еще вовсе не знакомого мне Степана Филимоновича Моштакова? «Бред, чепуха, глупость», — говорил я себе и теперь, когда ехал по широкой долгушинской улице, может быть, и не вспомнил бы ни о чем, если бы Федор Федорович вдруг, чуть подтолкнув локтем, не показал бы на избу Степана Филимоновича и не проговорил бы при этом: «Видишь, как прочно, вся корнями в земле». Низкая, как, впрочем, и другие соседние избы, она действительно казалась вросшей в землю; впечатление это усиливалось еще тем, что прямо от избы, занимая собою почти половину двора, тянулся тоже старый, под соломой, с потрескавшимися бревенчатыми стенами сарай (это была, как я потом выяснил, конюшня, где отстаивались пригоняемые на лечение к Степану Филимоновичу кони, в основном председательские, из разных, даже отдаленных деревень, и в основном со сбитыми от седел спинами); в остальном же — жердевые ворота, изгородь, ставни, колья с поржавевшей проволокой, отбивавшей палисадник от дороги, — все было как у всех, ничем не выделялось, не выпирало ни заметным достатком, ни скудостью. «Врос корнями,

ну и что ж, это и хорошо, что врос», — про себя проговорил я. Веснушчатый внук сторожа Никиты между тем подворачивал уже телегу к дому Пелагеи Карповны, овдовевшей в войну солдатки, о которой, так как она, по выражению Федора Федоровича, была здесь, на Долгушинском испытательном участке, всему голова, я тоже уже много знал: и что она исполнительна, может вести на худой конец даже записи в тетрадях, и что живет с дочерью, тринадцатилетней Наташей, и что по договору сдает комнату сортоучастку под контору и лабораторию, конуру, как, уточняя, заметил Федор Федорович, и что в конурке этой, собственно, обитали все мои предшественники (последний, Смирнов, вместе с женой и ребенком), и что теперь придется в ней жить мне.

«Пока не оженят», — добавил он в шутку.

«Да что вы, Федор Федорович».

«А что? Не зарекайтесь, ваше дело молодое, а я бы и рад, опять же, корни».

«Об одних с осуждением: корни в земле, — подумал я, посмотрев на Федора Федоровича, приготовившегося уже слезать с телеги, — а другим: врастай корнями!» Даже тогда, видите, я заметил эту противоречивость, хотя и не вполне понимал, какой смысл был заложен в его словах; теперь-то знаю — Федор Федорович правильно чувствовал жизнь и людей, но тем неожиданней и необъяснимей представляется, как он повел себя, когда пришлось лицом к лицу столкнуться сначала мне, затем во многом и ему со Степаном Моштаковым; он как бы вдруг сделался неузнаваемым, словно ничего не слышал и не видел, жил за глухой стеной, но об этом позже; через двор и сенцы мы вошли в избу; Пелагеи Карповны в комнатах не было.

«Может быть, на огороде», — высказал предположение я.

«Это вы... что двери открыты?»

«Да».

«Здесь вообще дверей не запирают. Брать нечего, — с усмешкою добавил он. — А если серьезно, то кто же в это летнее время в деревнях дома сидит? Дочь, может, и на огороде, но хозяйка, конечно же, в поле. А заехали мы сюда по пути, все равно мимо едем, да и комнату вашу заодно посмотрим».

Федор Федорович открыл боковую дверь, и мы, переступив через высокий порог, очутились в маленькой с

одним квадратным оконцем комнате. Думаю, что сейчас комната показалась бы мне убогой, неуютной и я бы, наверное, возмутился: «Куда вы меня привели!» — но тогда, сами понимаете, мне нравилось решительно все, я не думал об удобствах; я подошел к сколоченной из досок кровати и потрогал ладонью жесткий, набитый соломой матрас («Наше имущество, — заметил Федор Федорович, — можете пользоваться»), оглядел столик и табуретку, что стояли у окна, и полки вдоль стены, на которых валялись покрытые пылью старые тетради и снопики колосков разных сортов прошлогодней пшеницы, и, так как вид у меня был мрачный (я по-прежнему, чтобы не выказывать *мальчишеской* радости, хмурился), Федор Федорович, желая подбодрить меня, проговорил:

«Ничего, на окно Карповна занавесочку повесит, все здесь приберет, она женщина аккуратная, все будет хорошо».

«Конечно», — подтвердил я.

«Хоть такая, а комната, тепло, и крыша над головой. А поди-ка сейчас там, где прокатилась война, на Смоленщине, Брянщине...»

«Да, конечно, Федор Федорович».

Когда мы вышли из избы, во дворе, почти перед самым крыльцом, стояла худенькая девочка, которую Федор Федорович тут же назвал Наташей. Она окучивала в огороде картошку и, увидев, что к воротам подъехала подвода и что кто-то поднялся в избу, пришла посмотреть кто и теперь, узнав Федора Федоровича, улыбалась ему из-под завязанного матрешкой платка. На плече она держала тяпку с длинным и неровным черенком.

«Где мама, Наташа?» — спросил Федор Федорович.

«В поле. Васильки по пшенице полезли, так она...»

«На каком поле? За балкой? Или тут, за током?»

«Говорила, за током».

«Ага, ну понятно, поехали, Алексей».

Сказав это, Федор Федорович зашагал к телеге; я же еще, может быть, несколько мгновений, не двигаясь, смотрел на Наташу. Я не знал, разумеется, тогда, что передо мной стояла будущая моя невеста и жена, а смотрел только потому, что улыбающееся личико ее, густо усыпанное веснушками, показалось каким-то будто особенным, не похожим на все другие, что я видел прежде; мне так и сейчас кажется, что было в Наташе, в

той ее улыбке, в слегка удивлением выражении детских глаз, во всем облнке, как она стояла, босая, в стареньком, перешнтом с материнского плеча ситцевом платье, что-то особенное, хотя, что нменно, сказать не могу. Но, может, ннчего особенного н не было, а все я придумал позднее, спустя много лет, когда однажды вдруг встретил ее, уже студентку педагогнческого института, у себя в городе и, пораженный встречей н тем, как выглядела Наташа (веснушек на лице ее уже не было), целый вечер затем думал о ней и вспомннал Долгушино, и вот тогда-то впервые пришло мне в голову: «Так ведь еще там... конечно же, было в ней что-то особенное!» Но что? Может быть, мнр доверчивости и простоты, какой живет в детях и какой был в Наташе особенно заметен, щедро светился в глазах, улыбке, даже веснушках н в том, как подвязан платок? Мнр этот, светясь, делал и ее и все вокруг одухотворенным н прекрасным, во всяком случае, так мне казалось, н это, наверное, естественно, потому что — ведь вам тоже все представлялось одухотворенным и прекрасным там, в только что освобожденных Калинковичах, когда вы сидели рядом с Ксеней и чувствовали ее доброту; может, в этом и есть разгадка, что я тоже, как н вы, прикоснулся к счастлнвому и доверчнвому Наташиному миру, н потому-то на мгновенне задержался возле нее? На лбу ее, на щеках, у губ проступали маленькие капелькн пота. Я ничего не сказал ей, прошел мимо и лишь у ворот задержался и оглянулся: Наташа все еще стояла посредн двора, держа на плече тяпку, и смотрела на нас; веснушчатое лнцо ее, затененное козырьком платка, казалось коричневым.

«Славная девочка», — проговорнл Федор Федорович, словно улавлнвая мон мыслн.

Я лншь согласно кнвнул головой, потому что мне действительно все казалось прекрасным: и Федор Федорович, и широкая долгушинская улица, и серый мерин, тащивший телегу, и оставшаяся за жердевымн воротами, во дворе, худенькая Наташа, и я снова благодарнл судьбу, радуясь в душе такому неожиданно счастливому началу. «Ночь, две, десять, месяц не буду спать, но покажу, на что я способен», — думал я. От волнения ли, или оттого, что мне н в самом деле надоело сидеть в телеге, я спрыгнул и пошел по обочине, пнотставая и оглядываясь; когда поднялнсь на взгорье, на внду у работавшнх на току людей (ток еще только готовилн к

приему зерна) я стоял и смотрел на опять казавшиеся издали одинаковыми избы Долгушина, охватывая взглядом сразу всю подковкой жавшуюся к излучине реки деревеньку, и, повернувшись, смотрел на едва различимые сверху делянки сортовой пшеницы, к которым уже подъезжала телега с Федором Федоровичем, и я не помню в своей жизни другой такой минуты, чтобы еще когда так сильно испытывал чувство хозяина и чтобы казалось, что весь мир, отзывчивый и добрый, лежал вот так у моих ног.

Я люблю Долгушино; день за днем эта небольшая, всего в тридцать дворов деревенька открывала для меня то, часто незаметное со стороны, глубинное течение крестьянской жизни, где труд, веселье, заботы и радости не замыкаются отдельно в каждой избе и не отгорожены межами от соседних сел и деревень, а лежат в русле общей жизни народа, как его неотъемлемая часть; несмотря на отдаленность, оторванность и казавшуюся глушь, несмотря на *обозримую* как будто узость цели — определить для районирования (и того меньше: лишь для этих взгорий) сорт пшеницы, — я не только не чувствовал эту, если так можно сказать, узость, но, напротив, и в себе, и в окружающих, в долгушинских колхозниках видел лишь широту и щедрость, и жил сам их думами — «Для общего блага!» — и вставал до зари, и ложился за полночь, и ни секунды не колебался, что делаю то, что должен делать на земле каждый человек. Вместе с чашкою парного молока, еще отдающего живым теплом и пахнущего травами низинных приречных лугов, той самой чашкою, что ставила передо мной Пелагея Карповна, вместе с ломтем серого, печенного на поду хлеба, который тоже, казалось, дышал запахами полей, ветра, солнца, входила, вливалась в мою комнату, превращаясь в радостное чувство, жизнь, и все представлялось удивительным, необыкновенным и в то же время простым, как счастье; я не могу забыть тех дней и, наверное, умру с ощущением того, что они уже неповторимы и безвозвратны, как безвозвратно ушедшее время. Мне нравилось смотреть, как втягивалось по вечерам в деревенскую улицу стадо, неся над собою легкое облачко пыли, вместе с тем, как, растекаясь по дворам, таяло стадо, оседало и таяло пыльное облачко, а в быстро опускавшихся су-

мерках зажигались огоньками летние печки, и белый кизячный дым, как предвечерний туман, стелясь над капустными грядками и картофельной ботвой, спускался по огородам к реке, к темному силуэту старой, с замшелыми дощатыми стенами мельнице; по мосту в село, плюясь синими кольцами и оглушая окрестность гулом и лязгом, вползал трактор с прицепной тележкою, а следом, уставшие за день, понуро тянули арбу волы, и словно в противоположность этому замедленному темпу (как нащупанный на руке пульс), неожиданно, как он всегда любил, на рысях въезжал в деревню на резвом рыжем жеребчике бригадир Кузьма; за околицей, в поле, он ездил обычно тихо, не запаривая коня, но едва только равнялся с первыми избами, вскидывал в воздух плеть и, чуть привстав на стременах, пускал коня рысью, иногда в намет, и не для того, что так было нужно, а чтобы, как я теперь думаю, выказать лихость и подчеркнуть свою, пусть маленькую, всего лишь бригадирскую, но власть над людьми. Как раз напротив своей избы он на ходу соскакивал с мягкого, лоснившегося кожаными подушками казачьего седла и, стоя посреди улицы и расставив ноги, смотрел, как рыжий жеребец, позвякивая пустыми стременами, все той же рысью или наметом мчался дальше, на противоположный конец Долгушина, к бригадирской конюшне, где конюх, одноногий Ефим Понурин, уже открывал для него лишь недавно залатанные лозою плетеные ворота двора. Я наблюдал это каждый день, чувствуя и медлительность, и пульс, и вместе с подростками и засидевшимися в девках невестами, как будто уже и меня привычно тянуло на звук гармони, по лунной стежке шагал к запруде и старой мельнице, где луг и дощатая стена были и кинотеатром, и клубом, а проще — тем местом, где до полуночи пелись частушки и лузгались семечки; когда приезжала кинопередвижка, то белый экран натягивали прямо на дощатую стену, и тогда к мельнице сходилась почти вся деревня; электрических фонарей не было; не было и телеграфных столбов; это ведь теперь не найдешь села, где бы не горели яркие лампочки, а тогда, после войны, в тысячах деревень, в том числе и в Долгушине, только мечтали об этом, и единственным ночным фонарем на лужайке была луна, круглая, большая, как она мне запомнилась, она обычно как бы катилась по гребню старой, полусгнившей мельничной крыши. Но для веселья, как, впрочем, и

для жизни, важно не освещение, а душевный настрой, тот самый *мир* — я опять вернусь к вашему термину, — какой переполняет тебя в данную минуту и как бы изменяет вокруг формы и краски; то грубое и невзрачное, что при ярком свете бросалось бы в глаза, стушевывалось, терялось, сливалось в одну ласкающую взгляд и отнюдь не холодную, но приятную, теплую лунную синь, и в этой сини лица девушек и ребят казались какими-то будто другими, чем днем, красивыми, даже голоса как будто звучали неузнаваемо, и я каждый раз возвращался в дом Пелагеи Карповны возбужденным и довольным тем, как складывается жизнь. «Ну и что ж, — рассуждал я мысленно, — что мать вместе с братом и сестренкой отказались приехать? Может быть, они и правы, жить им все равно сейчас негде, а деньги я высылаю и буду высылать, пока... пока не женюсь», — с ухмылкою добавлял я, вспоминая при этом слова Федора Федоровича. В какие-то дни (в ту же первую осень и зиму) я серьезно подумывал о женитьбе и даже приглядывался то к тихой, всегда державшейся скромно дочери Ефима Понурина Людмиле, провожал ее, а зимой, когда конюх заколол бычка и я был приглашен на пельмени, сидя рядом с Людмилой и посматривая (как и вы на Ксеню) на ее серые, но почему-то не серебрившиеся волосы (хотя над столом также висела керосиновая лампа), готов был сделать предложение, но не сделал ни в тот вечер, ни потом, и не от нерешительности, а оттого, полагаю теперь, что хотя она и была хороша собой, но выглядела уж слишком застенчивой среди других долгушинских девчат. То как бы манила своим веселым нравом бригадная учетчица Нюра, светловолосая, с круглым как у Таисьи Степановны, лицом (она была родственницей Моштаковым, потому и похожа на Таисью), не раз я провожал и ее, но и это увлечение закончилось, в сущности, ничем, и опять же не от нерешительности, а просто однажды я застал ее на току, за ворохом мякины, обнимающуюся с каким-то приезжим городским шофером, который по наряду возил колхозное зерно на элеватор. Подумывал и о дочерях Федора Федоровича (породниться с таким человеком было желательно и лестно; да и сам Федор Федорович, как теперь, вспоминая подробности, разумею, не только был не прочь отдать за меня любую из своих трех дочерей, но хотел этого, особенно в первую осень и зиму, потому-то и приглашал

часто к себе, а когда приезжал в Долгушино, непременно привозил с собой либо Викторию, либо среднюю, Клашу, либо самую меньшую, которой, впрочем, шел уже восемнадцатый год, Фросю), но в то время, как издали можно было еще смотреть на них, вблизи, рядом, короткошеие и ушастые, как отец, они казались некрасивыми, и я невольно отворачивался или опускал глаза. Были и еще девушки, что так или иначе привлекали внимание, и только Наташа, худенькая и остроглазая дочь Пелагеи Карповны, даже отдаленно не вызывала никаких подобных мыслей, я смотрел на нее как на маленькую девочку, и нравилась она мне только за живость того по-детски наивного ума, какой всегда бывает привлекателен для взрослых своей простотою и ясностью; мне было приятно, когда она входила в мою небольшую комнату, садилась за стол у окна и помогала пересчитывать колоски и зерна и вязать снопики. Я говорил ей, показывая колосок и глядя на улыбающееся юное личико, на узкую полоску белых зубов под розовой губою:

«Это — Эритроспермум, 2».

«Я знаю».

«А это — Мелянопус, 28».

«Я знаю, дядя Петя говорил».

Дядя Петя был тот самый мой предшественник, которого перевели работать заведующим на Озерный сортоиспытательный участок.

«А вот — Остистая, 103».

«Знаю, из твердых сортов, макароны делают».

«Да ты все знаешь! Прямо-таки агроном! Хочешь быть агрономом?»

«Нет».

«Почему?»

«Не знаю».

«А кем ты хочешь быть?»

«Не знаю, — снова отвечала она. — У вас два зернышка упали!» — восклицала она и тут же лезла под стол искать эти упавшие зерна.

Иногда она вдруг прерывала разговор словами: «А мама сегодня вареники с картошкой и луком обещала», — и в голосе ее при этом было столько откровенной детской радости, столько счастья, что оно, казалось, переливалось через край, и бывал ли я голоден или сыт, но этот ее маленький детский мир счастья как бы проникал и в меня, и я тоже незаметно для самого себя

начинал жить предвкушением чудесного ужина, когда Пелагея Карповна, поставив иа стол дымящиеся вареиики, скажет свое обычное: «С подсолнечным? Или со сметаной?..» Я ведь и теперь, может быть в память тех долгушинских пиршеств, временами прошу жену сделать на обед вареники с картошкой и непременно с луком, чтобы — по-деревенски, но никакой радости, разумеется, не вспыхивает на лице Наташи (я не знаю, в каком свете ей вспоминаются те детские дни), а, напротив, даже будто недовольно она говорит: «Ты серьезно? Ну хорошо, сделаю». Когда же все бывает готово, стоит на столе и мы всем семейством сидим вокруг, — сквозь тот самый пар, исходящий от вареников, как сквозь дымку, я вижу то ее счастливое выражение и, знаете... Но — я опять забежал вперед? Я люблю Долгушино; но ие только за эту видимую радость, какую испытывал, день за днем как бы втягиваясь в ритм приглушенной деревенской жизни, и не только за те изумительные закаты, которыми можно восхищаться, лишь будучи в поле, когда вся даль до горизонта перед тобою словно вот, на ладони, и по сжатому клину, по колкой, торчащей, как ежик, стерне, как от зеркальца к зеркальцу, от золотистого стебелька к стебельку бегут к ногам, слабея и растворяясь, багрово-красные, выплеснутые где-то на самом гребне взгорья краски приближающейся ночи, или рассветы, прохладные осенние утра, когда иад током еще будто стоит сухой хлебный дух минувшего знойного полдня, но уже холодными сырыми струями течет с низин над оголенной черной землей предвещающий ранние заморозки воздух, и все: брезенты на бунтах зерна, отвеянный ворох мякины, черенки лопат, ведра, капоты и стекла ночевавших машин, и та самая золотившаяся с вечера стерня — все как бы отпотевает, покрывается капельками росы, и тогда лучше не сворачивай с тропиики, потому что ноги сейчас же будут мокрыми и придется снимать ботинки под насмешливыми взглядами принявшихся уже перелопачивать зерно женщин и затем сушить носки (как это было со мной), — нет, не только за это, что можно вот так разом *обозреть,* но, главное, за тот постоянный душевный настрой, за мысли и чувства, наконец, за то беспокойство, не за себя, а за общее дело, какое постоянно рождалось и жило во мне, поднимало чуть свет с постели и уводило в поле. Сперва это были, как я бы назвал их теперь, должностные заботы.

Я ездил в МТС и затем договаривался с бригадиром Кузьмой, чтобы вовремя, пока еще не начал осыпаться хлеб, прислали на делянки комбайн, и объяснял, хотя все и без меня давно знали («Ваши делянки вот где у нас, на шее», — говорили мне в МТС; те же слова повторял и Кузьма Степанович), как важно не потерять ни одного зернышка, потому что только тогда можно определить, какой сорт лучше растет и дает большие урожаи на здешних землях; потом надо было следить, чтобы каждая делянка убиралась отдельно, отдельно взвешивалось зерно и складывалась солома, и это отнимало уйму времени, так что в самый разгар страды я даже ночью не уезжал с тока, а когда все было сжато, провеяно и свезено, явились новые хлопоты — вспашка под зябь, разбивка делянок и сев озимых, и опять надо было, уже по дождю, по слякоти мчаться в МТС, а затем к бригадиру, Кузьме Степановичу, кланяться ему в ноги и просить трактор с плугом и прицепную сеялку. И в довершение ко всему — однажды в полдень (первой увидела его Пелагея Карповна; она сказала, разогнув спину: «Вона, комиссия жалует!») на телеге, которую привычно тащил все тот же неизменный серый мерин, приехал Федор Федорович; но на этот раз он не стал проверять глубину заделки семян; когда я подошел к нему, чтобы поздороваться и доложить, что сделано и что еще предстоит сделать, он, весело кивнув в сторону телеги, сказал: «Ну, принимай!» — и сам первым взялся за углы наполненного под завязку зерном мешка. Это был тот самый *вечный* сорт пшеницы, над выведением которого работал Федор Федорович. Признаться, к тому времени, занятый своими хлопотами, я как-то забыл об этом некогда поразившем меня, смело задуманном эксперименте, да и Федор Федорович все эти месяцы молчал, и вот, вдруг — я стою возле развязанного мешка и перебираю зачерпнутые в ладонь тощие, словно пересушенные красновато-коричневые зерна.

«Н-ну?»

«Это же здорово!»

«Посмотрим, посмотрим...»

«Просто не хватает слов сказать, как это здорово!»

Такой ли или, может быть, другой, лишь похожий на этот, состоялся тогда у меня с Федором Федоровичем разговор, я поздравлял и восторгался, видя, что это нравилось ему, хотя восторгаться, собственно, бы-

ло еще преждевременно и нечему; чтоб вы уж знали — только всходы и появились хорошими, и делянка с *вечным* сортом пшеницы ушла под снег, в зиму, радуя своею буйною зеленью, но весной словно кто заколдовал ее: так и не пошла пшеница в стрелку, и я разочарованно смотрел на заросшую будто травою полосу, и Федор Федорович тоже был разочарован и расстроен, хотя и говорил: «Ничего, не все сразу, начнем сначала. Начнем и завершим!» И он действительно, по-моему, начал потом все заново, но только точно сказать не могу, потому что к тому времени я уже уехал из Долгушина; а с осени, что ж, повторяю, все было торжественно, и Федор Федорович сам встал за сеялку, когда трактор первым заходом пошел по жирной, черной, отбитой межою от других делянке, а потом пригласил Андрея Николаевича посмотреть на свое детище, когда закустились зеленя, и мы около часа втроем ходили вокруг, присаживаясь на корточки и разглядывая узкие и острые, словно собранные в пучки листочки, и снова похвалы, теперь уже от заведующего райзо, сыпались на Федора Федоровича. А вечером в доме заведующего сортоиспытательным участком шумело застолье, на которое были приглашены и председатель Чигиревского колхоза Илья Ющин, и парторг Подъяченков, и даже долгушинский бригадир Кузьма Степанович, и я чувствовал себя, помню, именинником, как и Федор Федорович, так как на моем же участке, на Долгушинских взгорьях, испытывался этот суливший всем, даже колхозу, славу сорт пшеницы. Вы улыбаетесь? Я тоже. Но вместе с тем думаю, что ничего осудительного в том стремлении и в тех чувствах не было; они и сейчас мне кажутся неотъемлемыми и необходимыми, как воздух; я не только восхищался Федором Федоровичем, но искал, что бы мог сделать сам — не в будущем, нет, а теперь! — и этим «что бы» явилась карта севооборота Долгушинских взгорий, которая показалась, когда стал смотреть ее, устаревшей, да и неверной, и я решил составить новую.

Когда я сказал об этом Федору Федоровичу, он, однако, лишь заметил:

«Хлопотное дело».

«Но...»

«Попробуй, а чего же, может, и выйдет. Оно ведь и в Чигиреве надо бы давно пересмотреть карту севооборота».

«Потом и в Чигиреве».

«Дай бог, но чтобы... основное наше дело не пострадало при этом, понял?»

«Понял, Федор Федорович».

Я разговаривал затем и с Андреем Николаевичем, и с председателем колхоза Ильей Ющиным, и с парторгом Подъяченковым. Заведующий райзо, как это было — теперь-то могу судить! — привычно и свойственно ему преувеличивать все, восторженно воскликнул: «Великое дело начинаешь, Алексей, нужное для района!» — и по-отцовски ласково, как он умел (или просто это так казалось тогда?), положил широкую и мягкую ладонь на мое плечо. Ющин же, помню, долго расхаживал по своему председательскому кабинету, прицыкивая языком и обдумывая, что принесет это колхозу, какую выгоду и сколько излишних забот («Шутка сказать, — как бы сам с собою то и дело рассуждал он, — нарезай заново все поля!»), и, может быть, не дал бы согласия, если бы не парторг Подъяченков, которому, вероятно, было просто жалко меня и который сказал: «Так ведь все сперва будет на бумаге! Приглянется, увидим пользу, примем, не увидим — не примем. Пусть начинает, чего перечить», — и велел выдать старые карты колхозных земельных угодий (пока, разумеется, только Долгушинских взгорий). В тот же день я съездил в Красную Дóлинку, купил кирзовые сапоги и брезентовый плащ с капюшоном, тот самый, что теперь так памятен мне, и, вернувшись в Долгушино, наутро — это было воскресенье, — едва занялась заря, отправился в поле. Вместе со мной пошел тогда и бригадир Кузьма Степанович. Вообще, первые полторы-две недели он помогал охотно, даже давал своего коня, когда нужно было побывать на самом отдаленном участке, но затем отношение его и ко мне и к делу вдруг изменилось, он насмешливо щурил глаза и говорил: «Сапоги не казенны, попусту грязь месить, все одно ничего не выйдет», — и конь оказывался теперь то неподкованным, то мокрец выступал, и оттого опять же нельзя было седлать коня, и я уже не обращался с просьбой, а ходил по взгорьям пешком и возвращался домой усталым, продрогшим, но довольным. Изменившемуся отношению Кузьмы Степановича я не придавал тогда еще значения, хотя и было неприятно это. «Да что он понимает? — про себя размышлял я, не желая думать о нем ничего дурного. — По старинке, привыч-

но, как деды завещали? А если все-таки *выйдет,* тогда что?» Я даже оправдывал его, считая, что и сам на его месте поступил бы, может быть, не лучше, но не так наивен и прост был Кузьма Степанович, как я рисовал его в своем воображении, а главное, не так прост был его отец, Степан Моштаков, этот бородатый и еще не сгорбленный старец, что, по словам Федора Федоровича, верховодил всем в деревне. Он наставлял сына: «Чево это ты позволяшь мальцу по твоим пашням рыскать, гляди, натычет палок в колеса, тогда-ть поздно будет. Подсекай, бросай под ноги ямы, ан их перейти-ть надо, полазит-полазит, да и притихнет. Гляди, Кузьма, кабы поздно не было!» — и наговоры эти настораживали бригадира; это была, в сущности, первая струйка той холодной, остужающей волны, которая затем хлестнет из-под моштаковской подворотни, было первое столкновение, заочное, что ли, и даже не столкновение, потому что я хотя и видел старика, и сразу признал в нем тестя Андрея Николаевича (разумеется, вспомнил при этом о мешке с мукой на остекленной веранде), но только поздоровался и ни о чем не разговаривал, и потому, конечно же, не столкновение, а просто одностороння, будто беспричинно, так, на всякий случай, возникавшая у старого Моштакова неприязнь ко мне, и он уже давал ход этой своей неприязни. Но я не знал ничего, равнодушие бригадира Кузьмы оборачивалось во мне лишь еще большим желанием делать, добиваться; и до самой поздней осени, уже по утрам дорога схватывалась синими ледяными корками, а на взгорьях царствовал ветер, захлестывая стынущие поля дождем и мокрым снегом, я все еще целыми днями бродил по взгорьям, изучая долгушинские земли и прикидывая в мыслях будущие клинья севооборота.

Иногда я спрашиваю себя, что поднимает солдат в атаку, какая сила заставляет бойцов преодолевать то расстояние между своими и вражескими окопами, где на каждом метре подстерегает их смерть? Я не был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за сила, но уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо одно, пусть даже самое возвышенное и емкое понятие — долга ли, чести ли; сила эта живет постоянно и властвует над людьми, проявляясь в иные времена, как, например, в военные годы, более отчетливо, в иные, как теперь, в мирных буднях, менее отчетливо, но она, знаю, есть, единая, замечательная и

неодолимая, заложена в каждом из нас, как часть общего движения людей к добру и счастью, иначе чем бы я мог объяснить теперь ту свою долгушинскую, так назовем ее, устремленность, то старание, с каким составлял лично мне, собственно, ненужную карту севооборота? Работа эта не входила в мои обязанности, я не получал за нее ничего, кроме разве недовольных взглядов и даже как будто упреков со стороны Федора Федоровича, который при встречах непременно говорил: «Дались же вам севообороты!» Но я лишь улыбался на эти его слова, потому что мне приятно было их слышать. «Да, дались», — про себя повторял я, мысленно представляя, какую пользу принесет колхозу новая разбивка полей, и заранее радуясь своему будущему успеху. По утрам, когда выходил из дому, от стола ли, от печи ли, Пелагея Карповна со скрещенными на груди руками, или с полотенцем, или ухватом в руке (часто рядом с нею стояла Наташа, обнимая мать или выглядывая из-за нее, и тогда они вместе смотрели на мою слегка сгорбленную в брезентовом плаще спину), вдруг произносила: «Чего это вы так мучаете себя, хоть бы денек дома посидели», — и я на секунду останавливался у порога, чтобы дослушать, и опять улыбался, потому что я-то знал, что не мучаюсь, выходя по дождю и ветру в поле, а, напротив, горжусь тем, что у меня есть такая возможность *делать* это, делать ради них же, Пелагеи Карповны и Наташи, хотя кто они мне? — просто добрые знакомые, у которых живу, делать ради всех, потому что все — люди, и хотят так же, как и я, достатка и счастья. Может быть, именно за эти теплые чувства больше всего я и люблю Долгушино? Я ведь не просто сейчас рассказываю, а как будто снова иду по узкой, с примятою дождем, блеклой травою меже, подымаясь на взгорья, а внизу, заветренное, с потоками капель по стенам и крышам, с опустевшими черными огородами и мокрыми все от того же дождя жердевыми оградами, с черной наезженной колеею посередине улицы — вся открытая взгляду деревня; я смотрю на нее издали, и за сеткой дождя избы не кажутся мне сиротливыми и грустными; и вообще — ни в ту осень, ни весной, когда снова, едва стаял снег, я вышел в поля, на взгорья, ни разу не возникало в душе тяжелого чувства жалости ни к действительно сиротливо стоявшим избам, ни к земле, которая тоже теперь представляется мне сиротливой в совершенно не

хозяйственных руках бригадира Кузьмы, ни к людям, что просыпались там, за бревенчатыми стенами, отдергивали занавески и хлопотали по дому, внося из-под навесов охапки сухого березового хвороста и скрипя прогнившимися половицами (как под ногой Пелагеи Карповны, я наблюдал, когда она входила с полными ведрами или выносила все тот же заготовленный с лета хворост); меня радовал синий, курившийся над трубами дымок, я замечал лишь то, что говорило о жизни, и потому мне было все равно, ветер ли, набрасываясь ледяными порывами, откидывал и трепал полы плаща, барабанил ли дождь по капюшону, или летели, кружась, оседая и тая на мокрой и еще не остывшей с лета земле, белые крупные снежинки, я не отворачивался, не пригибался и не ежился, а, согреваемый одному мне понятным и ведомым, так, по крайней мере, казалось, чувством (мне хотелось весь мир одарить добротою, так же как мир этот одарил добротою меня), шагал, останавливался, вонзал лопату в мягкую пашню, брал пробу и опять шагал, заботясь лишь об одном, чтобы не ошибиться. Мне важно было знать и стоки вод, и то, как устилает поля снежный покров, где он тоньше, и потому весной раньше оголяется земля, и где толще; и надо было установить глубину пахотного слоя по склонам; когда же вечером, уже затемно, я наконец возвращался домой, еще роднее и дороже казалась деревня, избы с тусклыми огоньками в окнах, и еще большую радость и гордость вызывала во мне Пелагея Карповна, обычно встречавшая словами: «Господи, боже мой, ниточки сухой не сыщешь! Надо же так, да и просохнет ли за ночь все?» Она стояла посреди комнаты, и во взгляде (бывали случаи, когда только смотрела и молчала) каждый раз я ловил все то же выражение: «И чего это вы так мучаете себя?» — и улыбался, как и утром, потому что приятно было сознавать, *какими* и ради *чего* были эти мои, если так можно сказать, мучения. Из-за ее спины, из-под руки выглядывала Наташа, и в детских глазах ее было то же *серьезное* выражение, как у матери.

«Хор-рошо», — говорил я, снимая и слегка стряхивая у порога брезентовый плащ.

«Да уж куда лучше, — отвечала Пелагея Карповна, делая шаг вперед ко мне и беря из рук плащ. — Господи! Хоть бы свою мать пожалел, ничегошеньки-то она не знает... Ноги, поди, тоже мокрые? Снимай са-

ноги и давай портянки: сушить, так уж сушить все, а то завтра и надеть нечего будет. Опять же пойдешь, не вытерпишь».

«Конечно, а как иначе?»

«Го-осподи!..»

Встав на скамейку, Пелагея Карповна принималась развешивать над печью брезентовый плащ и портянки, а я уходил к себе; когда же, переодевшись, снова появлялся в большой общей комнате, на столе уже дымилась миска с борщом и хозяйка, прижимая буханку хлеба к груди, широким и потемневшим от времени ножом отрезала ломоть за ломтем и складывала их рядом с миской. Я смотрел на нее, и мне казалось, что от того самого хлеба, который она нарезала, от борща, от всей той деревенской избы, в которой я теперь находился, веяло старой и мудрой крестьянской трудовой жизнью, и жизнь та была понятна, близка и дорога мне; дорога, разумеется, не стариною, а чувством удовлетворения, какое охватывает каждого, и не только в деревне, при виде результатов своего труда; для крестьянина же результатом этим был хлеб. Я садился за стол, брал ломоть и, подмигнув удивленно глазевшей на меня Наташе (или ей некуда было уйти, или уж так велось в деревне — откуда-нибудь из угла комнаты она непременно наблюдала за тем, как я сажусь и пододвигаю миску), начинал есть.

Я ложился в постель со спокойными и счастливыми мыслями, сознавая лишь одно, что жизнь — это труд, а труд — это радость, и засыпал сразу, не успев даже увернуть фитиль в керосиновой лампе (лампу часто тушила, заглядывая в комнату, Пелагея Карповна), а с наступлением утра — нет, не повторялся прожитый день и чувства не повторялись, а все как бы возникало вновь, все ощущения и думы, и я радовался, как будто и взгорья и деревню внизу видел впервые, и волновался, представляя, что еще сделаю для долгушинских колхозников. Но вместе с тем жизнь деревни, хотел я или не хотел, открывалась для меня не только этой романтической, что ли, стороною; я замечал, что что-то будто сковывало людей, будто какой-то тяжелый дух смирения витал над крышами, и незримые нити от изб тянулись к одному, но не к бригадирскому, а к Моштакова-старика подворью. Может быть, если бы не предостережение Федора Федоровича, что всем в деревне верховодит старый Моштаков, главное же, если

бы не та моя ночная встреча с бородачом во дворе Андрея Николаевича и не мешок с мукой, который старик вместе с Кузьмой внес и поставил у стены на застекленной веранде (странно, бывают вещи, которые запоминаются надолго; я постоянно помнил о мешке), что само по себе уже как бы вызывало подозрение, может быть, я бы и воспринимал все по-иному, и видел бы во всем, по крайней мере в ту осень, лишь почтение людей к пожилому и уважаемому на селе человеку; но я видел не почтение, а боязнь, да и сам, когда случалось проходить мимо моштаковской избы, испытывал тоже какое-то неприятное беспокойство, которое возникало вовсе не потому, что бригадир не давал коня; просто в застенной тишине за вечно задернутыми ситцевыми в горошек шторками, казалось, таилось что-то нехорошее, недоброе, чего нельзя было не чувствовать и не бояться.

ЧАС ТРЕТИЙ

Но что было этим недобрым?

Что позволяло старому Моштакову, возвысясь, стоять над людьми и держать их пусть в негласном, но повиновении?

Теперь-то я знаю что, и мне не нужно искать ни доводов, ни подтверждений, время научило понимать людей; но тогда, в девятнадцать, когда мир казался преисполненным добра, счастья и радости, далеко не все представлялось так, как оно было на самом деле. Ведь это мы только говорим, что жизнь в деревне открыта, что каждый у всех на виду; человек, которому нечего скрывать, везде одинаков, в городе или в деревне, но тот, у кого есть хоть малая от людей тайна, никогда не позволит так просто заглянуть себе в душу. Для долгушинцев Степан Филимонович Моштаков был именно тем человеком, который знал *нечто* большее о делах долгушинской бригады, и это *нечто,* как поплавок, как раз и держало его на поверхности и делало жизнь значительной в глазах сельчан и безбедной. Он не слушал, что о нем говорили; ему как будто было безразлично, осуждали или восхищались его изворотливостью и умением жить, и никто в деревне не помнил, чтобы Степан Филимонович упрекнул кого-нибудь за злое о себе слово; казалось, он не был ни мстительным, ни злопамятным, но как раз это и настораживало людей. «Может,

копит обиды, таится, складывает», — думали они, а таящийся человек всегда страшнее любого открытого недруга, потому что не предугадаешь, когда и что он сделает; а то, что Моштаков мог сделать, знали в Долгушине все. К нему не только пригоняли на лечение коней (когда, с какого времени стал он конским лекарем, никто толком в деревне объяснить не мог; говорили, что чуть ли не с первого дня, как только образовался колхоз, но, может, на втором, третьем или четвертом году, когда в этом появилась особенная необходимость; и никто не знал, с чего все началось: перенял ли у кого это ветеринарное искусство, пока гонял с красной конницей Колчака по Сибири, или сам до всего дошел, заставила нужда, потому что, когда вернулся домой после всех сражений и надо было начинать хозяйство, привел откуда-то опаршивевшую и издыхавшую лошаденку и через год выправил ее так, что все удивлялись, и затем лошаденка эта еще работала в колхозе; в общем, с чего-то да началось все!), но привозили и сено и овес, и нередко приезжали сами председатели сговариваться то ли о цене, то ли еще о чем-то, конечно, приезжал и чигиревский, пили водку, гуляли до утра, но никто ни разу не слышал ни от самого Степана Филимоновича, ни от Кузьмы и ни от меньшой тогда Таисьи, ни от жены, Ильиничны, ни слова о том, что было говорено на вечере, и это тоже казалось сельчанам неестественным, дурным знаком. «Чего бы ему скрывать, ан нет, молчит», — рассуждали долгушинцы, и я теперь, после встречи с Моштаковым, тоже боюсь скрытных людей. Но, так или иначе, до войны, особенно когда в Долгушине существовал еще, правда, маленький, маломощный, но все же свой колхоз, Степан Моштаков не был так приметен, о нем забывали за суетою дел, и лишь по вечерам, когда в правленческой избе собирались мужики, чтобы покурить от души и *обговорить* завтрашний день, все видели, как Степан Филимонович усаживался где-нибудь поближе к двери и до полуночи, пока все не расходились, молча сидел и слушал, как спорили между собою, каждый доказывая свою правоту, бригадиры. Он не вмешивался ни во что и возвращался домой один; высматривал, ждал ли своего часа, или просто такой молчаливый характер (и отец его и дед, как вспоминали потом, тоже считались в деревне молчунами), он жил как будто и общею со всеми деревенскими людьми жизнью, и вместе с тем

своею, обособленною, в которую невозможно было никому проникнуть, тем более познать ее; то ли он действительно любил свое дело, потому что часами мог обихаживать коня, по волоску перебирая гриву и смазывая парши или натертые седлами болячки, часами, не покидая стойла, чистил и гладил начинавшийся уже лосниться коиский круп, или больше привлекала его оплата, ио только когда выводил со двора игравшую, словно пружинившую на ногах вылечеиную им лошадь, лицо его было равнодушио, взгляд спокоеи, и, передавая поводья председателю или прислаиному конюху, коротко говорил:

«Хоть под седло, хоть под хомут».

«Ну, колдун! Ну, шельмец, что с конем сделал!»

«Бога благодари да свою голову, что ко мне привела».

Во время войны, когда в Долгушине, как и в других деревнях, остались только старики, женщиины и дети, Степан Филимонович словно почувствовал, что наконец-то наступил его час, и начал мало-помалу активизироваться; но деятельиость его опять-таки заключалась не в том, что он принял иа себя бригадирство, что ли, или, отказавшись лечить коией, вместе со всеми пошел в поле; ои выбрал для себя ииую роль — благодетеля долгушинских овдовевших и еще ие овдовевших солдаток, и хотя роль эта была чревата для него довольно нехорошими последствиями, но старый Моштаков всем своим молчаливым, тяжелым спокойствием старался внушить, что если н пострадает, то не за себя, а за народ, за всех тех долгушинских ребятишек и жеищин, которые в снежные зимние вечера приходили к нему с мешочками за зерном и мукой и которые теперь все еще, уже по привычке, при встрече кланялись ему, а весной и осенью помогали садить или выкапывать и сортировать на огороде картофель. Ходила помогать и Пелагея Карповна вместе с Наташей, хотя свой огород был еще не убран, и сеио не привезено на зиму корове, да и хворост, правда, заготовленный и связанный, тоже еще лежал в пойме, даже не вытянутый к дороге.

«Но у него-то откуда был хлеб?» — спросил как-то я у Пелагеи Карповны.

«Да вот был».

«Откуда?»

Она посмотрела на меня, заметио сомиеваясь, гово-

рить или не говорить правду, но потом, так как я уже считался как бы своим в семье человеком (за покладистый ли характер или еще за что, не знаю, но только так уж, по-матерински относилась ко мне Пелагея Карповна), присела напротив меня на табуретке и сказала:

«Хлеб колхозный, откуда еще».

«Так надо было его на трудодни».

«Неучтенный. А кабы числился в колхозном амбаре, разве Степан Филимонович мог бы им распоряжаться? Ведь тогда как было: все для фронта...»

«А он?..»

«А он прямо с тока подводы три, четыре, а может, и пять перегонял к себе. Ночью, тихо да незаметно, и с согласия, конечно, председателя, так думаю, потому что и с Чигирева приезжали к Степану Филимоновичу с запиской, а он отпускал — зерно ли, муку ли. А председателем-то был тогда этот, что в Красной Долинке сейчас, в райзо, Андрей Николаич. Худющий, чахотка его съедала, что ли, в армию оттого и не брали, а Тасья-то Моштакова там, в Чигиреве, при клубе и при библиотеке работала. Вот и поженились, а зять тестю ужель не разрешит? А Кузьма-то их, сын-то, тот воевал. С первого дня, да и до последнего. У него и наград полна грудь».

«Так это же беззаконие, Пелагея Карповна!»

«Что он-то делал?»

«Они».

«Дело прошлое. Да и что Степан Филимонович давал? Крохи, так, для поддержки, чтобы уж не одна картошка с капустой, а колхоз все равно два плана выполнял, так что работали, попрекать нечем. А Степану Филимоновичу, кого ни спроси, все скажут спасибо. Да и кто бы взял на себя такое?»

«А кто учитывал его? Может, он и налево... торговал?»

«Может, и торговал, кто знает, но в этом ли дело? Он, может, и сейчас возит и торгует, а кто скажет? Никто».

«Боятся?»

«Не то, чтобы боятся, а народ на добро памятен, вот что я скажу тебе, Алексей».

Разговор этот происходил вечером, за окном разыгрывалась ранняя декабрьская вьюга, ударяя в стекло пригоршнями снега и выстуживая избу; по дверному

косяку от порога вверх шнурком ложилась голубоватая и пушистая изморозь. Прибежавшая со двора Наташа, сбросив валенки, забралась на печь; Пелагея Карповна, накинув на плечи старый, очевидно, еще мужний овчинный полушубок, пошла посмотреть корову: может быть, подложить ей в ясли сена, так как ночь, по всему, обещала быть еще морозней и скотине, чтобы согреться в нетеплом и наверняка уже теперь с заиндевелыми стенами коровнике, нужен корм; я же отправился в свою каморку (правда, тогда я не называл ее так, а, напротив, вы знаете, был доволен этой казавшейся уютной и не очень-то уж холодной комнатой) и, несколько раз пройдясь взад и вперед между топчаном и столом, что так и стоял (как при моих предшественниках) у окна, и затем, почистив фитиль керосиновой лампы, чтобы горела светлее, принялся было за свое привычное дело — составление карты севооборота. Почти каждый вечер с тех пор, как перестал выезжать в поля, я занимался обработкой и суммированием уже собранных материалов. Дело, однако, продвигалось медленно, да я и не спешил, так как хотелось все выверить поточнее, подсчитать, потому что понимал, что жизнь — это не учеба в техникуме и за ошибку здесь придется расплачиваться не просто огорчительной плохой оценкой в зачетной книжке; нет, я не мог и не должен был ошибиться; я сел за стол и в этот вечер с тем же чувством и желанием как следует поработать, но только что состоявшийся разговор с Пелагеей Карповной, особенно ее слова: «Народ на добро памятен» — как будто висели надо мною, мне было неприятно оттого, что я не ответил ей на эти ее слова, тогда как всего-навсего надо было сказать: «Да какое же это добро? Это зло. Самое настоящее зло», — и я мысленно и с сожалением, и в то же время так, будто все еще Пелагея Карповна сидела передо мной на табуретке, произнес эту представлявшуюся убедительной фразу. «Однако еще там, у Андрея Николаевича, *тогда,* я почувствовал это», — подумал я, и уже как доказательство, словно сама собою, всплыла в памяти картина, да она и не могла не вспомниться в такую минуту, как я спешил в ночи к распахнутым новым воротам заведующего райзо; на мгновение я как бы перенесся в то недавнее прошлое и с тем же недоумением, как тогда, там, в залитом лунным светом дворе, вдруг остановился посреди раскрытых настежь ворот, а впереди, возле застекленной веранды, двое

мужиков (теперь-то я ясно различал Степана Филимоновича и его сына, бригадира Кузьму) стаскивали с телеги мешок с мукой и вносили по ступенькам на крыльцо, где в кальсонах, белый, как привидение, стоял Андрей Николаевич. «Тьфу, черт!» — мысленно воскликнул я, желая отбросить это воспоминание. Откровенно говоря, мне не хотелось даже теперь, после рассказа Пелагеи Карповны, думать о заведующем райзо плохо. «Степан Моштаков... этот, да, наверняка, конечно! Но Андрей Николаевич-то... как же он мог? Он-то как?» Ни там, тогда, ночью, ни теперь, разумеется, я ведь не ставил перед собой цель разоблачить кого-то или что-то; да и разговор с хозяйкой возник лишь потому, что я видел отношение сельчан к старому Моштакову и видел отношение к нему Пелагеи Карповны; а если хотите, даже с первых дней жизни в Долгушине, правда, я еще не мог тогда объяснить себе, почему, но чувствовал, что Моштаков — это зло деревни, а Пелагея Карповна своим рассказом в этот вечер как бы приоткрыла неожиданно край занавески, за которой таился со своим недобрым делом Степан Филимонович, и оттого — разве я мог не волноваться? Я встал и снова принялся ходить по комнате от топчана к окну (очевидно, тысячи людей делают это же, когда волнуются, и я, конечно, не исключение); я даже не думал уже о Моштакове, так как жизнь его, в общем-то, представлялась ясной, а в какие-то минуты все сосредоточилось на Андрее Николаевиче. Я видел его доброе лицо, слышал его голос, как он говорил: «Ничего, приобщайся, она, брат, хлебная», — и это никак не вязалось с тем, что он, приветливейший и гостеприимнейший человек («Так гостеприимно мог вести себя только тот, у кого на душе светло, чисто, ни пятнышка», — думал я), позволял когда-то тестю увозить с тока неоприходованное колхозное зерно — для каких бы ни было целей! «Да и какой же он туберкулезник?» — тут же восклицал я, опять представляя его розовое, дышащее здоровьем лицо, и мне казалось, хотя, повторяю, было противно думать об Андрее Николаевиче плохо, что и здесь, может быть, не все чисто. Достаток в его доме, на который нельзя было не обратить внимания тогда и который вызывал во мне радостное чувство, сытое круглое лицо Таисьи Степановны, праздничный стол, как он был накрыт и уставлен яствами, — все это тоже как бы виделось сейчас по-иному. «А в городе — хлебные карточки», — го-

ворил я себе, и все то, как я жил до приезда сюда, в Красную До́линку и в Долгушино, простаивая по утрам в очередях у хлебного магазина, как жили еще до сих пор мать, сестренка и братишка, возникало перед глазами; и жизнь Пелагеи Карповны и Наташи, протекавшая у меня на виду, жизнь многих долгушинских колхозников... Я знаю, все не могут одинаково жить, хотя мы и стремимся к этому, не могут уже потому, что неравноценен пока вкладываемый каждым труд, и я бы не стал сейчас делать каких-либо поспешных выводов; может быть, вообще не обратил бы на это особого внимания: но тогда — вот, были такие мысли, и *различие* жизни казалось, по крайней мере, несправедливостью, а главное, я видел, вернее, чувствовал, что *различие* это основывалось лишь на нехороших, недобрых, грязных делах. «Есть же мешочники, есть же, в конце концов, спекулянты, которые поставляют на черный рынок муку, торгуют ею из-под полы», — продолжал я, совершенно отходя уже от Моштакова и Андрея Николаевича и как бы охватывая мыслью целое явление, о котором не то чтобы знал понаслышке, но которое, в сущности, разворачивалось на моих глазах и с которым в силу определенных обстоятельств, сами понимаете — война! — я не мог не столкнуться; годы те и теперь памятны мне, а тогда все было особенно свежо в сознании и виделось ясно и живо. «Всю войну поставляли: на обмен, за вещи, за деньги! И поставляли, конечно же, не Пелагеи Карповны». Я ложился на топчан, затем вставал, ходил и снова ложился; во мне поднималось то тихое, спокойное, что ли, возмущение, когда кажется, что ничего недостойного будто и не произошло с тобой, не оскорблено самолюбие, не нанесена обида, и ничто будто не изменится в твоей завтрашней жизни, и вместе с тем есть и обида, и оскорблено самолюбие, и ты недоволен какими-то общими делами, тем, что не все понимают добро, хотя это так просто и всем было бы хорошо и счастливо жить, если бы понимали и следовали этому великому началу, наконец, тем, что есть зло и есть носители зла, и что — есть ли вообще что-либо человеческое у этих носителей зла? Рано ли, поздно ли, но человек не может не мыслить общими категориями; вероятно, это и есть час возмужания, когда ты вдруг осознаешь себя частицею общего, большого организма и движение и развитие общества затрагивают тебя так же, как собственный интерес. За дверью

Пелагея Карповна заводила хлеба, и я слышал, как она ходила по комнате, как просеивала над столом муку, хлопая ладонями (справа налево, справа налево) о круглые бока сита; белая занавеска на окне, казалось, шевелилась под порывами ветра, налетавшего на стекла, на всю бревенчатую стену избы, и я на мгновенье приостанавливался, глядя на занавеску, на слегка начинавший мигать желтый язычок лампы и чувствуя, как понизу, будто сквозь щели половиц, просачивается и гуляет по-над полом холодный воздух, потом вдруг все это внешнее словно исчезало, переставало существовать, и не то, чтобы в мыслях, а будто наяву, как это было в сорок втором, в сорок третьем, да и позднее, — маленький, в расклешенной от пояса бекешке и с шапкою в руках, я стою там, в городе, дома, перед столом, на котором лежит завязанный в белую простыню отцовский костюм, смотрю на этот белый узел и жду, что вот-вот, с минуты на минуту, постучит в дверь Владислав Викентьевич, старый, с синими трясущимися губами сосед, и мы пойдем с ним на сенной базар, на толчок, или, как теперь бы назвали его, вещевой рынок, на котором, впрочем, не только продавали и покупали вещи, но было место, и Владислав Викентьевич хорошо знал его, где можно обменять пальто или костюм на муку, крупу, хлеб. Я стою одетый, готовый к выходу, и все, что только что происходило в комнате, еще живет перед глазами: как мать доставала этот костюм из сундука и, отвернувшись, чтобы я не видел, кончиком платка вытирала навернувшиеся слезы, как стряхивала нафталин и расстилала на столе белую простыню, а когда узел был готов, глядя на меня грустными, все еще влажными и слегка покрасневшими глазами, гладила по голове и говорила: «Только на муку, смотри, Владислав Викентьевич поможет. Слушай его. В крайнем случае, на крупу, понял!» И я кивал ей и отвечал: «Да ты не волнуйся, мама, я все сделаю, как надо, ведь я уже взрослый», — а с дивана, притихнув, на время оставив свои полинялые и облезлые кубики, молча таращили на нас глазенки сестра и брат; мать ушла на работу, ее уже не было в комнате, и они смотрели теперь на меня. Я стоял здесь, перед столом, в долгушинской избе, но мне казалось, что я был там, дома, и сейчас, через секунду-две, послышится стук в дверь, я повернусь и пойду открывать Владиславу Викентьевичу; и я действительно как будто слышу и шум шагов под

дверью, и затем стук, особенный, негромкий, как умел только Владислав Викентьевич, и так же, как тогда, за настывшими планками двери раздается его привычный голос:

«Ку-ку, Алеша! Это я».

Он тоже с белым узлом под мышкой.

Я говорил брату и сестренке, чтобы никого не впускали, брал со стола завернутый отцовский пиджак и вместе с Владиславом Викентьевичем выходил на улицу.

На ветру, на морозе, губы и нос Владислава Викентьевича делались еще более синими; тонким вытершимся шарфиком он укутывал худую и высокую стариковскую шею, поднимал воротник своего неизменного клетчатого пальто, завязывал под подбородком маловатую ему кроличью самодельную ушанку, но это не спасало от холода; казалось, его ничто не могло согреть (теперь-то я знаю, греет не шуба, не пальто, а сытный завтрак, хлеб; но этого как раз и не хватало ему; и не хватало мне); он всю дорогу, пока шли и ехали туда и обратно, беспрерывно дрожал мелкой, ознобной дрожью. Но в первые минуты, пока еще сохранялось под рубашкою комнатное тепло, он бывал разговорчивым, даже пробовал шутить.

«Ну, слышал?» — спрашивает он, поворачивая ко мне морщинистое лицо и даже чуть приостанавливаясь.

«Что?»

«Сводку Совинформбюро».

«А что, немцы опять наступают?»

«Нет, Алеша, в том-то и дело, что нет. Не так-то легко Волгу перепрыгнуть, а что я тебе говорил? То-то».

«И наши стоят?»

«Готовятся, Алексей, силы накапливают. Ты Елизавету Сергеевну знаешь?»

«Дворничиху?»

«Да. Приходит ко мне вчера вечером и просит почитать письмо от мужа».

«От дяди Миши?»

«Да. И знаешь, что пишет Михаил Яковлевич? «Потерпи, — пишет, — недолог срок, по весне вдарим, а может, и раньше». Так прямо и пишет: «Вдарим!» — понял?» — И Владислав Викентьевич весело и удивленно вскидывал брови.

Затем он еще повторял это слово «вдарим», как будто что-то магическое было заключено в нем, хотя все, конечно, объяснялось проще, и я только не понимал, что для него, бывшего школьного учителя, всю жизнь преподававшего русский язык и лнтературу, оно звучало необычно, неграмотно; но слово это все же выражало силу, и потому в то утро, когда радио принесло радостную весть, что наши войска, прорвав линню обороны противника севернее и южнее Сталннграда, успешно развивают наступление, замыкая кольцо над мощной группировкой фельдмаршала Паулюса, Владислав Викентьевич, вбежав в комнату, возбужденно выкрикивал: «Вдарили, Алексей! Вдарнлн! А что я тебе говорнл?» Я помню те днн, когда у всех как бы посветлелн лица, когда соседи, встречаясь, празднично поздравляли друг друга, но жизнь тем временем шла своим чередом, и после весны и жаркого сухого лета, едва лег на землю первый белый и пушистый снег, мы снова отправились с Владиславом Викентьевнчем знакомым маршрутом через сенной базар, неся под мышками белые сверткн; мы не раз еще ходнлн и в лютые январские морозы, и по весне, когда черный осевший снег кашицей расползался под ногами, и как только трамвай довозил нас до сенного базара, едва спускались с подножки, тут же попадали в людской поток, который, как река, втягиваясь в проулок и делая несколько поворотов, вливался затем в шумное людское озеро, которое как раз и называлось толкучкой. Особенно много народу бывало в воскресные дни. По бокам проулка и на площадн стояли и прохаживались женщины и мужчины, обвешанные старыми, поношенными, иногда пахнущими нафталином вещами, н мне всегда казалось, что продававших было больше, чем покупающих; онн выкрикивали, потрясая в воздухе пиджаками и платьями, нахваливали свой товар, и у ног (не у всех, но были, хорошо помню, потому что Владислав Викентьевич говорил о таких: «Завсегдатаи, барышники!»), на самодельных железных жаровнях тлели древесные угли; барышники время от времени наклонялись, грели лица, руки, ноги и снова продолжали выкрнкивать и трясти шарфами н платьями. Я не спрашивал Владислава Викентьевича, почему все эти люди не работают, но в детском сознании моем постоянно возникала такая мысль, и мне странно было и жутко смотреть на эту толпу; я прижимался к Владнславу Внкентьевичу,

держась за карман его клетчатого пальто или за руку, и прятался за спину, когда кто-нибудь из встречных, тыча пальцами в белый узел, вдруг спрашивал у Владислава Викентьевича: «Что у вас?» Мы проходили в самый конец толкучки, к фанерным ларькам, и потом долго стояли, пока Владислав Викентьевич высматривал, к кому следовало подойти и с кем говорить. Я до сих пор удивляюсь, как он узнавал нужных нам обменщиков (впрочем, нужда прижмет, так узнаешь, наверное); неожиданно он хватал меня за руку и, сжимая пальцами локоть, говорил: «Вон, видишь, во-он, мучное брюшко? Идем». Мы выступали вперед, как бы перегораживая путь медленно шагавшему какому-нибудь мужчине (чаще всего это бывали на вид старенькие, с бороденками, но почему-то одетые в защитного цвета ватные, похожие на армейские телогрейки), Владислав Викентьевич молча протягивал узел, и жест этот его был понятен встречному старичку.

«Что?» — будто недовольно, хмурясь, спрашивал встречный.

«Костюм, — шевеля замерзшими синими губами, торопливо произносил Владислав Викентьевич. — И вот еще», — добавлял он, выдвигая, подталкивая меня.

«А у него?»

«Тоже костюм».

«Шерстяной?»

«Разумеется».

«Чего хотите?»

«Нам бы муки...»

«Аржаная».

«Ну что, Алексей, *аржаную* возьмем, а?»

Я согласно кивал головой.

«Берем», — говорил Владислав Викентьевич старичку, и через минуту за фанерными ларьками мы уже переходили улицу и затем по плохо очищенному от снега тротуару шагали вдоль деревянных окраинных изб до первого поворота.

На углу мужичок останавливался и, оглядывая нас и улицу, непременно осведомлялся:

«Хвоста за собой не тянете?»

«Нет, что вы», — опять же поспешно отвечал Владислав Викентьевич.

«Ну-от, смотрите!»

Я знал, что означало «тянуть хвоста»; он спрашивал, не ведем ли мы за собой милиционера. Нет, конечно,

никакого милиционера мы за собой не вели; подчиняясь жестам старичка в ватнике, мы входили через какие-то скрипучие ворота во двор, затем в холодные, с земляным полом и настывшими дощатыми стенами сенцы, и тут, при открытых дверях, чтобы светлее было, и непременно вместе с вышедшей из теплой избы хозяйкой, закутанной в пуховую шаль, начинался, как говорил тот же старичок, осмотр товара. Старичок разворачивал пиджак, брюки и, казалось, разглядывал каждую строчку, тяжело сопя и произнося то и дело (обращаясь больше к Владиславу Викентьевичу, чем к жене):

«Нелицованный?»

«Да вы что? Кармашек-то боковой — на левой...»

«Подклад, опять же, не черный».

«В тон костюму».

«В тон-то оно, известное дело, в тон, да черный бы, он не маркий», — говорил старик и начинал заново разглядывать и растягивать пальцами швы.

«Вшей ищете, что ли?!» — не выдержав наконец, восклицал Владислав Викентьевич.

«Вшей не вшей, а поглядеть надо».

«Глядите, но только побыстрее, потому что тут, в ваших сенцах, окоченеть можно».

«А сколько просишь?»

«Пуд дашь?»

«Эк куда загнул. За оба?»

«За один».

«Полпуда».

«Пуд».

«Полпуда!»

«Так ведь *аржаная же*?»

«Все одно хлеб».

«Ну, отвешивай, бог с тобой».

Все время, пока Владислав Викентьевич торговался, я стоял молча; от холода ли или оттого, может быть, что мне всегда неприятно было видеть, как бесцеремонно переходили из рук в руки (от старика к Владиславу Викентьевичу, и снова к старику) отцовские пиджак и брюки, я тоже весь ежился и вздрагивал; когда же старик, притащив из комнаты серый мешок с мукой, начинал насыпать ее в мерку, я уже не только не радовался, что выполнил поручение матери и что теперь, по крайней мере, месяца на полтора, а то и на все два хватит варить затируху (к тому же мать непременно

хоть раз да испечет лепешки или пирожки с картошкой на плите!), но думал лишь об одном: как поскорее уйти из этих промозглых сенцев; и все же каждый раз я приносил домой неповторимый, мельничный запах муки и хлеба.

«Отчего их милиция не забирает?» — спрашивал я у Владислава Викентьевича, когда мы уже возвращались домой.

«Забирает, как же, почему не забирает».

«А этот?»

«Еще не попался. Да и слава богу, что не попался, иначе — к кому бы мы сегодня с тобой пошли?»

«А если сейчас заявить?»

«Нельзя. Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, всегда были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело: вот, видишь, мы теперь и с затирухой, а попадется ли он или не попадется, это уж его дело, лишь бы мы по-честному».

Спорить с Владиславом Викентьевичем было, разумеется, бессмысленно, он по-своему смотрел на мир, потому и суждения обо всем были у него свои (думаю, и теперь есть люди, которые рассуждают так же или близко к этому); мне же то, что мы делали, не только не представлялось честным, но после каждого нашего обмена я несколько дней ходил молчаливым и мрачным: мне казалось, что мы совершали беззаконие — откуда мука? чья она? — и беззаконие это не могло совместиться с теми пусть детскими, мальчишескими (но они чисты!) понятиями справедливости устройства мира, доброты, товарищества, правды; как каждый вступающий в жизнь, я полагал, что законы существуют для всех и что все непременно выполняют их, по крайней мере, должны выполнять, а как же иначе, но что, кроме законов, есть еще высшая мера жизни, это честь и совесть, которая у каждого в душе и которую невозможно и не должно переступать, что так же, как я сам всегда бывал приветлив, добр и счастлив этой своей добротою, так же, мне казалось, должны были жить и все люди. А зло — это исключение. И вот в это ясное детское восприятие врывались война, сенной базар, толкучка, старикашки в защитного цвета ватных телогрейках (а ведь определение Владислава Викентьевича было верным — мучное брюшко! — ведь как мужичок ни отряхивался, а руки мучные и на тело-

грейке след!), врывались промерзлые земляиые сеицы, серый мешок с мукой и хозяйка в шали, уиосящая в избу ставшие уже чужими отцовские пиджак и брюки, и это была совершенно иная, грязиая, чуждая мальчишескому миру жизнь, позиавать которую было трудио и больио. «Почему существуют иа земле люди, как этот продававший муку старичок? Почему у каждого — свое понимаиие добра?» Разумеется, тогда, в детстве, я не ставил так прямо и с такой определеиностью эти вопросы; и даже, может быть, ие совсем отчетливо понимал все, ио что именно такое чувство протеста рождалось во мне, я хорошо помию. Я всегда издали наблюдал, как мать стряпала пирожки из прииесеииой миою муки; и что бы ии творилось у меия иа душе, все же это бывал самый большой в иашей семье праздиик. Мы начинали готовиться к иему загодя, за иеделю вперед, и в утро, когда иаступал долгождаииый день, просыпались раиьше обычиого и прямо с постели, едва протерев глаза, смотрели, как мать сиимала с теплой печки кастрюлю с выползавшим через края темиым и приятио и кисло пахнущим тестом; первый испечеииый пирожок с коричиевой сухою корочкой мать разламывала надвое и отдавала меиьшим — сестренке и брату, — и они, перекладывая горячие половиики из ладони в ладонь, ие смеялись, ие шутили, не веселились, а ели молча, сосредоточенно, как взрослые, зиающие цену жизии и хлебу, и я, если хотите, пожалуй, впервые в зимний вечер в избе Пелагеи Карповиы, когда за окном бушевала ранияя декабрьская вьюга, прохаживаясь от топчана к окиу и вспомииая, вдруг как бы поиял весь смысл детских сосредоточениых лиц. «Да и сам-то я как смотрел?» — подумал я, еще отчетливее представляя себя, чем сестреику и братишку. Сквозь неплотно прикрытую дверь из кухии, где Пелагея Карповна заводила хлеба, просачивался в мою комиату тот самый запомиившийся с детских лет приятный и кислый запах теста, и запах этот лишь усиливал впечатление от набегавших воспоминаний; я ие спал долго, пока лампа не начала гаснуть, и то мальчишеское чувство протеста (хотя мне только теперь кажется, что в Долгушине я был уже взрослым, а на самом деле — тоже ведь, в сущности, мальчишка: девятиадцать, двадцатый, чего тут) виовь подымалось и будоражило сознание. «Вот где иачало, вот откуда этот мучной ручеек — туда, на толкучку, в промерзлые земляиые сен-

цы! И, конечно же, не Пелагеи Карповны *поставляли,* и не сыновья их или мужья носят теперь костюмы с плеча моего отца; эти деревенские женщины — как Владислав Викентьевич, потому и Моштаков для них — *своего рода* добро, а не зло», — рассуждал я.

Было около полуночи, когда я, в конце концов раздевшись, лег на топчан и уснул. Но, засыпая, еще слышал завывание метели за окном, и мне казалось, что этот гнавший поземку декабрьский ветер, как тогда, в детстве, когда мы с Владиславом Викентьевичем шагали к сенному базару, на толкучку, ознобно, пронизывающе холодил ноги.

Утром же все было тихо и лишь огромные сугробы снега от изб и плетней ребристо рассекали улицу. И на душе у меня тоже как будто было спокойно и тихо, но если говорить образно, то и там лежали теперь на равнинном пути свои ребристые сугробы. Вечер не прошел, да и не мог пройти бесследно. Внешне, конечно, для постороннего взгляда, вроде бы ничего и не случилось; и вчера, и позавчера, и третьего дня я тоже долго сидел за столом, работая над картой севооборота, а когда затекали ноги, вставал и прохаживался, так что для Пелагеи Карповны не было ничего удивительного в том, что я не спал; но сам я чувствовал, что во мне многое изменилось после того вечера — может быть, даже в характере (я стал еще задумчивее и настороженнее), во всяком случае, в понимании людей и жизни. Пелагея Карповна, что ж, рассказала о Степане Моштакове да и забыла, потому что это было частицей ее судьбы, хорошей или нехорошей — другое дело, было привычной, повседневной ее жизнью, и потому ни утром, ни на следующий день она уже не вспоминала об этом; она положила на стол передо мною свежий, еще дышащий печью калач, принесла, как всегда, крынку молока и, покачав головой, лишь произнесла: «Хоть бы вставали попозднее, никто из приезжих, что были до вас, так не измучивали себя». Меня же Моштаков и все, что Пелагея Карповна как бы между прочим поведала о нем, и на следующий день, и через месяц продолжало волновать и вызывать определенные мысли. Я хорошо помню, как спустя несколько дней проходил мимо моштаковского двора; самого Степана Филимоновича не было видно, но его изба вместе с пристроенной низкой и длинной бревенчатой конюшней, на крыше которой скирдой возвышалось еще не тронутое

с осени сено, эта словно вросшая, как определил Федор Федорович, в землю (теперь же, казалось, в снег) изба и двор чем-то напо́мнили те, окраинные, городские, куда относили мы с Владиславом Викентьевичем свои узлы и откуда выходили, таясь и оглядываясь, с *аржаной* мукою в белых наволочках, и на какое-то мгновение я даже приостановился, разглядывая, будто впервые, мошташковское подворье; как тогда, в детстве, с той же ненавистью и с тем же протестующим чувством смотрел я на задернутые ситцевыми в горошек шторками окна, и еще больше, чем тогда, желание пойти и заявить — вот он! — охватывало меня; но я сознавал, что, собственно, заявлять-то не о чем (привезенная ночью мука Андрею Николаевичу, и только; все же остальное — в прошлом, которое ни раскрыть, ни доказать нельзя), и потому, согнувшись и стараясь уже не глядеть на избу и подворье, торопливо прошагал под окнами. Может быть, мне показалось, что кто-то неприятным, пронизывающим взглядом следил за мною. Я и потом не раз испытывал это чувство и, знаете, не могу не согласиться с вами, что есть между людьми, как вы говорили, взаимопонимание, бессловесный язык; и не только когда думают одинаково, одинаково смотрят на мир и понимают явления и вещи, и я бы добавил — даже не обязательно, чтобы эти люди встречались и сидели рядом, что ли; если я и видел Степана Филимоновича, то редко и издали, а бывали месяцы, когда не видел вообще, и жил он за своими бревенчатыми стенами, а я за своими, в доме Пелагеи Карповны, но вот был же понятен мне его мир, я знал, как он живет и о чем думает, и оттого постоянно испытывал к нему настороженность и отчуждение, а иногда он прямо-таки был ненавистен мне, хотя ведь и не сделал ничего видимого дурного; но самое главное — он тоже чувствовал мой мир мыслей, потому и наставлял сына-бригадира: «Чую, подсекет нас, так что смотри в оба, коня без нужды особой не давай, где можно, и трактор, и комбайн задержи, все прибежит с поклоном, а там уж — тебе вожжи», — потому и ни разу не пригласил к себе в гости, хотя и бычка колол, и выносила Ильинична на мороз пельмени. Он предчувствовал, опасался, а значит, понимал, как и я понимал его, и мы жили в Долгушине — два противоположных мира, видимых себе и не видимых другим, и рано или поздно эти два мира должны были столкнуться; но произошло это лишь на вторую зиму, и

совершенно неожиданно, когда по первой пороше я собрался было поехать на санях в Чигирево к Федору Федоровичу.

Я помню все, что и как было: и разговор накануне по телефону с Федором Федоровичем, в котором он просил поскорее привезти в Чигирево собранные с делянок и связанные в снопики образцы пшеницы, но только для чего — то ли хотел выставить на обозрение в колхозе, в правлении, а точнее, в председательском кабинете, то ли отправить в Красную Долинку (такие же снопики я видел и в кабинете Андрея Николаевича, так что, возможно, собирался переправить ему для обновления). Помню, как утром, весь настроенный на поездку в Чигирево, вышел на крыльцо и, радуясь первому снегу, первому морозцу и голубым от инея плетням и избам, зашагал через всю деревню к бригадирскому подворью, чтобы попросить лошадь и сани (день был воскресный, кони отдыхали, никуда не занаряженные, и поэтому я ни минуты не сомневался, что получу подводу), но вместо Кузьмы Степановича, когда я постучался в окно, из избы вышла его жена, мрачная и всегда недовольная чем-то Клавдия Васильевна (как и все в роду Моштаковых, она, конечно, недолюбливала меня, так, по крайней мере, теперь я объясняю ее настороженное ко мне отношение) и сказала, что Кузьмы нет, что ушел к отцу, а на вопрос, скоро ли вернется, коротко бросила: «В Красную Долинку собирались, так что идите быстрей, если хотите застать», — и я, почти совсем не обратив внимание на привычную уже для меня сухость ее ответа, зашагал к дому старого Моштакова. Я мог бы подробно пересказать, как открывал опушенную колким инеем калитку и входил во двор к Степану Филимоновичу, как стоял, глядя на занавешенные окна избы, на крыльцо и расчищенные от снега ступени, и смотрел на приоткрытые неширокие ворота конюшни, раздумывая, куда войти — в избу ли или в конюшню, откуда, как мне казалось, доносились мужские голоса; и то, как вошел все же в конюшню и, приглядевшись к сумраку, увидел лишь лошадей за перегородками (мягкими теплыми губами они захватывали из яслей только что принесенное с мороза и еще холодное, наверное, сено, аппетитно похрустывая им, вскидывая мордами и косясь глаза на меня, вошедшего к ним незнакомого человека), и как с досадою проговорил про себя: «Тьфу, черт, ослышался, что ли!» — и затем,

чтобы уж окончательно убедиться, что ни Кузьмы Степановича, ни Степана Филимоновича на конюшне нет, громко спросил: «Здесь есть кто-нибудь?» — все эти подробности каждый раз, как только начинаю вспоминать *тот* воскресный день, как живые, встают перед глазами; я вижу все, что видел тогда: и конские спины, покрытые болячками (утренний солнечный свет, проникавший через двери в конюшню, падал на противоположную стену и уже от той стены, отраженный, как бы скользил по гривам и по мохнатым и тощим, даже будто слегка заиндевелым крупам лошадей), вот они передо мною те конские спины, и пряный запах морозного сена, и хруст, и топот переступаемых по деревянному настилу копыт; я поворачиваюсь, чтобы направиться к выходу, но именно в это мгновенье как будто что-то подтолкнуло меня остановиться. Я знал, что конюшня бревенчатая, но здесь, внутри, в глубине, конюшня заканчивалась какою-то дощатою перегородкой, и это невольно насторожило внимание; я еще раз окинул взглядом эту перегородку и, заметив низкую и чуть приоткрытую дверь, шагнул к ней. Может быть, мне показалось, что там, за дверью, как раз и находились сейчас бригадир с отцом, Степаном Филимоновичем? Может быть, так оно и было, потому что мне лишь хотелось найти бригадира, и ни о чем другом я не думал, переступая порог этой неожиданной здесь, при конюшне, кладовой, но теперь всегда кажется, что я уловил знакомый амбарный запах хлеба, запах хранящегося зерна, и потому оказался в совершенно как будто темном даже после сумрачной конюшни тайнике. Я не оговорился, именно тайнике. Только одно узкое, как прорезь, как, может быть, бойница, что ли, оконце под потолком пропускало свет в кладовую, и он, струясь, как свет автомобильных фар в ночи, падал на тяжелые крышки расположенных вдоль стены хлебных ларей. Но я не воскликнул: «А-га, вот оно!» — и не ощутил ни скрытой злой радости, что все мои предположения о старом Моштакове, о его недобрых делах вдруг, вот, подтверждены, ни иного какого-нибудь торжествующего, вроде: «Что, попался!» — чувства, а смотрел растерянно на эти лари, бледнея и приглушая дыхание; как тать (я смеюсь теперь над собой, потому что зачем нужны были мне эти осторожные, словно воровские движения, чего и кого было бояться?), оглядываясь на неприкрытую дверь и прислушиваясь, я по-

дошел к ближнему от меня ларю и приподнял крышку; ларь был наполнен желтоватой в полусумраке пшеницей. Я снял рукавицы, зачерпнул ладонью зерно и прошел к свету. Зерно было крупное, я несколько раз пересыпал его из ладони в ладонь, потом отнес снова в ларь, и на руках остался белесоватый (это просто-напросто была пыль), будто мучной, налет. Не знаю теперь уже почему, но я, как будто стряхивая что-то с полушубка, вытер о него ладони, и хотя, разумеется, никакой пыли на полах нельзя было разглядеть (даже бы и на свету), но я почувствовал, что на них остался след, как оставался он на телогрейках у *тех* мужичков-старичков, что в настывших земляных сенцах нагребали из мешков в мерку муку — «мучное брюшко»! — и вся та ненавистная картина обмена, все пережитое и передуманное уже здесь, в Долгушине, разом как бы всплыло перед глазами. «Один, два... пять, шесть», — вместе с тем мысленно, перекидывая взгляд с одного ларя на другой, считал я. В Долгушине, я это хорошо знал, не было колхозного амбара; все зерно — и семенное и из общественного фонда — хранилось на центральной усадьбе в Чигиреве. «А это что? На трудодень? Да он вроде и в колхозе не работал? У Пелагеи Карповны — мешок всего, хватит ли до весны, а тут?..» Одну за одной я открывал крышки ларей, и во всех была пшеница.

Все еще растерянный оттого, что увидел (главное же, оттого, что не знал, что надо было делать теперь), я так же, будто воровски, крадучись, вышел из амбара в конюшню. На гвозде, возле косяка, заметил висевший железный замок со вставленным в него ключом. Им, наверное, как раз и запиралась кладовая. Но тогда я не подумал об этом; мне лишь хотелось как можно скорее и незаметнее выскользнуть из конюшни. А происходило здесь до меня, полагаю, вот что: Степан Филимонович со своим сыном, ведь они собирались в Красную Дòлинку, так сказала Клавдия Васильевна, и поехали бы не с пустыми руками, зашли нагрести зерна и, уходя, не заперли дверь; прошли же они прямо из конюшни в избу через сенцы, минуя двор, и, конечно же, их голоса я и слышал. А почему не заперли дверь? Вероятно, намеревались тут же вернуться. Само собой, я не могу поручиться за точность этой нарисованной картины, как все было на самом деле; да и так ли уж это важно; главное, я открыл тайник, увидел

лари, наполнеиные пшеиицей, и весь тот день и следующий оии стояли перед глазами. «Ну вот, — говорил я себе, выходя из конюшии иа солнечный морозный двор и продолжая оглядываться, — вот оно, *моштаковское* добро людям!» Я не постучался и не вошел в избу; косясь на занавешенные шторками окиа (ие следит ли кто за мной?), я медленно, шаг за шагом, отступал к калитке и, как только очутился на улице, чуть пригнувшись, торопливо зашагал к себе домой. Я не раз потом спрашивал себя, для чего иужно было пригибаться и торопиться? Но, видимо, так уж устроен человек, что поступки часто опережают сознание, и оттого мы совершаем массу странных и глупых вещей; ио в то же время, если пораскинуть как следует умом, то, пожалуй, боязнь была в какой-то мере обоснованной; если бы, допустим, старый Моштаков с Кузьмой вдруг застали меня, скажем, в кладовой или пусть в конюшне и поняли бы, что тайиик раскрыт, — их двое, а я один, — еще иеизвестио, как бы все обошлось и чем закоичилось. Может быть, подсознательио, но именно этого — встречи с иими — я и боялся тогда и, лишь войдя во двор Пелагеи Карповиы, оглянулся на моштаковскую избу. «Теперь что? — вгорячах думал я. — Куда пойти и кому сказать? Пелагее Карповне? Или людей кликнуть? Или, может быть, сперва в Чигирево, к Федору Федоровичу?» О том, чтобы просить лошадь и саии у бригадира, я уже, конечно, ие помышлял.

Когда я вошел в комиату, лицо мое было, думаю, испуганным и бледным, потому что я заметил, как Пелагея Карповна, делавшая что-то у печи, на секунду даже будто бы замерла от удивления, глядя на меня.

«Скажите, — между тем, сбрасывая с плеч полушубок, видя непривычный взгляд хозяйки, понимая его и не в силах побороть своего волнения, спросил я, — сколько вы получили иа трудодень хлеба?»

«Шесть пудов, цеитнер, а что? Чего это — лица на вас иет?»

«А где в Долгушине хлебный амбар?»

«Колхозный, что ли? Был, так его еще до войиы, как объединялись, разобрали и свезли в Чигирево».

«Это точно?»

«А что случилось, Алексей?»

«Ничего, Пелагея Карповна, ничего не случилось, ио — пока ничего. Ничего», — повторял я, уже войдя в свою комнату и закрывая за собою дверь.

За все время, сколько жил у Пелагеи Карповны, я впервые в то утро заметил, что на моей двери есть накидной крючок; опять-таки не совсем соображая, для чего нужно, от кого здесь-то прятаться, запер дверь на крючок и принялся, как делал это уже не раз, но только теперь еще торопливее, ходить от окна к топчану и обратно. Я понимал, что надо успокоиться, что ничего сверхъестественного, собственно, не произошло. «Ну и что, что раскрыл тайник? Рано или поздно, а это должно было случиться, и не я бы, так другой, все равно!..» Но вместе с тем, как я говорил себе это, не только не успокаивался, но, напротив, с еще большей горячностью и ненавистью думал о Моштакове. И у меня были на то основания. «Торгаш несчастный, выжимала, вот у кого отцовские пальто и костюмы! — мысленно выкрикивал я, хотя, конечно, не у него они были, я знал, но непременно у такого же, как он, тихого, властного и бородатого мужичка (в деревне ли, в городе ли, везде они одинаковы; а может, жизнь их делает такими, это ведь тоже может быть? По крайней мере, так я думаю теперь, оглядываясь на все, а тогда много не рассуждал, просто видел в *них* зло, и зло это казалось мне неестественным и несовместимым с общепринятыми понятиями о жизни). — Сколько вас по городам и деревням, *своего рода* благодетелей народных? Шесть ларей. В каждом по четыре, пять центнеров, не меньше. Пятью шесть — тридцать. Тридцать центнеров, и зерно колхозное, общее, государственное, наконец», — продолжал я, поражаясь тому, как же раньше не мог открыть это, а ведь знал, чувствовал и только выжидал чего-то, а чего? У меня было такое ощущение, что я снова, как в детстве, когда отвозил вместе с Владиславом Викентьевичем белые узлы на сенной базар, открытой, обнаженной душой прикоснулся к этому грязному *моштаковскому* миру, и все время, пока метался по комнате, брезгливое выражение не сходило с лица. Иногда я останавливался у окна и, перегнувшись через стол и отвернув занавеску, смотрел на улицу, стараясь отыскать глазами — а для чего это надо было? — избу и подворье Моштакова, но, ничего не увидев, опять возвращался к топчану и шагал к столу.

Я перебирал мысленно, к кому лучше пойти:

«В сельсовет?»

«К председателю колхоза?»

«К участковому?»

«К Федору Федоровичу?»

Но все они находились в Чигиреве, и прежде надо было еще добраться туда. «По снегу, по ненакатанной еще дороге, одному, пешком!» Однако ничего другого, кроме как только идти пешком в Чигирево, придумать не мог и потому на глазах у изумленной и обеспокоенной Пелагеи Карповны, ничего не говоря и не объясняя ей, торопливо оделся и вышел из дому. Вслед за мною, когда я был уже за жердевыми воротами, появились на крыльце Пелагея Карповна в накинутом на голову и плечи темном платке и Наташа; дочь, как всегда, выглядывала из-за спины и из-под руки матери, и было тоже что-то взволнованное и испуганное в ее смотревших по-взрослому глазах; я помню это выражение, потому что, обернувшись, посмотрел прежде на нее, а потом на мать.

До Чигирева я добрался под вечер.

Во дворе сортоиспытательного участка было заснежено и пустынно; тусклыми желтоватыми пятнами светились в раннем и синем зимнем сумраке окна жилой, начальниковой, как здесь называли ее, избы.

В полурасстегнутом полушубке, разгоряченный от ходьбы и заиндевелый с мороза, едва постучавшись, можно сказать, я не вошел, а прямо-таки ввалился в комнату к Федору Федоровичу; на валенках, наскоро и плохо обметенных на крыльце, был снег.

«Что, вьюжит в поле?» — спросил Федор Федорович, окидывая меня взглядом.

«Нет», — ответил я и даже, по-моему, не словом, не голосом, а покачиванием головы.

«Привез?» — снова спросил Федор Федорович.

«Нет».

«О-о, да ты взволнован! Что такое приключилось?»

«Сейчас расскажу», — сказал я, снимая полушубок и направляясь к вешалке.

В доме Федора Федоровича, может быть, потому, что и сам хозяин, и жена его, Дарья, действительно-таки были людьми добрыми и гостеприимными, а может, просто потому, что все еще надеялись выдать одну из дочерей за меня и оттого радовались каждому моему приезду, непременно усаживали за стол, и Федор Фе-

дорович по случаю, как он любил говорить, доставал графинчик с водочкой и рюмки, я не чувствовал себя стесненно; когда дочерей не бывало дома и мы с Федором Федоровичем оставались одни (Дарья обычно не вмешивалась в разговор, она вышивала, сидя здесь же, на стуле, только время от времени вскидывая на нас голову), я даже, казалось, отдыхал, слушая, может быть, для кого-нибудь и скучные, но мне представлявшиеся удивительными и интересными рассказы старого агронома, и оттого теперь, едва вошел в комнату, как меня сразу же словно обдало всей этой атмосферой тепла и уюта. Видя доброе лицо Федора Федоровича — он стоял так, что керосиновая лампа, горевшая на столе, была за его спиною, но на затененном лице все же легко можно было различить то отечески-покровительственное выражение: и в сдвинутых к переносице густых старческих бровях, и во взгляде, который всегда действовал на меня особенно располагающе и который сейчас словно говорил: «Я тоже обеспокоен твоим волнением, но поверь моему опыту, все будет хорошо, я рассею любые сгустившиеся над тобой тучи», — видя именно это выражение на лице Федора Федоровича и видя добрые и по-своему удивленные и обеспокоенные глаза Дарьи, которая, встав со стула, но продолжая, уже машинально, поблескивать иголкой в свете лампы, вдруг даже будто с растерянностью (разумеется, для нее важно было свое!) сказала: «Как же, Алеша, Федя, а девочки наши в кино ушли», — как ни был я взволнован и как ни хотелось поскорее рассказать Федору Федоровичу обо всем, что кипело во мне, но при виде этих знакомых добрых лиц, знакомой обстановки комнаты со столом посередине, накрытым расшитой светлой скатертью, с комодом в простенке между окнами и зеркалом и семейной фотографией в рамке над ним и, главное, со старым, с продавленными металлическими пружинами диваном, на который как раз обычно и усаживали меня приветливые хозяева, я как бы начал оттаивать душой, чувствуя, как всегда, расположение к ним, и думал: «Хорошо, что пришел именно сюда, они поймут. Это надо же — шесть ларей!» Федор Федорович между тем терпеливо ждал, пока я повешу полушубок; и Дарья, продолжая вышивать, стояла тут же и смотрела на меня.

«Н-ну?» — проговорил Федор Федорович, когда я вышел на середину комнаты, к свету.

«Дай отдышаться человеку,— перебила его Дарья.— Садитесь, Алексей. Проходите, садитесь, — пригласила она, указывая занятыми вышивкою руками на диван. — Чаю хотите?»

«Да», — сказал я, чуть выждав.

Мне действительно хотелось есть, так как ушел я из Долгушина, не пообедав, но еще больше хотелось побыть сейчас наедине с Федором Федоровичем.

«Н-ну, — вопросительно повторил он, как только Дарья, оставив работу, пошла собирать на стол, — так что же такое произошло, что ты прямо-таки с лица сменился, а?»

«Шесть ларей, понимаете, каждый центнера по четыре, по пять...»

«Погоди-погоди, какие лари, где?»

«У старого Моштакова в тайной кладовой. Случайно обнаружил, сам, сегодня».

«У Степана Филимоныча?»

«Ну, у него».

«Погоди-погоди, давай по порядку, а то я что-то ничего не понимаю».

«Пошел я утром сегодня к бригадиру за подводой», — чувствуя, что и в самом деле надо рассказать все по порядку, начал я, продолжая смотреть на Федора Федоровича и не замечая еще пока, что вместо отечески-покровительственного взгляда, вместо того как бы налетного, неглубокого беспокойства, какое было только что на его лице, теперь появилось новое и тревожное выражение; но мы ведь не только в молодости, а зачастую и сейчас, когда, казалось бы, жизнь многому научила нас, споря, доказывая или второпях объясняя что-либо собеседнику, не следим за его лицом; в то время как я пересказывал Федору Федоровичу, что и как было, как я попал в тайную моштаковскую кладовую и увидел хлебные лари, я снова переживал все то, что уже пережил днем, и чувства эти представлялись (мне самому, разумеется) настолько чистыми, ясными и правильными, что я не мог даже предположить, чтобы Федор Федорович думал иначе, чем я; но он, теперь-то знаю, думал иначе и потому, когда я закончил рассказывать, заговорил не сразу, а с минуту сидел молча, то вскидывая глаза на меня, то глядя вниз, на цветной, домашней вязки половик под ногами.

«Угораздило же пойти на конюшню», — наконец

произнес он недовольным и ворчлнвым, какого я никогда прежде не слышал от него, тоном.

«Но я же не специально, Федор Федорович».

«А может, ты ошибся, н в ларях вовсе не пшенница, а овес, ячмень или еще что там для лошадей?»

«Да вы что, как я мог ошибиться?»

«Все, Алексей, может быть».

«Вы шутите, Федор Федорович: иеужели овес от пшеницы я не могу отличнть? Да какой же я тогда агроном-зерновик?»

«И это верно».

«Да и иа трудодни по тридцать цеитнеров ннкому не давали».

«Так ты что думаешь, воровашное?»

«Да».

«А может, все же колхозное?»

«Было, Федор Федорович, колхозное. Вы же знаете, в Долгушиие у нас нет хлебного амбара и кладовщика нет, все колхозное зерно всегда хранилось н храннтся здесь, в Чигиреве».

«Погоди, Алексей, не раскаляйся, дров наломать легче легкого. Степан Филимоиович не тот человек, которого можио вот так просто обвинить в чем-то. А-а, — заметно сморщившись, добавил он, — говорил же я тебе, не ввязывайся... А что, если хлеб все-таки колхозный, а ты вот так, а? Все может быть, и давай обмозгуем как следует, что к чему».

«Что мозговать, сходить к председателю, и все».

«Без спешки, только без спешки».

В это время вошла Дарья и сказала:

«Самовар на столе, Федя, приглашай гостя».

«Прошу», — проговорил Федор Федорович, вставая, и через минуту мы уже сидели за кухоиным столом, и Дарья разливала в стаканы чай. Она ие слышала, о чем мы только что разговаривали, и ннчего не зиала, ио женским чутьем своим сразу уловнла, что не только я, но и муж ее тоже чем-то обеспокоен, и потому, помалкивая пока, настороженио посматривала на него.

Но молчанне для нее (да н для всех нас) было тягостным, и она не выдержала и спросила:

«Что случнлось, Федя?»

«Ничего, собственно».

«Вы что-то скрываете от меня?»

«Да вот полюбуйся иа этого молодого человека, на нашу смеиу и иадежду, — неохотно, с заметной доса-

дою искривляя уголки губ, проговорил Федор Федорович. — Сколько предупреждал, сколько советовал, так нет, связался-таки с Моштаковым».

«Со старшим? — переспросила Дарья, и хотя из того, что сказал Федор Федорович, совершенно нельзя было понять, что же все-таки произошло между мной и старым Моштаковым, но для нее уже достаточно было того, что *связался,* и она тут же, спеша высказать свое мнение, искренне и назидательно произнесла, глядя на меня: — Да разве можно с ними связываться, Алексей, они раздавят вас, они здесь все заодно, мы-то уж знаем, насмотрелись».

«Кто «они», о чем ты говоришь, Дарья, что мы знаем, помилуй бог», — возразил Федор Федорович с раздражением.

«Ну как же... и председатель... и все...»

«Что ты мелешь своим дурацким помелом? Что мы знаем? Чего насмотрелись?»

«Федя, я...»

«Что «Федя»? Что «я»? Я тысячу раз просил тебя!..»

«Фе...»

«Замолчи!»

Федор Федорович, грохоча табуреткой, встал и, весь багровея до ушей, зло и даже, как мне показалось, ненавистно смотрел на жену; таким раздраженным, каким он был теперь, я никогда не видел его раньше; в то время как мы молчали, он снова и еще резче, чем только что, крикнул: «Замолчи!» — и вышел из кухни в комнату. Я проводил его взглядом, удивленный и ошеломленный этой неожиданной ссорой; семейная жизнь Сапожниковых всегда представлялась мне милой и дружной, дом — средоточием уюта и покоя, где все было как будто медлительно: и движения, и разговоры, и вообще весь ход жизни, и вместе с тем подчинено одному, *научному,* как я определял, глядя на Федора Федоровича, ритму; я считал его скромным, тихим, не рвущимся на пьедесталы сельским ученым, который творит свое дело в глубинке, настойчиво, устремленно, выводит *свой* вечный сорт пшеницы, и придет час, сам собою придет, когда все неожиданно узнают, как велик его труд и как сам он, деревенский агроном, велик и щедр душой, и жизнь его, и цель, и работа казались совершенными, достойными примера и подражания; часто втайне я завидовал его счастливой судьбе, и потому все, что произошло теперь, было для меня именно ошело-

мительным и не совмещалось с тем, как я представлял и что думал о Федоре Федоровиче. Очевидно, как и сотни других людей (как, впрочем, тот же, скажем, Моштаков), Федор Федорович жил раздвоенной жизнью, одна, внешняя — для окружающих, для общественного мнения, в какой-то мере и для меня (ведь и у меня складывалось мнение), и в этой, внешней, все разумно, спокойно, устремленно, а главное, похвально и привлекательно: и семьянин и ученый, другая же — для себя, в душе, за семью замками, которую зачастую приходится скрывать и от детей и от жены, но она-то, эта другая жизнь, и является ведущей и определяет дела и мысли. Какой была она у Федора Федоровича? Но что была, уверен. В конце концов ведь и у меня была своя, какую я, может быть бессознательно тогда, но прятал от людей; обмененные отцовские костюмы на муку постоянной болью отдавались во мне, оттого и ненавидел я старого Моштакова, но до времени, до этого вечера у Федора Федоровича никому ничего не рассказывал и ничем не проявлял свою ненависть! Так и Федор Федорович, хотя я все же и теперь склонен думать о нем, что он был человеком честным, но трусливым; я уже говорил, что он, по-моему, все видел и понимал правильно и только боялся высказывать свои соображения, отгораживался от всего, сформулировав для внутреннего пользования удобное и все оправдывающее выражение: «Не наше дело». Даже спустя много лет, когда я неожиданно снова встретился с ним, он не стал говорить о Моштакове, хотя тогда уже все это было в прошлом, и в старческих глазах его, я заметил, как будто каким-то отдаленным светом отразился испуг. Но до той новой встречи было еще далеко, а в минуту, когда он вышел из кухни, оставив за столом нас вдвоем с Дарьей, я разумеется, не думал ни о двойственной его жизни, ни о чем-либо даже отдаленно напоминавшем это; да и окрик его: «Замолчи!» — был неожиданным. «Что-то же, конечно, он видел, знает, что связано с моштаковскими хлебными ларями, но что и почему нельзя об этом говорить? Может быть, и он?.. Заодно?..» Я машинально принял из рук Дарьи поднесенный мне стакан с чаем и посмотрел на нее так, словно хотел прочитать на лице ее подтверждение тому, о чем подумал (что «да», и Федор Федорович заодно с Моштаковым!); но я увидел лишь смущение в ее глазах, ей было неловко от всего, что произошло, она чувствовала

себя виноватой и готова была чем угодно загладить вину, но не знала чем и как и только несколько раз негромко повторила: «Боже мой, что же это!» Федор Федорович же, было слышно, торопливо и нервно прохаживался из угла в угол в соседней комнате. Я не стал пить чай; мне было неприятно смотреть на смущенную Дарью, как она, пожилая женщина, мать трех взрослых дочерей, униженная окриком мужа, должна была теперь что-то говорить мне, оправдываясь, исправляя впечатление, и неприятно было слышать, как вышагивал за дверью Федор Федорович; еще резче, чем минуту назад, когда рассказывал Федору Федоровичу о тайной кладовой и ларях, я увидел перед собою те моштаковские лари с зерном и увидел мужиков, которых Владислав Викентьевич называл «мучное брюшко» и которые в промерзших, заиндевелых сенцах отвешивали мне муку за отцовские костюмы, и вся ненавистная, нечестная жизнь этих людей, представшая вдруг простой и ясной схемой — «Да он же вот, насквозь виден, Моштаков!» — поднимала в душе то чувство, когда я не мог и не хотел разбираться, заодно ли с Моштаковым Федор Федорович или не заодно. Я встал, отодвинул табуретку и вышел из-за стола.

«Спасибо за чай, — сказал я Дарье, — я сыт, до свиданья».

Федор Федорович как будто не обратил внимания на меня, когда я появился в комнате; лишь когда, сняв с вешалки полушубок, начал было одеваться, он остановился и, оглядев меня совсем иным, чем только что, не раздраженным, не сердитым, а привычным покровительственно-доброжелательным, как он любил обращаться ко мне, тоном проговорил:

«Куда же вы на ночь глядя, Алексей?»

Я ничего не ответил и продолжал одеваться.

«Нет, милостив-с-сударь, я никуда вас не отпущу, — продолжил он, проходя вперед и преграждая мне дорогу к выходу. — Мало ли что наговорят жены, их послушать, так и жизнь не жизнь. Вы еще не женаты, но узнаете, у вас все впереди. Все-все, — добавил он, принимаясь расстегивать полушубок на мне. — А с Моштаковым надо обдумать как следует, боюсь, как бы вы не влипли по молодости в историю».

«Зерно краденое», — сказал я, отстраняя руку Федора Федоровича.

«У вас есть доказательство?»

«Лари».

«Хм, это еще ни о чем не говорит, — произнес он, и усмешка заметно засветилась на его сухих старческих губах. — Я думаю о вас, только о вас. В конце концов мы работаем в научном учреждении, у нас свои цели и обязанности, а вы беретесь, один бог ведает, за какое дело. Вы должны даже во сне бредить научным открытием, этого я ждал от вас, но вы... да и зерно, я уверен, колхозное, так оно и окажется, и все ваше рвение — сплошная глупость. В итоге вы же останетесь в дураках».

«Зерно краденое».

«А вам не только работать, но и жить с людьми. Деревня, она, вы приглядитесь, если уж осудит, места не будет вам».

«Краденое!» — снова повторил я, с нескрываемой неприязнью глядя на Федора Федоровича.

Я горячился, знаю, но не по молодости; я представлял себе душевный мир старого Моштакова настолько ясно, что ни минуты не сомневался в своей правоте, и потому рассуждения Федора Федоровича казались неверными и подозрительными; я уже не испытывал к нему того уважения, какое всегда жило во мне; именно здесь, у двери, одетый в полушубок, я словно бы притронулся к чему-то прежде невидимому, закрытому в Федоре Федоровиче, к обнаженной душе его, что ли, и весь он со своими всегда *умными* мыслями, со своей *научной* устремленностью, с глубоко скрытым желанием производить только хорошее впечатление на людей и старанием, с каким он делал это, раньше как будто незамечаемым мною, казался теперь совершенно иным, разгаданным, ложным, и ложь эта была очевидна не только в словах, но в интонации, во всем лице, повернутом на меня, в сутулости, как он стоял, втянув и без того короткую шею в плечи. Я до сих пор не могу уяснить себе, что заставляло его так волноваться. Никаких порочащих дел ни с Моштаковым, ни с Андреем Николаевичем он действительно-таки не имел, о моштаковских ларях, как выяснилось потом, знал весьма отдаленно, а точнее, только догадывался, что они есть, но старался не думать о них, и ничем ему не угрожало моштаковское разоблачение, но вот волновался же, боялся чего-то, как будто краденое зерно хранилось не у старого Моштакова, а у самого Федора Федоровича. Может быть, боялся, что в разоблачении заподозрят его и он будет ходить затем

по деревие как меченый под недобрыми взглядами председательской и моштаковской родни («Люди злы, обид не прощают, рано ли, поздно ли, а подставят и тебе ногу», — как-то говорил он мне, но только теперь, запоздало, вдруг, я понял весь ужасающий смысл этих слов; есть же люди, постоянно терзающие себя ожиданием, когда и кто подставит им ножку!); но, может быть, лишь из привязанности к Андрею Николаевичу, из опасения потерять однажды приобретенного в кои-то годы друга, из опасения, что с потерей друга, а в сущности, потерей поддержки нарушится общий привычный ритм жизни, или, может быть, исходя только из той философии, как Владислав Викентьевич, как Пелагея Карповна, что они, моштаковы, тоже делают *своего рода* доброе дело, и потому их не следует трогать, *из такого* понимания и толкования добра людям, но так или иначе, а Федору Федоровичу не хотелось, как он выразился, шума, и он, держа меня за полы полушубка и по-прежнему преграждая дорогу к выходу, снова и снова старался внушить, что делаю я непростительный, неверный и глупый по молодости шаг. Он говорил: «Надо же сначала узнать все как следует, удостовериться, уточнить, поговорить с самим Степаном Филимоновичем, на худой конец, с Кузьмой, с бригадиром, и, я уверен, все можно выяснить и уладить. В конце концов куда же оно денется, это зерно, к чему такая поспешность? — И в голосе, и в глазах, как он смотрел, было искреннее желание остановить меня. — Снимайте полушубок. Снимайте же и не противьтесь. Куда вы в такую морозную ночь? Нет-нет, милостив-с-сударь, я считаю своим долгом...» Я как будто слушал Федора Федоровича, смотрел на него, но, по-моему, воспринимал далеко не все, что он, чем дольше мы стояли друг против друга, тем с большей убедительностью старался внушить мне; мгновенно, как это часто бывает, я вспомнил все предыдущие встречи и разговоры с Федором Федоровичем, начиная с первой, что произошла в доме Андрея Николаевича, и — так уж устроено человеческое сознание! — с удивлением, на секунду как бы перекинувшись на *то* красиодо́линское застолье и представив себя с *тем* глупо-восторженным выражением, как я смотрел на Федора Федоровича и Андрея Николаевича, поднимая вместе с ними наполненную водкой рюмку, с удивлением и насмешкою над собой думал, что все это, что открылось в Федоре Федоровиче, можно было увидеть еще тогда: и в том, как он выслушивал по-

хвалы Андрея Николаевича (глядя сейчас на его обеспокоенное лицо и замечая это беспокойство, я вместе с тем видел и то, раскрасневшееся и расплывшееся в довольстве, и невольно морщился, так как все это было неприятно мне), и в том, как сам он хвалил заведующего райзо и поднимал за него тосты, и пьяный храп в комнате, где мне постелили тогда постель, и торчащая нога в белых кальсонах, и, главное, подвода и мешок с мукой, внесенный на остекленную веранду, к которому, конечно же, Федор Федорович не имел никакого отношения, но мне казалось в эту минуту, что имел и что ничем иным, а только этим и объясняется все его теперешнее поведение. «Все вы заодно, — мысленно восклицал я, — все!» Я вспомнил и то, как мы ехали на подводе в Долгушино, и разговор о долге агронома, о науке и мужицкой практике земледелия, и рассуждения те казались мне теперь лишь отвлекающею глаз накидкой, под которой скрывалось совершенно иное, чуть ли не моштаковское, по крайней мере так казалось мне теперь, нутро. «Как он стелил: доброта, мягкость! — говорил я себе. — Вот оно все!» И те приветливые возгласы: «Ба! Алексей! Добро пожаловать! Милости просим!» — какими каждый раз встречал Федор Федорович, когда я приезжал в Чигирево, и *стопочки*, какие появлялись непременно к ужину на столе, и похвалы, какими он, особенно при дочерях, одаривал меня, — все казалось ложным, искусственным, и оттого, что я понимал это, еще больше морщился. «Я видел то, что хотел видеть, — упрекал я себя, — а не то, что было на самом деле. Но теперь хватит, довольно!»

«Разрешите», — сказал я, настойчиво отстраняя Федора Федоровича и направляясь к двери.

«Ну что ж, дело хозяйское, — в ответ проговорил он. — Я предупредил, а теперь как знаешь. Сам заваришь, сам и расхлебывать будешь, а я — я ничего не слышал и ничего не знаю».

Я уже взялся за ручку и готов был открыть дверь, но, услышав эти слова, обернулся и еще раз взглянул на Федора Федоровича. За его спиной, за кухонным порогом стояла виновато-смущенная, жалкая Дарья.

«Да, да, — подтвердил Федор Федорович, — хлебай сам, милостив-с-сударь».

Уйти, не ответив на это, чувствовал, было нельзя; я хотел сказать: «Да, сам и расхлебаю», — но вслух произнес совсем другое.

«Краденое, — неожиданно для себя повторил я уже не раз говоренное сегодня. — Краденое!» — И, рывком открыв дверь, через холодные и темные сенцы вышел во двор.

В ту минуту, когда стоял на крыльце и вглядывался в очертания навеса и конюшни и в темные на снегу, незапряженные сани, на которые падал оконный свет, я еще не испытывал раскаяния, что так резко и непримиримо разговаривал с Федором Федоровичем, и сомнения еще не терзали меня — все это придет часом позже; я был так возбужден, что и мороз казался не морозом, и пронизывающий ветер и начинавшаяся поземка, как бы пригоршнями холодных и колючих игл хлестнувшая по лицу, не только не заставили поднять воротник и отвернуться, но, напротив, как был расстегнут полушубок — не застегивая, лишь запахнув полы, я двинулся навстречу ветру и поземке к воротам. На улице ветер дул еще сильнее; как по желобу, гнал он вдоль засугробленных изб и плетней завихривающие струи снега, монотонно и жутко посвистывая в бревенчатых сплетениях и застрехах под соломенными крышами; люди сидели по избам в этот предночной метельный час, и, может быть, оттого, что вокруг было пустынно, лишь желтыми квадратами кое-где светились не закрытые ставнями окна, и, конечно же, от холода, который, не пройдя и двадцати шагов, я начал ощущать и ежиться, на какое-то мгновенье я показался себе одиноким, бессильным, жалким (чувство это, впрочем, было уже знакомо мне: я всегда испытывал бессилие, когда вносил в дом обмененную на отцовские костюмы муку; бессилие перед какой-то огромной и неубывающей армией «мучное брюшко»), жалким со своей ненавистью к Мощтакову, со своим пониманием добра и зла, таким ясным, простым для меня, но почему-то в силу каких-то непонятных причин неясным и сложным для понимания других. «Не хотят, своя мерка дороже, вот что», — говорил я себе. Я поднял воротник и стоял, повернувшись спиной к ветру, раздумывая, куда пойти теперь. О председателе не могло быть и речи, потому что каким-то будто звоном отдавались еще в ушах слова Дарьи: «Они здесь все заодно... и председатель... и все...» Нужно было к участковому уполномоченному милиции Старцеву (он был один на несколько деревень, в том числе и на Долгушино), я знал, что он живет в Чигиреве, но где, в каком доме? Невольно, будто действительно таким образом можно было что-то узнать,

я начал приглядываться к сгорбленным на снегу вдоль улицы избам и вдруг увидел вдали, сквозь вихри поземки, приближавшиеся серым клубком запряженные парою лошадей сани. Не могу сказать, сразу ли я узнал, что это были выездные, с мягкими подушками сани заведующего райзо Андрея Николаевича, или уже потом, когда заснеженная упряжка поравнялась со мной (я хорошо помнил сытых и резвых земотделовских коней), но не в этом суть; важно, что узнал, и когда сани свернули во двор сортоиспытательного участка, мне показалось, что ветер донес знакомый и, как в те минуты я воспринимал, ложноприветливый возглас Федора Федоровича: «Ба! Кто к нам!»

«Заодно, — полуобернувшись и глядя в темноту, в сторону скрывшихся за воротами саней, вслух, не боясь, что кто-либо услышит (не боясь именно потому, что вокруг никого не было), проговорил я. — Все заодно! — И при этих словах как будто новый прилив решимости охватил меня. — Хорошо, — продолжил я, словно они, Федор Федорович и теперь приехавший к нему Андрей Николаевич, к кому я обращался, могли слышать меня, — сам заварил, сам и расхлебаю. Тоже мне, *своего рода* добро... Посмотрим», — докончил я вызывающе, будто и впрямь не у Моштакова, а у них, Федора Федоровича и Андрея Николаевича, хранилось краденое зерно.

ЧАС ЧЕТВЕРТЫЙ

К Старцеву, его звали Игнатом Исаичем, я попал не сразу; прежде еще пришлось постучаться в несколько изб и пройти затем через все Чигирево на другой конец деревни, наклоняясь навстречу ветру и колкой поземке; когда же наконец остановился у порога старцевской избы, ожидая, пока жена Игната Исаича, громыхая в темных сенцах деревянным засовом, откроет дверь, чувствовал себя настолько продрогшим, что на вопрос хозяйки, кто я и зачем пожаловал, долго не мог сказать ничего внятного, губы не слушались, да и голос казался будто не своим, чужим, неуправляемым.

«Из Долгушина! Пешком! — воскликнула она. — Проходите».

В комнате, на свету, у двери она обмела веником снег с моего полушубка, когда же, раздевшись, я прошел к теплой еще, как видно, недавно топленной печи,

она подала табуретку и сочувственно и жалостливо, как Пелагея Карповна, поглядев на меня, сказала:

«Отогревайтесь, Игнат Исаич (мне иногда кажется удивительным, отчего многие деревенские женщины называют своих мужей по имени и отчеству, а не просто Игнатом, или Андреем, или хозяином; от уважения ли к главе семьи или, может быть, от той значимости на селе, какою, как им должно представляться, пользуются их мужья, и значимость та вызывает опять-таки гордость и уважение, а может, всего-навсего старая и забываемая теперь традиция? Но как бы там ни было, а величание всегда производит на меня доброе впечатление, словно что-то большое и важное кроется за словами этих деревенских женщин, за тоном голоса, как они говорят — Игнат Исаич! — сознание, может быть, не просто жизни, а места человека в ней! С первых же минут, как только она заговорила, почувствовал, что отогреваются не только руки, лицо, грудь, но какое-то будто иное, чем от печи, тепло проникает в душу, в сознание, выравнивая и укладывая течение мыслей в спокойное и привычное русло), — Игнат Исаич, — между тем продолжала она, словно специально для меня подчеркивая достоинство и почтенность мужа, — скоро придет. Он недалеко, здесь, через две избы, у Сыромятниковых».

Я сидел молча. Лампа горела на столе, за спиною, и тень от моей головы и плеч ложилась на белую стену печи, изламываясь у заставленного чугунками шестка и заслонки. Хозяйка не беспокоила вопросами, я не оборачивался и не видел ни ее лица, ни того, что она делала, а временами вообще как будто забывал о ней, и тогда, может быть, именно оттого, что отогрелся у теплой печи, а может, просто от наступившего вдруг после всех переживаний покоя (не знаю, как бы могли мы жить, не будь в человеке этого защитного средства, что ли, — покоя!) и мысли и воображение по каким-то неизвестным, во всяком случае, неведомым мне законам бытия поминутно словно вырывали меня из этой обстановки, от Моштакова, Федора Федоровича, Андрея Николаевича, о ком я как раз и должен бы думать, и переносили в иную, в то недалекое довоенное прошлое, когда еще был жив отец, и о войне если, может быть, и говорили взрослые, то негромко, скрытно, про себя (по крайней мере, я никогда не слышал в доме ни от отца, ни от матери слова: «война»); в общем, все то, как я, прожив свои двадцать лет, видел и понимал мир, вставало те-

перь перед глазами, объединенное одним понятием *жизнь*, и вместе с тем четко и ясно разделенное надвое бороздою, по одну сторону которой — все, что было хорошего (разумеется, в людях!), мир добра и справедливости, а по другую — что я ненавидел и что представлялось оскорблением жизни (разумеется, что тоже было в людях!), мир зла и несправедливости, и я лишь с изумлением и недоумением спрашивал себя: «Почему? В чем причина? Где корень всему?» Я как будто уходил от того вопроса — раскрытые мною моштаковские лари с зерном! — который должен бы волновать меня, и старался найти ответ на другой: почему существует зло, если оно так очевидно и вполне истребимо каждым человеком в себе, и это так просто? — и как будто не было никакой связи между тем, о чем я должен бы думать и о чем думал, и на душе действительно-таки чувствовалось облегчение (но на самом деле это только казалось, что не было связи); в конце концов, когда появился в избе Игнат Исаич, я снова уже и с негодованием размышлял о Моштакове, а вместе с ним и о Федоре Федоровиче и об Андрее Николаевиче, который там, у Федора Федоровича в избе, за самоваром, тайно сговаривался сейчас со своим старым другом, как *остановить* меня и спасти моштаковские, а в сущности, свои лари, наполненные краденым колхозным хлебом, — словом, думал о них, потому что они-то как раз и составляли главное зло в моем тогдашнем понимании. Но до появления Игната Исаича было еще далеко, вопреки обещанию хозяйки, он запоздал, так что около часа я просидел неподвижно возле теплой печи, мысленно рассуждая сам с собою; Игнат Исаич был для меня властью, законом, вернее, блюстителем закона, и потому я ни секунды не сомневался, что он-то (это не Федор Федорович!) сразу поймет что к чему и немедленно примет меры. Мне представлялся мир, разделенный надвое, на добро и зло, и все казалось настолько несложным и ясным и так четко отличимым друг от друга, как две, черная и белая, полосы, проведенные рядом, что именно изумление, а никакое иное чувство охватывало меня перед всей этой очевидной ясностью и простотою. Но странно — в то время, как все представлялось ясным, ответа на вопрос, почему же все-таки существует зло, не было; и не было потому, что я искал его на поверхности; это только нам кажется, что добро и зло — категории ясные, а на самом деле, даже тогда, как только

я начинал разбирать то или иное явление, перед глазами возникал клубок связанных между собою звеньев, и связь эта выглядела настолько многообразной и взаимовлияющей, что чем пристальнее я всматривался в нее, чем глубже, казалось, проникал в суть явления, тем отдаленнее и туманнее представлялась истина. «Удивительно, — говорил я себе, — какая-то чертовщина», — и только что волновавшие воображение картины повторялись, я опять видел казавшееся мне далеким-далеким детство — и это в двадцать-то лет! — когда не просто сознание жизни, или, как это должно быть, радость бытия, нет, а сложность и, не побоюсь сказать, трудность (прожить беззаботно, убежден, не хитрое дело), *соль* жизни проникали в мое детское сознание.

Снова все начиналось с той длинной дороги в деревню, которая была особенно памятна мне — на телеге с деревянными осями, с берестяным ведерком, болтавшимся между задними колесами (в нем был черный и тягучий деготь для смазки), мы ехали с отцом в Старохолмово покупать дом. Как участнику гражданской войны и ударнику производства отцу выделили земельный участок на окраине города (тогда, знаете, многим давали участки, индивидуальное строительство поощрялось: ведь надо же было поднимать страну из разрухи), дали ссуду, теперь-то знаю, обещали помочь и строительными материалами, но дешевле и проще было в то время купить в деревне дом на снос и перевезти в город; так делали многие; так решили и мои отец и мать. Я не просился в дорогу; отец сам взял меня, и это было событием в моей жизни, я и сейчас считаю, ступенью, откуда начинается сознание, память и где, если хотите, берет начало эта самая различительная черта между добром и злом, которая и теперь остается для меня неизменной и помогает определять отношение к людям и событиям. Так вот, я словно опять ехал в деревню и то смотрел на круп лошади, как тогда, в тот ясный летний день, на шлею, которая казалась мне лишней и мешала ровному шагу рыжей и тощей лошаденки, то на колесо и колею, серую в обрамлении тронутой желтизною, но еще зеленой и местами сочной травы, то на солнце, которое как бы висело над лесом, куда мы ехали, и от созревавших хлебных полей возникало чувство радости, добра, жизни; я смотрел вокруг, и все мне казалось необыкновенным и не просто наполненным добром, но щедрым и единым в этой своей доброте; и двор старой

мельницы, куда мы заехали отдохнуть и пообедать, тесный от подвод и звуков: хруста жующих сено лошадей и говора мужиков в рубахах, краснощеких, с кнутами в руках и заткнутыми за пояса, кнуты эти тоже казались частицею того единого доброго мира, как все представлялось тогда, и пожилая мельничиха в захватанном фартуке, принесшая нам молоко, и тысячи мух. которые как бы роились над всем двором и над столиком из досок, за которым мы сидели, — все-все и теперь, когда вспоминал, укладывалось в одно приятное чувство, а тепло от печи, перед которой сидел, и запах борща и печеного хлеба, чем пахнут все русские печи в деревнях, лишь усиливали то вдруг вернувшееся впечатление детства. Я так и уснул тогда в дороге, не дождавшись Старохолмова, и отец укрыл меня, съежившегося на колких объедках сена, которыми была заполнена телега, своим теплым с плеч пиджаком; уснул с тем ребячьим пониманием мира как всеобщего добра и счастья, не ведая, что уже наутро жизнь прорежет первую и видимую даже для детского взгляда трещину, словно промнет свежую тропу наискосок по несжатому пшеничному полю. Наутро мы торговали два дома, вернее, отец торговал, а я лишь смотрел то на отца, то на хозяев, с которыми он разговаривал. Первый дом, который все называли пятистенником и к которому прежде всего направился отец, стоял почти в самом центре Старохолмова, даже не стоял, не то слово, а возвышался, привлекая внимание и резным крыльцом, и еще как будто новой тесовой крышей, и когда отец (а вместе с ним и я, не отставая ни на шаг), обходя вокруг дома, обстукивал бревна, желая убедиться, нет ли гнили или какой другой порчи в сердцевинах, толстые, не совсем еще потемневшие от времени венцы, казалось, звенели сухим приятным звоном, и хозяин в жилетке и с выпущенной из-под жилетки рубахою, сухощавый, с ровным пробором чуть начавших редеть русых волос, с усмешкою поглядывая на отца, то и дело произносил: «Для себя рублен, не на продажу». Именно эта его усмешка больше всего запомнилась мне; я заметил ее в первую же минуту, как только мы подошли к дому, и на ступеньках, встречая нас, вырос хозяин (я не расслышал ни имени его, ни отчества; да и важно ли это?); прежде чем сказать первое слово, он молча и как бы свысока осматривал нас, думая про себя, наверное, что, мол, за покупатели такие явились и хватит ли у них денег на его хоромы, и эти

мысли его (а теперь я добавил бы: и презрение, которое, конечно же, он не мог не испытывать к нам) были отражены на его сморщенном усмешкою лице.

Он спросил:

«Мошна большая?»

«Денег сколь, что ли?»

«Да».

«Хватит».

«Ну-ну, поглядим...»

Не то чтобы я понимал все, что и как было (это ведь сейчас только я так ясно все представляю и оцениваю), шел мне всего лишь седьмой год; но как ни мало́ бывает наше детское разумение, каким-то, даже затрудняюсь сказать, седьмым ли, десятым ли, а может, как раз первым и самым обостренным детским чутьем уловил я то недоброе, что жило в этом человеке, и мне было жалко отца, когда он, стараясь не замечать хозяйского презрения, разговаривал с ним (хотелось же купить дом получше!), и с ненавистью, впервые, может быть, возникшей во мне, смотрел на этого незнакомого сухощавого человека в жилетке, выдвигаясь вперед, чтобы он непременно понял мой взгляд, и, в конце концов, тоже в упор посмотрев на меня, он не выдержал и как бы цедя слова сквозь зубы, проговорил:

«Эк волчонок какой растет, чисто волчонок».

Он запросил за дом сумму, какую отец не мог ему заплатить.

«Вы серьезно? — с удивлением произнес отец. — Кто же вам даст такие деньги!»

«Найдутся, дадут».

«А дешевле?»

«Нет».

«Но, может...»

«Дешевле — поищи рядом».

«Ну какой это разговор!»

«Поищи, поищи», — повторил он, снова и с той же презрительной усмешкою оглядев отца и меня с ног до головы. Одеты мы были в старое, поношенное — что же еще можно было надеть в дорогу! — и это, думаю, как раз и вызывало в нем недоверие к нам; но, может, не только это. Я помню, как мы выходили со двора, провожаемые с крыльца прищуренным хозяйским взглядом, как отец, уже очутившись на улице, еще несколько раз останавливался и, полуобернувшись, смотрел на пятистенник; дом нравился отцу, я понимал это и, мне ка-

жется, переживал вместе с ним, и тем сильнее испытывал неприязнь к хозяину, оставшемуся на ступеньках, неосознанно, а лишь детской интуицией видя в нем неожиданно открывшееся на всеобщем фоне добра и счастья зло. Конечно, может быть, не так уж и ясно я представлял себе все это, о чем говорю сейчас, но вот сохранилось же чувство, а значит, оно было, и я не мог выдумать его; оно повторялось во мне теперь, то чувство, когда я сидел возле печи в старцевской избе, глядя на шесток и не видя его, и не сознавая, что за спиною, у стола, так же умостившись на табуретке, вся освещенная ярко горящей керосиновой лампой, сидит хозяйка и с жалостью ли, осуждением или иным каким чувством смотрит на мои сгорбленные плечи; да, оно повторялось; вместе с тем как я видел себя идущим рядом с отцом и моя маленькая рука, казалось, грелась в его теплой и жесткой ладони, вместе с тем как я будто оборачивался, подражая отцу, и оглядывал добротный и, как я уже говорил, словно возвышавшийся над всеми другими избами пятистенник — я испытывал нараставшее с каждой минутою чувство и страха и ненависти к этому вдруг открывшемуся злу. «Вот откуда все! С него... все начинается с него», — мысленно повторял я пришедшие на ум, несомненно, только теперь слова, но мне казалось, что я произносил их тогда, во всяком случае, что-то очень схожее по смыслу, хотя, конечно, *тогда*, в Старохолмове, я не мог ни думать так, ни тем более произносить что-либо близкое к этому; я лишь смотрел на все, может быть, действительно-таки волчонком, и когда мы второй раз пришли к хозяину пятистенника, помню, что-то заставило меня спрятаться за спину отца, и уже оттуда, как бы из-за укрытия высунув голову, наблюдать за сухощавым и казавшимся мне злым (как будто еще отчетливее на лице его виднелась презрительная усмешка) человеком.

«Ну так что же, хозяин, спускайся с крыльца, потолкуем», — сказал отец.

«А чего толковать?»

«Порядимся, может, и сойдемся в цене».

«Давай-ка иди подальше, дом пока еще мой, сколь хочу, столь и возьму. Есть деньги, клади, нет — ступай, ищи по карману. Все».

«Да что же так-то?»

«Все!»

Мы купили другой дом, похуже, у пожилой одинокой

женщины, которая уезжала куда-то на стройку, в какой-то «барак али еще что», куда приглашал ее сын; отец долго ходил вокруг избы, так же как и пятистенник, обстукивая ее, разглядывал никогда не знавшие краски и, казалось, посиневшие от времени оконные рамы и ставни и потом, вечером, за лампою, подсчитывал, что придется заменять и обновлять и во что это обойдется, а я с полатей, куда уложили меня, смотрел на его склоненную над столом и клочком бумаги голову. В сознании моем возникал теперь и этот вечер, и все последующее, как перевозили и устанавливали дом, и особенно то, каким виноватым чувствовал себя отец перед матерью, когда наконец обрисовались контуры купленной им, как определила мать, халупы, и я испытывал теперь запоздалую боль за отца и снова и снова как бы видел перед собою оставшегося там, на ступеньках крыльца, сухощавого и злого хозяина пятистенника. «Все с него... конечно же, какой тут может быть разговор!» — уже с ненавистью восклицал я, и как бы сама собою прочерчивалась линия от того хозяина к Моштакову через сенной базар и вещевой рынок, через всех памятных мне мужичков — «мучное брюшко», с которыми сталкивала жизнь, и еще с десятками разных людей: и в техникуме, и среди знакомых нашей семьи, среди соседей, в которых так или иначе я видел хитрость и ненавистное мне зло; все они как будто выстроились, и в самом конце, венчая строй, возвышался над всеми, как тот пятистенник, Моштаков со своими хлебными ларями; рядом же с ним были и Федор Федорович и Андрей Николаевич. Я понимаю, что смешно и нелепо так представлять все, но в том состоянии, в каком находился я, в той горячности, какая охватывала меня, все казалось верным. Да иначе и не могло быть. «Вот они, — говорил я себе самые обыкновенные и самые, наверное, заезженные, но для меня, несомненно, звучавшие как откровение слова, — паразиты на теле человечества».

За спиною все так же было тихо и так же ярко горела керосиновая лампа; но, может, мне только казалось, что было тихо? Во всяком случае, до появления Игната Исаича, до той минуты, когда он, шумно войдя в комнату, воскликнул: «Это кого еще к нам на ночь глядя!» — ничто не прерывало моих размышлений; я не только думал о Моштакове и не только видел перед собою зло; оно было лишь по одну сторону борозды, тогда как по другую тоже лежал мир. Он, этот мир доброты

и человечности, как бы заслонял все и начинался для меня также в Старохолмове; память опять уводила к тем местам и тем дням, когда мы перевозили из деревни в город купленный дом. Отец подрядил трех чувашей-единоличников, и я напросился ездить с ними сопровождающим — от Старохолмова до города и обратно. Я мог бы, кажется, часами рассказывать о том, что и как они делали, как размечали венцы, оставляя топором зарубки на каждом бревне, как наваливали эти бревна на разобранные и раздвинутые телеги и увязывали веревками и цепями, как медлительно будто и вместе с тем споро подвигалась работа, но все это было лишь внешней и привлекательной стороною, тогда как главное, что поразило меня и что оставило неизгладимый след на душе, была неиссякаемая и, казалось, жившая даже в складках их простоватой холщовой одежды доброта. Не то чтобы они были ласковы ко мне, что ли, нет, для них было равно все: и я, и свои лошади, которых они считали кормилицами, и бревна, которые поднимали, и трава, и дорога, и небо, и лес, на опушке которого обычно останавливались, чтобы покормить лошадей, — все было для них как бы одухотворенным, живым, требовавшим уважения, и они *отдавали* уважение с той естественностью и простотою, что нельзя было не удивляться, глядя на них. И я удивлялся, не так, конечно, как сейчас, не рассуждая столь въедчиво, вернее, вовсе не рассуждая, а лишь чувствуя всей детской душою доброту этих людей, и сам оттого, мне кажется, становясь добрее и ласковее. А ведь ничего особенного как будто и не было; просто перед тем, как отправляться в дорогу, когда бревна бывали уже увязаны на телегах, мужики присаживались на обочине, закуривали, передавая кисет из рук в руки, и начинали почти каждый раз один и тот же разговор: какую из лошадей пускать передом?

«Ну? — спрашивал обычно самый старший из мужиков, шевеля густыми и светлыми, словно покрытыми дорожной пылью усами. И лошаденка у него была чалая, будто под цвет усов. Она казалась крупнее двух других, выглядела более справной, и хозяин-чуваш не без заметной гордости поглядывал на нее. Но он не хотел обижать напарников и потому, обращаясь то к одному, то к другому, продолжал: — Как разумеем-будем?»

«Оно можно бы и мою, Митрив-то вывозили, так передо шла», — вставлял первый.

«Можно-ть и мою, — вмешивался в разговор второй, — но только твоя, Тимофей (так звали чуваша со светлыми усами), на овсе нынче, и шаг должен быть покрепше, а путь — эвона!»

«Овес-то, да-а...»

«Надо пускать чалую».

«А ты как?»

«Чалую».

«Ну так что, порешили?»

«Да».

«Тогда с богом», — завершал разговор Тимофей и, поднявшись, не спеша направлялся к своей лошади, брал ее под уздцы и выводил в голову небольшого, три подводы, обоза.

И в самом деле, как будто ничего особенного не происходило — поговорили, встали и пошли, — но надо было сидеть рядом с ними, надо было видеть их лица, слышать негромкие и неторопливые, исполненные достоинства голоса; я тоже подымался и шел вместе с Тимофеем, боясь прозевать ту минуту, когда он, запустив ладонь под гриву, примется хлопать чалую по шее, и лошадь, словно отзываясь на ласку, тут же повернет морду и, шевеля розовыми губами, потянется к его руке; а Тимофей, достав из кармана корку хлеба, с ладони скормит ее чалой. Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но эта маленькая сценка всегда производила на меня особенное впечатление; за обедом и ужином я набивал карманы хлебными корками, а потом, стараясь делать так, чтобы никто не видел, подходил сначала к чалой и, подражая хозяину-чувашу, а если откровеннее, воображая себя хозяином, тянулся рукой к потной лошадиной шее, чтобы похлопать ладонью, погладить, обласкать, что ли, а затем скармливал, как и Тимофей, хлебную корку, протягивая ее в пригоршне, в сложенных вместе ладонях. Мне было приятно чувствовать, как мягкие влажные лошадиные губы прикасались к моей руке. Я видел, что чалая и от меня так же принимала ласку и хлеб, как от хозяина, и это вызывало во мне тихий и скрытый восторг. Я иногда думаю, что, может быть, эта однажды испытанная детская радость тоже повлияла на выбор профессии, почему я стал агрономом, а не кем-нибудь еще; мог бы пойти учиться, скажем, в железнодорожный (был у нас и такой техникум в городе), а не в сельскохозяйственный, но это так, к слову; я подходил не только к чалой, а и к другим двум, так как мне хотелось

всех одарить своею *хозяйскою* щедростью, и потом, довольный и счастливый, сидел на возу, на бревнах, и смотрел, как покачивались дуги над конскими шеями, как натягивались гужи, отдаваясь звонким ременным скрипом, и как шагали мужики-чуваши, каждый против своей лошади, бросив вожжи на круп, молчаливые, задумчивые; за всю дорогу они, казалось, не произносили ни слова, но для меня важны были не слова, а поступки, как мужики помогали лошаденкам вытаскивать возы в гору, а на уклонах завязывали одно из колес для торможения, как при малейшей остановке ослабляли супони и чересседельники и подбрасывали к ногам сухое или тут же, на обочине, накошенное сено; и их язык, язык доброты и человечности, признание равным и достойным уважения все живое и неживое, бережливость движений — все было для меня откровением, и хотя прошло с тех пор столько лет, а я помню самые разные подробности. Именно они, эти подробности, вставали передо мною в минуты, когда в тихой старцевской избе я отогревался возле печи, и так же как зло выстраивалось в воображении в одну сплошную линию, так и добро представлялось как бы линией, начинавшейся от тех возниц-чувашей и вбиравшей в себя отца, мать, братишку и сестренку, Владислава Викентьевича и еще десяток разных попадавшихся на моем недолгом жизненном пути людей, друзей по техникуму, товарищей, с которыми я и теперь, хотя, правда, изредка, но все же переписываюсь; к этой же черте примыкала и Пелагея Карповна с дочерью Наташей (к тому времени, откровенно говоря, я ведь и о них знал лишь то, что было на виду), и даже сидевшая за спиною хозяйка этого дома.

«И все — люди!..»

«Вы что-то сказали?» — услышал я тут же голос хозяйки.

«Ничего, так, сам с собою».

«А-а. А то, может, сходить за Игнатом Исаичем? Что-нибудь срочное?»

«Нет, спасибо, не надо. Я подожду».

«Из Долгушина, говоришь? — начал Игнат Исаич, хотя я еще ничего не говорил ему, а только смотрел, как он, войдя с мороза, сбросил с плеч полушубок и теперь, взяв табуретку, присаживался напротив меня. — Агроном? Пономарев? Алексей Петрович?»

«Да», — удивляясь осведомленности Игната Исаича и оттого глядя прямо на его раскрасневшиеся в тепле после метельной улицы щеки, ответил я.

«Выкладывай, с чем пожаловал?»

Я понимал, что нельзя торопиться, что надо объяснить все обстоятельно и спокойно, но, видимо, чувства наши чаще всего бывают выше разума, и потому только первую фразу: «Дело тут сложное, так что извините, я начну издалека» — и смог произнести как будто без волнения и спешки; но потом уже не следил за своей речью, говорил разгоряченно и торопливо, и когда закончил, то вдруг обнаружил, что не сижу, а стою перед участковым уполномоченным и кому-то (кому же еще? Конечно, Моштакову) продолжаю угрожающе помахивать пальцем. Я рассказал обо всем, упомянул даже про мешок с мукой, что старый Моштаков вместе с сыном (хотя и произошло это почти два года назад, но ведь с этого, собственно, все и началось!) привозил Андрею Николаевичу, и лишь о Федоре Федоровиче, у которого был только что, перед приходом сюда, не сказал ни слова; жалко ли стало пожилого семейного человека, или еще не верилось (хотя чему же тут было не верить?), что он со всеми заодно, или уж явное его желание не впутываться ни во что подействовало на меня, не знаю; помню лишь, что ощутил себя неловко, потому что мне показалось, что Игнат Исаич догадался, что я что-то утаил от него.

«Я сказал все», — поспешно добавил я, тем самым еще более выдавая себя и краснея.

«Да уж куда больше, — подтвердил Игнат Исаич, у которого было свое на уме. — А впрочем, я ведь давненько уже поджидаю вас».

«Меня?!»

«Не лично, конечно, а сведения, которые вы принесли, — уточнил он и, поднявшись с табуретки и повернувшись к жене, просто, как это, видимо, было уже привычно и ему и ей (не раз, я понял, рассуждали они между собой о Моштакове), проговорил: — Ты слышала, Марусь, что агроном рассказал? Ну, так кто был прав, а?»

«Разве я спорила?»

«Но сомневалась?»

«Мало ли что, куда ему деньги копить?»

«Э-э, куда? Еще древние мудрецы, вот пусть агроном подтвердит, говорили, что жадности человеческой нет

предела! Меня не проведешь. Но как же все-таки этот старый хитрец опростоволосился и оставил кладовую открытой?»

«Не знаю», — опять же торопливо, как будто вопрос относился ко мне, ответил я.

«Может, оттого, что меня не было? — усмехнувшись, проговорил Игнат Исаич. — Ведь оно как, — обратился он ко мне, — я еще только собираюсь в Долгушино, а *он* — уже все на засовы. За сотни верст чует! Ну да ладно, все это шутки, а главное, хорошо, Пономарев, что пришел ко мне. У председателя был?»

«Нет».

«В сельсовете?»

«Нет».

«У этого, у своего начальника, у Сапожникова?»

«Нет», — машинально ответил я и, когда слово вылетело, уже запоздало почувствовал опять неловкость и, желая скрыть смущение, снова прямо и открыто посмотрел на Игната Исаича.

«Ну ладно, — повторил он, как потом я заметил, свое излюбленное присловие, — на улице метет, идти тебе никуда не надо, ночуй здесь, у нас, а утром подумаем, что предпринять. С обыском, видишь ли, нужен ордер, а это — в До́линку, к прокурору, это — время, да еще и обоснование, так что утром обмозгуем. А в общем, ты очень правильно поступил, что пришел ко мне, Моштаков давно уже у меня... да ладно, что говорить, утро вечера мудренее».

Мне постелили в передней на двух составленных друг с другом скамьях, и я долго вертелся на этой жесткой постели, не в силах не только заснуть, но даже закрыть глаза. Разговором с Игнатом Исаичем я был как будто вполне удовлетворен, но вот не спалось, и я то прислушивался к завываниям ветра за окном, то к тому, как скреблась где-то словно в бревенчатой стене мышь, и непонятно отчего грустные мысли приходили в голову; я думал о матери, о сестренке и братишке, о том, как мы жили все эти годы — холодные и голодные годы войны, — и было как-то невероятно жалко и мать, и себя, и брата с сестренкой за эту нашу трудную без отца жизнь, и жалко было Пелагею Карповну с Наташей, потому что и в них я видел то же, что и в себе, да и в избе Игната Исаича чувствовалась все та же нелегкая и еще не вошедшая в прежние, довоенные, что ли, берега жизнь, и опять как продолжение недав-

них и прерванных лишь появлением Игната Исаича размышлений, вытягивались две параллельно бегущие, как ленты шоссе, полосы — *добро, зло,* — и не было видно ни начала, ни конца этим линиям, и никакого намека, чтобы они сомкнулись в одну светлую и радостную для людей полосу общего понимания и счастья (бывают же мгновения, когда ни во что не веришь!); я гнал от себя эту мысль, что нет и не будет конца злу, и говорил про себя: «Моштаковы не вечны!» — но то, что пытался внушить себе, никак не совмещалось с тем, что возникало перед глазами и волнением и грустью оседало на душу. Но не спал не только я; Игнат Исаич с женою хотя как будто и лежали тихо в соседней комнате и свет давно был погашен, но в какие-то минуты вдруг отчетливо начинал доноситься до меня их шепот:

«Ему-то зачем? Этого вот понять не могу».

«Андрюшке, моштаковскому зятю, что ль?»

«Да. И должность, и депутат райсовета, и уж, что говорить, весь на виду, а отсечь старика от себя не может».

«Хочет ли?»

«Э-э, хочет... Не может!»

«Конечно, как же, Таисья-то — кровь родная».

«Кровь, не кровь, а вот мы с тобой впутываемся в историю, это я тебе скажу, да-а».

«Боишься?»

«Нет».

«А если и в самом деле они...»

«Так ведь и я не дурак».

«Но он-то — депутат, кто разрешит...»

«Ладно, ладно, давай помолчим. Спи!»

Разговор затихал, и снова — лишь порывы ветра, смешанного с крупной и сухой поземкой, ударяли в окно, и в стене продолжала скрестись мышь, для которой ничего более не существовало в мире, кроме того, что она делала, пробиваясь *своим путем* к хлебу; я прислушивался к ней и думал об Игнате Исаиче; разговор его с женой чем-то напоминал спор Федора Федоровича с Дарьей: и неожиданностью, и тем же как будто нежеланием вмешиваться, какое руководило начальником сортоиспытательного участка, а теперь чувствовалось в словах Игната Исаича (как по формуле: не задевай других, не тронут и тебя, и жизнь будет идти день за днем привычной, спокойной чередою); но там, в избе Федора Федоровича, я был возмущен и негодовал, тогда

как теперь, хотя и понимал *все*, но это *все* было как бы отдалено от меня; *все* восприиималось будто в полусне, и лишь яснее проглядывала бесконечность тех линий, что тяиулись перед глазами, вызывая тревожиое чувство одиночества и беспомощности.

В соседней комнате, однако, еще ие спали, и после недолгого молчания снова донеслось оттуда:

«А Кузьма-то Степаиыч, говорят, в Белебее дом ставит».

«Бабские сплетни. Чего ему в город, когда он отродясь мужик мужиком».

«Чего бы ни иужно, а ставит».

«Болтают люди».

«А ты поинтересуйся, проверь. Да и ие на свое, а на чужое имя ставит».

«Откуда у него в городе родня объявилась?»

«Нашел».

«Брехня все».

«Тебе все брехня».

«Ты вот что, милая, я тебя не пойму: то ты защищаешь его, то нападаешь. Все еще забыть не мо...»

«Дурак!»

«Ну ладно, ладно, спи, а то агронома побудим».

Они еще перешептывались, громко, так что отчетливо было слышно, о чем говорили, но я не вникал в подробности; да и что мне было за дело, сватался ли Кузьма Моштаков к Марии до того, как женился на ней Игнат Старцев, а было это еще до войны, лет уже, как видно, десять назад, или не сватался, и почему не состоялась тогда свадьба (кое-что уже слышал я раньше об этом), что помешало, что послужило причиной, я лишь с неприятным чувством улавливал, что и в этом доме, как и в семье Федора Федоровича, нет, как видно, ни согласия, ни ладу, хотя никто из соседей, наверное, и не подозревает, а, напротив, все восторгаются и завидуют их семейному счастью; но, может, я преувеличивал, воображая все так (как, впрочем, все люди в минуты волиений и переживаний), потому что утром, когда мы встали и умывались, и потом, когда уже сидели за столом и завтракали, как ни приглядывался я к Игнату Исаичу и как ни старался заметить хоть что-либо, что напомнило бы их ночной разговор, ничего увидеть не мог, они были веселы, говорили оживленно, и Игнат Исаич, как и вчера, несколько раз подчеркнуто похвалил меня за то, что я пришел имеиио к нему, обнаружив мошта-

ковские хлебиые лари. «Ты молодец, — говорил ои, — вокруг Моштакова давно уже целое гиездо свнто, мы это знаем (я не стал уточнять, кто это «мы»; очевидио, председатель сельсовета нли сотрудиики райоииого отдела мнлнцнн; для меия важио было, что *знали* и что все мои предчувствия в отношенни старого Моштакова были верными). Мы все знаем, — продолжал он, — но только, не схватив за руку, не скажешь, что вор. А рука у него скользкая, хитрая, но теперь-то, что ж, теперь, главное — не спугнуть прежде временн, вот что». Ои говорнл еще в этом роде, н решнтельность его разоблачить Моштакова казалась столь искренней и очевндной, что я стал уже думать, да был ли вообще ночной разговор между ннм н женой илн все лншь прнснилось мне?

Сразу же после завтрака Игнат Исаич отправился к председателю сельсовета н за лошадьми, чтобы ехать в Долгушино, н я должен был сндеть и поджидать его, не выходнть иикуда из дому. «Я быстро», — сказал ои, закрывая за собой дверь; ио вернулся только к обеду н прншел не один, а с парторгом колхоза Дементием Подъяченковым. Я увндел их нз окна, подходившнх по расчнщенной в снежном сугробе тропе к дому.

Может быть, оттого, что ожиданне было для меня томнтельным, схватнв шапку, я выбежал в сенцы н прямо с крыльца, едва прноткрыл дверь, крнкнул:

«Собираться? Едем?»

«Погоди», — остаиовнл Игнат Исанч.

Все втроем мы вошлн в нзбу; Игнат Исанч и парторг прнселн, ие раздеваясь, лншь расстегиув полушубкн.

«Ну, так что у тебя там в Долгушине?» — спросил Подъяченков недовольным, как мне показалось, тоном.

«Я уже рассказывал Игнату Исанчу», — сказал я.

«Расскажн теперь мне».

«Тайная кладовая у Моштакова и хлебные лари, набитые зерном».

«Сам вндел или кто сказал?»

«Сам вндел».

«А еслн все это окажется враньем?»

«Но как же так, вот в этнх ладонях держал зерио», — подтвердил я снова.

«Да-а, штука, — протянул Дементий Подъяченков. — А ну поподробней, что за кладовая н что за ларн?» — спроснл ои, н я выиужден был виовь рассказывать все,

как и что было, как я попал на конюшню к Степану Филимоновичу Моштакову и увидел приоткрытую в кладовую дверь.

«У меня сомнений нет, — в конце концов заключил Подъяченков и посмотрел на Игната Исаича. — Хлеб в Долгушине мы не держим».

«Я тоже думаю, надо ехать, но ведь это будет самовольный обыск. А если он не пустит?»

«Не решится».

«Кто знает».

«Но в Красную До́линку нельзя. Это и время, и, сами понимаете, нельзя».

«А что делать?»

«Боишься ответственности?»

«Во всяком случае, на себя взять не могу».

«Да вы что, — вмешался я, — думаете, что там ларей нет? Я же сам видел, голову под топор, видел!»

Дементий Подъяченков и Игнат Исаич молча переглянулись и посмотрели на меня. Затем они опять оставили меня одного в избе, а сами ушли, не сказав даже, к кому и зачем; лишь Игнат Исаич уже на ходу, полуобернувшись, коротко бросил: «Мы сейчас, жди», — и я еще с минуту в растерянности и недоумении стоял возле захлопнувшейся передо мной дверью. «Не верят. Да они что?!» Я был в доме один, хозяйка еще с утра, накормив нас, ушла на ферму, и я не знал, когда она должна была появиться; не то чтобы мне было одиноко, но я действительно-таки чувствовал, особенно после того, как ушли Подъяченков и Старцев, словно отрезанным от всего мира: один, стоящий по эту сторону воображаемого барьера, против всех, толпившихся по ту; все были заняты делом, каждый выполнял какую-то свою, нужную людям и себе работу, и лишь я бессмысленно прохаживался из комнаты в комнату в чужой для меня старцевской избе, отодвигая занавески и вглядываясь сквозь окно в засугробленную зимнюю улицу Чигирева, и раздражение на них — парторга и участкового уполномоченного — переходило на самого себя, в какие-то мгновения я даже произносил с отчаянием: «Кой черт, связался же на свою голову!» — но это были действительно лишь мгновения; как только я начинал думать о Моштакове и как только вставало перед глазами все то, как я обменивал отцовские костюмы на хлеб, я снова весь как бы наполнялся ненавистью к Моштакову, на-

зывал его не иначе, как «мучное брюшко», и с еще большим нетерпением прислонялся к окну, всматриваясь, не идут ли Игнат Исаич и Подъяченков. Я мысленно ругал их за нерасторопность, медлительность, полагая, что они только и делают, что рассуждают, ехать им или не ехать в Долгушино, верить или не верить мне, в то время как они, конечно же, не только рассуждали о том, что предпринять; Игнат Исаич по совету парторга пытался связаться с районным центром и на всякий случай поговорить со своим начальством, но связаться было почти невозможно — то ли провода оборвало где-то на линии в метельную прошлую ночь и порыв все еще не был исправлен, то ли по какой другой причине (да что говорить, ведь это только подумать, какой была связь тогда на селе, сразу после войны!), в общем, он сидел у аппарата, крутил ручку и ждал, а Подъяченков искал по деревне председателя сельсовета Трофима Федотовича Глушкова, который то находился будто только что у себя, в сельсоветской избе, то возле клуба, то за каким-то чертом, как выразился Подъяченков, потащило его на ферму, а оттуда по каким-то, бог ведает, избам, куда как будто и не приглашали его, но ему надо было посмотреть, поговорить, узнать что-то или посоветоваться; в общем, Подъяченков нашел его лишь под вечер, а когда рассказал все, на дворе уже совсем смерклось и выезжать в Дóлинку на ночь глядя, да еще по занесенной, не проторенной полозьями дороге было бессмысленно и небезопасно; но я-то не знал ничего этого, а если бы и знал, все равно — ожидание никогда еще ни на кого не действовало успокаивающе; не то, чтобы я жаждал поскорее разоблачить Моштакова, а просто тяготила неопределенность своего положения, когда дело начато, затеяно, а чем завершится и, главное, когда, еще неизвестно. На удивленный вопрос хозяйки, когда она вернулась с фермы: «Вы еще не уехали?» — я ответил недружелюбно, что «да, как видите», хотя на нее-то для чего было переносить свое раздражение? Она молча оглядела меня и больше уже за весь вечер не спрашивала ни о чем; лишь когда пришел муж, пригласила к накрытому для ужина столу.

«Но завтра-то хоть поедем? — спросил я у Игната Исаича, как только он вошел в избу. — Кроме всего прочего, у меня — работа, дело!»

«Поедем-поедем, все решено, и лошади занаряжены».

«Это точно?»

«Какой разговор, прямо с утра».

«И Подъяченков с нами?»

«И Подъяченков, и Трофим Федотыч, председатель сельсовета».

«А председатель колхоза?»

«Нет. Его вообще в Чигиреве нет, он, однако, третий день как в Дóлинке. Может, сегодня и подъедет».

Больше мы уже не возвращались к этому разговору.

Я снова спал на сдвоенных скамьях, вернее, не спал, а ворочался с боку на бок, предчувствуя, что должно было случиться со мною завтра что-то нехорошее. «Но почему? — вместе с тем спрашивал я себя. — Зерно краденое, Моштаков существует, Моштаков — зло. Почему же?» — И хотя в самом этом вопросе был заложен как будто ясный и точный ответ и мне действительно не о чем было беспокоиться, но в памяти словно специально для того, чтобы вызывать беспокойство, возникали и объединялись отрывочные и в разное время слышанные слова и фразы: то звучал как будто голос Владислава Викентьевича: «Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело»; то голос Пелагеи Карповны: «Народ на добро памятен»; и я с усмешкой мысленно добавлял: «На *добро*!», то вдруг перед глазами как бы появлялся Федор Федорович со своими предостережениями, и хотя я опять возражал ему, сознавая себя во всем правым, и все же что-то было, наверное, недосказанное (что я чувствовал) и в их словах, и потому я ворочался и, как и вчера, долго не мог заснуть. Но если рассудить просто, то отчего бы и не спать? Ведь не я же совершил преступление, а Моштаков, но вот, видите...

Многое запоминается в жизни.

Но то зимнее утро было особенным.

Мы выехали из Чигирева в девятом часу — парторг Дементий Подъяченков, Игнат Исаич и я — на колхозных розвальнях, которые тащила резвая правленческая лошаденка, а председатель сельсовета Трофим Федотович Глушков — в своих сельсоветских плетеных выездных санях; он не хотел, как выразился, ни от кого зависеть, ехал позади, один, и под дугой, казалось, над самою гривой серого, в беге разметывавшего ноги ко-

ренника (я называю так потому, что конь действительно производил впечатление коренника, хотя и не было пристяжных) болтались, словно колокольчики, заиндевелые теперь, на свежем утреннем морозце, кисти из белой сыромятной кожи. Я сидел на розвальнях так, что мне были хорошо видны то вдруг нагонявшие нас, то опять начинавшие отставать сани председателя сельсовета. Постепенно — не только кисти под дугою, но и сама дуга, и вся упряжь, оглобли, серый сельсоветский коренник, да и шапка и овчинный тулуп на Трофиме Федотовиче — все покрылось мохнатым инеем и поблескивало в лучах утреннего декабрьского солнца, и поблескивал снег, холмистой белизною удаляясь к горизонту, и видеть это, несмотря на все мое тревожное состояние, было приятно, дорога навевала покой и то ощущение силы и бесконечности жизни, какого всегда не хватает нам и, наверное, не будет хватать городским людям для полноты чувств. Наша правленческая лошаденка тоже вскоре покрылась инеем; и тулуп Игната Исаича (он правил, заиндевелыми рукавицами подергивая начинавшие тоже индеветь вожжи), и полушубок на Подъяченкове, и мой — все как бы сливалось, подсиненное инеем, и только лица краснели на морозе, и это тоже производило впечатление бодрости, красоты, силы. Когда стали подъезжать к Долгушину, я повернулся и, приподнявшись, стоя на коленях, из-за плеча Игната Исаича смотрел на открывавшуюся взгляду зимнюю у замершей реки деревушку. Не знаю, о чем думали и *как* влюбленными ли, или равнодушными взглядами окидывали все вокруг Игнат Исаич и Подъяченков (откровенно говоря, мы неверно судим, называя деревенских людей равнодушными; они лишь не мельтешат, не проявляют внешнего восторга, как мы, но смотрят на все, несомненно, с восхищением и любовью, и эта любовь как раз и держит их у земли, в деревне), я же не мог, да и до сих пор не могу без волнения смотреть на зимние ли, заснеженные, или летние, словно затерянные в желтеющих хлебах, наши русские деревеньки. Чувство это, пожалуй, трудно объяснимо. Я вовсе не за старину; та жизнь, что пришла и еще приходит в села, совсем, разумеется, иная, лучше, светлее и чище, и все же жаль мне уходящие деревеньки с их неровною, не прямолинейною, но душевно широкою, раздольною планировкой, с избами под соломой, обнесенными плетнями и огородами, с той очевидною на взгляд связью с прожитыми веками, с исто-

рией, героической и тяжелой, которая, кажется, так и смотрит на тебя низкими окнами с бревенчатых почерневших стен, и жаль, наверное, потому, что вместе с этой, несомненно отжившей свое стариною уходит, рушится связь времен, поколений. Может быть, я не прав; может быть, то детское впечатление, когда я с возницами-чувашами перевозил дом из Старохолмова в город, еще *говорило* и *говорит* во мне, вызывая эту как бы прощальную, что ли, грусть? Но так или иначе, а я испытываю это чувство, да и следует ли искать объяснение ему. Я смотрел на заснеженное Долгушино и, разумеется, среди других изб различал прежде всего избу Пелагеи Карповны, которая была уже для меня к тому времени вторым родным домом (сама Пелагея Карповна в эту минуту стояла на крыльце и смотрела в нашу сторону; во многих дворах мужики, было видно, прекратив расчищать снег, смотрели на спускавшиеся к деревне подводы, потому что неспроста же сюда жаловал председатель сельсовета и еще какое-то колхозное начальство на правленческих розвальнях!), и различал подворье старого Моштакова с длинною, как барак, примыкавшею к избе бревенчатой конюшней; не скажу, чтобы я особенно волновался, предвидя, как удивится и испугается Моштаков, когда в освещенной фонарем кладовой Игнат Исаич начнет открывать крышки ларей, и как удивятся собравшиеся люди и, разводя руками, будут говорить: «Надо же, а?» — а какое-то совершенно иное и необъяснимое тогда беспокойство, чем ближе мы подъезжали к моштаковским воротам, тем сильнее охватывало меня. Оно возникало, наверное, потому, что и Дементий Подъяченков и Игнат Исаич хотя ничего и не говорили, но все чаще поглядывали на меня, и во взглядах их я улавливал один и тот же вопрос: «А не соврал ли ты, парень, не влипнем ли мы с тобой в неприглядную историю, потому что как-никак, а ведь это тяжелейшее обвинение на человека?» — и сомнение их в какой-то мере, может быть, проникало и в меня и было как раз причиной беспокойства. «Куда же они могут деться, шесть ларей, — про себя отвечал я, стараясь держаться спокойнее, и лишь изредка и мельком, будто мне действительно было все равно, к кому и для чего едем, взглядывал на опушенные инеем жерди моштаковских ворот. — Да что может быть с ними, что за глупость лезет в голову!»

Игнат Исаич остановил лошадь почти под самыми окнами моштаковской избы; привязав вожжи за стойку

ограды, вернулся к розвальням, и так как мы, парторг Подъяченков и я, еще разминали ноги и только поглядывали на моштаковский двор и конюшню, спросил:

«Пойдем? Или Федотыча подождем?»

«Подождем», — предложил Подъяченков.

«Не Федотыч у нас, а прямо-таки министр».

«Ну-ну!..»

«А плохих в министры не берут, — тут же уточнил он и, повернувшись ко мне, добавил: — Ну а ты как, агроном, уверен?»

«Уверен», — ответил я, и теперь уже участковый уполномоченный, может быть, подражая парторгу Подъяченкову, с той же как будто многозначительностью, как произносит эти слова, я заметил, большинство людей, проговорил:

«Ну-ну...»

Как только подъехал председатель сельсовета Трофим Федотович, мы все вчетвером тут же направились в расчищенный от снега моштаковский двор. Сам же Степан Филимонович уже стоял на крыльце и поджидал нас. Он смотрел на нас спокойным и как будто равнодушным взглядом, поздоровался степенно, с достоинством, как умеют делать это знающие себе цену деревенские люди, и на вопрос Подъяченкова: «Чего в избу-то не зовешь?» — негромко и с заметной неохотою ответил: «Милости просим». Но в избу мы не пошли. И не потому, что обиделись, что ли, для меня главным были лари; об этих же хлебных ларях, наверное, думали и парторг Подъяченков, и Игнат Исаич с Трофимом Федотовичем, и, конечно же, всем нам хотелось поскорее (уж мне-то, во всяком случае) попасть в кладовую, пока старик не догадался, зачем мы приехали, и не воспротивился, и оттого, когда Игнат Исаич, выражая общее наше желание, попросил Степана Филимоновича открыть конюшню, и Подъяченков, и председатель сельсовета дружно поддержали его.

«Глядеть-то чего хотите?» — спросил Моштаков.

«Как «чего»? Лошадей».

«А чего их глядеть?»

«Ну, раз хотим, значит, надо. Лошади... что еще там у тебя?»

«Лошади и есть».

«Вот и поглядим».

Моштаков сошел с крыльца и стоял теперь перед нами. Он не торопился открывать конюшню. Прищурив-

шись, он смотрел на нас, и во взгляде его все еще как будто было прежнее спокойствие; но вместе с тем, может быть, я скорее почувствовал, а не то чтобы заметил, какая-то будто жесткая, холодная тень легла на его старческое лицо; да, несомненно, потому что десятки раз потом, вспоминая, я видел перед собой это лицо, все морщинки на котором выражали не ту обычную доброту и умудренность жизнью, что свойственна старым людям, а неприязнь, ненависть, или, как бы вы сказали, весь тяжелый, мстительный и скрываемый от людей *мир* этого человека; я и теперь вижу его лицо с розовыми еще с тепла и напущенными на глаза веками (за прищуром всегда легче скрывать свои мысли!), с бородкою, живо покрывавшейся инеем на морозе, словно седеющего на глазах, и так же, как тогда, у меня ко всему, что связано с воспоминаниями о мужичках — «мучное брюшко», подымается ответная ненависть. Я назвал свое столкновение с Моштаковым поединком; да оно и было все именно так, и потому — как запомнился вам бой с немецкими самоходками здесь, на подступах к Калинковичам, у деревни Гольцы, так и в мою душу засел тот солнечный зимний день, проведенный в заснеженном Долгушине на моштаковском подворье. Я не вступал в разговор и только смотрел на Моштакова, ни на секунду не сводя с него глаз, и мне казалось, по крайней мере тогда, что он тоже больше смотрел на меня, чем на разговаривавших с ним Игната Исаича, Подъяченкова и Трофима Федотовича. Я думаю, что так же, как вы боем, я был оглушен этой минутой *своего* поединка, а точнее, чувствами и мыслями, какие переполняли меня, и потому не вслушивался и не воспринимал почти ничего, о чем говорили. «Ну же!.. Ну!..» — торопил я старого Моштакова, чтобы он поскорее открывал конюшню, и на ироническую усмешку, которая то и дело возникала на бородатом и морщинистом лице Степана Филимоновича, тоже про себя, тихо, но вместе с тем как будто громко, не стесняясь никого, отвечал: «Ничего-ничего, посмотрим, как ты сейчас будешь усмехаться!» Потом-то мне стал ясен смысл его иронической — когда человек знает нечто большее, чем вы! — усмешки, но в ту минуту я думал и чувствовал так, как рассказываю теперь; я стоял чуть позади парторга Подъяченкова, и когда все двинулись к конюшне, тоже шагал следом за парторгом, заложив, как и он, словно на прогулке, за спину руки (может быть, так легче было *выражать* спокойствие?);

но в варежках, в тепле, не видимые никому пальцы мои до белизны вминались в мягкую и влажную ладонь.

Не торопясь, поглядывая по сторонам, мы прошагали вдоль стоявших за перегородками коней, и кони те, гремя недоуздками о ясли, поворачивали морды в нашу сторону и прядали ушами; когда мы остановились у дощатой перегородки с такой же дощатой и запертой теперь дверью («Да вот она! И замок тот же, — думал я, — только тогда он висел вместе с ключом на гвозде, рядом с дверью!»), Игнат Исаич, наклонившись к Моштакову, коротко и сухо попросил:

«Отопри».

«Это что, обыск?»

«Отопри, говорю».

«А ежели не отопру, тогда что?»

«Тогда просто: дверь сейчас опломбирую и в До́линку. А уж коли вернусь с ордером...»

«Коней запаришь. Неча коней гонять, — угрюмо хмурясь, будто и в самом деле было ему жалко колхозных лошадей, проговорил Моштаков; затем с явным нежеланием, прежде обшарив почти все карманы, достал ключ, отпер замок и, не открывая двери, а лишь отступив на полшага от нее и как бы приглашая этим Игната Исаича, парторга, всех войти в кладовую, сказал: — Ну глядите, ежели охота есть».

Игнат Исаич открыл дверь, и все с удивлением увидели, что в кладовую войти нельзя, что вся она доверху наполнена сухим сеном. Участковый уполномоченный, не скрывая своего изумления и недоумения, посмотрел сначала на Подъяченкова, как бы спрашивая его глазами: «Что это?» — потом на Трофима Федотовича и на меня, и тогда я, чувствуя, что надо что-то предпринимать, что не могли же за одни сутки куда-то исчезнуть все шесть хлебных ларей, резко шагнул вперед и почти крикнул:

«Вилы!»

«Да, да, ну-ка, Степан Филимонович, принеси вилы», — поддержал Игнат Исаич.

Вилы стояли у входа в конюшню, возле приоткрытых для света ворот, прислоненные к косяку, и пока старый Моштаков, горбясь, как мне казалось, и с неохотою ходил за ними, мы молча смотрели друг на друга.

«Кому?» — спросил Моштаков, подойдя и держа перед собою вилы.

«Сюда», — сказал я и протянул руку.

Старик не подал, нет, а прямо-таки тычком сунул мне в ладонь гладкий черенок вил; и не просто от недовольства или со зла; он точно знал, что именно я привел к нему парторга, председателя сельсовета и участкового уполномоченного, и этим своим злым движением давал понять, конечно же, *это*, что он знает все; но я лишь слегка откачнулся, как, представляете, бывает, когда неожиданно столкнешься с вдруг выросшей перед тобою стеной, восприняв все по-своему, как вызов, будто старый Моштаков негодующе бросил мне: «На, держи, сукин сын!» — и я не мог не принять этот вызов и не ответить тем же; уже отпущенные Моштаковым вилы я резко рванул на себя, стрельнув глазами в старика, дескать: «Давай, поглядим сейчас!» — и прямо в полушубке, лишь чуть засучив рукава, принялся навильник за навильником набирать и выносить из кладовой сено. Но затем полушубок пришлось снять, и я уже работал лишь в свитере, без шапки, весь обсыпанный колкими сухими былинками; парторг же Подъячеиков и председатель сельсовета Трофим Федотович вместе со стариком Моштаковым молча поглядывали на меня, и только Игнат Исаич время от времени высокими черными пимами своими подгребал и притаптывал выносимое мною душистое, кошеное, как я тогда же, сразу, отметил про себя, на заливном приречном лугу сено. Я, разумеется, не видел, да и не мог видеть выражения их лиц, *как* они смотрели на меня; мне было не до этого; очистив то место, где, по моему предположению, должен был находиться ближний к двери ларь, и не обнаружив его, я с еще большей поспешностью продолжал расчищать дальше, твердя себе: «Докопаюсь! Все равно докопаюсь! Они здесь, потому что — куда же они могут деться, тридцать центнеров, три тонны!» Тем более я не видел и не мог видеть, что делалось в эти минуты на моштаковском дворе. Там, возле саней, уже собирались долгушинские мужики и женщины, возбужденные неожиданно нагрянувшей к старому Моштакову *комиссией*. Кто первым произнес это слово: «Комиссия», — и кто затем прибавил: «Чегой-то доискиваются», — установить, разумеется, было нельзя; но именно это известие, а главное, вид правленческой и сельсоветской упряжек, взбудоражило долгушинцев, и они все подтягивались и подтягивались к моштаковским воротам. Здесь же были уже и Пелагея Карповна с Наташей, и еще разная дол-

гушинская детвора, которая шныряла между конюшней и воротами, и то и дело чей-то звонкий на морозе мальчишеский голос оповещал всех:

«Еще выносют!»

«Чегой-то выносют?»

«Сено, дедусь!»

Мальчишка снова нырял в конюшню, чтобы через минуту повторить то, что только что говорил, а мужики между тем продолжали:

«Чегой-то ищут у Моштака?»

«Чего же искать у него — хлеб!»

«Найдуть?»

«Может, и найдуть».

«Эвона, дожился».

«Еще бабка надвое гадала...»

«А кто же его подсупонил эдак, ужель агроном?»

«Кто же еще, ишь, заноза, сам-то и за вилы взялся!»

Я не видел долгушинских мужиков, толпившихся возле саней и на моштаковском дворе, и, понятно, не слышал ни одного произносившегося ими слова; я лишь думаю, что они говорили так или, по крайней мере, об этом, потому что для них, для всего Долгушина то, что происходило сейчас, было событием, и они не могли не прийти и не обсуждать его; им было любопытно, чем все закончится, и они постепенно начали проникать в конюшню, пристраиваясь за спинами стоявших полукружьем парторга, председателя сельсовета и Моштакова, а я, весь вспотевший, продолжал вышвыривать сено. Один за одним высвобождались простенки, но ларей не было видно. Я не верил глазам. Выбросив последний навильник, я встал посреди дверей, красный от работы и смущения; мне хотелось увидеть Моштакова, который как бы спрятался, затерялся в общей оттеснившей коней к яслям людской толпе, и пока я в конюшенном полусумраке пробегал взглядом по лицам, отыскивая нужное мне старческое, морщинистое, с бородкой, думал только о том, что должен сказать Моштакову. Мне и теперь всегда кажется, что, как только заметил его, сразу же крикнул: «Где лари?» — хотя на самом деле, наверное, не крикнул, потому что не могу припомнить, чтобы хоть что-то ответил мне Моштаков. Помню другое: вся толпа во главе с Подъяченковым и Трофимом Федотовичем двинулась на меня, отстраняя с дороги, и вместе с этой толпою я опять очутился в кладовой. Я слышал лишь, как Подъяченков, протянув: «Э-эх-ха», — спросил затем

у Трофима Федотовича и Игната Исаича: «Ну, что скажете?» — и так как они ничего не могли сказать, и они, и Подъяченков, все втроем, пристально посмотрели на меня. Я тоже не знал, что ответить, от растерянности, скорее оттого, что не только Подъяченков и Трофим Федотович, но все как будто смотрели на меня, чувствовал, что щеки опять наливаются краской, но минуту ли, две ли спустя я все же произнес что-то вроде: «Вот здесь они стояли», — и даже принялся было руками очерчивать в воздухе квадраты, переходя от одного простенка к другому, но это выглядело уже как оправдание, и Трофим Федотович, Игнат Исаич и Подъяченков, я заметил, лишь с ухмылкою покачивали головами, слушая меня. Я же снова и снова оглядывался вокруг, потому что для меня поразительным было не только то, что исчезли лари, но и другое, что никаких следов не осталось от них на земляном полу; то и дело я приседал на корточки вместе с Игнатом Исаичем, расшвыривал стебельки и мусор, но все вокруг казалось одинаково серым, взрыхленным и усыпанным остатками сена из кладовой.

Переговаривались мужики; говорили между собою Подъяченков, Игнат Исаич и Трофим Федотович, но из всех голосов, из всех произнесенных насмешливо ли, ехидно, с разочарованием ли фраз запомнил и ношу в памяти лишь те, что в первые минуты будто и не показались ни пророческими, ни страшными: Игнат Исаич спрашивал, старый Моштаков отвечал, и все это происходило степенно, без излишней, как вообще любят вести беседы деревенские люди, раздражительности и шума.

«Лари где?»

«Какие лари?»

«Которые здесь стояли?»

«А это ты себя спроси, ежели видел».

«Кого ты, Степан Филимоныч, обмануть захотел, а?»

«Кого ни кого, а Советская власть, она ведь и за наговоры судит. Или уже не судит?»

«Судит».

«Вот то-то и оно».

«А тебе-то что? Если считаешь, что оговорили, можешь подать, тут никому запрета нет, дело хозяйское».

«Неча подавать, — ответил Моштаков и, явно адресуясь ко мне, громко (во всяком случае, так мне по-

мится), чтобы слышали все, добавил: — Мир осудит».

Он еще некоторое время после того, как произнес это, смотрел на меня, словно примеривал что-то своими сощуренными глазами, и затем неторопливо, победителем, принимая как должное, что все расступаются перед ним, направился к выходу. Следом, тоже упрекающе, как мне показалось, взглянув на меня, двинулся Игнат Исаич; потом пошли: Подъячеиков, Трофим Федотович и один за одним, конечно же, все знакомые деревенские мужики, и каждый, будто тоже подражая долгушинскому *конскому* лекарю, ронял на меня недоброжелательный взгляд, но ни словам Моштакова, ни всем этим взглядам я не придал тогда значения; и не до размышлений, и не до оценок было; я лишь твердил себе: «Лари находились здесь!» — и едва только остался один, снова осмотрелся вокруг. Мне нужно было восстановить в памяти, как все было, когда я обнаружил лари. Сверху, как и в *тот* день, сквозь узкое, похожее на бойницу окно струею падал свет; он не освещал крышки ларей, как *тогда,* а лежал на стене, как бы стекая по ней к серому земляному полу, но для меня уже одного этого — струившегося из бойницы света — было достаточно, чтобы вспомнить все; я мысленно проделал то, что делал тогда, ощутив даже будто крупные и холодные зерна в ладони и вновь почувствовав правоту и силу в себе, взял полушубок и зашагал к выходу. Я твердо намеревался сказать Игнату Исаичу, парторгу Подъяченкову и председателю сельсовета, что лари были, что их надо искать и что не может же Моштаков остаться безнаказанным, но, выйдя во двор, не только не сказал этих слов, а даже не решился подойти ни к Подъячеикову, ни к Трофиму Федотовичу. Вы спросите: почему? Не из опасения, что не поверят или, более того, начнут упрекать, нет, никаких упреков я не боялся; случилось совершенно другое и непредвиденное — когда очутился на дворе, первым, кого увидел, был Андрей Николаевич. Он стоял на крыльце, как только что стоял на нем встречавший нас старый Моштаков, и так же, как тесть, со своего высока прищуренно оглядывал толпившихся будто возле трибуны людей. Да, именно это впечатление осталось у меня; и вообще, когда я вспоминаю об Андрее Николаевиче, он обычно представляется мне то возле своей остекленной веранды, каким был тогда, в ночи, в нижней белой рубашке и кальсонах, принимающий привезенную тес-

тем муку, то вот этим, в добротной бобровой шапке, в дубленом с белою меховою оторочкой полушубке, возвышающимся с крыльца над колхозниками, как я видел его теперь. Разумеется, я сразу сообразил, что произошло, почему Андрей Николаевич здесь и почему исчезли лари; да, собственно, никакой особой фантазии и не требовалось, чтобы сообразить это, настолько все было очевидно, и я, пораженный (пораженный более этим, что понял, глядя на Андрея Николаевича, чем исчезнувшими ларями) и растерянный, как остановился, так будто и замер посреди распахнутых ворот конюшни. Я видел, как Игнат Исаич ходил по двору, заглядывая за амбары и на огород, надеясь, может быть, заметить хоть какие-нибудь следы (мне и теперь кажется, что он откровеннее всех поверил мне, хотя именно в нем-то — вот и опять вам: понимание людей! — я как раз больше всего и сомневался), но все кругом было бело от снега, заметено нетронутыми сугробами, и только узкая, расчищенная лишь утром дорожка тянулась к небольшой заснеженной бревенчатой баньке, что темнела оконцем на краю огорода. Может быть, баньку собирались истопить для Андрея Николаевича и потому расчистили к ней дорожку? Пожалуй, так оно и было, и Игнат Исаич не пошел к ней. Я хорошо помню, как он, проходя мимо меня, отрицательно кивнул головой, и я понял, что он хотел сказать этим.

«Ничего нет».

«Искать бессмысленно».

«Да и поздно».

Будто и в самом деле Игнат Исаич произнес эти фразы, я повторил их про себя, по-прежнему глядя на крыльцо и Андрея Николаевича. Заведующий райзо, перегнувшись через перила, о чем-то разговаривал с Подъяченковым и Трофимом Федотовичем, но о чем, мне не было слышно; может быть, приглашал в избу или зло, как он умел это, подшучивал над неудавшимся обыском (и то и другое: и доброжелательная улыбка, когда говорил, наверное: «Входите», и усмешка, когда упрекал: «К кому пришли с обыском, ай-ай, да хоть бы позвонили, я бы сказал, и не срамились бы, а то ишь народу наволокли!» — сменяясь, возникали на его лице, и я не то чтобы теперь вот придумываю это, нет, а хорошо видел все, чувствовал, понимал, стоя посреди распахнутых ворот конюшни); меня же Андрей Николаевич как будто не замечал, хотя не заметить было нельзя, я стоял

на виду у всех; в варежках, в тепле, я снова вминал пальцы в ладони, и, может быть, так же, как в детстве, когда мы с отцом торговали в Старохолмове пятистенник, волчонком, как на того хозяина в жилетке, смотрел теперь на Андрея Николаевича, не сводя с него глаз, и мне хотелось, чтобы он увидел этот мой взгляд и понял, *что* я думаю о нем; и он, конечно, увидел и понял, хотя внешне ничем не выказал этого; он даже повернулся ко мне спиной, встречая поднимавшихся по ступенькам Подъяченкова и Трофима Федотовича и открывая им дверь в сенцы. А что было делать мне? В избу к Моштаковым, разумеется, я не мог идти, и не только потому, что никто не пригласил (обо мне действительно будто забыли все, кроме разве толпившихся еще во дворе и возле саней долгушинских мужиков и женщин, которые теперь, когда опустело крыльцо, глазели лишь на меня); стоять на виду тоже было неловко, да и бессмысленно; я вернулся в конюшню, на что-то еще надеясь, но, обойдя пустые углы кладовой и оглядев освещенные голые простенки, снова вышел во двор; мужики и женщины еще топтались у ворот, они расступились, когда я подошел к ним, и по образовавшемуся коридору, ежась под перекрестными взглядами, зашагал домой. Я видел, что Пелагея Карповна вместе с Наташей стояла у ворот, среди женщин; она, это точно помню, заметил, отступила на шаг и спряталась за чью-то спину, когда я поравнялся с ней, и хотя я как будто не придал тогда этому значения, но все же что-то будто толкнуло меня: «Она-то что?»

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

Хотя ни Подъяченкова, ни Игната Исаича, ни председателя сельсовета уже не было рядом, но я чувствовал перед ними вину, будто и в самом деле обманул их, и, пожалуй, досаднее и больнее всего было сознавать, что они там, у Моштакова, что в эти самые минуты, пока я, подавленный, мрачный, стою перед заваленным снопиками пшеницы столом в своей комнате, они, наверное, поднимают стаканы («Да может ли Андрей Николаевич без выпивки! — восклицал я, перебивая свои же мысли. — А старый Моштаков? Да и Кузьма!») и говорят обо мне; мне казалось, что я знал и то, что обо мне говорили, и багровел от бессилия, что не могу остановить этот их разговор или хотя бы ответить им что-либо. Может быть,

я услышал, а может, просто совпало так, но только когда, подойдя к окну, приоткрыл шторку, от моштаковских ворот отъезжали на рысях правленческие розвальни и сельсоветские с мягкими сиденьями сани. Я проследил за ними, пока они не скрылись за снежными сугробами дороги.

То, что парторг Подъяченков, председатель сельсовета и Игнат Исаич уехали, ничего не сказав мне, в общем-то, не было ни удивительным, ни неожиданным. «Им что? Ларей нет, а значит, и не было», — думал я. Может быть, для своего же успокоения я оправдывал их; да и к Моштакову почему-то не было той прежней особенной злости, хотя старческое, с неприятною усмешкой лицо его, каким оно было там, в конюшне, и запомнилось мне, а теперь то и дело возникало перед глазами, и возникало, конечно же, неспроста, и для того, чтобы я сильнее, наверное, почувствовал свое поражение, и все же — нет, не Моштаков, которого можно было понять и который, в конце концов, как раз и должен был делать то, что делал, а Федор Федорович и Андрей Николаевич, которых еще совсем недавно я считал средоточием добра и порядочности, да, именно они вызывали горечь и негодование. «Если бы не они, — рассуждал я, — Моштаков был бы теперь, как субчик, гол и виден», — и та картина, как долгушинские мужики, те самые, что, выходя из кладовой, бросали на меня недоброжелательные взгляды, выносили бы мешок за мешком во двор краденое зерно и удивлялись бы и поражались открытию, — эта волновавшая и не состоявшаяся наяву картина вновь и вновь оживала в сознании.

Ни в тот день и вечер, ни на следующий я не верил, что все для Моштакова закончится на этом. «Шила в мешке не утаишь, — говорил я себе. — Куда они могли уплыть? Никуда, и я еще найду их и докажу, что прав, и кого должен *осудить мир*!»

Я не стал ужинать; только выпил принесенное Наташею (хотя прежде всегда приносила сама Пелагея Карповна, говоря при этом: «Тепленькое, парное, только процедила!») молоко и, еще не зная толком, зачем и что буду делать, вышел на улицу. Я как сейчас помню, что в тот поздний ночной час было почему-то светло — от снега ли, от звезд и ясного неба? Или, думаю, оттого, что вышел я из сумрачной своей комнаты, в которой стоял, и ходил, и сидел, не зажигая света, а тут — сразу открылся белый заснеженный простор? Я прошел мимо

моштаковской избы, лишь искоса взглянув на темные, закрытые ставнями окна, и, дойдя почти до края деревни, снова вернулся к той же моштаковской избе. Мне казалось, что лари спрятаны где-то здесь, неподалеку, и что в ночи, в мороз, когда на улице никого нет, я смогу повнимательнее осмотреть все вокруг. «Должны же, — думал я, — остаться какие-нибудь следы». Особенно тянуло заглянуть в баньку, которая и теперь черным пятном на снегу выделялась в конце огорода. Оглядываясь и весь как бы втягиваясь в полушубок, будто действительно шел на нехорошее, гадкое, подлое, наконец, дело, я обогнул несколько изб, спустился по протоптанной дорожке к замерзшей реке, и уже по льду, местами оголенному, скользкому, местами засугробленному так, что ноги проваливались по самые колени, начал пробираться к баньке. Все это, конечно, было унизительным, я понимаю, и мне отвратительно вспоминать теперь и видеть себя там, на снегу, то пригнувшимся и напряженно прислушивающимся к звукам ночной деревни, то перебежками, крадучись, пробирающимся среди заиндевелых кустов тальника, но, разумеется, тогда я не чувствовал унижения; лишь время от времени теплыми из варежек ладонями потирал лицо, боясь (а впрочем, не то слово «боясь»; просто инстинктивно, как все люди на холоду) отморозить нос или щеки, и все мысли были только об одном, чтобы никто не увидел, не помешал. Я знал, что в этот час долгушинцы обычно уже сидят по избам, укладываются спать, что вокруг никого нет (по крайней мере, не должно было быть), но одно дело — сознание, и совсем другое — чувство, которое, как вы правильно заметили, не всегда подчиняется разуму, и, может быть, именно потому-то, чем ближе я подбирался к баньке, тем явственнее начинало казаться, что кто-то будто подсматривает за мной, идет по следу так же, как я, пригибаясь, перебегая от куста к кусту по прибрежному оголенному и заснеженному льду, и тем чаще, припав к снегу, прислушивался и присматривался я к синему ночному сумраку, и, странно, пока вглядывался, никого вроде не было видно, и не раздавалось ни звука, но едва только поднимался и двигался вперед, как сейчас же словно чья-то тень начинала шевелиться и перемещаться в кустах; в какую-то минуту, когда мне особенно представилось подозрительным темное, похожее на съежившегося человека пятно, не выдержал и вернулся, чтобы посмотреть, действительно ли это человек и кто, но пят-

ном оказался лишь примятый мною же самим, когда лежал и прислушивался, снег. Однако и после этого опасение, что кто-то идет за мной, все равно не оставляло меня. Я боязливо прижимался к настывшей бревенчатой стене баньки, когда двигался вдоль нее к двери. Теперь думаю, что бы я стал делать, если бы дверь оказалась на замке? Конечно, взламывать бы не решился, а ушел бы, может быть, еще более уверенный, что лари перенесены сюда, но, к счастью ли, к удивлению ли, дверь оказалась не запертой; лишь была наложена на петлю железная накидка и заткнута обычным деревянным колышком. Почти не чувствуя, что пальцы прилипают к настывшей металлической накидке, я снял ее с петли и открыл тоже всю настывшую и проскрипевшую громко, как мне показалось, дверь.

В баньке было темно и морозно, как на улице. Я сначала приглядывался к темноте, а потом торопливо, боясь, разумеется, что меня застанут здесь, обошел на ощупь все углы, обшарил полок и под полком, но ни ларей, ни наполненных зерном мешков (почему-то мне думалось, что зерно должно было находиться теперь в мешках) нигде не было.

«Значит, не здесь. Но где?»

Так же таясь и оглядываясь, как входил, я вышел из баньки, закрыл дверь, деревянным колышком закрепил накидку и, осмотрев и проверив, все ли сделал так, как было, зашагал вниз, к реке, оставляя глубокие следы на снегу. Но я даже не подумал, что оставляю следы и что наутро вся деревня будет знать, что я ходил к Моштаковым, и будет говорить, что, дескать, агроному-то больше, чем *комиссии,* надо; напротив, чем ближе спускался к замерзшей реке и в особенности когда ощутил под ногами лед, чувствовал уже себя так, будто все опасения позади, и шел, не пригибаясь, не оглядываясь, и именно в эту минуту, когда было на душе будто спокойно, неожиданно услышал, как за спиною что-то тяжелое глухо ударилось об лед; едва я успел обернуться, как сучковатое круглое полено проскользнуло возле моих ног. Конечно, полено не могло само собою откуда-то упасть, его бросили, и бросили в меня, но я не кинулся тут же бежать, хотя и одиноко и боязно показалось на заснеженной и замерзшей ночной речке; несколько мгновений еще смотрел на синий и сливавшийся в темную ленту прибрежный тальник, стараясь увидеть, кто же все-таки швырнул полено, и, может быть, как раз пото-

му, что никого нельзя было различить, беспокойство сильнее охватило меня; медленно, пятясь, я отходил к берегу, и как только повернулся спиной к тальнику, снова и теперь рядом с плечом пронеслось другое полено и, грохнувшись, покатилось по льду, и почти одновременно раздался где-то совсем рядом лихой, насмешливый свист. Не помню теперь, как получилось, то ли я действительно, опять оглянувшись, рассмотрел наконец в кустах стоявших во весь рост людей (двоих или даже четверых?), или это только почудилось так, а на самом деле я не успел оглянуться, просто побежал, напуганный свистом и летящими поленьями, которые, казалось, продолжали ударяться об лед, когда я уже находился у берега, возле мостков и тропинки, ясно очерченной на снегу, но так или иначе, а только очутившись под окнами своей избы, вернее, избы Пелагеи Карповны, я остановился. Никто не гнался за мной. Но впечатление, что на меня напали, было настолько сильным и так ошеломило, что, когда я вошел в избу, продолжал еще оглядываться и вздрагивать как будто от звуков падавших и скользивших у ног по льду поленьев.

Можете представить, как я провел остаток ночи. То мне было жарко в постели и я откидывал одеяло, то, напротив, чувствовал, что замерзаю, и тогда снова укутывался с головой и, сжавшись, подтянув колени к подбородку, долго еще, согреваясь, дрожал какою-то как будто душевною, что ли, дрожью. Как ни считал я себя правым, как ни казалось мне, что человек не может быть у нас беззащитным, что есть же законы, в конце концов, переступить которые не посмеют, во всяком случае не должны, ни старый Моштаков, ни его сын Кузьма («Не он ли швырял поленья?» — думал я), ни кто бы то ни было другой, потому что ведь времена кулацких разгулов прошли, да и кулаков давно нет, а есть только колхозная деревня, в которой все равны и объединены одною *государственною* целью! — но все это были лишь утешительные слова, тогда как скользившие по льду поленья были жизнью, вернее, той стороной жизни, которая до этой ночи была как бы спрятана от меня и теперь, открывшись, пугала своею неожиданною жестокостью. «Мстят, — думал я. — Мало ли что могут сделать?!» Временами казалось, что кто-то подходил со стороны огорода к моему зашторенному до половины низкому окну, и я даже ясно будто различал, как похрустывает снег под тяжелыми мужицкими валенками

(под валенками Кузьмы, так представлялось, а ноги у него были большие, кряжистые); и хотя через минуту, две все будто затихало, но то же чувство (когда летели в меня поленья) продолжало еще как бы нарастающей тревогой сковывать сознание.

Я так и не уснул в ту ночь, а едва начало светать, оделся и вышел из дому.

Пелагея Карповна еще спала; да и все Долгушино, казалось, спало, укрытое снегом и инеем, и над трубами еще не поднимались столбы дыма, не открывались еще хлевы и коровники, и мужики не ворошили в стожках, что возвышались во дворах, над амбарами, придавленное жердями сено, и тот запах утра — парной, молочный запах деревни, — что и зимою бывает не менее ощутим, чем весной или летом, еще словно хранился за дверьми в хлевах и избах. Я прошел через двор и заглянул за бревенчатую стену, но никаких следов под моим окном не было; ровной полудугою, наметенный три дня назад, тянулся от подоконника к дороге весь еще пропитанный ночными сумерками снежный сугроб. Постояв немного, я вышел на улицу и направился к реке. Я шагал неторопливо по той же проторенной к мосткам и проруби тропинке, по которой пробирался вчера, и как только открылась взгляду замерзшая река, различил на льду черневшие точками поленья. Их было всего три, хотя ночью мне казалось, что бросали много и долго. Когда я поднял первое сучковатое березовое полено, все, что случилось со мною здесь ночью, моментально ожило в памяти, и я, не выпуская из рук корявый березовый обрубок, метнулся к кустам тальника, надеясь увидеть следы тех или того, кто швырял поленья (откуда-то он пришел, и следы теперь должны были указать *откуда*?); я сразу же наткнулся на утоптанную в снегу площадку и разглядел свои следы и вмятины, где ночью лежал, прислушиваясь и всматриваясь, и разглядел еще чьи-то, тоже глубокие и округлые (тот, кто шел за мной, был, как и я, в валенках), но все эти вмятины, отпечатки ног, утоптанная площадка образовывали словно пунктиром прочерченную от проруби и мостков по реке и дальше через тальник и сугробы к моштаковской баньке дорожку. «Прямо с улицы, по тропинке, — подумал я, вспомнив то свое ощущение, что кто-то будто следил за мной; ощущение это возникло прежде, чем я вышел тогда на реку, сразу же, как, очутившись на морозной улице, зашагал к моштаковской избе. — Все предусмот-

рели». Я снова, как и ночью, начал оглядываться, хотя опасаться было нечего, давно уже рассвело, и синяя заиндевелая деревушка, стоило чуть внимательнее присмотреться, просыпалась, встречая закурившимися трубами и хлопающими дверьми студеное зимнее утро.

Когда я вернулся домой, Пелагея Карповна уже доила свою белолобую Марьянку, и было слышно, как за чуть приоткрытой дверью коровника струи молока бились об оцинкованное ведро.

Я стоял у крыльца, держа принесенное с реки березовое полено, поворачивал и рассматривал его, и в ту минуту был твердо убежден, что умолчать о ночном нападении нельзя, что это уже уголовное дело и что доказательство всему — вот оно, полено. Я положил его тут же, у крыльца, к стенке, намереваясь, может быть сегодня, отправиться в Чигирево к Игнату Исаичу или Подъяченкову, но обстоятельства сложились так, что ни в этот день, ни на следующий, ни спустя неделю так и не смог попасть в Чигирево; Пелагея Карповна убрала полено в сарай, и я потом не захотел выносить его оттуда. Я вообще так никому и не рассказал, что случилось со мной ночью; Пелагее Карповне потому, что она стала избегать разговоров (разумеется, я не знал почему, терялся в догадках), а однажды даже заявила: «Искал бы другую квартиру, а лучше — съезжал бы совсем, что ли, от греха, о господи!» — а Подъяченкову и Игнату Исаичу потому, что боялся опять оказаться лжецом в их глазах.

«Бросали...»

«Кто?»

«Этого сказать не могу».

«Так чего же от нас хочешь?»

«Чтобы...»

«Новые «лари» подсовываешь? Довольно, не выйдет!»

Таким или приблизительно таким представлялся мне разговор с ними, и потому сначала я откладывал, а потом и вовсе решил не заводить его.

Почти всю неделю я просидел дома, никуда не выходя и, разумеется, ничего не зная о том, что и как говорили обо мне в деревне; да просто и в голову не приходило, чтобы обо мне могли что-то говорить, а словам Моштакова — *мир осудит* — я не придавал тогда особого значения; я по-прежнему думал, куда же, в конце концов, делись эти проклятые лари, и намечал планы, к кому пойти, что посмотреть, что и у кого спросить

(«Не сходить ли на конюшню к одноногому Ефиму Понурину? Может быть, *он давал куда* лошадей?» — рассуждал я), но планы оставались планами, и я только смотрел сквозь окно на заснеженную улицу и, так как нельзя же было без конца думать лишь об одном, садился за стол и принимался расшифровывать летние еще записи в журналах, а потом взялся за неоконченную карту севооборота для Долгушинских взгорий. Я, в сущности, заставлял себя уходить от навязчивых и тяжелых дум о хлебных ларях и всей той истории, которая приключилась со мной и в которой хотя я и чувствовал себя правым, но в то же время какая-то будто тяжесть лежала на душе, может быть, оттого, что мне не поверили, или просто потому, что оказался вот в таком униженном, когда ты не в силах ничего изменить, положении, — словом, старался как бы отсечь от себя эти беспокойные и бесконечные думы, забыться работой, но проходил час, другой, и я вдруг обнаруживал, что лишь смотрю на расстеленную перед глазами будущую карту севооборота, тогда как вижу то освещенные крышки хлебных ларей, то пустую кладовую и ехидно ухмыляющегося Моштакова, «мучное брюшко», — «Вон, вон, и руки, и телогрейка на животе, все в белом мучном налете!» — то будто снова бегу по ночной замерзшей реке, и летящие поленья ударяются и скользят по голому льду. «Да что я, — вставая и встряхивая головой, упрекал себя. — Может быть, действительно, как говорил Федор Федорович, черт с ними, с этими ларями!» Но ведь за ними, за теми хлебными ларями, наполненными краденой колхозной пшеницей, стояла, для меня во всяком случае, целая армия мужичков «мучное брюшко», в ледяные сенцы к которым входили мы когда-то с Владиславом Викентьевичем, держа под мышками белые узлы, и мужички те не могли не вспоминаться теперь и не разжигать воображение, стояло ненавистное мне, как я понимал его, людское зло, и потому я не мог, пусть хотя бы в душе, про себя, примириться с тем, что Моштаков оказался неразоблаченным, и в один из ясных морозных дней, а погода тогда, помню, почти весь декабрь держалась удивительно по-зимнему прекрасная, солнечная, я все же не вытерпел и отправился к Ефиму Понурину. Как-никак, а не раз бывал у него в гостях, на пельменях, да и знал нестарый еще конюх, что я когда-то приглядывался к его дочери (и он питал, наверное, как и Федор Федорович, кое-какие надежды), в общем, я рассчитывал

если не на радушный, то хотя бы на вежливый, что ли, прием, и, знаете, каково же было мое удивление, когда этот самый Ефим, обычно при встречах всегда протягивавший (может быть, по забычивости, ведь я каждый раз напоминал ему, что не курю, а может, от простоты душевной и доброты?) кисет и сложенную для самокруток газетку, так вот, этот самый Ефим Понурин, выйдя на стук к воротам, не только не открыл их и не пригласил в избу, но как остановился в нескольких шагах за синими, заиндевевшими перекладинами ворот, так и стоял, нахлобучив шапку, и недоброжелательно, оценивающе смотрел на меня.

«Ну чего? — неохотно проговорил наконец он. — У меня-то, поди, ларей нет. Али и у меня шарить будешь?»

«Да вы что? Я только хотел...»

«Чего хотел?»

«Хотел узнать, не брал ли кто лошадей в тот день, ну, накануне, когда, помните, к Моштакову...»

«Эк, чего захотел. Лошадей кажный день берут и кажный день ставят, и на то бригадир есть, у него и спрашивай. Ну, еще чего?»

«Так брал кто лошадей или не брал?»

«Нет».

«Ефим Семеныч, дело серьезное».

«Никто не брал, чего еще?»

«Это точно?»

«Чего еще, говорю?»

«Больше ничего, извини, — сказал я, даже вроде как бы слегка отстраняясь от него. — Больше ничего, все».

Какие-то доли секунды мы еще смотрели друг на друга: я с недоумением, потому что мне непонятно было это изменившееся ко мне отношение одноногого конюха, он же по-прежнему настороженно, с явным недружелюбием, которое было и в глазах, и во всем, может быть, от яркого белого снега сощуренном лице; ни я, ни он не произнесли того, что обычно говорили друг другу при расставании: «Ну, здравствуй-бывай», а молча: он зашагал к своей избе через двор, вминая деревянным костылем и без того утоптанный на дорожке снег, а я — к себе через всю зимнюю и потому как будто малолюдную деревню. Лишь возле школы и у входа в маленькую бревенчатую лавку сельпо было заметно оживление; возле школы дети с горы катались на санках, а

здесь, возле лавки, беседовали между собою собравшиеся долгушинские мужики; но и этого малого было вполне достаточно, чтобы, как говорится, ощутить на себе действие сказанных, помните, в конюшне Моштаковым слов — *мир осудит*. Когда я поравнялся со школой, дети вдруг, словно по команде, выстроились в ряд, держа кто на веревочках, кто прямо перед собою в руках санки, и все смотрели на меня — какими же были те семейные разговоры, если детишки даже перестали кататься, завидев меня; когда подошел к лавке сельпо, вернее, к собравшимся полукружьем мужикам, как это делал всегда, чуть наклонил голову и приподнял шапку, здороваясь, никто не ответил на приветствие; лишь молодой парень, Петр Рожков, стоявший рядом с отцом, кивнул было мне, но отец, и это на виду, не скрывая, дернул его за полу телогрейки так, словно прикрикнул: «Кому кланяешься!» — и парень мгновенно отвернулся и принялся уже смотреть куда-то вдоль улицы.

«Что случилось, мужики? — спросил я, называя по имени и отчеству всех, разумеется, хорошо знакомых мне долгушинских колхозников. — Почему не здороваетесь?»

«У нас хлебных ларей нет, — за всех ответил Рожков. — Да и баньки на задах не у каждого».

«Вы это к чему?»

«А к тому. Пойдем, Петр», — добавил он и, явно не желая больше разговаривать, зашагал прочь от сельповской лавки.

Следом за ним так же молча, отворачиваясь и будто виновато глядя себе под ноги, двинулись и другие, и я, пораженный этим неожиданным приемом, смотрел на их широкие удалявшиеся спины. Я и в самом деле не понимал, что произошло, потому что не для себя же старался, разоблачая Моштакова. Но доброе дело мое, как видно, не было для них добрым. В моем старании они улавливали что-то такое, что, может быть, касалось их самих, но разве я мог тогда хоть на секунду представить это? Я лишь чувствовал себя униженным, и от сельповской лавки шагал уже один пустынной улицей. Когда вошел в избу, помню, Пелагея Карповна сейчас же убежала к соседке; она вообще в последнее время все чаще уходила из дому, как только я появлялся, и хотя у нее были на это свои и довольно веские причины (я узнал о них позже, спустя уже много лет), но тогда я объяснял себе все просто: «Моштаков науськивает, а

вы, эх, люди, не можете различить, где добро, где зло!» Постепенно я начал озлобляться не только на Моштакова, но на всех: «Раз так, раз не хотите понимать, пусть грабит вас Моштаков, скорее протрете глаза и осмотритесь!» В работе же я постоянно теперь как бы натыкался на стену. Федор Федорович требовал доставить снопики пшеницы в Чигирево, но бригадир Кузьма не давал лошадей, каждый день находил новый и новый предлог, с попутной тоже не удавалось отправить, так как ни конюх, одноногий Ефим Понурин, ни тот же Кузьма Моштаков не говорили, кто и когда едет в Чигирево, и в конце концов Федор Федорович прислал за снопиками свои сани, а вместе с ними и рассерженную записку. В ней было всего несколько слов: «Вы получаете зарплату, извольте выполнять свои обязанности!» Я прочитал записку с тем чувством обиды, какое не может не возникнуть, когда вы видите, что совершается над вами несправедливость; я ни минуты не сомневался, что Федор Федорович знал, почему не отправлены вовремя снопики, что не сидел же я сложа руки, и бегал, хлопотал, и за что же тогда этот упрек?

«Вот видите», — показывая записку, сказал я подъехавшему на коне Кузьме Степановичу, когда Пелагея Карповна, я и помогавшая нам Наташа грузили снопики пшеницы на сани.

«Че это?»

«Почитайте».

«А че читать? Кому прислали? Тебе? Вот и читай».

«Должен вам напомнить, — хмурясь, продолжал я, — что вы обязаны обеспечивать сортоучасток и тяглом и людьми своевременно. Согласно договору, ясно?»

«Ниче я те не обязан. Есть — даю, нет — взять негде, а в договоре не сказано, чтобы с колхозных работ снимать и перегонять к вам, так что ты не учи меня».

«А сортоиспытательный участок существует разве не для колхоза?»

«Э-э, все для колхоза, а на деле выходит, ан, с колхоза все».

«Так что, к председателю мне идти, что ли?»

«Вона, дорога проторенная», — усмехнувшись, проговорил он и, чуть привстав в седле и обернувшись, указал сложенной в руке плеткою на тянувшуюся от замерзшей реки по некрутому склону наезженную и чуть темневшую на белом снегу санную колею.

С этого дня он почти не разговаривал со мной, и особенно трудно пришлось мне, когда началась подготовка семян к посеву. Если бригадир выделял людей, то бывал занят триер, и женщины до обеда лузгали семечки в настывшем плетеном сарае и затем расходились, а когда наконец я все же добивался триера, надо было бегать и собирать людей. Я снова просыпался чуть свет и, неумытый, в полушубке с поднятым от мороза воротником, торопливо шагал от избы к избе (разумеется, стучась к тем, кого бригадир занарядил с вечера), но колхозницы не спешили: то приходила одна, то другая, ждали напарниц и, не дождавшись, уходили, а вместо них являлись как раз те самые напарницы и тоже сидели, ждали и затем уходили, а на дворе между тем начинало смеркаться, короткий зимний день истекал, и я, рассерженный вконец, злой, опять отправлялся к бригадиру и просил оставить людей и триер на завтра. Но на следующее утро повторялось все то же, и еще на следующее — опять все повторялось, а потом приезжал Кузьма Степанович на своем резвом рыжем жеребчике, сердито спрашивал: «Че, стоит машина?» — и триер тут же увозили на бригадный двор. Я чуть не плакал от обиды и оттого, что бессилен что-либо изменить; главное, жаловаться, я чувствовал, было не на кого, потому что внешне все как будто соблюдалось, триер давали, людей выделяли, а то, что женщины никак не могли собраться, чтобы начать работу, так это, во-первых, всех не обвинишь, а во-вторых, на такое обвинение наверняка сказали бы (да так оно затем и вышло): «Не умеете работать с людьми!» Произнес эту фразу Федор Федорович, когда я, доведенный почти до отчаяния, — шутка ли, ведь могла сорваться посевная, я же понимал это! — решился все же пойти в Чигирево к нему.

Было это в первых числах марта.

Еше как будто стояла зима, и все вокруг, казалось, дремало, заметенное долгими февральскими вьюгами, но вместе с тем снег уже не слепил глаза своей яркой белизною, как зимой, а поосел, подтаял в лучах набиравшего силу солнца, и все во дворах, на огородах, на речке и дальше за речкою, на взгорьях, все покрылось еле заметною, будто прижался к земле развеянный ветром дым, пеленою. Серым казался снег и на крышах, и сбросившие синий морозный иней жердевые ограды теперь ясными черными полосами спускались к прибрежным и тоже заметно почерневшим кустам тальника. Поосели,

подрезались стожки во дворах, возле коровников, и это тоже было признаком приближавшейся весны. Да и ветер теперь все чаще дул с юга, принося тепло и отдаленное дыхание где-то лопающихся почек, и чувствовать это наступление весны, несмотря на заботы и неурядицы жизни, всегда бывает приятно; обновляется природа, и сам ты тоже будто обновляешься — и мыслью, и душой, и, что самое важное, как оживают семена в земле, оживают в тебе надежды на лучшее и радостное будущее. Не совсем, может быть, в таком настроении, но все же именно с надеждою на лучшее будущее отправился я в то мартовское утро в Чигирево. Я говорю «отправился», да, пошел пешком, потому что Кузьма Степанович все равно не дал бы подводу, а просить, унижаться мне, откровенно, не хотелось; я даже задами обошел моштаковское подворье, чтобы не встретиться вдруг с Кузьмой Степановичем; да и видеть старого Моштакова не было никакого желания. Он обычно стоял в открытых воротах своей огромной, примыкавшей к избе бревенчатой конюшни, когда я теперь проходил по улице, и в это утро мне особенно не хотелось ощущать на себе его прищуренный, как будто старчески равнодушный, спокойный, но на самом деле полный холодной ненависти взгляд; я по-прежнему чувствовал мир его мыслей, злой и понятный до самых незначительных мелочей, мне казалось, что даже вокруг двора его все было как бы пропитано *моштаковским* миром, как я называл теперь все, что связывалось у меня с мужичками — «мучное брюшко», и в это мартовское утро, повторяю, как никогда прежде, не хотелось даже вот так, взглядом, что ли, прикасаться к нему; опять лари, опять вся оскорбительная история, воспоминания о которой могли оставить лишь пустоту и боль на душе, тогда как мне было, в общем-то, не до ларей и не воспоминаний: близилась посевная, а семена еще не очищены, не протравлены и не проверены на всхожесть. «Может быть, не к Федору Федоровичу, а прямо к председателю колхоза», — сам себе говорил я, подымаясь по взгорью к дороге и стараясь не думать о Моштакове. Я не хотел оборачиваться, но, оказавшись на вершине, все же остановился и посмотрел на деревню; и не хотел выделять среди других изб моштаковскую, но и длинная конюшня, и тесовая крыша избы, и все подворье с огородом и банькой, что стояла, приткнувшись на задах, почти у самой еще скованной льдом реки, — все это я как будто увидел преж-

де, чем остальные избы Долгушина. Моштаковское подворье как бы всколыхнуло в памяти все пережитое здесь за долгие месяцы со дня приезда, и, может быть, как раз тогда, в те минуты, когда, стоя на укатанной полозьями и местами подтаявшей с вечера и заледеневшей теперь, поутру, санной колее, смотрел на дорогие избы Долгушина, впервые с тревогою почувствовал, что между мною и той радостью труда и жизни, какую я познал, объезжая и обходя в дождливые осенние дни черные вспаханные Долгушинские взгорья, будто ложилась глубокая и неодолимая пропасть; в то время как я находился по эту сторону пропасти, те осенние дни, что наполняли жизнь радостью и счастьем, как бы отрезались от меня даже не пропастью, а мрачным моштаковским миром, и, главное, что я будто ничего не мог сделать, чтобы убрать с дороги этот ненавистный и злой моштаковский мир. Знаете, как беспокоит иногда нехорошее предчувствие человека и он становится угрюмым, настороженным, неразговорчивым, хотя и причин-то пока для этого никаких, вот такое предчувствие чего-то нехорошего, что должно было будто изменить мою жизнь, тревожило и угнетало меня всю дорогу, пока я шел в Чигирево. Я полагал тогда, что настроение это оттого, что мне не хотелось, в сущности-то, встречаться с Федором Федоровичем. После памятного декабрьского вечера, когда в метельную морозную ночь я ушел от него и затем, греясь, сидел возле печи в незнакомой избе, я так и не видел Федора Федоровича (он не приезжал в Долгушино, только присылал письменные распоряжения, я же не появлялся в Чигиреве); я не мог простить ему того, что он рассказал о ларях Андрею Николаевичу, и по-прежнему был убежден, что *он* был заодно *со всеми* («Не с Моштаковым, так с Андреем Николаевичем непременно», — рассуждал я) и что, конечно же, ни о каком, так сказать, примирении не могло быть и речи, и я бы ни за что, если бы не надвигавшаяся посевная, не позволил бы себе переступить порог дома Федора Федоровича.

Когда я вошел во двор сортоиспытательного участка, веснушчатый внук сторожа Никиты — Михаил, заметно подросший за эти почти два года с тех пор, как я впервые увидел его, запрягал серого беззубого мерина в сани; он заводил старую, изработавшуюся и уже с безразличием и покорностью ступавшую в оглобли лошадь и, увидев меня, только взмахнул рукой, как это делали

чигиревские мужики, знавшие цену времени и соблюдавшие достоинство, и продолжал свое дело; упираясь полусогнутой ногою в обшитое кожей деревянное плечо хомута, он затягивал супонь, когда я, совсем уже почти приблизившись к нему, спросил:

«Далеко собрались, Михаил?»

«В поле», — неторопливо, как будто даже неохотно ответил он.

«Чего это вы? Кто вас гонит?»

«А я что...»

«Там же снег по брюхо вашему мерину!»

«А я что... Я... вон, велят», — докончил он, уже расправляя вожжи и кивком головы указывая на того, кто как раз и велел запрягать и теперь будто стоял за санями.

Я посмотрел, куда он указывал, и увидел спустившегося с крыльца Федора Федоровича. Он был в полушубке, шапке и валенках, во всем том, в чем я привык видеть его зимою, и стоял так же, чуть раздвинув для прочности ноги (а знаете, есть еще в этой позе нечто такое: мое, мол, я хозяин здесь, и не сдвинешь!), как встречал прежде, и, казалось, вот-вот зазвучит его наполненный отцовской теплотою голос: «Эк кто к нам! Дарья! Дарья, ставь самовар!» — затем возьмет меня под руку и поведет в избу, а Никитиному внуку скажет, что поездка отменяется и чтобы он распрягал мерина и шел домой, но ничего этого не случилось, Федор Федорович не торопился ни отменять свою поездку, ни произносить приветливые слова; он оглядывал меня молча и так, будто видел впервые, и даже будто был удивлен, зачем, дескать, явился к нему этот неприятный молодой человек? Я хорошо помню это выражение в его холодном старческом взгляде. Он не здоровался, мне тоже не хотелось первым произносить «Здравствуйте», и я лишь чувствовал, что с каждой секундой, пока мы смотрим друг на друга, все сильнее и сильнее поднимается во мне неприязнь к этому коренастому, с короткою шеей человеку, и неприязнь свою — я чувствовал и это — не в силах был ни подавить, ни скрыть от Федора Федоровича.

«Н-ну, явились?» — спросил наконец Федор Федорович, продолжая, однако, с прежним как будто равнодушием смотреть на меня.

«Да, как видите».

«Посевную сорвали?»

«Пока нет».

«Чего там «пока», сорвали, милостив-с-сударь».

«Я пришел к вам, Федор Федорович...»

«Поздно пришли. Вы, милостив-с-сударь, уже, по существу, уволены».

«Как?!»

«Не «как», а вернее было бы: «За что?» За то, что сорвали подготовку семян к посеву. Бумагу на вас я еще на той неделе отправил в управление, так что на днях выйдет приказ», — добавил он все с тою же непривычною, во всяком случае для меня, как я знал его, холодностью в голосе.

В первое мгновение я, разумеется, не поверил тому, что сказал Федор Федорович; мне показалось, что я не понял; я ожидал чего угодно, только не увольнения, и потому — теперь уже с испугом и недоумением — продолжал глядеть на Федора Федоровича.

«С бригадиром вы не умеете ладить, с народом тоже, — снова начал Федор Федорович, — а я, милостив-с-сударь, ни работать, ни тем более отвечать за вашу разболтанность не намерен».

«Но я как раз...»

«Хотите возразить? То есть обжаловать, конечно, можно, этого никто вам не запретит, но скажите лучше, очищены семена?»

«Нет».

«Протравлены?»

«Нет».

«Так чего же вы хотите? Март на дворе, милостив-с-сударь. На вашем месте я бы сделал только одно — подал заявление. Приказ я постараюсь изменить, и это все, что могу обещать вам. Да, все!» — уже раздраженно закончил он.

Усевшись в сани и обронив Михаилу: «Трогай», — он для чего-то, хотя было безветренно и неморозно, поднял меховой воротник полушубка, и пока серый мерин вытягивал сани на дорогу, ни разу не обернулся и ничего больше не сказал мне. Я же остался один посреди опустевшего заснеженного двора, не зная, что делать, куда пойти, кому и что сказать о случившемся. «Неужели правда? — думал я. — Неужели действительно Федор Федорович уволил меня вот так, сразу, не приехав, ничего не узнав, не поговорив? Да и там, в управлении?..» Теперь-то я знаю, что вот так просто нельзя уволить человека и что никаких, конечно же, документов

Федор Федорович не составлял и не отправлял в управление (удивляюсь, как я не мог сообразить тогда, что на это у него просто не хватило бы решимости!), а говорил лишь по наущению Андрея Николаевича («Он даже угрожал Федору», — утверждала потом Дарья, таясь от мужа), и говорил для того, чтобы я испугался и подал заявление, и я, разумеется, подал его, все так и вышло, как замыслил, желая избавиться от меня, заведующий Краснодолинского районного земельного отдела, но что толку, что теперь-то я все знаю, и что из того, что с сожалением думаю, что мог бы не подавать заявления, и не была бы тогда надломлена жизнь, и не мучили бы меня те мрачные мысли о справедливости и несправедливости, которые и сейчас нет-нет да и тревожат сознание, и я начинаю с опаской поглядывать на людей; в самом деле, что толку в запоздалых открытиях, когда ничего уже нельзя ни изменить, ни исправить, жизнь уже определена и прошлое остается лишь уделом дум и воспоминаний? Я стоял посередине двора, лицом к воротам, и не мог, естественно, видеть того, что за спиною из окна, отдернув шторку и прильнув к стеклу, наблюдали за мной все три дочери Федора Федоровича вместе с женой, Дарьей; некрасивые лица их, сплющенные у стекла, показались мне еще более неприглядными, почти уродливыми, когда я, может быть, оттого, что почувствовал, что на меня смотрят, на миг оглянулся и увидел их; я тоже, как и Федор Федорович, хотя никакой нужды в этом как будто не было, зло поднял воротник полушубка и зашагал, не оборачиваясь на окна ненавистного мне теперь дома. В ту минуту я еще не думал, что напишу заявление; мне еще казалось несправедливым решение Федора Федоровича, и я пытался найти оправдание себе. «Не я сорвал подготовку семян, нет!» Я то и дело возвращался к только что состоявшемуся разговору с Федором Федоровичем, и так как на все вопросы, какие задавал он: «Очищены? Протравлены? Проверены на всхожесть?» — по-прежнему ответ был только один: «Нет!» — постепенно начал сознавать, что возражение бессмысленно, что оправдания, в сущности, нет и, главное, что все может повториться, как с моштаковскими хлебными ларями, которые были же в кладовой, я сам открывал крышки и черпал ладонью зерно, но кто, кроме меня, может теперь подтвердить, что они были? Никто. Ларей не нашли, а значит, для Подъяченкова, Игната Исаича, для всех их просто не

существовало. Я думал так, шагая по улице Чигирева, и не заметил, как очутился возле избы Игната Исаича. Ясно понимая, что мне вовсе не нужно заходить к участковому уполномоченному, я между тем прошел во двор и постучал в окно. И почти тут же в дверях появилась жена Игната Исаича, Мария.

«Добрый день, — сказал я. — Игнат Исаич дома?»

«Его нет».

«Ага. А когда будет?»

«Не знаю. Он в До́линку уехал».

«Ага. Ну извините».

Прямо от него я отправился к Подъяченкову, но и парторга дома не было; русоволосая дочь его, отвечавшая на мои вопросы, сказала, что отец ушел в правление колхоза, и я, опять-таки не представляя толком, для чего нужен мне Подъяченков, зашагал в центр Чигирева к правленческой избе. Но Подъяченкова не оказалось и там; лишь главный бухгалтер колхоза, как всегда, сидел за своим заваленным сводками, нарядами и ведомостями столом, и когда я, открыв дверь, спросил у него, где Подъяченков, не знает ли он, и где председатель, он как будто недоуменно уставился на меня своим округлым стеклянным с фронта глазом (кстати, сколько я ни встречался с ним прежде, всегда складывалось впечатление, что бухгалтер смотрел именно этим выпученным стеклянным глазом, а не вторым, нормальным, вернее, целым, который обычно бывал полузакрыт, прищурен) и только после долгой, причину которой я понял не сразу, паузы ответил:

«Они все в До́линку уехали, на совещание».

«А когда вернутся?»

«Этого сказать не могу».

Он продолжал смотреть на меня, и хотя я не мог уловить выражения его прищуренного глаза, но по округлому, стеклянному, а скорее по черточкам и морщинам, как они располагались на лице, понял, что вовсе не из простого любопытства, ну, скажем, давно не видал, ведь бывает и так, смотрел на меня главный бухгалтер колхоза. Он, конечно, знал всю мою долгушинскую историю, но знал, разумеется, лишь то и так, как говорили об этом мужики и женщины в Долгушине и Чигиреве, и в его понимании, как, наверное, в понимании многих, я выглядел клеветником, наветчиком, и именно это его недоброе любопытство сразу же неприятной болью отозвалось на душе; я тоже неприязненно

взглянул на него, будто он и в самом деле был виноват в том, что знал только ту *правду,* что была известна всем, и не знал другую, которая не позволила бы ему теперь так осуждающе-насмешливо оглядывать меня. «И ты — все заодно», — беззвучно проговорил я, закрывая дверь и направляясь к выходу.

На улице я еще встретил людей, которые, приостановившись, окидывали меня тем же будто, как только что главный бухгалтер колхоза, взглядом, и я, скрываясь как за стеною, за поднятым воротником своего полушубка, старался поскорее уйти от них. Мне казалось, что все осуждают и ненавидят меня, хотя — за что, этого я понять не мог; ни к кому более я не заходил; в ночь, потому что уже начинало смеркаться, злой и ненавидящий тоже всех и вся, шагал я из Чигирева в Долгушино, и как только очутился у себя дома (не сразу, конечно, а когда было уже далеко за полночь), не раздеваясь, присел к столу и написал то самое заявление, которое еще более, чем заботившийся о своем спокойствии Федор Федорович, ждал от меня заведующий райзо; на глазах у сонных и недоумевавших Пелагеи Карповны и Наташи я запечатал заявление в конверт и затем, выйдя из дому, теперь же, ночью, отнес его на бригадный двор и опустил в висевший там единственный на все Долгушино почтовый ящик.

ЕЩЕ ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА

30 марта, как сейчас помню, в холодный и ветреный весенний день покидал я Долгушино. Я уезжал с тяжелым чувством пустоты и обиды, и так же, как в низких и темных, обволакивавших небо тучах не было просвета, так мрачно и неприглядно представлялось мне будущее, и временами даже хотелось крикнуть: «Что вы со мной сделали?!» Самым невыносимым казалось то, что теперь, вернувшись домой, в город, я должен был объяснить матери, что произошло, почему приехал; я думал об этом все дни, пока получал расчет, и особенно утром, когда упакованные чемодан и рюкзак стояли уже у порога, а я, будто еще ожидая чего-то, не спешил выходить и невидящим взглядом смотрел на весеннюю с черной дорожной колеею посередине и осевшим ноздреватым снегом вдоль плетней и жердевых оград неровную долгушинскую улицу. Я вспоминал день, когда отъезжал из дому с дипломом агронома (аккуратно завер-

иутый в газету, он лежал иа дие этого же, стоявшего теперь у порога чемодаиа); сколько было иадежд, радостей и у меия, и у матери (да и братишка с сестреикой — как оии счастливо смотрели иа меня!); и письма отсюда, какие я посылал, особеиио в первый год работы в Долгушине, и вот все было теперь разрушеио, сломлено, и ие потому, что я сам сделал что-то иехорошее или непристойное, что ли; я чувствовал себя правым, моштаковский мир, как и прежде, был иенавистеи мие, и я зиал, что, если бы вдруг вся моя долгушинская жизнь повторилась, ии мииуты ие колеблясь, снова бы вступил в бой с Моштаковым, ио только действовал бы ииаче, осмотрительиее, и уж иаверияка не допустил бы тех ошибок, вспомииать о которых было неприятио и стыдио теперь. «Зачем я пошел к Федору Федоровичу? Да и что другое можио было от него ожидать? Нет, я бы уже не пошел к иему, и мы бы тогда еще посмотрели, кому пришлось уходить из Долгушина», — думал я. Но вернуть прошлое было нельзя, я, разумеется, понимал это, и оттого должиые служить утешением карти617ы, *как бы все могло быть,* возникавшие в воображении, вовсе ие утешали, а только обостряли то ощущеиие свершившейся несправедливости, те боль и обиду, которые и без того поминутио угнетали меня. Нет, я не видел весеииюю талую улицу Долгушина, когда, упершись ладонями в стол, смотрел сквозь окно иа иее в те прощальные мииуты; и дом с некрашеными и потемневшими от времени ставнями, что возвышался иа противоположиой стороне, был вовсе ие тем знакомым, какой я привык видеть ежедневно, как только, просыпаясь, отодвигал цветиую ситцевую заиавеску, а словио стояла передо миою дорогая мне и памятная родительская изба, та самая, которую когда-то, еще до войиы, мы с отцом купили в Старохолмове, и затем вместе с возницами-чувашами я перевозил ее в город, познавая мир и доброту и радуясь выраставшему на окраииной городской улице *своему,* собствениому дому, как радовались отец и мать; изба была деревенской, такой же, как и все здесь, в Долгушиие, и почериевшие и потрескавшиеся бревенчатые венцы ее были будто и теперь видиы мие так же, как прежде, когда я каждый день, выходя из дому, шагал вдоль стены и окон к калитке: то с сумкой, набитой тетрадями и учебниками, торопясь, боясь опоздать в техникум к началу занятий, то просто иалегке, чтобы встретиться с товарищами и погоиять где-

иибудь на поляие мяч, то с зажатыми в кулаке хлебными карточками, когда началась война и мать просила помочь по хозяйству, то с соседом Владиславом Внкеитьевнчем, как уже рассказывал, когда нужно было в очередной раз отправляться за сеиной базар на толкучку; я вндел перед собою всю ту свою жизнь, от которой уезжал когда-то, надеясь иа лучшее, и к которой должен был теперь вернуться, не оправдав, главное, иадежд матери. Я представлял себе, как, прнехав, войду с чемоданом и рюкзаком в дом н как обрадуется в первую мннуту мать, пока не поймет, что я приехал совсем н что опоры семье, как оиа ожндала, из меия не получнлось; и тогда счастливых слез уже не будет на ее глазах; вся та усталость от работы н жнзни, какую она, как мне казалось, испытывала постоянно с того дня, когда отец ушел иа фроит, опять горестной теиью ляжет иа ее лнцо, оиа прнвычио подберет под косыику свои начавшие уже редеть седые волосы и, вздохнув, спросит:

«А теперь что? Куда?»

«Учнться».

«В нститут?»

«Да».

«И Виталий в институт, и Света вот тоже...»

«Я иа вечерний, мама».

«О боже, да чего уж иа вечерний, разве я протнв?»

Вот так, про себя, беззвучно, я разговаривал с матерью, вериее, воображал этот разговор, стоя перед ннзкнм окном в своей долгушиискої комнате. Что еще более веское я мог придумать, кроме того, что пойду учиться в нистнтут? Мие казалось, что вообще весь свой приезд я мог объясиить учебой, что, дескать, не хватает знаиий н что без высшего образования сейчас невозможио стать хорошим специалистом; ио вместе с тем — как ии убедительными даже самому себе представлялись этн доводы — я поиимал, что иичем не смогу сиять тот горький осадок, какой остаиется у иее иа душе от моего возвращення.

В соседией комиате, за дверью, я зиал, Пелагея Карповиа н Наташа сидели и ждали, когда я выйду, чтобы проститься со миой. Пелагея Карповна с рассветом ушла было иа брнгадиый двор, так как ие хотела, наверное, видеть меия в это утро, но потом почему-то передумала, вериулась, и я слышал, как оиа, хлопая

дверьми, шумно входила в избу. Я уже привык, что после истории с моштаковскими ларями она относилась ко мне холодно, отчужденно, как, впрочем, относились и другие долгушинские мужики и женщины, но если для других я был лишь агрономом, лишь требовал работу, то Пелагея Карповна, я справедливо полагал, знала обо мне все, и уж кто-кто, а она-то могла понять меня и не осуждать, как другие; да, именно так я думал, и, может быть, поэтому у меня тоже вырабатывалась своя, если можно сказать, неприязнь к Пелагее Карповне, и мне тоже теперь, напоследок, не хотелось видеться с ней. Наверное, я только потому и стоял у окна в комнате, что надеялся, что Пелагея Карповна снова уйдет на бригадный двор.

Занятый этими думами, я не заметил, как приоткрылась дверь и в комнату заглянула Пелагея Карповна.

«Вы едете сегодня или не едете?» — спросила она так, будто в том, еду я или не еду, заключалось для нее что-то важное, что ли.

«Ухожу, — ответил я. — А что?»

«Гришка подъехал. Он в Чигирево, так что...»

«Какой Гришка?» — сердито переспросил я.

«Господи, да приемный сын нашей соседки, Лобихи. Я уж к нему бегала, а то куды, думаю, с чемоданом-то и узлом в слякоть такую!»

«Я не просил вас».

«Да уж подъехал. Иди. Чего уж».

Чуть помедлив, я все же вскинул на плечо рюкзак, взял чемодан и молча, не прощаясь ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, вышел во двор.

У ворот и в самом деле стояла подвода.

Я только спросил:

«В Чигирево?»

«Да».

Бросив чемодан и рюкзак на колкие объедки сена, которыми была наполнена телега, и умостившись рядом с вещами, я негромко и недовольно проговорил: «Поехали», — приемный сын Лобихи, лет четырнадцати парнишка, щелкнул вожжой по сытому крупу бригадной лошаденки, и телега, разрезая колесами мягкий водянистый снег, двинулась вниз по улице к ребристому и уже просохшему от снега бревенчатому мосту.

Я смотрел вниз, под колеса, на землю, на свои болтавшиеся над дорогою ноги, и только после того как те-

лега, протарахтев по бревенчатому настилу моста, начала медленно, раскачиваясь и почти по самые ступицы утопая в размякшей и разъезженной колее, подниматься по взгорью и все избы Долгушина остались позади, разогнул спину и взглянул на удалявшуюся деревню. Десятки раз я видел ее с этой же вот рассекавшей пашню дороги, отправляясь в поля то пешком, то на коне, рыжем бригадирском жеребчике, которого нет-нет да и уступал мне в те дни Кузьма Моштаков, и весной ли, когда все вокруг бывало покрыто зеленью: и тальник у речки, и покосный луг за тальником, и дальше — квадраты тронувшихся в стрелку озимых и яровых, словно подновленные и сиявшие свежими на солнце красками, летом ли, когда по желтому хлебному раздолью, как нестихающий прибой, одна за одною, прижимая тяжелые колосья к земле, накатывались волны почти под самые завалинки долгушинских изб, осенью ли, когда все как бы уменьшалось, сливаясь и выцветая за синею и беспрерывно моросящею сеткой дождя (я часто и теперь слышу глуховатые звуки ударявшихся о брезентовый плащ и капюшон тех дождевых капель, и, знаете, какая-то никем, разумеется, не записанная еще, непостижимая мелодия оголенных полей начинает слышаться в этих звуках, и беспричинная, тяжелая грусть ложится на душу), да, десятки раз именно с этой вот уходившей в гору дороги смотрел на мило прижавшуюся к речке небольшую, всего лишь колхозная бригада, деревеньку, и мне всегда казалось, что ничего нового я уже не смогу открыть в ней и что то чувство любви, которое оживало во мне каждый раз при виде этих приземленных и почерневших бревенчатых изб, неповторимо, неизменно, и что нет и не может быть ничего выше этого чувства. Но мы просто не знаем, на чем кончается наша любовь, и кончается ли она вообще, и где граница радостям и горю. Я как будто ненавидел Долгушино и уезжал, как уже говорил, злой и опустошенный, даже вот, видели, не простился ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, но злость моя, и с годами я все больше начинаю понимать это, была лишь той некрасивой скатертью, какою иногда закрывают полированную поверхность стола; мне жаль было расставаться с работой, землей, людьми; я не думал, как прежде бывало, когда еще не знал о моштаковских хлебных ларях, как много готов был сделать полезного и доброго людям — да мало ли что! — я чувствовал в себе столько силы, что не оглоблю, а бревно, бро-

сившись, мог бы легко перешибить плечом! — нет, я не думал ни о карте севооборота, которая была уже почти закончена и которую я для чего-то увозил с собой, ни еще о чем-либо, что удивило бы и обрадовало сельчан и сделало их (не только долгушинцев, но и чигиревцев, и дальше — всех на земле!) счастливыми, но желание это, желание совершить большое и доброе, какое разбудили когда-то в душе эти же вот Долгушинские взгорья, как бы само собою продолжало жить во мне, и потому я с тоской смотрел на проступавшую из-под снега на склонах черную оттаявшую землю. Я не помню, чтобы мальчишка-кучер что-нибудь спрашивал или вообще пытался заговорить со мной; может быть, и оборачивался и смотрел на мою сникшую спину, а может, просто понимал то состояние, в каком находился я, и потому сидел молча, даже не покрикивал на лошаденку, чтобы не нарушать то течение чувств и мыслей, какое с первой же минуты, когда еще телега только тронулась от ворот, захватило меня (а впрочем, мы эгоистичны; я говорю о себе, тогда как он мог думать о своем; ведь у него была своя жизнь, свои заботы!); но так ли иначе ли, я был так возбужден и сосредоточен, что ни вязкой дороги, ни чьего-то приемного сына, ни самой телеги, на которой ехал, как будто не существовало вовсе, а была только и позади и по бокам покрытая осевшим, подтаявшим снегом земля, которую я видел и цветущей, и оголенной, сырой, размякшей, когда она, как роженица, подарив жизнь, укладывалась на отдых под белое снежное одеяло, и на осиротевших без листьев стебельках, как застывшие слезы мучений и счастья, поблескивали льдинками запоздалые осенние росы. Вы можете не согласиться со мной, да, пожалуй, и не согласитесь и будете правы, потому что каждый человек, конечно же, живет своим воображенным ли, или еще как-нибудь можно назвать его, миром, но я не преувеличиваю, и уж вовсе не от желания сказать красиво хочу сравнить ваши чувства к Ксене со своими, какие испытывал я к Долгушинским взгорьям; они казались мне такими же прекрасными и неповторимыми, как вам Ксеня; в Чите, в Антипихе, в Москитовке, наконец, здесь, в Калинковичах, в этой вот самой гостинице — в любую минуту вы могли представить лицо Ксени, ее серые и серебрившиеся в свете висевшей над столом керосиновой лампы косы, ее улыбку, любое движение ее лица, которое не нужно вам объяснять, всю ее понятную и близкую вам доб-

роту, так и для меня Долгушинские взгорья (и не только в тот пасмурный и холодный весенний день, когда я, в сущности, глядя на них, навсегда будто прощался с ними) имели *свое лицо*, имели понятную мне и близкую *свою добрую душу*, я знал, казалось, каждую проведенную на них борозду, каждый заросший травою огрех, каждую непрополотую межу, и все это сливалось в одно целое, что дарило мне счастье и от чего я уезжал теперь, как отвергнутый, не понятый и не оцененный этой же вот землею, над которой будто все ниже и ниже нависали косматые и черные дождевые тучи, людьми, что сидели (конечно, они не сидели, а каждый занимался своим делом, и с бригадного двора давно уже выехали запряженные арбы на ферму, но мне так казалось, что сидели) по своим удалявшимся сейчас от меня избам, и больнее всего было сознавать именно это, что не понят и отвергнут. Я видел и моштаковское подворье, и дом Пелагеи Карповны, и старую заброшенную мельницу, где в летние короткие вечера оживал натягивавшийся белый экран, и видел уменьшавшуюся свинцово-серую полоску реки с тальником и мостками, и хотя река была уже не замерзшей — еще неделю назад лед сорвало и теперь шла редкая, неопасная и бесшумная шуга, минутами вдруг все преображалось для меня, я снова пробирался по оголенному и местами заснеженному льду, оглядываясь и чувствуя, что кто-то следит за мной, и вот уже одно за одним с глухим шумом падают за спиною поленья и зловеще скользят по толстому и шершавому льду. То нападение, знаете, до сих пор не изгладилось из моей памяти, и бывает иногда страшно оттого, что люди, именно люди, разумные существа, с неизмеримой, я бы сказал, подлой жестокостью набрасываются на себе подобных. Хотя никто больше не швырял в меня поленьями и даже как будто признаков, чтобы угрожали, не было, но в ту зиму я так и не выходил по вечерам из дому; я хорошо помнил обо всем этом, и когда смотрел на избу Пелагеи Карповны, невольно задерживал взгляд на дровяном сарае, где в целости и сохранности еще стояло унесенное туда и прислоненное к стенке сучковатое березовое полено. «Кто же все-таки бросал? — опять спрашивал я себя, не замечая, как раскачивается на вязкой дороге телега. — Не сам же старик Моштаков? Я же чувствовал, — продолжал рассуждать я, припоминая залитый лунным светом ночной

двор, подводу, мешок с мукой, который проносили на остекленную веранду мимо стоявшего в кальсонах и нательной рубашке заведующего райзо, припоминая лишь те подозрения, какие возникли тогда, сразу же, и не думая больше ни о чем, будто ничего другого не было в тот вечер и я не восторгался ни жизнью, ни умом, ни, наконец, достатком Андрея Николаевича. — Да, чувствовал, — продолжал я, — но разве мы когда-либо полагаемся на себя? Мы не верим себе, глупцы, и потом дорого платим за это». Я говорил еще в этом роде, с горечью разбирал свои ошибки, ни на мгновение, однако, не отрывая взгляда от унылых, лишь с черными пролысинами на подтаявшем белом снегу взгорий, которые обладали еще большей как будто притягательной силой. Снова и снова они вызывали во мне затаенные добрые чувства, и эти чувства так же, как обида и горечь, одинаково тревожили. Я увозил с собою два мира — любви и ненависти, — которые существовали независимо от меня, я казался себе зажатым между этими противоборствующими силами, и как ни старался плечами, разумеется мысленно, в воображении, раздвинуть эти невидимые давившие стены, чтобы хоть развернуться лицом к злу и освободить руки, ничего не получилось, и я лишь, молчаливо сидя в телеге, сутулился под тяжестью пережитых событий. Когда скрылось из виду Долгушино, я не заметил; мне кажется, что до самого Чигирева, до той минуты, пока парнишка, остановив лошадь возле правления колхоза, не сказал громко и неожиданно: «Приехали!» — серые соломенные крыши долгушинских изб все еще будто, как не свезенные с осени осевшие прошлогодние стожки, вырисовывались на удалявшемся снежном горизонте.

В Чигиреве я тоже ни к кому не заходил и ни с кем не прощался; я даже обрадовался, когда почти тут же, едва успел снять чемодан и рюкзак с телеги, подвернулась попутная машина до Красной Дóлинки; в районный центр же приехал, когда уже вечерело и слякотная дорога покрывалась тонким и хрупким синим весенним ледком.

Мне говорили потом, когда я однажды, спустя много лет, решился пересказать эту свою долгушинскую историю, что главная ошибка заключалась не в том, что я доверился Федору Федоровичу и Андрею Николаевичу, а в другом, что не зашел вовремя в районный комитет партии. «В людях еще не раз и очаруешься и разоча-

руешься», — выслушав меня, сказал Петр Семенович, тот самый, с которым мы и сейчас трудимся вместе в управлении, и даже кабинеты наши расположены рядом, стена, как говорится, к стене. Ну что ж, может быть, Петр Семенович прав, да, пожалуй, наверняка прав, и случись со мною все теперь, я так бы и поступил, но тогда я, разумеется, не мог сделать этого; и не только потому, что был еще беспартийным, или потому, что не сообразил ничего по молодости, что ли; во-первых, мне казалось, что у меня не было оснований — ведь семена не очищены, посевная действительно-таки срывалась! — чтобы пожаловаться на несправедливое решение Федора Федоровича, и не было, в сущности, никаких улик, кроме разве словесных утверждений, ни против Моштакова, ни против Андрея Николаевича, и, во-вторых, не всегда же мы делаем именно то, что нужно; одни и неправду, стучась во все двери, оборачивают для себя правдой, другие же часто даже стесняются своей правоты, так что я все равно не могу полностью согласиться с запоздалыми суждениями Петра Семеновича. Я помню, с какой хмурой отчужденностью смотрел на здание райзо, когда, сойдя с машины в Красной До́линке, стоял на памятной мне с первого приезда площади (тогда она была пыльной; теперь же — слякотной, черной, исполосованной колесами легких председательских пролеток, на которых приезжали они к районному начальству, и оспинно-изрытой копытами тех же председательских лошадей), и я уже не любовался, как прежде, этим низким, барачного типа помещением с крыльцом посередине и как будто знакомым мне ветхим и полинялым плакатом по карнизу (слова, правда, призывали теперь к посевной); напротив, вся не замечавшаяся раньше убогость: давно не беленные, потемневшие стены, скосившиеся деревянные ступени крыльца, да и фундамент, подъедаемый солонцом, — все было словно специально обнажено передо мною, и я невольно говорил себе: «А у самого-то — и ворота новые, да и дом, и веранда — вся под стеклом!» — и хотя с того места, где стоял, не было видно ни новых ворот Андрея Николаевича, которые, впрочем, давно уже были выкрашены в густо-зеленый цвет, ни даже крыши его дома, но я мысленно воспроизводил всю его ухоженную усадьбу рядом со зданием райзо, и на душе от этого становилось лишь тяжелее и горше. Я видел и здания райкома, райсовета; и видел полуразрушенную церковь на возвыше-

нии в конце плошади, где когда-то, в тени красной кирпичной стены приснилось мне, что из-под меня вдруг вырвали землю; я, конечно, не вспоминал об этом сне, но все то ощущение, будто действительно вырвали землю, ни на секунду, казалось, не отпускало меня в тот день и вечер. Я не спустился к реке и не попрощался с нею; не прошло и часа, как с попутной машиной я мчался уже на железнодорожную станцию, а на рассвете следующего дня скорый поезд увозил меня от этих и дорогих и ненавистных мне мест.

Я тоже думал, что никогда больше не вернусь сюда; но так же, как и вам, может быть, даже в те самые минуты, когда я лежал на раскачивавшейся полке вагона, погруженный в свои грустные размышления, жизнь уже готовила мне обратную дорогу и в Красную До́линку, и в Чигирево, и в Долгушино, ко всем тем не оттаявшим еще взгорьям, с которыми я навсегда как будто расставался теперь.

ЧАС ШЕСТОЙ

Произошло это почти десять лет спустя.

Я был уже не тем девятнадцатилетним, только-только познающим жизнь молодым человеком, время научило разбираться и в событиях и в людях, ну, не скажу, чтобы безошибочно, это было бы неверно, но кое-что я все же стал понимать; за спиною лежали годы армейской жизни и годы студенчества, и я работал, а вернее, начинал тогда свою долгую и нравившуюся мне вначале службу в управлении. Я разъезжал по районам, по деревням, забираясь в самые отдаленные уголки нашей огромной пахотной России, не столько принося пользу людям, обществу, если хотите, сколько себе — как раз и познавая мир, людей, природу; я наслаждался теми инспекторскими, в сущности, поездками, забываясь, как бы отдаляясь, отходя на время от бесконечных городских, кабинетных забот; это ведь мы только говорим, беря в руки командировочное удостоверение, что отправляемся поближе к народу, к жизни, тогда как на самом деле, и я давно заметил это, мы движемся от целого к частному, от суеты сует к деревенской тишине и, конечно же, отдыхаем в таких поездках. Вы спросите: «А сейчас?..» Да, сейчас я тоже разъезжаю по районам, но уже не только *для глаза,* что ли; сейчас — десятки иных и действительно-таки неотложных дел заставляют подниматься из рабочего кресла, но для чего же сравни-

вать, когда я просто рассказываю о том, что было со мною в те годы, какие одолевали мысли и какие чувства трогали душу. Я был тогда, и об этом странно вспоминать теперь, удивительно спокоен, ничто как будто не волновало и не тревожило меня, хотя, если посмотреть, вся страна в те осенние и зимние дни была как бы поставлена на колеса: все куда-то ехали — на стройки ли, в Сибирь, в Казахстан осваивать целинные и залежные земли; ехали по одному, семьями, целыми эшелонами по комсомольским путевкам, и на всех вокзалах, так, по крайней мере, когда, оглядываясь назад, смотрю на прошлое, представляется мне теперь, гремела музыка: одних провожали, других встречали, и на возбужденных лицах лежал отблеск исходивших парадными маршами медных труб. Да, я хорошо помню то недавнее время, когда все привычное и устоявшееся как бы ломалось и люди просыпались по утрам с настороженным чувством к совершавшимся переменам; делились райкомы и исполкомы на промышленные и сельскохозяйственные, и никто еще не знал, чем это все закончится, где настоящее, где ошибочное и где, наконец, главная линия, которой надо держаться и которая может привести ко всеобщему благополучию и счастью. Со своим дорожным чемоданчиком, пристроившись где-нибудь в сторонке, прислонясь к зыбкой фанерной стене станционного ларька или к бетонному на перроне и оттого вечно холодному столбу с раскачивающейся от ветра электрической лампочкой на макушке, одинокий, отчужденный от всей провожающей и встречающей толпы, от перецвета флагов и транспарантов и от разливающейся над путями и вагонами торжественной музыки, — я наблюдал, ожидая своего поезда, за всей этой вокзальной толчеей, и мне казалось, что между моею жизнью и людской суматохою лежит разросшаяся, как между полями двух разных колхозов, и шумящая листвою лесная защитная полоса. Я не участвовал в тех *грандиозных* событиях, не осуждал и не одобрял их; там, у них — свои заботы, у меня же — свои; но я не то чтобы специально, что ли, избегал волнений, нет, не могу сказать о себе этого, хотя и не искал их, а жизнь как бы сама собою обходила меня стороной, и мне нравился тихий душевный покой; я не замечал, разумеется, происшедших в себе перемен, и, может быть, если бы не наша с вами встреча здесь, в Калинковичах, не заметил бы и теперь и наверняка не стал бы ни осуждать, ни докапываться до истины, отче-

го так иногда меняются люди; очевидно, после долгушинских потрясений, когда я, чего лукавить, вынужден был, в сущности, с позором бежать из деревни, — как естественное защитное средство от нового удара судьбы возникло желание тишины и покоя, и я был вполне убежден, что вот это и есть то *необходимое* для человека, без чего он не сможет уютно и счастливо прожить свой век. Думаю, что не я один и уж тем более не я первый примерял жизнь к этой, громко говоря, философии; даже обычные семейные заботы, как теперь, перебирая в памяти то свое прошлое, вижу, были мне в тягость, я старался освободиться от них, и каждый раз как бы сами собою находились причины тому, что я не хотел жить дома, с матерью, братом и сестренкой. Сначала, когда вернулся из армии, предлогом этим была отдаленность работы — я устроился на завод, который располагался почти за городом, надо было вставать в пять утра, чтобы поспеть к восьми на упаковочную площадку, и как только мне выделили койку в молодежном рабочем бараке, тут же собрал вещи и уехал из дому; потом, когда поступил в институт, по той же причине (хотя теперь можно было и не ссылаться на отдаленность) перешел в студенческое общежитие, а когда после защиты дипломной согласился пойти разъездным агрономом в управление, мне выделили небольшую в коммунальной квартире комнатку, и я надолго поселился в ней. Я ведь так и не рассказал матери о долгушенской своей истории; и не потому, что заключалось в ней что-либо такое, о чем больно было бы слушать матери; я ни минуты не сомневался, что мать поймет и одобрит, скажет, что я поступил правильно, решив разоблачить Моштакова, что иначе и нельзя поступить, но оттого, что все было правильно, та суть, что я приехал и что так хорошо начавшаяся работа в Долгушине оборвалась, сломалась, разрушив все взлелеянные в семье надежды, — суть оставалась неизменной, и матери не было бы легче, если бы я все рассказал ей; ей не было легче и оттого, что я молчал, и все же — лучше было знать лишь то, что я решил учиться, что смотрю дальше в жизнь и приехал сам из деревни, чем то, что вынужден был бежать из нее. Может быть, именно потому, что я скрывал все от матери (да и не только от нее), — чем более отдаляло меня время от тех событий, тем реже вспоминал я о них и тем спокойнее и холоднее становилось на душе; лишь после встречи с Наташей, и то не-

надолго, поднялись было пережитые чувства, я ходил мрачный, сосредоточенный и смотрел на все — деревья, дома, прохожих — с тем настроением, будто приемный сын Лобихи вновь увозил меня по слякотной мартовской дороге из Долгушина в Чигирево, и вокруг лежала в черных на осевшем, подтаявшем снегу пролысинах земля... Я ведь не потому женился на Наташе, что она вдруг напомнила мне — не о плохом, разумеется, не о поленьях и Моштакове, а о лучших днях жизни в Долгушине, когда я вставал с зарею и ложился около полуночи, и Пелагея Карповна сушила, развесив над печью, промокший до нитки брезентовый с капюшоном плащ; и уже совсем не потому, что когда-то показался мне удивительным Наташин детский мир доверчивости и простоты; все эти воспоминания (хочу заметить: чем дольше живу с Наташей, тем сильнее она нравится мне и тем чаще я говорю себе: «Я не ошибся, нет, что еще мне надо?» — и тем приятнее бывает думать, что все лучшее я разглядел в ней еще там, в Долгушине, и тогда же полюбил ее; правда, сама Наташа смеется и не верит, когда говорю ей об этом, но я действительно говорю искренне), да, вполне может быть, что все эти добрые воспоминания я уже потом начал как бы привязывать к Наташе, а в первое время, особенно после первой встречи, хотя Наташа и показалась мне стройною и привлекательною девушкой, и я обратил внимание и на ее глаза, смотревшие доброжелательно, приветливо, даже с надеждою, и на волосы, которые хотя и были пострижены коротко, по-городскому, но отнюдь не портили ее лица, а даже будто, напротив, оживляли и делали еще более женственным и красивым, и заметил, что хотя платье было на ней простенькое, но сшито со вкусом, посовременному, как любят теперь выражаться у нас, и в этом тоже была своя привлекательная черта, и все же — после первой встречи не то чтобы жениться, вообще не хотел приходить к ней. Лишь спустя месяц совершенно, как мне кажется, случайно заглянул в общежитие педагогического института, где она жила, и, увидев ее в коридоре, заговорил с ней. Меня преследовала мысль, что Наташа, знавшая лишь *видимую* причину моего отъезда из Долгушина, осуждала меня, считала трусом, а мне не хотелось оправдываться перед ней; но я ошибался тогда; она не осуждала, и я понял это сразу же, едва только начал расспрашивать ее о родной деревне.

«Наташа, — сказал я, беря ее под руку и вместе с нею отходя в конец коридора, к окну, — я давно хотел спросить у вас, как поживает наше Долгушино?»

«А мы не в Долгушине сейчас, в Долинке», — ответила она.

«Почему? Переехали?»

«Давно. К маминой двоюродной сестре».

Я продолжал вести Наташу под руку и думал, спросить ли у нее о Моштакове, о Федоре Федоровиче или нет?

Но пока я раздумывал, она снова заговорила:

«Мама работает техничкой в школе. Звонит в колокольчик. — При этих словах она улыбнулась той своею детскою доверчивою улыбкой, которую я, разумеется, хорошо помнил и которую было мне особенно приятно видеть на ее лице. — Звонит, — повторила она, — и получает зарплату. А устроила маму туда двоюродная ее сестра, Надя. Тетя Надя. Надежда Павловна, — опять улыбаясь тою же своею улыбкой, поправила себя Наташа. — Она любит, чтобы ее величали. У нее умер муж, осталась одна, вот и позвала нас. Мама не хотела».

«А вы, Наташа?» — спросил я.

«А что я? Мне все равно было, я же училась».

«Избу, наверное, продали?»

«Я даже не знаю. По-моему, да. Там сейчас склад и контора сортоиспытательного участка, огород наш запущен, и вообще...»

«Вы когда были там?»

«Летом. К подружке ездила».

«Ну а как Моштаковы?» — все же не выдержал и спросил я.

«Моштаковы? А что? Старик-то отсидел, да и опять лошадей лечит».

«Отсидел?!»

«Да. Подробностей я, Алексей, не знаю, а так, понаслышке, но мама знает, она и на суд ходила».

«Вон как! — почти воскликнул я. — Отсидел-таки, значит. А Кузьма Степаныч?»

«Тоже... мама хорошо знает, я не знаю».

«А Федор Федорович?»

«А что он?»

«Судили?»

«По-моему, нет. За что его?»

«Ну а моштаковского зятя, Андрея Николаевича?» — продолжал расспрашивать я.

«Не знаю, Алексей, правда, не знаю. Мама все хорошо знает, если хотите, я напишу ей, спрошу».

«Нет, — ответил я, хотя, разумеется, мне было интересно узнать подробности. — Нет, нет, не надо, — повторил я, еще более чувствуя, что произношу не то, что нужно. — Зачем?»

Так детально мы уже больше не говорили о Долгушине; когда все же вспоминали, Наташа неизменно повторяла, что она ничего не знает, потому что не интересовалась («Мало ли какие дела у взрослых, — даже, помоему, непривычно весело отвечала она. — У нас были свои заботы!»), но что мать, конечно же, знает все-все; и после того, как мы поженились, видя, что мне все же хочется узнать подробности, написала матери, прося ее рассказать, как и что было, кого судили и кого нет, но, к удивлению Наташи, мать не ответила на это письмо. Я же вообще ничего не знал о письме; да и не до него было. Каждый новый день начинался для меня с ощущения того счастья, какое испытывают или, во всяком случае, должны испытывать все молодые супруги в первые месяцы жизни; меня ничто не огорчало тогда: ни бедность, как мы с Наташею начинали жить, ни то, что даже не была сыграна свадьба. Мы поженились, когда она только-только закончила институт, а я еще и года не успел прожить в своей небольшой, выделенной управлением комнатке. У нас не хватило денег, чтобы пригласить к празднику Наташину мать, Пелагею Карповну (приглашение это было отложено на глубокую осень); мы просто *посидели* вечер в доме моей матери, нешумно, без песен и музыки, немного выпили, закусили тем, что смогла она приготовить, и ушли, оставив одну со своими думами в пустом и, наверное, казавшемся ей осиротевшим без детей доме. Брат служил в армии, сестренка поступила в медицинский институт и училась в Томске, и для матери, теперь я понимаю, было это, может быть, самым тяжелым временем, потому что, вопервых, после большой и шумной семьи она вдруг, в один год, оказалась одна в четырех стенах, и во-вторых — хотя детей как будто и не было дома, но никто еще из нас, по ее материнским понятиям, не *встал на ноги,* даже я. «Жениться — еще не все», — если не говорила, то, по крайней мере, думала так. Мы по-преж-

нему оставались для нее детьми, за которыми нужен глаз да глаз, и она тревожилась за нас еще сильнее, когда мы не были у нее на виду; как, наверное, многие и многие на земле люди, к сожалению, я понимаю все это только теперь, запоздало, и лишь вот в такие часы раздумий над жизнью возникает иногда чувство вины и раскаяния; но тогда, в тот теплый сентябрьский вечер, только на миг, как тень от блуждающего по небу облачка, коснулась сознания эта грустная мысль, а через минуту (мать еще стояла у калитки, и, оглянувшись, можно было увидеть при тусклом свете лампочки, что горела над номером, ее чуть сутуловатую фигуру в белом шелковом с кистями шарфе), занятые собою, мы были как будто уже за тысячу верст от материнских забот и волнений. И это, очевидно, закономерно, потому что счастье личное всегда делает человека эгоистичным. Мы шли обнявшись по притихшим городским улицам; я не помню, о чем говорили и говорили ли вообще или шагали молча, но то душевное состояние, в каком я находился, то движение мыслей так ясно сохранилось во мне, что я и сейчас вот хотя всего лишь пересказываю, как было, но все вновь ощущаю и теплую руку Наташи, будто она рядом, ее плечо, теплое под ладонью и платьем упругое тело ее, и волосы, особенно черные и даже будто отдающие какою-то необыкновенною свежестью ночи, словно опять вот прикасаются к моему лицу. Из всех наших встреч, всех вечеров — сколько же раз и до свадьбы, и потом бродили мы по этим ночным пустынным улицам! — более всего помнится именно этот сентябрьский вечер, потому что он, как и Долгушинские взгорья, пробуждал новые, никогда прежде будто не испытанные чувства. А впрочем, новые ли? Пожалуй, мне только казалось, что новые, тогда как это было всего лишь знакомое желание добра себе, Наташе, всем людям, желание достатка, уверенности в завтрашнем дне, а точнее, то самое чувство *хозяина,* удачливого главы семьи и дома, каким представлялся мне Андрей Николаевич, когда я, только-только приехав в Красную Долинку, сидел у него в гостях и глядел то на щедро накрытый стол, то на Таисью Степановну, как она уходила на кухню и возвращалась в комнату и затем, наклоняясь, почти касаясь своею мягкою щекой моей, подкладывала на тарелку кушанья и подливала чай (чего греха таить, в те минуты я представлял свою будущую жену только такой, как Таисья Степановна, и дом свой, ка-

ким был дом у заведующего райзо), — тогда я впервые увидел после трудных и голодных военных лет достаток, и достаток тот поразил мое юношеское воображение; но, разумеется, ни Таисьи Степановны, ни Андрея Николаевича, ни всего их с новыми воротами и ночною подводою хозяйства — ничего этого не существовало для меня, когда я теперь шел с Наташей, а жило лишь очищенное, что ли, желание доброты и достатка, так что я, наверное, готов был на все, чтобы только желание это осуществилось. Глупо, конечно, было желать только *этого;* это — *достаток* — пришло с годами; да оно и не могло не прийти; но как бы я ни осуждал себя сейчас, как бы ни говорил, что нельзя жить только для *этого,* я не вижу, для чего надобно приукрашивать прошлые чувства и делать их необъятными, широкими? Стремление к семейному достатку не сузило моих представлений о жизни и уж никак не помешало, а, напротив, помогло жить и работать; нет, я не могу осуждать себя, и зря мы иногда не ценим это дисциплинирующее человека чувство в себе; ведь достаток не за счет воровства, но за счет труда, а труд — людям! Я помню, как мы с Наташею вошли в тот вечер в тихую и темную нашу комнату и, не включая света, стояли у раскрытого окна; ни крыш городских, ни улиц, ни фонарей не было видно; низкое барачное окно выходило во двор, на какой-то дощатый сарай, и мы смотрели на эту серую в ночи стену сарая; но виделась нам, разумеется, не стена, а счастливое и спокойное будущее. И хотя я думал о сыновьях, а родились потом девочки, хотя я надеялся, что со временем перейду работать в какое-нибудь крупное и мощное зерновое хозяйство, но так и застрял надолго и к тому же на одной должности в управлении, и хотя не все и в семейной жизни оказалось складным и привлекательным, как представлялось, и все же я рад, что он был, тот вечер. В самом деле, не так уж часто нам выпадают в жизни минуты, когда и серая в ночи стена не может не только омрачить, но даже хоть на мгновение остановить поток волнующих чувств. Я и теперь, когда мне делается грустно, часто возвращаюсь, мысленно конечно, потому что барак тот, как, впрочем, и отцовский из Старохолмова дом, давно снесен, а раскинулись на их месте *наши,* как с похвалою говорят о них, *Черемушки,* к тому низкому окну и стою, глядя в ночь, на сарай, на притягательно красивое и не всегда сбывающееся будущее.

Мы почти ни о чем не говорили, потому что и так все было понято между нами; Наташа лишь спросила:

«Скажи, Леш, ты бы вернулся в Долгушино?»

«Работать? Жить?»

«Да».

«А что, вернулся бы. А ты?»

«Я —нет».

«Почему?»

«Ты опять начнешь искать ларп у Моштаковых, а связываться с ними нельзя, они — страшные люди, мама говорила, они способны на все».

«Да на что же они способны? — с усмешкою проговорил я, потому что в эту минуту я действительно-таки никого и ничего не боялся, и время уже сгладило то впечатление, когда бросали в меня поленьями и они летели и скользили по гладкому льду. — Что они могут? Есть, Наташа, закон, и его не так-то просто переступить, — продолжил я, совсем не замечая, что лишь повторяю давнюю, в которую и сам уже не верил, истину. — Вот твоя мать говорит, да и многие в деревне, я тогда еще слышал, говорили, что Моштаков способен на все, а чем это подтвердить можно? Он что, убил кого-нибудь?»

«Нет, я не слыхала об этом».

«Покалечил кого? Или поджег чью-нибудь избу?»

«Нет».

«Так с чего же страх такой перед ним?»

«Не знаю, Леш, но я верю маме. И себе верю. Вот чувствую, и все».

«Но твоя мать говорила мне совсем другое, ты прости, я не хочу огорчить тебя, она говорила, что Моштаков якобы сделал много добра людям».

«Какого? Что давал муку? Так мама ему все огороды отполола за это».

«Я о другом — она все же говорила! Так вот, не злом, нет, а этим своим так называемым добром страшен Моштаков. Добром, а не злом и все люди скованы перед ним, тогда как можно просто не принимать от него это добро, и он исчезнет, умрет».

«Не знаю, Леш, мне это не понятно, как тебе, но если бы даже все было так, как ты говоришь, все равно мы не поедем в Долгушино. Ты в управлении, я в школе, нам никакой деревни не нужно. Я не хочу, чтобы ты еще связывался с такими людьми, как Моштаков, для нас и в городе места хватит, так, Леш?»

«Ты думаешь, — возразил я, — в городе нет таких людей?»

«Ну уж не Моштаковы, город есть город».

«Э-эх, Наташа, поверь мне, я-то уж знаю. Как-нибудь я порасскажу тебе...»

«Все равно, Леш, я не хочу в деревню».

Жизнь, к счастью, никогда не складывается только из прошлых забот; каждый новый день приносит новые волнения и тревоги.

Осенью, как было намечено, мы не смогли пригласить Пелагею Карповну к себе, а весной, когда уже послали деньги на проезд, она сама вдруг отказалась, сославшись на то, что некому вскопать и посадить огород, да и ухаживать за ним («Надежда-то совсем плоха», — писала она), а без огорода нельзя, не прожить, трудно, а ну как ни картошки, ни капусты своей — словом, не приехала Пелагея Карповна ни весной, ни летом, и мы только переписывались, и то не часто, вернее, писала Наташа, а я лишь читал корявые и с кляксами ответы ее матери. Но и мы тоже не могли поехать к ней; сначала и меня и Наташу (она первый год тогда преподавала в школе и вся была увлечена своею учительской деятельностью) удерживали дела, потом Наташа ждала ребенка, и мы совместно уже решили, что в таком состоянии, по крайней мере, она ехать не может; лишь спустя почти два года, когда родилась Валентина, Наташа вместе с маленькой дочерью собралась к матери в Красную Долинку. Я отвез их на вокзал в первых числах апреля, а под самый майский праздник, хотя никакой видимой нужды в этом не было (лишь осенью, после уборочной страды, я должен был поехать за ними), даже, по-моему, неожиданно для самого себя днем тридцатого взял билет, а ночью поезд уже мчал меня в Красную Долинку.

В четырехместном купе, что случается весьма и весьма редко, я ехал один. Проснулся рано, когда сквозь зашторенное окно едва пробивались голубоватые, пока еще не взошло солнце, струи рассвета, и от этих ли ласкающих взгляд струй, от приглушенного ли постукивания колес и мерного покачивания вагона или просто оттого, что хотя я как будто и протер глаза и уже сидел, свесив к полу босые ноги, но еще то дремотное состояние, в каком обычно просыпаются люди, продолжало как бы жить во мне, я чувствовал то глубокое умиротворение жизнью, как если бы действительно все

уже было постигнуто, познано и более не только ожидать, но и желать нечего. Пожалуй, вряд ли я смогу припомнить еще утро, когда было бы так мирно на душе и когда не только будущее, но и прошлое со всеми неурядицами и волнениями казалось бы естественным и необходимым, как ступень к этой минуте удовлетворения. Мне во всем виделась удача: и что женился именно на Наташе, и что на работе все пока ладилось («Вот, отпустили... на пять дней... вместе с праздничными, правда, ну так что же», — говорил я себе), и, наконец, что еду в места, которые более, чем ларями и поленьями («Очевидно, надо было пройти и через *лари* и *поленья»)*, памятны добрыми чувствами. Состояние это, в сущности, началось еще вчера, как только я вошел в вагон и за окном потянулись, удаляясь, тусклые огни вечереющего вокзала. Я почти не думал о прошлом; если что и волновало, так это Наташа и маленькая Валя. «Как они там?» — спрашивал я, переносясь мыслью в Красную Долинку и воображая Наташу и, главное, маленькую Валентину, как она, закутанная в белую простынку, видно только пухлое розовое личико, лежит на подушках, посасывая резиновую соску и моргая светлыми глазенками. Я никогда не предполагал прежде, что дети, эти крохотные и несмышленые существа, обладают такою притягательной силой, что становятся на какое-то время центром нашей жизни. Повторяю, с теплотою думал я о жене и дочери, укладываясь с вечера на вагонной полке, да и теперь, когда, проснувшись, оглядывал пустое купе — радость от предстоящей встречи с ними вновь, как и вчера, и даже будто еще сильнее охватывала меня; и умывался я с этим же добрым настроением, а потом в длинном и безлюдном пока вагонном коридоре стоял у окна и смотрел, как над уходившею полукружьем за горизонт землею, над деревеньками, березовыми колками, зеленями озимых, над машинами и запряженными в возки лошаденками возле опущенных полосатых шлагбаумов вставало ясное росистое утро. Оно не было необычным, и я, занятый своими думами, как будто не замечал ничего особенного, что привлекло бы внимание, — ну, розовеет небо перед той минутой, как выглянуть солнцу, и этот розовый отсвет ложится на поля, переламываясь и смешиваясь с густою зеленью хлебов, на крыши изб, на верхушки проносящихся мимо деревьев, заплетаясь в ветвях и стекая по стволам, уже совсем

померкнув, к земле (но я десятки раз уже наблюдал такое прежде!), — нет, ничего особенного как будто не было в разгоравшемся над полями утре, а вот не десятки других, а именно это помню со всеми его красками, с прошлогодними порыжевшими стожками, вдруг открывавшимися то вдали, то прямо у насыпи, где будто и не должны были стоять они, со всеми подновленными к празднику, выбеленными, украшенными флажками крохотными вокзальчиками на разъездах и полустанках, мимо которых проносился поезд, и помню все это, наверное, потому, что, как ни казалось мне, что я не думал о прошлом, что все помыслы были лишь о Наташе и Валентине и о предстоящей с ними встрече, но вместе с тем именно то давнее прошлое, когда я впервые ехал по этой дороге, то радостное возбуждение, какое каждый, наверное, испытал в молодости, впервые вступая в самостоятельную жизнь, подымалось и жило во мне своею, может быть, какой-то параллельною, что ли, жизнью. Но я еще не осознавал, что прошлое тревожит меня; и с безразличием будто смотрел на знакомые наплывавшие картины, лишь с удивлением отмечая, что время будто остановилось здесь («здесь» — разумелись либо красная с подъеденными боками станционная водокачка, либо покосившийся дощатый пакгауз с разгрузочною рядом площадкой, на которой, как и *тогда, прежде,* будто даже с тех самых лет, так и лежали не вывезенные колхозами в кулях и рассыпанные по земле удобрения); но если вдаваться в тонкости, то никакого безразличия, конечно, не было, потому что — замечал же я, что время будто остановилось здесь; и в конце концов от этого мелькания, от знакомых станционных строений, которые то возникали, то исчезали за окном, как от отправной точки, постепенно и все явственнее начала как бы прокручиваться передо мною вся долгушинская история с той минуты, когда я, выпрыгнув из кузова грузовика, стоял с чемоданом в руках на пыльной площади в Красной Долинке, даже, пожалуй, не с той, а раньше, когда я только еще уезжал из дому, прощаясь с матерью, братом и сестренкой, переполненный радостными надеждами, а вернее, еще раньше, с белых узлов и бородатых мужиков в морозных сенцах, отвешивающих муку, — словом, прокручивалась вся та жизнь, которая не могла не сделать главной мечту о хлебе, достатке. Шаг за шагом я как бы заново испытывал уже пережитые од-

нажды и будто забытые чувства, и от утреннего умиротворения в душе вскоре не осталось и следа. Я не заметил, как постепенно коридор заполнили проснувшиеся и курившие теперь или просто стоявшие с мыльницами в руках и переброшенными через плечо дорожными вафельными полотенцами пассажиры; почти машинально уплатил проводнице за чай и взял из ее рук билет; и только когда кто-то настойчиво и несколько раз (может быть, пояснял кому-то) повторил название знакомой станции, я спохватился и, открыв окно и высунувшись в него, принялся смотреть на медленно приближавшийся неасфальтированный, лишь выложенный красным обожженным кирпичом, неровный, с выбоинами, как он выглядел и тогда, перрон.

Наташу, Пелагею Карповну и ее двоюродную сестру Надежду Павловну (я никогда не видел ее прежде, но потому, что она стояла рядом с Наташею и Пелагеей Карповной, понял, кто это) разглядел и узнал издали, и — так уж, видимо, устроен человек, что на какое-то мгновение он может как бы отключаться от всего, даже самого тяжелого, что занимает его, и жить новой, пусть, может быть, недолгой радостью или горестью, — я вдруг словно забыл обо всех своих думах; еще сильнее подавшись в окне, я закричал:

«Сюда, Наташа, сюда! Я здесь!»

И я уже ни на минуту не терял из виду Наташу; когда, схватив чемодан, двигался по коридору, то и дело оглядывался на окна и в каждом окне видел ее; когда очутился в тамбуре — из-за плеч двигавшихся впереди пассажиров опять видел счастливо улыбавшееся лицо Наташи.

Как только я ступил на выщербленный кирпичный перрон, Наташа передала матери Валентину в легком, с кружевною простынкою одеяльце и кинулась ко мне, обнимая, целуя и говоря:

«Как ты надумал! Какой ты молодец! Как ты решился!»

Я чувствовал, что вместе с этими словами, вместе с тем, что слышу ее голос, вижу глаза, полные жизни и радости, будто возвращалось нарушенное воспоминаниями состояние уверенности и покоя; но уловившая, что окружавшие ее люди чем-то возбуждены, Валентина вдруг начала плакать на руках Пелагеи Карповны, и плач ее, и слезы, которые обильно лились по щекам, возбуждали не прежнее, а новое, хотя и не со-

всем ясное, но оттого ие менее глубокое беспокойство.

«Валентина плачет», — сказал я Наташе, слегка отстраняя ее.

«Пусть поплачет, ничего ей не сделается», — возразила Наташа, не желавшая прерывать своего счастья.

«Плачет же», — настойчивее повторил я.

«Ничего, милый!»

«Да закатывается ребенок!»

Я подошел к Пелагее Карповне и взял у иее Валентину. Но она не успокоилась, а заплакала еще сильнее, явно просясь к матери, и тогда Наташа, тоже уже начавшая волноваться, сказала:

«Давай мне».

Отходя, прижимая к себе и укачивая Валентину, Наташа напевно говорила:

«И что же это мы расплакались так, маленькие мои, что же это мы не радуемся...»

Поезд еще стоял на путях, и пассажиры, прохаживавшиеся вдоль вагона, — кто бесцеремонно, прямо, во все, как говорится, глаза, кто украдкою, исподволь, — смотрели на нас, из окон вагона какие-то мужчины и женщины тоже смотрели на нас, и, не замечавший всей этой глазевшей публики в первые минуты встречи, я все более начинал испытывать неловкость под их взглядами и чувствовал, как беспричинное, как принято считать в таких случаях, недовольство и раздражение подымаются во мне; стоял же я как раз напротив Пелагеи Карповны, и надо было начинать разговор с ней.

«Ну, здравствуйте», — сказал я, замечая, как постарело ее лицо за эти годы, пока мы не виделись, но еще более замечая, что как-то уж очень холодно и отчужденно произношу я свои приветственные слова. Я невольно оглянулся на Наташу: не слышит ли она?

Но она, занятая Валентиной, ничего не слышала.

«Здравствуй, — таким же тоном, в котором звучали будто и недоверие и настороженность, ответила Пелагея Карповна и, шагнув ближе, холодными (может быть, все было не так или не совсем так, но я почему-то запомнил именно это, что губы у нее были холодными) губами прикоснулась к моему лбу и добавила: — Решился-таки?»

Не знаю до сих пор, к чему она сказала это: к то-

му ли, что я решился-таки приехать на праздники к жене в Красную Долинку или же что решился жениться на ее дочери? «Но разве что было, отчего я не мог?» — мгновенно подумал я. Вслух же лишь произнес, стараясь улыбнуться:

«Да вот решился, приехал».

«Это моя сестра», — сказала Пелагея Карповна, теперь чуть отходя в сторону, чтобы я мог увидеть еще более старую, чем сама Пелагея Карповна, и морщинистую Надежду Павловну.

«Очень приятно», — проговорил я и протянул пожилой женщине руку.

На привокзальную площадь мы выходили медленно. Я нес чемодан и свободной рукою несколько раз порывался взять Валентину у Наташи, но Валентина тут же начинала плакать, и Наташа снова забирала ее к себе. Наташа не просто казалась счастливой, но состояние это было естественным в ней, я чувствовал это, и ее возбуждение и радость невольно передавались мне; я то и дело взглядывал на нее, и в минуты, когда видел отражавшие все ее теперешние переживания глаза, во мне самом мгновенно как бы возникали те же самые, что мы привычно называем любовью, чувства. Наташа не заметила отчужденности, с какою я только что разговаривал с Пелагеей Карповной и с какою Пелагея Карповна, у которой, очевидно, имелись какие-то свои основания для этого, отвечала мне; Наташе наверняка казалось, что все должны были испытывать то же, что испытывала она; ей и в голову не приходило, что кто-либо мог не радоваться ее счастью; она видела себя в центре событий; и все, что было вокруг (и не только шагавшие рядом с нею родные): люди, дома, даже флаги, развешанные в честь майского праздника на небольшой и не очень шумной в эти утренние часы привокзальной площади, — все было будто пронизано лучами ее радости, и я говорю об этом так уверенно потому, что секундами, когда, повторяю, видел ее удивительно светившиеся жизнью глаза, сам испытывал это чувство. Именно потому, что мне не хотелось нарушать ее радости, я всеми силами старался не выказывать нараставшей с каждым шагом, пока подходили к автобусной станции (с вокзала в Красную Долинку к тому времени уже ходил маршрутный автобус), неприязни к Пелагее Карповне. Я и сейчас не могу понять, отчего возникала такая неприязнь? Беспричинно ничего не бы-

вает в жизни. Я как будто что-то предчувствовал, ее предстоящий рассказ, что ли? Или просто вспомнил, как после неудачного разоблачения Моштакова она стала избегать встреч и разговоров со мной, и я все еще не мог простить ей этого? Держа под руку свою старенькую двоюродную сестру, она шагала сейчас позади меня и Наташи, я все время чувствовал на спине ее как будто ощупывающий взгляд, и это раздражало меня; было такое ощущение, что за спиною двигалось вдруг ожившее неприятное прошлое, и я не в силах был освободиться от него. Я еще что-то отвечал Наташе, когда она спрашивала, как жил и что поделывал, оставшись один, и каковы успехи на работе, и улыбался при этом, стараясь поддержать общее как будто веселое настроение, и спрашивал сам, как жила все эти дни она и как чувствовала себя здесь, у матери, но весь наш разговор — и я теперь с болью вижу это, потому что понимаю, как был несправедлив к Наташе тогда, — оставался лишь той любезностью, какою обычно обмениваются по утрам сослуживцы; прошлое не только шагало за спиною, но, хотя я будто и не смотрел по сторонам, оживало во всех тех ничуть, как мне казалось, не изменившихся зданиях, какие я видел в первый свой приезд и какие, хотел я или не хотел этого, отбрасывали меня в памятное послевоенное лето. Особенно я почувствовал это, когда уже в Красной Долинке вышли из автобуса и очутились на центральной площади села. Я сразу уловил, лишь бегло взглянув вокруг, что ничего будто не изменилось здесь (в те годы, знаете, еще не начиналось такое массовое строительство, к какому мы с вами привыкли теперь и какое развернулось, в общем-то, по всей стране); так же чуть обособленно, но только поосев, ниже припав к земле, стояло вытянутое и напоминавшее, как и прежде, жилой барак с крыльцом и центральным входом посередине здание райзо; и хотя оно было подремонтировано и выбелено к празднику, фундамент не казался подъеденным солонцом, да и плакаты, может быть по случаю того же праздника, были написаны на новых красных полотнищах (кстати, райземотделов тогда уже не было, в здании размещалась какая-то заготовительная контора, и я называл его «райзо» только по старой памяти), но почему-то оно еще более, чем в тот мартовский слякотный день, когда я, покидая Долгушино и Красную Долинку, в последний раз смотрел на него, — оно еще более показа-

лось мне сейчас убогим, и я с незаметною ни для кого душевною усмешкою проговорил про себя: «А ведь когда-то я с восторгом думал, что здесь, в этом доме, начнется моя судьба...» Я снова обвел взглядом и здания райкома, райисполкома, и все теснившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, которые тоже выглядели по-праздиичиому подновлениыми. Так же, будто возвышаясь иад площадью, чернела обветшалыми кирпичными стенами, как умирающий потомок былых времеи, без куполов и колокольии церковь; двери и окна ее были забиты потемневшими, под стать кирпичам, досками, и молодая крапива уже буйио пробивалась вдоль осыпающегося церковного фундамента, словно спешила прикрыть иа ием оспиниые разъеды времени. Я вспомнил, как уснул иа траве в теии этих холодиых церковиых стен, вспомиил, главиое, сон и пробуждение. В противоположиую сторону от церкви тяиулась зиакомая мие Малая улица: по ией я шагал когда-то, отыскивая взглядом новые ворота; и все, что было со миою потом: от той минуты, как я остановился возле иовых ворот и постучался в них, до праздничного застолья и ночной прогулки, когда, волнуясь и иедоумевая, увидел подводу иа иочном дворе и увидел впервые старого Моштакова, — все-все мгиовенно и живо всплыло в памяти; в каком-то, может быть, отупеиии (хотя слово это, думаю, не может вполне отразить то состояние, какое охватывало меня) смотрел на эту знакомую улицу.

«Ну что ты стоишь? — вдруг услышал я не то чтобы удивленный, ио с явною обидою голос Наташи. — Что ты там увидел? И вообще, что с тобой?»

Она уже ие первый раз говорила мие это: «Что с тобой?» — не понимая, разумеется, ничего, даже, по-моему, не предполагая, что происходит у меия на душе; ей по-прежиему казалось страниым и непостижимым (ведь любовь к кому-то или к чему-то одиому — это тоже в какой-то мере эгоизм), чтобы я испытывал что-либо другое, чем оиа, и чтобы жил в эти, по крайней мере, мииуты встречи иною жизнью, чем она; но я жил имеиио иною жизнью, чем Наташа, и поднимавшееся в памяти прошлое так цепко держало меня, что хотя и смотрел на Наташу, хотя и чувствовал в голосе ее обиду, но не сразу, ие вдруг мог отключиться от наплывавших картии.

«Да, да, пойдемте», — после секундного недоумения сказал я; но, сказав, еще раз взглянул на церковь и на знакомую, убегавшую в глубь деревни улицу.

«Что с тобой, Алексей? — повторила Наташа, и теперь уже в глазах ее я прочитал беспокойство. — Ты какой-то будто чужой».

«Нет-нет, ничего, — торопливо заверил я. — Пойдемте».

Но хотя я и старался после этого как можно больше и веселее смотреть на Наташу и не оглядываться по сторонам, всю дорогу, пока шли к избе Надежды Павловны, чувствовал, что Наташа уже не была такой радостной, какой я увидел ее на вокзале: беспокойство, что я будто чужой, раз зародившись, очевидно, уже не покидало ее, и она, чего я тоже не мог не заметить сразу же, бросала на меня будто невзначай внимательные взгляды; уже дома, во дворе, когда Пелагея Карповна вместе с сестрою, поднявшись на крыльцо, отпирала дверь, а мы с Наташею стояли внизу, возле ступенек, Наташа, неожиданно наклонившись ко мне, почти шепотом спросила:

«Ты что такой мрачный? Ты не рад?»

«Ну что ты! О чем говоришь!» — возразил я.

«Пожалуйста, прошу», — сказала Пелагея Карповна, приглашая поклоном, как еще принято в деревнях, войти в избу, в то время как Надежда Павловна, распахнув дверь, придерживала ее рукой.

«Проходи, Алексей», — поддержала Наташа, чувствуя себя хозяйкой и уступая мне дорогу, и я, подчиняясь ей и посторонившимся от дверей пожилым женщинам, вошел в прохладные и еще не просохшие и не отогревшиеся с зимы сенцы.

Изба Надежды Павловны стояла почти на самом краю Красной Долинки, развернувшись огородом к реке Лизухе, так что жердевая ограда спускалась к пологому в этом месте и густо заросшему весенней травою берегу. Берег этот тоже был знаком мне. Когда-то проходя по нему, именно здесь, напротив этой жердевой ограды, я увидел сидевших с удочками маленьких веснушчатых рыболовов и затем встретил старика с прутиком, замыкавшего цепочку важно шествовавших к воде гусей («Не муж ли это был Надежды Павловны?» — подумал я, еще когда с Наташею стоял во дворе и, оглянувшись, узнал знакомый берег Лизухи); этот поросший травою пологий берег был хорошо виден мне

теперь из окна, и видна была вся открывавшаяся за спокойной речной гладью и кудрями тальника даль полей, где густо-зеленые, давно раскустившиеся озимые перемежались с бледными клиньями всходов овсов и гречихи и клиньями чистых черных паров, и я время от времени украдкою — пока Пелагея Карповна, Надежда Павловна, да и Наташа, уложившая уснувшую Валентину на кровать, хлопотали возле стола, празднично накрывая его и расставляя давно уже и с избытком наготовленные угощения, — посматривал на эту когда-то поразившую мое воображение картину ухоженной крестьянскими руками земли. Мне и приятно и грустно было видеть ее. Стараясь уйти, отключиться от воспоминаний, я тоже принялся было помогать женщинам, но как только все было готово и я, сев за стол, опять очутился напротив окна, из которого открывались те же хлебные поля, луг у реки и лес, что синел будто далеко-далеко за черной полосою паров, во мне снова все разделилось на две существовавшие самостоятельно жизни: одна — та, что была в прошлом и теперь лишь повторялась, другая — эта, что окружала здесь, в избе, которую я видел перед собою и которой, как ни трудно было, приходилось, прерываясь от дум, уделять внимание. Мне хотелось быть *здесь*, вместе с Наташею и всеми угощавшими и смотревшими на меня, но еще более хотелось быть в прошлом, *там,* потому что прошлое имело свою притягательную силу, и, борясь с этими своими желаниями, я лишь замыкался и мрачнел, и чтобы хоть как-то оправдать угрюмое настроение, принялся объяснять Наташе, но так, чтобы слышали все, что я просто от усталости такой неразговорчивый сегодня, что перед самым отъездом было много работы в управлении, да и дорога — какой уж в вагоне отдых! Я говорил это и краснел, чувствуя, что не только Наташа, но и Пелагея Карповна, и даже близорукая (потому-то она и вглядывалась так пристально) сестра ее понимали, что я скрываю что-то от них, и только из вежливости не хотели нарушать общее согласие.

«Господи, не ездила я никуда, да и не собираюсь», — говорила Надежда Павловна.

«Ничего, Алексей, посиди с нами немного, а потом пойдешь и поспишь, — продолжала Пелагея Карповна свое, едва только смолкала сестра. — Ты уж дай нам, старухам, посмотреть на тебя, не чужой ведь теперь».

«Конечно, да я и не засну сейчас, — ответнл я. — Какой сон! Давайте лучше выпьем за ваше здоровье. — Я не назвал Пелагею Карповну нн мамой, ни по нменн и отчеству, хотя чувствовал, что надо было непременно сказать ей: «Мама». Я понимал, что поступаю нехорошо, что это может обидеть Наташу, но не мог пересилнть себя н вымолвить это слово. — И за ваше», — добавнл я, обращаясь к Надежде Павловне н принимаясь подливать в маленькие граненые стаканчики водку.

Как ни старалась Пелагея Карповна н как нн старался я сам (мне ведь тоже хотелось вдохнуть хоть какое-то тепло в нашу встречу), разговора не получалось; я видел, как встревоженно смотрела на меня Наташа, но что я мог поделать? Я лишь предлагал тосты: за майский праздник, за здоровье всех в этом доме, что особенно нравилось Пелагее Карповне, наконец, за Наташу и маленькую несмышленую Валентнну, но каждый раз, как только граненые стаканчикн опускались на стол, наступала неестественная, конечно же, для такой встречи н вызывавшая у всех неловкость тишина.

«Ну что же мы молчнм?» — возмущалась Наташа.

«Вот нменно», — поддерживал я.

«Ты хоть бы рассказал что-ннбудь о себе, — просила Пелагея Карповна. — Как дома?»

«А что дома? Запер квартнру на замок — н вот, здесь. У нас ведь в городе все налегке: ни кур, нн поросят, ни коровы».

«Это понятно. Я говорю, как мать?..»

«А что мать? Она на пенснн. Наташа разве не сказала вам? Она в Томске, у сестры».

Мы еще говорилн о чем-то незначительном — меня спрашнвали, я отвечал, н внешне все как будто оставалось прнстойным, приличествующим мннуте, но вместе с тем между мною н Пелагеей Карповной (как, впрочем, между мною н Надеждой Павловной, на что действительно-таки не было никаких прнчин) все время как бы возникала невидимая душевная преграда, через которую ни я, нн онн не могли перейти; нужен был какой-то сильный н неожнданный толчок, что ли, чтобы преодолеть эту преграду, и толчком таким, по-моему, явнлась негромко, словно бы между прочим произнесенная Наташею просьба.

«Мама, — сказала она, — за что суднлн старнка

Моштакова, а то Алексей все спрашивал у меня, ему интересно, а я ничего не знаю».

«Да что ты, господь с тобой, когда это было! — почти воскликнула Пелагея Карповна, будто даже — или мне только показалось так? — испугавшись просьбы дочери. — Я уж и забыла все».

«Но ты же ходила на суд?»

«О боже, когда это было!»

«Нет, отчего же, интересно, расскажите», — теперь уже вмешался я, и, может быть, потому, что в голосе моем прозвучала искренняя заинтересованность, Пелагея Карповна согласилась.

«Ладно, слушай. Только если я что запамятовала, ты уж извини. А судили его не за то, — она не произнесла слова «зерно» и «лари» и не добавила при этом: «Которые, помнишь, искал ты в тайной моштаковской кладовой», но посмотрела на меня так, что я сразу понял, что означает «не за то», — а за другое, Алексей».

«За что же?»

«Игната Старцева помнишь?»

«Игната Исаича? Участкового?»

«Так вот, это он подкараулил старика летом, во время уборки, когда тебя уже не было в Долгушине. По ночам забирался в моштаковский двор и, как уж там было, я не знаю, сидел, притаившись. Ночь, вторую — так прямо на суде и рассказывал, — а на третью, глядь, на самой петушиной зорьке, как полоске по небу родиться, въезжает пароконная бестарка во двор, а на ней Кузьма, бригадир, да и сам старик, Степан-то, тут как тут, на крыльце, и баба за ним с мешками. Степан-то с бабою насыпают пшеницу в мешки, а Кузьма туда их, через конюшню и в кладовую. Но с первого разу брать их Игнат не стал, а уже на шестую ли или на восьмую ночь, теперь уж вот из головы вылетело, как раз опять на петушиной зорьке и накрыл их. Да и Подъяченков был с ним. Парторг, помнишь?»

«Ну еще бы, конечно, помню».

«Вот и взяли они Моштаковых — и в суд. Ночью же и людей побудили, и акт, и... ну, что еще? Старику, Степану-то, как видно по старости, четыре дали, а Кузьме — шесть».

«А зятя их, Андрея Николаевича, — спросил я, — судили?»

«Этого-то? Вот уж не помню, — чуть подумав, сказала Пелагея Карповна. — По-моему, нет, его не судили. На суд вызывали, а не судили. Он сразу же и уехал куда-то».

«Отвертелся-таки — с усмешкою проговорил я, — а уж его-то в первую очередь надо было».

Я сказал так не потому, что действительно знал все гнусные дела Андрея Николаевича; просто мне казалось, что бывший заведующий райзо хотя и не увозил сам с тока зерно, но, во всяком случае, знал и покрывал; на Пелагею Карповну же фраза моя произвела, однако, неожиданное и странное, что я сразу заметил, впечатление. Она даже слегка побледнела, несколько секунд молча всматривалась в меня, словно решалась, говорить ей, что она знала, или не говорить, и оглянулась на Наташу и затем на свою двоюродную сестру, у которой, может быть, впервые за все то время, пока сидели за столом, появилось на лице оживление, но так как никто не мог предположить, что́ волновало Пелагею Карповну, чего она опасалась и на что решалась, все тоже молча и ожидающе смотрели на нее.

«Виновата я перед тобой, Алексей, вот что я скажу тебе, — наконец проговорила она. — Не хотела, думала, умолчу, но вот не могу. Может, и лучше, что расскажу, и на душе посветлеет. Ты уж прости, Алексей. Да разве ж я знала, что ты зятем ко мне приедешь?»

«В чем, мама?» — спросила Наташа, продолжая уже с тревогою смотреть на мать.

«Виновата, Алексей, — между тем снова проговорила Пелагея Карповна, не обращая внимания на вопрос дочери и не отвечая ей, — да и не только перед тобой. Спрашивали меня на суде о тех ларях, помнишь, которые вы искали и не нашли, и я ничего не сказала. А ведь они были, Алексей, и я знала, куда Моштаковы их увезли».

«Куда?» — перебил я Пелагею Карповну, даже чуть подавшись вперед, будто так яснее можно было услышать ответ.

«Куда?.. Не спеши, дело тут непростое. Если бы на суде я начала говорить правду, многих бы еще упекли, а уж Андрея Николаевича первым. Но не могла я ничего сказать. Теперь бы вот, наверное, сказала, а тогда — нет. Как раз накануне суда, когда повестка уже пришла — как свидетельницу меня вызывали, — является под вечер вдруг в избу Ефимка одноногий».

«Это конюх? Понурин?»

«Да. Является и говорит: «Ты, Пелагея, на суде помолчи, а то и тебя упекем, и остается твоя девка сиротою». «Я ничего не видела и ничего не знаю», — говорю. А он: «Вот так и держись, а ежели язык распустишь, то все одно — жизни тебе не будет. Поняла? Вот то-то». Сказал и ушел, а я как во сне хожу, из рук все валится».

«А вас за что?» — опять перебил я.

«Да оно вроде и было за что, да и не было, а страх, он всегда впереди человека бежит. Особенно у нас, женщин. Ну, куда я одна? Кабы Николай (она редко вспоминала о своем погибшем на войне муже, но когда все же вспоминала, говорила всегда с добрым чувством), он бы все решил и рассудил по-мужски, а я что? Подойду к Наташе, спит девка и ничего не знает, а у меня сердце обливается. Так, захолонув, и стояла на суде, словно во рту не язык, а железный колун, — отяжелел, ни шевельнуть им, ни слова сказать не могу. Привезли меня домой ни живую ни мертвую. Не в Долгушино, а сюда, к Наде. Два дня пластом лежала, думала, конец, и уже за тобой, — Пелагея Карповна взглянула на Наташу, — хотела посылать, да обошлось. Вот Надя не даст соврать, — продолжала она, в то время как Надежда Павловна принялась согласно трясти головою. — А началось-то с чего? Помнишь, Алексей, когда ты у нас жил? Прибежал ты однажды утром — в Чигирево еще собирался, за подводой ходил, — гляжу, а на тебе лица нет. Ты-то спрашиваешь: «Имеется ли в Долгушине колхозный амбар?» Я говорю: «Нет», а сама думаю: «Господи, и с чего бы так вдруг? Не к Степану ли Моштакову ходил?» Знать я еще ничего тогда не знала, а догадка-то сразу обожгла, да и смотрю, подался ты пешком в Чигирево. Для чего? Не иначе как узнал что или увидел у Моштаковых. Но я, Алексей, не ходила никуда и никому ничего не говорила про свою догадку, и Наташу в избу загнала, чтобы ничего никому. «Не мое дело, — думаю, — сами разберутся». Думаю и не сплю. Чуть звук какой, вскакиваю: «Едет!» Тебя ждала. Да и другой день все на взгорья смотрела: появишься или нет? Но приехал прежде не ты, а Андрей Николаевич. Никому, конечно, невдомек было, для чего он прикатил; он и раньше приезжал погостить к тестю, может, и теперь так? Люди-то наши к этому привыкли, но я чувствую: не то что-то, и

кур, как обычно, не рубят, и пельмени не несут на мороз, да и труба будто не дымит, притихла, а тишина спроста не бывает. Дело к вечеру, а тебя все нет. А как совсем стемнело, стучится ко мне Моштачиха. «Пелагеюшка, — кричит с улицы, с мороза, — зайди на минутку к нам, разговор есть». «Сейчас», — говорю. Оделась, иду; опять, чую, что-то неладно, а все же иду. В избе Андрей Николаевич сидит. Я поклонилась, здороваюсь, как-никак, а почти всю войну председательствовал у нас, а он: «Помнишь?» — «Как же, — говорю, — ежели бы не вы да не Степан Филимонович, дай бог вам здоровья, где бы уже мне Наташу вытянуть, зачахла бы». — «Ну уж не совсем так, — говорит, а сам сидит, ноги вперед вытянул, и по лицу что-то вроде как бегает, то ли бледность, то ли испуг; борется с собою, а говорит без дрожи: — Это мы в память о Николае, хороший у тебя был мужик, работящий колхозник. Но скажи, а за добро платить добром ты умеешь?» — «Да уж Степан Филимоныч не пожалуется, вот он, — говорю, — отчего не умею?» — «А язык за зубами держать?» — спрашивает, а сам щурится. «С детства, — отвечаю, — не была болтливой». — «Тогда, — говорит, — ступай домой, а как нужно будет, разбудим и позовем». Ушла я, прилегла дома на кровать, а заснуть опять не могу. Около полуночи является Моштачиха и только тук-тук в окно и манит пальцем: дескать, собирайся, пойдем. Куда мне деваться? Иду. А там у них во дворе уже сани, запряженные парою коней, стоят, и возле них прохаживается Ефимка одноногий, хрустит по снегу костылем. Кузьма, вижу, мешки с зерном таскает из конюшни и складывает в сани. Ну, я сразу поняла: «Хлеб увозят, прячут». Но назад мне уже хода нет. «Да и что, — про себя говорю, — мне за дело до них, пригласили помочь, вот и пришла, а остальное меня не касается. Что добр старик Моштаков был ко мне, то добр: кому мерку, две, а мне завсегда насыпал, не меряя, не жалел, так чего ж я...» Вошла в конюшню, потом в кладовую и вместе с Моштачихой стала помогать Кузьме и его отцу насыпать зерно в мешки. Сами-то не успевали, вот и пригласили меня. Старик все больше керосиновый фонарь держал, светил да ворчал, чтобы аккуратней, не сорили на пол, а Андрея Николаевича и вовсе не было. Вот так почти до рассвета и ворочали: мы насыпали, Кузьма носил в сани, а Ефимка одноногий к себе увозил. Потом и лари разобрали и то-

же увезли, а пол вымели, забросали старой трухлявой соломой и заложили сеном. Тут уж и Андрей Николаевич вышел и взял вилы, потому что не успевали до свету, а на другой день к обеду и вы с Подъяченковым и Старцевым подъехали, да только уже поздно было. Потому-то я и пряталась и не могла смотреть тебе в глаза, знала все, да и жалко было: позорят, а за что? Но сказать ничего не могла».

«Как же вы?! Не понимали разве?» — Я готов был закричать на нее, но сдержал в себе это желание.

«Я ведь и сама себя казню, Алексей, как же не понимала, но и не могла я иначе. Я же и про поленья знала».

«Какие поленья?» — торопливо спросила Наташа.

«Кто швырял?» — уже не в силах сдержать себя, крикнул я.

«Ты и сам мог бы догадаться: у кого березовые дрова на деревне были? Только у бригадира Кузьмы да еще у старого Моштакова. Они каждый год доставали бумагу на сухостой, а мы, сколько я помню, всегда хворост заготавливали, хворостом и топились».

«Кузьма?» — Меня интересовало свое.

«Нет».

«Старик?»

«Нет, Алексей, не они, а сам Андрей Николаевич. После, когда они меня пригласили да посоветовали сжить тебя с дому, так Моштачиха говорила, что швырял Андрей Николаевич. Я говорю: «Убить могли». А она: «Да вот и мой говорил то же, но Андрюша не послушал. Надо, — говорит, — пойти попужать».

«Так они в тебя поленьями? — возмущенно воскликнула Наташа. — Хорошенькое дело: попужать!»

«И это еще не все, — опять не обращая внимания на дочь, продолжала Пелагея Карповна. — Старик-то потом велел оговорить тебя: мол, специально подослан в деревню, чтобы разоблачать всех».

«Кого это *всех*?»

«В том и дело, что оно будто и некого было, но в то же время, если вглядеться, у каждого хвост в репьях. Ведь так трудно в войну жили, Алексей, и каждый — кто сенца ночью на лугу накосит да и свезет себе во двор, потому что надо же коровенку кормить, кто ботвы или соломы привезет, а кто и кочаны — всякое бывало, так что оговор на почву лег».

«Значит, это вы?!»

«Было, Алексей. Суди, казни, а было. Но я только раз бабам возле сельмага сказала, а в основном Ефимка одноногий крутил».

«Но вы-то, вы!.. — У меня не хватало слов, чтобы высказать все то, что я чувствовал в эту минуту к Пелагее Карповне. Я уже не сидел за столом, а стоял, и впервые тогда начала у меня подергиваться левая бровь (с тех пор, впрочем, так и пошло: чуть поволнуюсь, и потом унять не могу, дергается, и все тут). — Вы хоть чуточку сознаете, что вы натворили, — запинаясь, все же произнес я, хотя надо было говорить не это; ведь потому она и рассказала, что сознавала свою вину. — Вы понимаете, — продолжал я, опять чувствуя, что нет нужных и резких слов, которые следовало бы сейчас бросить и без того сникшей, сгорбившейся (но эта старческая беспомощность не вызывала жалости, а лишь более раздражала меня) Пелагее Карповне. — Вы!.. Вы!..»

Не знаю, что подтолкнуло меня, — может быть, все же понимал, что ссориться ни к чему, что это обидит, оскорбит Наташу и что, главное, прошлое все равно уже не вернешь, — я двинулся к двери, чувствуя лишь одно, что не могу больше оставаться здесь, рядом с Пелагеей Карповной; я видел, как испуганно смотрела на меня Наташа, видел неприятно округлые, как у всех близоруких и слепнущих людей, выцветшие старушечьи глаза Надежды Павловны и видел, выходя из комнаты и захлопывая за собою дверь, все так же неподвижно и виновато-сутуло сидевшую Пелагею Карповну (теперь, знаете, мне временами становится больно за нее; в конце концов, ну что она могла, женщина, когда над всеми нами висела война!), но никто из них ни словом, ни жестом не остановил меня. Во дворе я еще постоял немного, прислушиваясь, не бежит ли за мной Наташа. Я даже не знаю, хотелось ли мне, чтобы выбежала Наташа, или нет; наверное, все же было бы легче, если бы она вышла, хотя неприязнь к матери невольно переносилась и на старую, и уже, по-моему, ничего не смыслившую Надежду Павловну, и на Наташу, на всю эту невысокую и чужую мне деревенскую избу, со двора которой видны были огород, пологий берег Лизухи и дальше пшеничные поля за рекою, лес и синее с белыми, весенними облаками небо; глядя на открывавшуюся до горизонта хлебную даль и, в сущности, не видя и не воспринимая эту прежде удивительно притягательную и

умиротворяющую картину, и все еще не соображая, куда и зачем иду, я зашагал по тропинке через огород к реке. Лишь бы подальше от дома, от Пелагеи Карповны, от всего, что я узнал от нее. На том же, как мне кажется, месте, где когда-то сидели веснушчатые рыболовы, я присел на траву у самой воды. Я понимал, что надо успокоиться, и потому говорил себе: «Ну что я вспылил? И для чего она все рассказала? И... что же сломленного в моей жизни, когда я закончил институт и работаю вот в управлении? Не зря же говорят, что худа без добра не бывает. Я еще не знаю, лучше или хуже было бы, если бы я остался в Долгушине. Вечный сорт... — про себя ухмыляясь продолжал я, — вот и все. Да возможен ли вообще этот вечный сорт?» Я как будто рассуждал правильно, и вид пахотной земли за рекою, и тихие всплески воды у ног будто успокаивали, и я уже не был таким злым, как вышел из дому; но на смену первой вспышке негодования явилась та невидимая душевная боль, которую ничто уже — ни годы более или менее счастливой совместной жизни с Наташей, ни успехи по работе или просто удовлетворение от каких-либо удачных командировок, — ничто не могло заглушить во мне. Лишь на время все будто затихало, но вот сейчас, видите, снова все, как открывшаяся рана, сочит и ноет в душе. Как бы хорошо ни складывалась моя жизнь, я все равно не могу забыть Долгушино; а ведь в тот майский день, когда сидел один на берегу Лизухи, все было еще более свежо в памяти, чем теперь. Я смотрел на воду, на поля за рекою и думал о Долгушине; временами как бы вырастал перед глазами старый Моштаков с зажженным фонарем «летучая мышь» в руке, и я будто ясно слышал и усталое дыхание вспотевших женщин — Пелагеи Карповны и Моштачихи, — и шорох сыпавшегося в мешки зерна, или вдруг представлялась сцена, как Андрей Николаевич, перекидывая с руки на руку сучковатое березовое полено (то самое, которое я затем принес с замерзшей реки домой и поставил у крыльца), словно примеряя, достаточно ли тяжело оно или выбрать другое, потяжелее, с привычным для него спокойствием и медлительностью произносил: «Надо, непременно надо попужать», но все эти зримые и, казалось бы, должные захватить внимание картины являлись лишь одной малой составной частью того злого *моштаковского* мира, который был еще более, чем когда-либо, понятен и ненавистен мне те-

перь; и мир Пелагеи Карповны (однако я не уверен, что был вполне справедлив тогда к ней), и душевный мир Андрея Николаевича, и мир всех тех мужичков — «мучное брюшко», которые опять как бы топтались с безменами в руках в своих промерзших, с земляными полами сенцах, — все сливалось в одно страшное, как паучьи нити, стянутые в узел, людское зло. «Ну что вот ей, Пелагее Карповне? — думал я. — Моштаков — ладно, но она-то, она!..» Может быть, час, а может, только около получаса просидел я один на берегу Лизухи; почувствовав, что кто-то подошел ко мне и остановился за спиной, я оглянулся и увидел Наташу. Я не знал, разумеется, какой разговор произошел у нее с матерью после того, как я оставил их, — о чем-то, конечно, они говорили, и, наверное, резко, потому что бледное лицо Наташи еще словно жило тем — вовсе не мирно закончившимся — разговором; я заметил это, но ни о чем не стал спрашивать, да и потом не спрашивал, не желая ворошить прошлое, но теперь мне всегда почему-то кажется, что я знал и знаю, о чем они говорили.

«Я бы никогда не вышла за тебя, если бы знала», — негромко проговорила Наташа, присаживаясь рядом.

«Но ты-то при чем?»

«Я ничего не знала, Алексей».

«Верю», — сказал я и притронулся ладонью к ее застывающему от речного сырого воздуха плечу.

«Завтра же мы уедем отсюда», — опять заговорила Наташа.

«И ты с Валюшей?»

«Да, все вместе. Я не хочу оставаться здесь».

«Но...»

«И больше никогда сюда не приедем».

«Но, Наташа...»

«Нет, нет, не возражай. Я же все вижу!»

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Наташа настояла на своем, и на другой день поздно вечером мы покидали Красную Долинку. Пелагея Карповна и Надежда Павловна пошли на вокзал проводить нас. Но что это были за проводы? Мы почти не разго-

варивали; на Пелагею Карповну было больно смотреть. Наташа унесла маленькую Валентину в вагон и больше уже не появилась на перроне; но я, впрочем, почему-то не испытывал той неприязни к Наташиной матери, как день назад, в минуты встречи, и был холоден с ней потому, что опять лишь подчинялся общему настроению, которое создавала теперь Наташа. Я пожал руку старым женщинам, потом Пелагея Карповна поцеловала меня в лоб, пробормотав какие-то благословляющие слова; она не плакала, глаза ее были сухи, в них как будто остановилось что-то, знаете, как иногда бывает *это* у потрясенных людей, для которых все прошлое и все будущее вдруг сосредоточивается в одной точке, от которой они уже не могут отвести взгляда, — было что-то именно *это,* остановившееся и оттого пугающе-странное, тревожное, так что и сейчас, когда я вспоминаю тот ее взгляд, становится как-то неуютно и ознобно на душе. Наташа не выглянула в окно и не помахала матери рукой; я же, приподняв ладонь на уровень глаз, чуть заметно зашевелил пальцами, когда поезд тронулся и две одиноко стоящие старческие фигуры на освещенном электрическими лампочками перроне начали как бы уплывать за окном.

С тех пор я уже никогда больше не приезжал в Красную Долинку и не видел ни Пелагеи Карповны, ни Надежды Павловны; постепенно они вообще как бы перестали существовать для меня. Я никогда не читал от Наташиной матери писем, и не потому, что не хотел; просто, занятый работою в управлении (как уже говорил, я много времени проводил в разъездах), даже не знал, что Наташа хотя и редко, а все же переписывалась с матерью. Этих писем, разумеется, она не показывала мне, потому что не хотела, чтобы я волновался и вспоминал прошлое. Я не осуждаю ее за это. Она по-своему была права. Даже когда умерла Пелагея Карповна, Наташа уговорила меня не ездить в Красную Долинку, потому что зачем же я буду отрываться от своих служебных дел, когда вот-вот развернется посевная (было это в последние дни марта, снег уже сходил с полей), и поехала одна; когда же вернулась, рассказывала скупо, будто неохотно, хотя, я чувствовал и видел это, тяжело переживала смерть матери. Была, несомненно, какая-то несправедливость в том, как мы обошлись с Пелагеей Карповной, — я и, главное, Наташа (из-за меня, конечно, и мне от этого лишь больнее на душе),

ради которой, собственно, и старалась мать, приспосабливаясь к той жизни, какая выпала ей на долю. Можно было, естественно, поставить вопрос так: «А зачем приспосабливаться? А как другие, кто не приспосабливался? Жили и живут, и никакие думы не мешают им спать по ночам», — и все-таки жалко было Пелагею Карповну. Вместе с нею в один и тот же день, лишь несколькими часами позже, умерла и старенькая Надежда Павловна. Наташа рассказывала, как стояли гробы их рядом на столе посередине избы, и только несколько старушек, очевидно соседок, пришли проводить их в последний путь. Их похоронили на деревенском кладбище. «Помнишь, на въезде, слева, как островок над рекой», — говорила Наташа, чтобы я зримее мог представить кладбище, и я отвечал: «А-а, да-да, слева, помню, роща такая», — хотя менее всего изо всей своей долгушинской и краснодолинской жизни помнил кладбище. Впрочем, я и сам старался не говорить и не думать о прошлом, потому что так легче и спокойнее было жить. Я ведь всего один раз побывал в Долгушине (да и для чего вот так, как делаете это вы, Евгений Иваныч, приезжать каждый год и растравлять душу? Прошлое не вернешь и не изменишь!), и то не в самой деревне, а лишь постоял на взгорьях, глядя как бы сверху на знакомую мне речку и приткнувшиеся к ней подковкою низкие крестьянские избы. Было тогда даже что-то новое в облике этой маленькой, словно затерявшейся среди хлебов деревеньки; клуб, о котором *когда еще* говорила Наташа, школа, ремонтные мастерские, потому что МТС уже не существовало, и, может быть, еще что-то, чего я и вовсе не мог уловить и не помню теперь, да и поля вокруг на взгорьях были разбиты по-другому, правда, не так, как в свое время, работая над картой севооборота, намечал я; и чувствовалась во всем будто добрая и хозяйская рука, и видеть это было приятно, хотя и с грустью я думал, что мог бы все это сделать сам: и севооборот ввести, и ток соорудить крытый... Нет, я не радовался, оглядывая Долгушино и взгорья и замечая перемены; радость, по-моему, и особенно мгновенная, бурная, всегда лишь оглупляет нас, тогда как в тихой грусти человек способен на раздумья, на неторопливые и обстоятельные выводы и оценки; в грусти человек умнее, и потому, мне кажется, грусть — более естественное состояние, чем радость; но я опять заговорил не о том; я не радовался потому, что мысли

мои были обращены более в прошлое, и далеко еще не отболевшею болью обида и горечь подымались во мне. Как когда-то прежде — я будто не искал взглядом моштаковское подворье, но оно само вырастало перед глазами, все такое же, каким было тогда, с длинной бревенчатой конюшнею (я же про себя называл ее то тайной кладовой, то просто хлебными ларями), примкнутой к избе, и даже видел, как маленький и сгорбленный старичок — это был, несомненно, сам Моштаков — то ли с вилами, то ли с граблями ходил по двору; отыскал взглядом и избу конюха Ефима Понурина, дочь которого я когда-то провожал с гулянья домой (печально и смешно было вспоминать и это), и, конечно же, отыскал избу Пелагеи Карповны, вернее уже не ее избу, а контору и склад Долгушинского отделения сортоиспытательного участка, где жил и работал, как в свое время я, кто-то другой, может быть, равнодушный, спокойный, а может, такой же непоседливый; разумеется, я думал и об Андрее Николаевиче и Федоре Федоровиче, о судьбе которых еще накануне, когда мы с Наташею вернулись с Лизухи, Пелагея Карповна рассказала нам. Андрея Николаевича не судили, так как не было прямых улик, но все же сняли с работы и исключили из партии. «За прошлое, — пояснила Пелагея Карповна, — когда еще в войну председательствовал в Чигнреве». Да и открылось будто, что он вовсе не болел туберкулезом, что справка была у него фиктивная, купленная, но это, впрочем, не удивило меня. «Я знал, — сказал я Пелагее Карповне. — Какой же он туберкулезник, когда он — кровь с молоком! И все, по-моему, знали или догадывались, но ведь мы не верим себе, своим чувствам, сила исписанной бумаги для нас превыше всего!» В общем, вся жизнь Андрея Николаевича, человека ловкого, хитрого и, что бесспорно, страшного для людей, была ясна мне, тогда как Федор Федорович со своим житейским правилом «не трогай никого — и тебя никто не тронет», которого не судили и даже не вызывали на суд как свидетеля и который, по крайней мере, в тот год, когда я был в Красной Долинке и Долгушине, все еще заведовал Чигнревским сортоиспытательным участком, может быть, уже отказавшись, а может, продолжая еще работу над своим *вечным сортом* пшеницы, — Федор Федорович так и остался для меня загадкою. «Там, у Моштакова и Андрея Николаевича, ясно — нажива, но у этого-то какая

корысть?» Я задавал тогда и задаю сейчас себе этот вопрос. Но, в конце концов, не в нем, не в Федоре Федоровиче, дело. Зло живет в людях, и оно страшно тем, что зачастую добро оказывается бессильным перед ним. Вы скажете, что все это не так, что наказаны же и Моштаковы, и Андрей Николаевич. Верно, наказаны, но прежде был ими наказан я, и, знаете, иногда отрубают голову, а иногда, и это невидимо для других, отрубают душу, и ты уже опустошен на всю жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Утром, когда я проснулся, Евгения Ивановича уже не было в номере. Он уехал, не простившись, и я не знал, почему он сделал это. «Если не хотел будить, — подумал я, — то мог бы с вечера сказать, что есть билет, и мы бы хоть пожали друг другу руки». Мне было искренне жаль, что я никогда, как мне казалось, больше не увижу его; с грустным настроением я отправился в поездку по колхозам, а когда вернулся в Калинковичи, может быть, потому, что выдался свободный воскресный день (домой я уезжал только в понедельник вечерним московским, так как надо было еще встретиться и уточнить кое-какие цифры с заготовителями), я решил побывать в Гольцах. Мне было любопытно взглянуть на ту белорусскую деревушку, которую так же, как и Калинковичи, каждый год навещал Евгений Иванович, главное же, увидеть место — дорогу, кустарник, болото и бревенчатый настил по нему (со слов Евгения Ивановича, впрочем, я знал, что настила там давно нет, что дорога уложена бетонными плитами, но все же я представлял в воображении именно бревенчатый настил), где стояло когда-то орудие Евгения Ивановича и откуда он стрелял по немецким самоходкам, увидеть щель, обмелевшую и заросшую травой — по словам Евгения Ивановича, — но все еще сохранившуюся как след войны у обочины шоссе, с минуту постоять в том лесу, где грохотали разрывы, и хоть на мгновенье ощутить всю атмосферу боя (какую, казалось, я ощущал уже, слушая Евгения Ивановича); я уже говорил, что сам не был на фронте, но иа войне погиб мой отец, и потому меня всегда волновало и волнует все, что связано с войной.

Оставив вещи в гостинице, я вышел на Мозырьское шоссе и точно так же, как делал это Евгений Иванович, остановил первую же попутную машину, забрался в кузов и к полудню — запыленный, обветренный — стоял на обочине той самой рассекавшей кустарник, лес и болото дороги, где, по всем предположениям моим, как раз и должен был происходить столь памятный Евгению Ивановичу поединок с немецкими самоходками. Разумеется, я видел все впервые и потому не мог с точностью определить, здесь ли, где я теперь стоял, выше ли

по шоссе или ниже следовало искать щель («Только не поперек ройте, а повдоль, повдоль», — вспомнил я слова Евгения Ивановича); мне показалось, что я проехал то *главное место* (так, однако, оно и было на самом деле), откуда, укрывшись за дымившимися танками, вели огонь *наши* артиллеристы, и я зашагал вниз, к поросшему кустарником болоту. Я шел не по дороге, а лесом, рядом с дорогою, и удивительная, помню, тишина стояла над лесом; тишина, в которой бывают слышны лишь особенные, лесные звуки: то застучит дятел, то вспорхнет птица с ветвей, то хрустнет под ногою полусгнивший, почерневший валежник, и хочется непременно остановиться и посмотреть, что́ под ногою, и я останавливался, смотрел и снова шагал, поглядывая по сторонам и прислушиваясь, как пошевеливались над головою залитые солнцем макушки деревьев. Нет, знаете, не так просто вообразить то, чего никогда не видел, чтобы оно ожило вокруг и чтобы ты сам почувствовал себя вдруг в центре этих оживших событий. Я служил в армии, знал тяжесть автомата и шинели и старался представить себя снова солдатом; я присматривался к белым стволам берез, когда-то иссеченным осколками и пулями, и чем дальше продвигался по лесу, тем яснее будто видел эти уродливо зарубцевавшиеся на стволах отметины войны; я прислонился щекой к холодной и шершавой коре, как это когда-то, оглушенный рвавшимися над лесом фугасками, делал Евгений Иванович, но в лесу по-прежнему было тихо, лишь шелестели листья и солнце мирно и весело цедилось сквозь них на чахлую лесную траву. Еще и еще раз я прислонялся щекой к березам, пытаясь как бы вызвать, что ли, в себе то чувство, какое испытывал здесь когда-то Евгений Иванович (мне казалось, что вот так же и мой отец, пусть не здесь, а за Новгород-Северским, у деревни Бычки, принимал бой, но только ему выпала участь зенитчиков, и потому я старался почувствовать не только то, что испытывал Евгений Иванович, но в еще большей степени, что испытывали зенитчики, засеченные немецкими самоходками); время от времени, остановившись, я поворачивался и смотрел назад, потому что там должны были санитары уносить на плащ-палатках убитых и раненых зенитчиков, но я лишь говорил себе: «Да, да, вот тут, наверное, их проносили», — и лишь прочерчивал взглядом огненные трассы, которые в тот далекий зимний день стелились здесь над дорогой, но бой не оживал и не разворачивался, как

он оживал и разворачивался перед глазами Евгения Ивановича, лес молчал, оставаясь для меня лишь красивым, тихим и будто даже грибным местом. Я повернул к дороге и совсем случайно, так думаю теперь, вышел к той са́мой заросшей травою щели — центру событий, как я уяснил это еще по рассказу Евгения Ивановича, — которая действительно была вырыта не поперек, а повдоль дороги; бока ее пообвалились, она уже более напоминала старый и мелкий окоп, на дне которого валялись консервные банки и загнанные, может быть ветром, скрюченные и пожелтевшие обрывки газет; да и трава как ни густо, казалось, росла вокруг и по стенам, но сквозь острые листочки пырея проглядывала как бы запекшаяся, а вернее, запудренная слоем дорожной пыли красная глина. «Вот она», — сам себе сказал я, с тоскою оглядывая эту когда-то спасавшую Евгения Ивановича от смерти и служившую убежищем для солдат-артиллеристов его взвода бывшую щель, силясь представить, как все здесь происходило, как Евгений Иванович, нажав на холодную, даже заиндевевшую, как говорил он, гашетку, скатывался в щель, обхватив голову руками, и над дорогою, над все еще горевшими и дымившими танками и над выбеленным известью для маскировки орудийным щитом — «раз-раз, раз-раз» — проносились снаряды, выпущенные самоходками, и с треском укладывались воронки далеко позади, где еще чернели на снегу (тогда ведь была зима!) подбитые зенитные установки; да, именно силился представить это, и даже как будто кое-что оживало в сознании, пока смотрел на дорогу и, обернувшись, смотрел затем туда, где должны были виднеться стволы изуродованных зениток, но едва только переводил взгляд на то, что лежало у ног (я уже с трудом называл ее щелью; особенно неприятно было видеть поржавевшие на дне консервные банки и клочки газет), ощущение боя мгновенно исчезало, и снова — только серая дорога через лес, белые стволы притихших берез и кустарник справа по болоту («Но болото ли это? — спрашивал я себя. — Может, болота давно нет, а так, сырое низкое место, и все!»), и я уже смотрел вокруг с усмешкою, не скрывая, потому что никого рядом не было. Я присел на траву возле щели, где когдато сидел Евгений Иванович, но проходившие мимо грузовики вовсе не воспринимались мчащимися вперед нашими танками, а просто обдавали густой и оседавшей затем на обочину пылью, и я заслонял ладонями глаза

и лицо от этой пыли. «Зря, конечно, я приехал сюда, — решил я. — Ну посмотрел... Ну и что?.. Для него (я имел в виду Евгения Ивановича) эти места, а для меня — Долгушинские взгорья...» Я еще продолжал сидеть на траве возле щели, но уже все менее занимало меня прошлое Евгения Ивановича и его поединок с немецкими самоходками, из-за чего, собственно, я и очутился здесь, а все заслоняли собою Долгушинские взгорья; они, те пахотные взгорья, были роднее, ближе мне, и хотя горше было вспоминать о них, но — так уж, видно, положено на веку людям, что каждому дорога́ именно своя, как бы ни складывалась она, прожитая молодость. «А не съездить ли мне в Долгушино, вот что, — тогда впервые подумал я. — И Наташа будет рада. А впрочем, пора назад, в Калинковичи», — добавил уже вслух и, поднявшись и отряхнув землю и сухие травинки с брюк, вышел на дорогу.

Но в Калинковичи уехал не сразу.

В то время как собрался было остановить попутную машину, услышал звонкие за спиною детские голоса. Оглянулся и увидел, как шестеро мальчиков в коротких, закатанных до колен штанишках, в рубахах с расстегнутыми воротами пытались вытащить на дорогу неуклюжий и тяжелый для их неокрепших ручонок передок от какой-то старой телеги.

— Вперед! Вперед! — выкрикивал светловолосый и старший из всех и сам, хватаясь за спицы, налегал корпусом на колесо, как, знаете, рисуют солдат, выкатывающих орудие на огневую.

— Взяли! Н-ну, еще, взяли! — выдерживая паузы, командовал он, не первый раз, очевидно, руководя такою работой. — Заводи станину! Станину, говорю, заводи! — обернувшись, по-взрослому сердито бросал он державшимся за оглобли парнишкам, и те, краснея и напрягаясь, старательно заводили, куда приказывал им светловолосый командир, оглобли.

Может быть, я не сразу бы догадался, для чего ребята выкатывали передок на дорогу, если бы не эти характерные выкрики: «Вперед!» и «Заводи станину!» и если бы, приглядевшись, не увидел, что прикрепленная на передке старая березовая жердь напоминает орудийный ствол, и если бы тут же не обратил внимание на сучковатые палки, которые, как автоматы, висели на шеях ребят. «Они воюют, — все более всматриваясь в то, что они делали, догадался я. — Ну да, они разыгрывают

тот самый бой», — уже удивленно повторил я, видя, как они, выкатив-таки тяжелый передок на край дороги и развернув оглобли, как разворачивают орудийные станины при стрельбе, готовились *открыть огонь* по воображаемым, разумеется, немецким самоходкам. Светловолосый командир, присев на корточки, принялся, ворочая жердью, целиться в те самые видимые только ему самоходки, а остальные, скатившись в кювет, лежали на животах, выставив вперед палки-автоматы, и смотрели на своего командира. Командир же, найдя наконец цель и посчитав, что наступило именно нужное мгновение и пора нажимать на гашетку, звонко крикнул: «Па-ах!» — и, перепрыгнув через оглоблю, бросился в кювет к настороженно следившим за каждым его движением товарищам. Чуть выждав, он снова почти ползком подобрался к березовой жердине на передке, и все повторилось: громкий выкрик: «Па-ах!», прыжок в кювет и напряженное выжидание, когда ударят в ответ воображаемые немецкие самоходки. Увлеченные игрой, они, казалось, не замечали меня; я же смотрел на них с тем нараставшим волнением, какого как раз и не хватало мне, пока шагал по лесу и затем сидел здесь, возле щели; вместе с ребятами, едва только их командир, крикнув очередной раз «па-ах», скатывался в кювет, я теперь поворачивал голову и смотрел вверх по дороге, словно действительно должны были сейчас же разрываться там, около подбитых уже зениток, ответные вражеские снаряды.

Я не подходил к ребятам и не нарушал их игры. Только когда, высыпав гурьбой на дорогу, они начали радостно прыгать возле своего передка-орудия и кричать «ура», я приблизился к ним и, обращаясь сразу ко всем, сказал:

— Ну что, подбили?

— Так точно, подбили, — ответил светловолосый командир, улыбаясь и изумленно глядя на меня. — А вы откуда знаете? — затем спросил он.

— Да вот знаю.

— Вы воевали здесь?

— Н-ну, в некотором роде...

— А кем вы воевали?

— Кем? — переспросил я, оглядывая уставившиеся на меня любопытные мальчишеские лица. — Нет, ребята, я не воевал здесь. И вообще на фронте не был.

— А-а, — разочарованно протянул светловолосый командир, которого, как я узнал потом, звали Павликом.

— Но лейтенанта Федосова, который и в самом деле подбил здесь немецкие самоходки, я знал.

— Мы тоже знаем его, — ответил Павлик.

— Мы всех знаем, — с нескрываемым чувством превосходства и радости и с той непосредственностью, как это умеют только дети, вставил высунувшийся из-за спины Павлика мальчик, на щеках которого виднелись следы недавних и уже высохших слез.

— Всех, кто воевал здесь?

— Всех, — подтвердил Павлик.

— И погибших зенитчиков?

— Да.

— И танкистов?

— Да.

— Откуда же вы их знаете?

— А у нас следопыты, музей, — пояснил Павлик. — Там и фотографии, и все-все, прямо в избе возле школы. Там тетя Нюра, она все знает, а мы в лейтенанта Федосова играем, — докончил он и затем, оглядев товарищей и приняв, как должно, командирскую осанку, негромко, но повелительно проговорил: — Ну, чего стали, кати орудие назад!

Уже не обращая внимания на меня, ребята взялись было за оглобли, но в это время кто-то из них, заметив появившуюся на дороге машину, сказал светловолосому командиру:

— Паш, гляди!

Машина приближалась, и Павлик, лишь мельком посмотрев на нее, сейчас же крикнул:

— Тикай, братцы! Тика-а-ай!

Ребята кинулись в лес, бросив передок на дороге; Павлик, как бы прикрывая это неожиданное и вынужденное отступление, бежал последним, то и дело оглядываясь и заливая «автоматным огнем» шоссе. Я не знал, что напугало их, и тоже смотрел на приближавшийся «газик».

Когда машина остановилась, из нее выпрыгнул довольно молодой еще, но с гладко выбритой (может быть, для того, чтобы скрыть рано обозначившуюся лысину) головою мужчина и сразу же, издали, лишь подходя к оставленному ребятами передку, громко обращаясь к тому, кто только еще вылезал из машины, тяжело, грузно опуская больные, очевидно, ноги на землю, заговорил:

— Вот черти! Вот закатили куда! Ты посмотри, Ви-

талий Захарыч! — все так же, не оборачиваясь и полагая, что Виталий Захарович уже стоит за его спиною, продолжал он: — Акимыч передок ищет, с ног сбился, а они— от кузни, через болото, по кочкам!

— Я говорил Акимычу: бери лошадь и поезжай сюда, — спокойно, будто не случилось ничего необычного, ответил подошедший Виталий Захарович.

— От самой кузни, ты подумай!

— Ну и что?

— Самсонихин Пашка, не иначе.

— Больше и некому, его тут белая голова маячила.

— Вот шарлатан растет!

— А может, новый Жуков или Рокоссовский, а?

— Эк хватил, заступник.

— А что?

— Ладно, поехали. А к Самсонихе вечером сходи: сегодня передок от телеги, завтра — машину...

Искоса поглядывая на меня, они не спеша направились к ожидавшему их на обочине «газику». Виталий Захарович (опять было заметно, что он с трудом поднимал ноги) влез первым; этот же, с бритой головою, держась за поручни, медлил и еще и еще раз косился на меня; затем вдруг, захлопнув дверцу, быстро подошел ко мне.

— Константин Макарович, — протянув руку, проговорил он. — Председатель колхоза. Чем могу быть полезен?

— Собственно, ничем, — ответил я, тоже, однако, представившись, и протянул руку.

— Вы воевали здесь?

— Нет. А почему вы об этом спрашиваете?

— Мне показалось, что вы фронтовик, — сказал он. — Многие бывшие фронтовики приезжают к нам сюда. Именно сюда, вот на это место.

— Нет, я не воевал здесь, — снова, как и ребятам, ответил я Константину Макаровичу. — Но я хорошо знаю, что здесь происходило.

— Вы были в нашем колхозном музее?

— Нет, в музее я не был. Мне рассказал обо всем один человек, его зовут Евгений Иванович...

— Евгений Иванович! — воскликнул председатель, не дав договорить мне. — Вы когда его видели?

— Недели три назад.

— Как он?

— Что «как»? — переспросил я, не понимая, что хотел узнать о нем Константин Макарович.

— Как выглядел?

— Ничего.

— Ну, славу богу. Вы в какую сторону?

— В Калинковичи.

— Могу подбросить, если хотите. Я как раз в город собираюсь. Только сначала завернем пообедать, — добавил он. — Прошу!

Не могу сказать точно, чем — бритою ли головою (он все время держал фуражку в руках, а когда сел в машину, положил ее на колени перед собою), манерою ли говорить отрывисто, сухо (манера эта, конечно же, выдавала в нем не совсем приятную для общения прямолинейность характера) или еще чем-то, чего я не мог понять, но что было таким же непривлекательным, отталкивающим, — Константин Макарович не понравился мне в эти первые минуты знакомства, и я с неохотою, как, знаете, бывает, когда делают вам ненужное одолжение и вы непременно обязаны принять его, влез в машину и умостился рядом с грузным Виталием Захаровичем на заднем сиденье.

— Наш партийный вожак, — когда машина тронулась, сказал Константин Макарович, повернувшись к нам и указывая на Виталия Захаровича.

— Очень приятно, — ответил я и, называя себя, как обычно, как принято (как только что сделал, знакомясь со мною, Константин Макарович), протянул руку.

— Между прочим, друг Евгения Ивановича. — Председатель кивнул в мою сторону.

— А-а, — понимающе проговорил парторг.

Машина бежала по шоссе, как раз по тому месту, где когда-то был бревенчатый настил и стояли немецкие самоходки, но я не думал ни о бревенчатом настиле, ни о самоходках; я смотрел на бритый затылок неподвижно сидевшего Константина Макаровича и никак не мог связать в одно целое то, что знал о нем из рассказа Евгения Ивановича и каким представлял себе, с тем, каким видел теперь. «Да его ли это *тогда* автоматчик накрыл своею ватною телогрейкой, спасая от холода!» — восклицал я. Тот худенький мальчик, затем студент, школьный учитель, директор, парторг и наконец председатель, в моем воображении был иным, представлялся худощавым и с робкою улыбкой на лице.

«Газик», уже проскочив кустарник, вырвался на простор, и впереди показались избы деревни; и сейчас же, полуобернувшись к нам и глядя больше на меня, чем на парторга, Константин Макарович сказал:

— Нашей пехоты здесь много полегло. Ты не знаешь, Виталий Захарыч, тебя тогда в деревне не было, а я-то хорошо помню: вон за теми кустами, вон, видишь, справа холмик виднеется. — И я, и Виталий Захарович, который слушал обо всем этом не в первый, очевидно, раз, посмотрели, куда пригласил нас взглянуть председатель. — На второй или третий день, как войска наши прошли, а было это зимой, прибыла сюда к нам санитарная команда, и начали солдаты выносить трупы автоматчиков из болота. Обледенелые, запорошенные снегом, трупы складывали рядком прямо на том холмике, а мы всей деревней вышли смотреть. Не хочу рассказывать, страшная картина. Вижу их вот как сейчас и, наверное, до конца жизни не забуду.

— Почему же так много?

— Ну как «почему»? Пока топтались танки за лесом, по болоту-то они не могли пройти, а зенитчики и наш общий друг Евгений Иванович со своим орудием расчищали дорогу от самоходок, немцы подтянули минометы вон к тем крайним избам и вжарили оттуда по болоту. А на болоте ведь как, ни окопа, ни ровика, трясина и зимой не замерзает.

— Но Евгений Иванович...

— Не рассказывал, хотите сказать? Да он и сам не знал, взяли деревню и вперед, на Калинковичи, а это уж теперь мы всю картину боя восстановили. Но если бы не Евгений Иванович со своим орудием, если бы он не поджег немецкие самоходки, неизвестно, как бы еще повернулся бой. Евгений Иванович — настоящий герой. Да, — словно вдруг спохватившись, проговорил Константин Макарович. — Вы где видели его? Вы тоже из Читы?

— Нет, — ответил я. — Я встретился с ним в Калинковичах.

— Не понравился он мне в этот свой приезд, — заметил Константин Макарович. — Очень не понравился. Что-то с ним происходит, что-то гнетет его, а понять не могу. Да и раньше бывало... А ты, Виталий Захарыч, не заметил? Как по-твоему?

— Ну как же, заметил.

— Значит, верно я говорю?

— Да что гнетет, — вмешиваясь в разговор, начал я, — мечется между Читой и Калинковичами, и ни там ему, ни здесь покоя. Тяжелой и редкой судьбы человек.

— Какой, какой? — переспросил Константин Макарович.

— Редкой.

— А что в Калинковичи-то *мечется,* как вы сказали?

— Вы разве не знаете?

— Я знаю, что в Чите у него жена, сын, тесть с ними, правда без ног, ну так — война! Тут ничего не поделаешь.

— А про Ксеню, Василия Александровича и Марию Семеновну не слышали?

При этих моих словах, я заметил, председатель колхоза и парторг недоуменно переглянулись; затем Константин Макарович спросил:

— Вторая жена? Но это на него не похоже, вы что-то, наверное, путаете.

— Ну почему обязательно вторая жена, я этого не сказал вам. У него все гораздо сложнее, и он на самом деле мечется: то в Читу, то в Калинковичи.

— Вот, видимо, где зарыта собака, — заключил Константин Макарович, приподымая ладонь и грозя кому-то пальцем. Машина в это время подкатила к воротам его дома, и он, пригласив меня пообедать, тут же добавил: — С удовольствием послушаю про Евгения Ивановича, мне интересно знать все об этом человеке. А ты, Виталий Захарыч, на ферму? — спросил оставшегося в машине парторга. — «Газик» отпусти сразу, пусть заправится и сюда, ко мне, а вечером, прошу, сходи, пожалуйста, к Самсонихе: Пашку приструнить надо! Тоже мне Рокоссовский — передки от телег угонять...

Деревня Гольцы, как рассказывал о ней Евгений Иванович, представлялась мне небольшой, всего десятка полтора-два низких, с огородами и палисадниками домиков с одною и неровною между ними улицей, зимой заметавшеюся снегом, летом зараставшею травой; шоссе Мозырь — Калинковичи проходило рядом, как бы обтекая деревню (может быть, это только теперь сделали так, чтобы рейсовые грузовики не заезжали в село, где надо сбавлять скорость и тем самым терять драгоценное в пути время?), и эта шумная, заполненная *тогда* немецкими машинами магистраль придавливала, приглу-

шала и без того замедленную, будто даже остановившуюся на десятки лет жизнь покосившихся, по самые подоконники обложенных завалинками для тепла и крепости, осиротевших крестьянских изб. Да, такими представлялись мне Гольцы по рассказу Евгения Ивановича. Может, и в самом деле именно так выглядела зимой сорок третьего на сорок четвертый эта белорусская деревушка, наполовину сожженная и разграбленная немцами, где на месте домов, на пепелищах, торчали лишь почерневшие трубы да валялись обгорелые и скрючившиеся на огне остовы железных кроватей, или даже и это было запорошено снегом, и от всего веяло запустением и безлюдьем. Но еще несколько часов назад, когда проезжал мимо Гольцов к лесу, заметил, что деревня большая и что вовсе не похожа на ту, военных времен, как обрисовал ее Евгений Иванович. Я оглянулся, когда мы шагали через двор к распахнутым дверям (в дверях улыбалась молодая, с уложенными короной косами женщина, жена Константина Макаровича, как я узнал потом, и мальчишка возле нее, председательский сын, похожий лицом на мать), и снова отметил про себя, что клуб, школа, правление, вон с новым, как подъезд, парадным крыльцом, ремонтные мастерские (тех бревенчатых конюшен, что привычно стояли при колхозных дворах, давно уже нигде нет, а вместо них — именно ремонтные мастерские) и эти вот вмятины гусениц на дороге — все, как в десятках других деревень, в которых я побывал перед приездом сюда, в Гольцы. Я ведь в силу укоренившейся уже профессиональной привычки не просто смотрю на деревню, а всегда стараюсь по самому виду изб понять, как живут в них люди, в достатке ли, чистоте или в небрежении, потому что от того, как они живут, почти безошибочно можно предугадать, как идут колхозные дела, хозяйственный ли, умный, бережливый председатель или только с виду красив, крепок на голос, но даже в своей семье подчас порядка навести не может; я и на Гольцы смотрел так же, и сколь ни скептически был настроен к Константину Макаровичу, но все вокруг — и председательский двор, и изба, и соседские, что за жердевой оградою, — все приятно радовало глаз чистотою, было ухоженным, и я невольно (я стоял позади Константина Макаровича, который, подхватив ладонями кинувшегося к нему сынишку, держал его теперь над собой) проникался уважением к широкоплечему, бритоголовому и показавшемуся мне вначале навязчи-

вым в разговоре председателю. Он поставил на ноги сына и, забыв, видимо, на минуту, что пришел не один, принялся расспрашивать жену:

— Мать дома?

— Нету.

— Где? Опять у этой чернохвостки?

— Да чего уж ты на нее...

— А Варька?

— Еще не приходила.

— Федор-то Селиванов, мне сказали, сватов грозится на днях прислать.

— А Варька знает?

— Чего же не знать, все жерди на воротах вон вместе с ним пообтерла. Тридцать лет, а ума нет.

— Костя!..

— Ну хорошо, я не один. — И только тут он повернулся и взглянул на меня. — Покорми нас. Это знакомый Евгения Ивановича, вместе в Калинковичи едем. Ну, проходи, — сказал он, обращаясь вдруг на «ты», будто мы век были знакомы с ним, и сказал так просто и естественно, что нельзя было ни обидеться на него, ни заподозрить в неуважении. — Чего застеснялся, проходи, жена у меня добрая, Галина Яковлевна, — наконец представил он ее. — Прошу!

Он посторонился и пропустил меня в комнату. Как во всех деревенских избах, здесь было так же пестро и тесно, на подоконниках цвела герань, над комодом висели фотографии в рамках, обрамленные белым расшитым полотенцем, и я, признаться, немало удивился, что в доме Константина Макаровича, человека вполне современного, как сложилось у меня мнение о нем со слов Евгения Ивановича, оказалась столь живучей эта крестьянская традиция — украшать полотенцами фотографии; рядом с комодом стояла этажерка с книгами и транзисторным приемником, и над нею, прямо на вбитых в стену гвоздях, покоились двустволка и широкий охотничий патронташ с сумкой.

— На что ходите? — спросил я. — Большая охота?

— На зайца, зимой. Да какая у нас тут охота!

Пока хозяйка накрывала на стол, мы вышли в сенцы и под железным умывальником помыли руки. Галина Яковлевна подала чистое полотенце, и я заметил, как Константин Макарович одобрительно кивнул ей головой. Когда же сели за стол, первую тарелку с борщом она поставила перед мужем, но Константин Мака-

рович, говоря: «Гостю», подвинул ее мне. Он не улыбался; в голосе его чувствовалось прежнее, как при встрече на шоссе, хозяйское превосходство, но я уже не обращал внимания на эту незаметную, конечно же, для него самого, но очевидную для других манеру держаться с людьми; вид и запах борща были настолько аппетитны, что и я, и Константин Макарович, едва только перед ним появилась наполненная тарелка, — молча и торопливо принялись за еду. Галина Яковлевна сидела в стороне, на лавке, и наблюдала за нами; она давно уже пообедала, и когда Константин Макарович спросил ее: «А ты, Галь, почему не с нами?» — с улыбкою ответила: «Да помнит ли он, чтобы хоть раз вовремя приехал к обеду?» Сын же подошел к столу, и Константин Макарович, обняв и усадив его на колено, продолжал, однако, так же молча есть, беря свободной рукой попеременно то хлеб, то ложку.

Когда тарелки почти опустели, он откачнулся от стола и, посмотрев на жену, произнес:

— Ты что это, Галь, для аппетита нам ничего не дала, а? Ради гостя?

Галина Яковлевна принесла зеленый графин с водкой и низкие толстые граненые стаканчики. Константин Макарович, ссадив сынишку с колена и сказав: «Беги играй», наполнил эти стаканчики, мы выпили сначала за знакомство, а потом, когда хозяйка подала картошку, жаренную на свином сале и теперь подогретую, выпили еще «по глотку», как предложил Константин Макарович, и уже как-то сам собою, незаметно, я даже не могу точно вспомнить, с чего именно: с вопроса ли Константина Макаровича, или оттого, что нельзя же было без конца сидеть молча, возник разговор об Евгении Ивановиче, и я неохотно (вот это помню ясно, потому что и теперь мне кажется, что нехорошо и, пожалуй, вообще не следовало раскрывать чужую тайну), но с каждым словом все более оживляясь, принялся рассказывать, как встретился с Евгением Ивановичем в городской калинковичской гостинице, какое произвел он на меня впечатление и что я узнал о его судьбе. Говорил я, разумеется, коротко, да и не только потому, что не было времени; Константин Макарович, слушая, тоже, казалось, забыл, что ему надо спешить в город; откинувшись спиною к стене, он внимательно смотрел на меня, не перебивая, не удивляясь как будто ничему (по крайней мере, внешне не было заметно, чтобы он хоть чему-

нибудь удивился), и лишь минутами, когда я останавливался, чтобы припомнить подробности, он произносил: «Да-а» — и оглядывался на жену. Она тоже, забыв поставить на плитку чайник, сидела и молча слушала мой рассказ.

— Ну, уехал он вот сейчас в Читу, — заключил я, когда все уже было сказано, — но на душе-то все равно неспокойно. Выйдет Василий Александрович из больницы, месяц-другой подержится и опять запьет. Ведь запьет, вот в чем весь вопрос, а несчастная старушонка, эта Мария Семеновна, снова понесет продукты прятать к соседке в холодильник.

— Но он никогда не говорил нам об этом, — покачав головой, произнес Константин Макарович. — А разве не помогли бы? И Ксене, и Василию Александровичу...

— Странный он человек, твой Евгений Иванович, — вставила вдруг Галина Яковлевна, давно продолжая не этот, а давний и неизвестный мне разговор с мужем. — И мама говорит, да и...

— Кто это «и»? —сдерживая раздражение, возразил Константин Макарович. — Кто «и»? — повторил он. — Михаил Кузьмич? — Я не поинтересовался тогда сразу, кто такой Михаил Кузьмич и почему жена председателя колхоза была под влиянием этого Михаила Кузьмича. — Он коня от коровы отличить не может, ваш Михаил Кузьмич, а берется судить о людях. И вообще, настоящих, понимаете, глубоко человечных людей, — обращаясь уже ко мне, продолжал Константин Макарович, — принято у нас почему-то называть странными, тогда как действительно странных людей мы принимаем за норму. А это, о чем вы сейчас рассказали мне, — он снова, как и на шоссе, произнес «вы», не заметив, очевидно, перехода, а впрочем, сам разговор, наверное, требовал теперь говорить «вы», — я, если хотите, знал, вернее догадывался, что у Евгения Ивановича все именно так. Он — человек широкой души, полной жизни и... Галь, слышишь! Слышишь, Галина, я нисколько не обвиняю его, что он не говорил нам о себе. Скорее всего мы сами повинны в этом. Мы не смогли сделать так, чтобы он открыл перед нами душу, а теперь бросаем свысока: странный человек! Мы привыкли в любом деле искать корысть, а тут вдруг — нет корысти. Как так? Странно. А я скажу: он приезжал сюда, а мы хоть раз съездили в Ка-

линковичи проводить его? Нет. У нас дела, от которых, видите ли, мы не можем оторваться, а у него? И не просто он приезжал, а многим и многим мы обязаны ему. В первый раз он появился в Гольцах лет пятнадцать назад, — продолжал Константин Макарович, в то время как заправленный, готовый в рейс «газик» уже стоял возле дома и был хорошо виден и ему и мне сквозь окно. — Пришел под вечер, мать рассказывала, остановился у ворот, запыленный, худой, в солдатской гимнастерке, рюкзак горбится на спине. «Смотрю, — говорит, — и жалко. Чей, — думаю, — куда идет?» А он: «Разреши, мать, переночевать». Мать пустила, он выпил молока и молча — на сеновал, а утром мать посылает Варьку — сестра у меня младшая — к завтраку солдата звать, а его уже и след простыл. На другой год в том же, как мать говорит, месяце, и опять на закате, даже глазам, говорит, не поверила — стоит у ворот ровно привидение, точь-в-точь прошлогодний, и худющий, и рюкзак горбом. «Господи! — как она рассказывала (меня-то дома не было, я в те годы уже в институте учился или только сдавал вступительные, ну да не в этом суть!), — господи, — говорит, — чи кажется? Чи вправду явился? Варька, — кричит, — а ну пойди глянь, есть ли кто у ворот, а сама, — говорит, — крест на себя кладу». Варька, конечно, ответила, что «есть», раз на самом деле человек пришел. Мать к воротам. «Иду, — говорит, — а у самой сердце заходит. Ну чисто он, точь-в-точь прошлогодний, привидение, и все тут. И еще солнце закатное так огнем спину и обливает...» Мать-то понять нетрудно, сколько за войну солдат прошло через Гольцы, сколько смертей пришлось повидать. Я вам показывал холмик справа от дороги? Так вот, когда трупы автоматчиков выносили из болота, мать там стояла, а мы жались возле нее. Да и на отца моего — что? Только похоронная. И все это тогда было особенно живо в памяти, все мы еще дышали войной, и тут тебе — раз явился солдат, да второй раз, да еще в один и тот же почти день и на закате, так что действительно черт знает что можно подумать, и я вполне понимаю мать. «Подошла, — говорит, — к воротам и спрашиваю: ты? — «Я», — отвечает и улыбается. «А я, — мать-то говорит, — протягиваю руку да за гимнастерку, настоящая или нет, и в глаза стараюсь заглянуть. Спрашиваю: ночевать будешь?» — «Да», —

говорит. И все повторилось: выпил молока и — на сеновал, а утром чуть свет, коров еще не доили, — ровно и не было никого. «А молоко, — мать говорит, — верчу чашку, выпито, и, где лежал на сене, видно примятое место. Может, в сельсовет, — спрашиваю Варьку, — сходить?» А та: «Да человек он. Переночевал и ушел, не украл же». Ну и опять целый год не видели его. А на третье лето — я уже был дома — мать, гляжу, волнуется, ждет. И Варька ждет. Я смеюсь над ними: «Привидений, — говорю, — нет. Все вы придумали. Мертвецы только у Гоголя из могил встают, да и то на Диканьке, а не у нас в Гольцах. И вообще, зачем солдатам по деревням шляться?» Смеюсь, а сам думаю: а вдруг?! Нет-нет да и поглядываю по вечерам на ворота. И что вы скажете: выхожу однажды вечером из коровника (зачем уж ходил туда, не помню), гляжу и глаза протираю — стоит у ворот, весь как мать описала: и гимнастерка, и худой, и рюкзак горбом, и плечи и голова багрянцем закатным залиты. Это мы сейчас вроде и не на краю живем, а тогда никаких изб напротив нас не было, жердевые ворота, а за ними поле и небо, и вот стоит у ворот на фоне этого закатного неба ну ни дать ни взять запыленный солдат. Я к воротам, молча открываю, впускаю на двор и оглядываю. Он мать спрашивает. «Здесь, — говорю, — дома, сейчас позову». А мать-то уже сама стоит в дверях. Молчит. И он молчит. Только спросил: «Можно?» Мать даже не ответила, а просто кивнула, и мне вдруг захотелось крикнуть: «Чего вы здесь ходите? Мать-то вон скоро в церковь пойдет!» — но не крикнул, а решил проследить, куда он по утрам исчезает. Не сказал никому о своем замысле, спрятался с полуночи в сарае и не спал, глядел. Утром вижу, спускается по лестнице с сеновала, а еще синь, роса, холодом тянет; спустился и пошел по дороге к болоту, как раз туда, где мы с вами сегодня встретились. Там бревенчатый настил был тогда. Я за ним, на расстоянии, конечно, чтобы не видно было, и до самого вечера глаз с него не спускал — не завтракал, не обедал, живот подтянуло, а не отступаюсь от своего. Он в лес, я — за ним, он к дороге, я — туда; долго он сидел на обочине, вставал, снова возвращался, а я руками разводил: чего бродит, что ищет человек — непонятно. Не знаю почему, но только в тот вечер он не уехал в город. Может быть, попутной машины не оказалось. Тогда ведь редко ходили машины. Пришел вечером опять

к нам. Сидит в избе и ест молча хлеб с молоком, а я смотрел-смотрел на него и спрашиваю:

«Скажите, — говорю, — а что в лесу вы искали?»

«Ничего, — отвечает, — не искал».

«Ну как же, я сам видел».

Тогда он усмехнулся, качнул головой и говорит:

«Прошлое искал».

«Как это прошлое?»

«Войну».

«А разве ее можно искать?»

«Да», — ответил он.

Я смотрю на него, а он ест и опять словно не замечает меня, потом сказал матери спасибо и, гляжу, собирается на сеновал. Я спрашиваю его:

«Вы автоматчиком были? Не ваши друзья там захоронены?»

«Нет, — отвечает, — я служил артиллеристом и как раз на бревенчатом настиле немецкие самоходки подбил».

«А-а, — говорю, — где гусеница размотанная ржавеет в траве».

«Гусеница? — спрашивает. — В самом деле, гусеница?»

«Да, — подтверждаю, — она и сейчас, по-моему, там, у обочины».

«Ты сможешь показать мне ее?»

«Смогу. Она от «фердинанда».

«Завтра сможешь?»

«Смогу, — опять говорю, — там и немецких касок по болоту можно насобирать».

«Касок, — отвечает, — не надо, а если хочешь послушать, какое сражение здесь, возле вашей деревни, было, расскажу».

Мы вышли во двор, он прислонился плечом к лестнице, что на сеновал, и тихо и не спеша начал рассказывать. Он вообще человек как будто неспешный, нерасторопный, но, думаю, это только с виду; такие люди многое успевают в жизни. Рассказывает он, мать подошла, Варька, слушаем. Тихо, лунно на дворе, вечер на редкость теплый. Потому, может быть, я и запомнил этот вечер, и, знаете, именно тогда-то мы — и я, и мать, и Варька (как раз мать и говорила мне потом об этом) — почувствовали, что «солдат» наш, так мы его меж собой окрестили, добрый и душевный человек. Помню, мать до того растрогалась, что на другой день пи-

роги завела, курицу зарубила, а когда Евгений Иванович уехал в город, говорит мне: «Жаль, Варька наша мала, а то вот человек: и одинокий, видать, и молодой, подкормили бы его, и добрый, чего искать еще?» У матери свои планы, а у меня свои были. Утром пошел я с ним к бревенчатому настилу, посмотрели гусеницу, ржавая вся, ио точно от «фердинанда», это он подтвердил, несколько касок подобрали, собственно, ие касок, а так, подобие, и он снова повторил всю картину боя и показал, где стояли немецкие самоходки, откуда стреляли зенитчики и куда выкатывал он свое орудие. Это было интересно. Он уехал, а я осенью, когда начались в школе занятия, повел ребят к бревеичатому настилу и пересказал им все. Вот с этого и пошло. Создали отряд следопытов, гусеницу приволокли на школьный двор (кстати, она и сейчас лежит в нашем колхозном краеведческом музее), прииесли каски, гильзы поиаходили, фляжки, даже пуговицы, и за каждым предметом старались восстановить событие. Когда на следующий год Евгений Иванович приехал, я его к ребятам. Я уже тогда преподавал в школе. Ну, можете себе представить, какое осталось впечатление у ребят, когда они послушали Евгения Ивановича да еще вместе с ним сходили на место боя! У нас ведь с тех пор в лейтенанта Федосова играют, и не уймешь; да что я — на ваших же глазах сегодня передок от телеги катали, в пору хоть пушку деревяиную строй и дорогу отводи, чтоб машины ие подавили... Да, так с этого и началось все. Евгений Иванович назвал ребятам свою батарею, имена и фамилии артиллеристов, которых помнил, а потом дальше — больше, дальше — больше: завели наши следопыты переписку и про зенитчиков узнали, кто был ранен, кто убит, и про танкистов, и про автоматчиков, что захоронены теперь в центре деревни, там и обелиск стоит, и цветы живые (все ухаживают, а когда мимо проходим — шапки долой!), в общем, дальше — больше, и уже — школьная комната мала для музея. Теперь-то, когда я стал председателем, специальную избу отвел им, тут же, возле школы. А сколько, оказывается, партизан было в иашей деревне! Ребята все дотошно раскапывают. Уже материалы гражданской начали собирать и времен коллективизации — кто первым вступил в колхоз и кто был первым председателем? — и, знаете, поразительная картина открывается: в каждой избе, в каждой семье кто-нибудь да совершал подвиг! Но люди не говорили о себе, жили и

жили, незаметные, вроде забытые, и вдруг — дела их опять вот на виду, и это преображает человека. Он словно рождается заново. Нет, я считаю, что Евгений Иванович сделал для нас большое дело, хотя и скромничает: «Да что я, да любой на моем месте...» Он каждый год неизменно появлялся в Гольцах, и мы, скажу вам, до того привыкли видеть его, что будто так и надо и ничего другого быть не может. Ради ребят, ради музея приезжает человек, ну и слава богу. И я привык, и радовался, и готовился каждый раз к встрече. Но в последнее время вижу: Евгений Иванович только и весел что лицом, а дума в голове совсем другая. Хотел было потихоньку расспросить, так он: «Нет, нет, что вы, вам показалось» — и никаких жалоб, никаких просьб. Молоко, сеновал, дети — вот и все. Но я-то вижу! — воскликнул Константин Макарович. — Даже когда улыбается, тревога не сходит с его лица. И удивительно, — добавил он, — в таком состоянии, в такой душевной подавленности он еще с ребятишками возился. Он же кумир наших мальчишек, вы понимаете!

— Да, — ответил я.

— Кумир! — возбужденно повторил Константин Макарович. — Это надо заслужить!

Мы просидели допоздна, и когда вышли во двор, солнце уже лежало за крышами соседних изб и синие тени стелились по дороге. Я снова окинул взглядом деревню, которая стала как будто ближе мне за эти несколько часов, пока сидел в председательском доме. Когда шагали к жердевым воротам, я на секунду представил, как появлялся возле этих ворот облитый багрянцем заката Евгений Иванович, и вся его жизнь, рассказанная им самим и дополненная Константином Макаровичем, невольно возникла перед глазами. Мне казалось, что старик, некогда поклонившийся Ксене, и то, что мальчишки, как мы когда-то в Чапая, играли здесь в лейтенанта Федосова, было одним и тем же *признанием жизни,* и я опять-таки невольно, хотя Евгений Иванович был для меня, в сущности, чужим человеком, радовался за него.

— Вон школа, — сказал Константин Макарович, когда мы уже подошли к машине, — а чуть правее изба, видите? Это и есть наш колхозный краеведческий музей, — не без гордости добавил он. — Я бы охотно

сводил вас, это интересно, уверяю, но... жаль, не могу, мы и так запаздываем.

— Он открыт сейчас? — спросил я.

— Вы хотите остаться?

— Да.

— А в Калинковичи?

— На попутной.

— Ну, верно, выйти только на шоссе, а там день и ночь... в общем, смотрите сами, отговаривать не стану.

— Поезжайте, — сказал я.

— Да, скажите, пожалуйста, — уже из машины, грудью навалившись на дверцу и подавшись ко мне, спросил Константин Макарович, — где живут Василий Александрович и Мария Семеновна, о которых вы говорили?

— Не знаю.

— А в какой больнице?

— Василий Александрович? В одной, очевидно, в которой лечат алкоголиков?

— А-а, ну да. Филев его?

— Да. Хотите помочь? Сделаете доброе дело.

— Доброе? — с усмешкой переспросил Константин Макарович. — Добрым оно было бы вовремя, а теперь — я лишь запоздало берусь исправить упущенное.

II

Из Гольцов я уезжал, когда было уже совсем темно. Забравшись в кузов какого-то направлявшегося порожняком в Калинковичи грузовика, я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел на удалявшуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редкими потому, что окна многих изб были закрыты ставнями. Я уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в темноту, и чем сильнее набирала скорость машина, тем мрачнее и тревожнее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался делами колхоза, хотя никогда прежде не случалось, чтобы должностные заботы вот так, вдруг, отходили на второй план; я думал о жизни Евгения Ивановича и о своей, и грустно мне было именно потому, что я все время только лишь стремился к добру, лишь хотел видеть людей добрыми (добрыми по отношению ко мне), тогда как Евгений Иванович *делал* доб-

ро, и делал незаметно, не выдвигая себя, и эта его как будто незаметная и трудная жизнь получила *признание* («Не только мальчишек, нет! — восклицал я. — А всех, всей деревни!»); я видел, что жизнь Евгения Ивановича была наполнена смыслом, а моя (я насмехался теперь над тем, как бойко и решительно осуждал, в сущности, Евгения Ивановича, когда мысленно рассказывал ему о себе) — пустой, обесцеленной. «А ведь тянуло в Долгушино, — думал я. — И надо было подчиниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и... кто знает, какой видимый след остался бы после меня, и ребятишки играли бы, может быть, в агронома Пономарева, как здесь в Гольцах, в лейтенанта Федосова». Я не заметил, как за поворотом, за подступившим к шоссе лесом скрылись последние огоньки утонувших в ночи Гольцов; густой сумрак, лишь впереди рассекаемый лучами фар, окружал мчавшуюся машину, но я не замечал и этого сумрака и не слышал, как скрипели и позвякивали в пазах рассохшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью наседавших дум — да я и не противился и даже не пытался прервать их (может быть, именно потому, что это было не в моих силах) — так же, как две с лишним недели назад, когда лежал в гостинице рядом с Евгением Ивановичем, весь как бы снова переходил во власть давно пережитых, и как мне казалось, забытых волнений, и в ночной черноте, чем пристальнее вглядывался в нее, тем будто яснее различал захлестанные осенними дождями взгорья с золотою и слезящеюся стерней, те самые убранные и уходящие на покой и зиму хлебные поля, по которым бродил когда-то в жестком брезентовом плаще и сапогах, накинув капюшон на голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть возможность применить эту силу и одарить добротою людей, отбрасывали меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшиеся приветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на мир и людей. То состояние и приятно и тяжело было снова ощущать в себе. Я как будто, как делал, бывало, там, на Долгушинских взгорьях, откидывал капюшон и видел сиротливо приютившуюся за сеткой дождя у реки деревушку, и так же, как эта деревушка выглядела затерявшимся островком среди распаханных черных взгорий, так и я казался себе затерявшимся человечком среди людской нешумной и утонувшей в ночи жизни;

она, эта жнзнь, была *сама по себе,* со своими забогами, болью н радостью, будто даже непонятная и недоступная мне, моя же — *сама по себе* н тоже будто недоступная н непонятная другим, н я чувствовал себя одинокнм и подавленным в кузове несшейся сейчас по шоссе на Калинковичи машнне. Это тревожное состояние продолжалось и потом, когда я уже лежал в гостннице, завернувшнсь в одеяло и погасив свет; о чем бы я нн начинал думать, перед глазамн неизменно возникали то Долгушино, то Красная Долннка, где на лунном дворе когда-то я встретнл старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Николаевич в белой нательной рубашке и кальсонах, как он стоял на крыльце возле остекленной веранды, и Федор Федоровнч с женою и тремя, как и отец, ушастымн и в однпаковых платьнцах дочерьмн, н Пелагея Карповна, и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее тогда, и эта Наташа, какой стала теперь, провожающая своих дочерей Валю и Ларочку по утрам в школу, н серый холмик с крестом, где похоронена Пелагея Карповна (я ннкогда не был на ее могиле, но хорошо представлял по рассказу жены), и могнла ее двоюродной сестры, Надежды Павловны, худенькой, морщннистой, почтн высохшей старушонки, — все-все, перемежаясь, возннкло и гасло, создавая картину прожнтой обесцеленно, как я уже говорнл, жизнн. Я почувствовал, будто что-то нарушнлось во мне, что прежде составляло покой н уверенность; так, как смотрел я на мир все эти годы после Долгушнна, я уже не мог смотреть н поннмал это, но то новое, что появилось во мне, было беспокойно, и потому я всяческн старался подавить, приглушить его в себе. «Какой черт погнал меня в Гольцы! — уже утром, проснувшись н одеваясь, упрекал я себя. — И вообще, вся эта встреча с Евгеннем Ивановнчем? Играют в лейтенанта Федосова... Ну н что? Сам-то он как живет? Спокойно? Как чувствует себя его Зннанда? Ей-то каково? А ну как я, к прнмеру, начал бы уезжать от Наташи? А Валя? А Ларочка? Нет, нет, это невозможно», — повторял я, надеясь восстановнть прежнее спокойствие. Раньше, чем требовалось, я вышел нз гостиницы и направился по утренннм и малолюдным улнцам к зданию заготовительной конторы, где нужно было завершить кое-какне командировочные дела; я специально пошел пешком, н в первые минуты, когда очутился на

солнечном тротуаре и в лицо повеяло свежим (по крайней мере, так показалось после устоявшегося запаха старых ковров, обычного, впрочем, запаха всех гостиничных коридоров), еще сырым от ночной прохлады воздухом, тяжесть раздумий будто осталась позади; щурясь и прикрывая глаза ладонью, я некоторое время поглядывал на дома, витрины магазинов, на голубое утреннее небо; но, может быть, потому, что все на свете теряет новизну и я пригляделся и к утреннему солнцу, и к домам, и к прохожим, — воображение постепенно снова перенесло меня во вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял перед грудою касок, ржавою гусеницей от подбитого «фердинанда» и затем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков, танкистов и автоматчиков. «Да что же, в конце концов, произошло? — между тем спрашивал я себя. — Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше никогда не увижу», — рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки больше никогда не увижу его.

Почти до самого обеда пробыл я у заготовителей, уточняя планы и контрольные цифры, а когда вернулся в гостиницу, — как ни чувствовал себя утомленным (да и времени до отхода поезда было еще много), оставаться в номере, где все напоминает об Евгении Ивановиче, не мог; уложив чемодан и расплатившись, сел в первое подвернувшееся такси и, сказав: «На вокзал», вздохнул с таким облегчением, что шофер внимательно и настороженно посмотрел на меня.

— Да, — подтвердил я, — на вокзал. — И, оглянувшись, еще с минуту провожал глазами удалявшийся подъезд гостиницы.

Возбужденный и довольный, что наконец покидаю Калинковичи, что завтра вечером буду дома, увижу Наташу, Валю, Ларочку, что жизнь опять потечет в своем прежнем, привычном для меня, нерасторопном ритме, я прохаживался по перрону, держа в руке чемодан и приглядываясь к знакомой, сотни раз виденной вокзальной суете. С минуты на минуту должен был прибыть на первый путь скорый из Москвы (на Москву же, которым уезжал я, проходил часом позже); хотя мне никакого дела не было до этого поезда, но, как это бывает, когда хочется, чтобы побыстрее пролетело время, я с удовольствием ожидал, когда зеленые вагоны, мед-

ленно проплыв вдоль перрона, остановятся, платформа наполнится спешащими пассажирами, лоточницами с горячими пирожками, проводницами в синих беретах. Когда поезд подошел, я отступил к невысокой железной ограде и, облокотясь на нее, принялся наблюдать, как выходили из вагонов и входили в них люди. Недалеко от меня ссаживали со ступенек вагона на перрон безногого человека. Как и на все вокруг, сначала я лишь мельком и равнодушно посмотрел на него и хлопочущих возле него людей (они устанавливали трехколесную, с ручными педалями коляску), но затем словно что-то подтолкнуло меня посмотреть еще, будто этот безногий и женщина с мальчиком возле него имели какое-то ко мне отношение, и с изумлением вдруг увидел, что в тамбуре с узлами в руках стоит Евгений Иванович. Я сразу узнал его. Он был в том же темном пиджаке, в каком мы спускались с ним в ресторан ужинать, а потом он сидел в кресле и рассказывал мне свою историю; как когда-то, как он говорил, серебрились в свете горевшей под потолком керосиновой лампы серые Ксенины косы, теперь, насквозь пронизанные высокими лучами солнца, серебрились его седые волосы; лицо его было так же серьезно, как и две с лишним недели назад, в день нашей встречи, да и сам он весь, сухощавый, подтянутый, опять, как и тогда, производил впечатление крепкого, занимающегося спортом человека. «Петр Кириллович, Зинаида Григорьевна, сын Саша», — перечислял я, глядя то на безногого человека, которому, очевидно, ехавшие вместе в вагоне люди помогали усаживаться в коляске, то на женщину с мальчиком возле него; я старался рассмотреть и их, но они стояли спиной ко мне и к солнцу, загораживая своими тенями Петра Кирилловича, и я видел лишь общие контуры опрятно одетых и неторопливых в движениях людей. Я взял свой чемодан и с волнением, будто встретил старых и добрых знакомых, которых не видел много и много лет и которых был рад видеть теперь, двинулся навстречу Евгению Ивановичу, издали приветливо помахивая ему рукой.

— Евгений Иванович! — не подходя, а уже почти подбегая к нему, крикнул я.

— Вы? — спросил он, заметив наконец меня. — Вы еще в Калинковичах? — удивленно продолжил он, держа в руках узлы и не опуская их на серый и казавшийся ему, наверное, пыльным перрон.

— Вот, сегодня уезжаю.

— А я приехал, видите, всей республикой, — сказал Евгений Иванович, полуобернувшись в сторону своей семьи и кивая на них головой. — Петр Кириллович, — представил он сидевшего в коляске седого и лысеющего старого человека; и пока я, подойдя к Петру Кирилловичу, пожимал руку, говоря обычное: «Очень приятно познакомиться» и называя себя, Евгений Иванович молча и выжидательно смотрел на меня, — Зинаида Григорьевна, — затем представляя жену, проговорил он и снова выждал, пока я так же, как с Петром Кирилловичем, знакомился с ней. — Саша. Первоклассник, — добавил он, указывая глазами на сына.

Поезд еще стоял у платформы, пассажиры суетливо метались по перрону; за нашими спинами проводница кому-то громко объясняла, что двенадцатый вагон следует искать не в хвосте, а в голове состава.

— Этим? — спросил Евгений Иванович, теперь лишь движением бровей указывая на зеленые вагоны.

— Нет, — ответил я. — Обратным. На Москву. Через час.

— А-а. Ну, давайте тогда хоть в холодок отойдем, — предложил он и первым, так и не опустив узлы на асфальт, зашагал к широкому навесу перед входными дверями вокзала. Следом двинулся Петр Кириллович на коляске, работая ручными педалями, потом Зинаида Григорьевна, Саша и я.

Ни Евгений Иванович, ни тем более Петр Кириллович и Зинаида Григорьевна ничего, в сущности, не знали о моей жизни, и потому встреча эта, думаю, была неинтересна для них; они шли не оборачиваясь, и лишь маленький Саша, который впервые ехал на поезде и которому было любопытно все, несколько раз, приотставая и крутя круглою остриженною головой, смотрел на меня; я же знал, по крайней мере, многое и многое о жизни и Евгения Ивановича, и катившегося на коляске Петра Кирилловича, и Зинаиды Григорьевны из далекой таежной Москитовки, и потому люди эти вызывали во мне особенную, какую я старался, но не мог скрыть на лице, заинтересованность. «Вот он, отец Раи», — думал я, глядя в спину Петра Кирилловича, и вся прожитая этим человеком жизнь, все испытанные им когда-то чувства на похоронах дочери, да и жизнь и смерть Раи — все-все, весь душевный мир их был понятен мне, я смотрел на руки старика, на пальцы, обхватившие

ручные педали коляски, и мне хотелось (так же, наверное, как хотелось когда-то Евгению Ивановичу, когда он забирал Раиного отца к себе в дом) сделать что-то приятное Петру Кирилловичу, будто и я, как и Евгений Иванович, чем-то был виноват перед ним. Я шагал позади и так же, как Петра Кирилловича, видел Зинаиду Григорьевну, которая и в самом деле, как говорил о ней Евгений Иванович, выглядела довольно молодо (я заметил это, еще знакомясь с ней); она казалась стройной и совсем не похожей на ту сибирскую из захолустного таежного поселка женщину в узкой, обхватывающей грудь и руки кофте, как обрисовал ее Евгений Иванович; темно-малиновое платье с отделкою, свободно стекавшее до колен, было сшито со вкусом, шло ей, заметно подчеркивая ее красивую фигуру, и только разве прическа — по-крестьянски заколотые назад волосы — чем-то еще выдавала в ней простую деревенскую женщину. «Тоже пережила, — продолжал я. — Любила одного, потеряла на войне и теперь дорожит этим». Я на мгновение представил, как она в белой ночной рубашке и с распущенными волосами приходила по ночам к спавшему Евгению Ивановичу, добиваясь своего счастья, подолгу стояла у его постели, вся пронизанная лунным оконным светом, и потом шептала молитвы перед старой и тусклой, оставшейся еще от матери, иконкой, и с какой затаенной грустью каждую весну ожидала того дня, когда Евгений Иванович начнет собираться в *свои,* ненавистные ей, Калинковичи (конечно же, она могла возненавидеть город, приносивший, как она видела, лишь страдания человеку, которого она любила и которому желала счастья; может быть, она ненавидела Калинковичи и теперь, но, может, я ошибался, полагая так, потому что за все минуты, пока я был возле них, я не заметил ни малейшего недовольства или хотя бы раздражения в ее словах и взглядах); я продолжал смотреть на нее и представлять, как она каждое лето приходила вместе с Евгением Ивановичем на дощатый перрон маленькой таежной станции и затем, одинокая, неподвижная, безвольно опустив руки, провожала будто спокойным, но на самом деле полным напряжения и тревоги взглядом уносившийся в таежный сумрак состав, и красный огонек последнего вагона долго еще и потом, когда она ночевала у чужих людей и когда возвращалась на другой день по тропинке в Москитовку, светился перед ее глазами; она, наверное,

возненавидела и красный свет, который был для нее светом разлуки. Но она шла теперь, по крайней мере, мне так казалось, спокойною и красивою походкой уверенной в себе женщины, неся одной рукой небольшую с дорожными вещами сумку, другой держа за ручонку продолжавшего оглядываться на меня сына, и мне было приятно видеть эти ее спокойствие и уверенность. «Как все люди, — думал я, опять и опять пробегая глазами по спинам двигавшихся впереди Евгения Ивановича, Зинаиды Григорьевны, Петра Кирилловича, — и никогда в голову не придет, что у каждого из них такая судьба!»

— В гости? — спросил я, как только Евгений Иванович, опустив наконец узлы к ногам и встряхнув уставшие и затекшие руки, повернулся ко мне.

— Совсем, — сказал он. — И вы, между прочим, помогли мне принять это решение.

— Я?!

— Вы. Помните, когда я вам рассказывал о себе в номере? Вы спали, но я ведь не спал в ту ночь, а не ворочался только потому, что не хотел будить вас.

— Нет... — начал было я, желая возразить ему, сказать, что я тоже не спал и тоже не ворочался потому, что боялся разбудить его, но он не дал ничего высказать мне.

— Вы погодите, — перебил он. — Рассказал я вам, да и сам как бы со стороны посмотрел на свою жизнь, и так, знаете, больно на душе стало: да что же, думаю, происходит? Мария Семеновна старенькая, слепнет, Василий Александрович и вовсе пропадает, так заберу-ка, думаю, всех своих — и сюда. Сколько можно разрываться? Да и мои, — Евгений Иванович опять, как и возле вагона, чуть повернув голову, глазами указал на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, — в один голос: едем!

Вместе с Евгением Ивановичем и я снова посмотрел на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, который сидел в коляске, развернув ее так, что я видел теперь все его старческое и утомленное с дороги лицо, и, заметив, что они тоже рассматривают меня («Что он говорил им обо мне?» — подумал я), сейчас же, чтобы не молчать, спросил Евгения Ивановича:

— Работу уже подыскали?

— Нет. А что работа? — тут же добавил он. — Необязательно в техникуме преподавать, можно и в шко-

ле. Меня вон в Гольцы сколько раз приглашали. Может, поедем туда. В общем, как сложится, посмотрим. Да разве может у нас человек остаться без работы, если он хочет работать, а?

— Да, конечно, — подтвердил я.

С минуту мы стояли молча; Евгений Иванович искоса поглядывал на узлы, что лежали у ног, на Петра Кирилловича и думал, наверное, как ему добираться до Марии Семеновны и как еще встретит их старая женщина, но я был так взволнован неожиданной встречей с ним, что не замечал ни этой его озабоченности, ни того, что разговор не получался.

— Вы — добрый человек, — сказал я Евгению Ивановичу, потому что не мог не сказать того, что думал о нем.

— Нет, — возразил он. — Если хотите знать, я всю жизнь только и делаю, что борюсь в самом себе со злом. Ну, так что? Двинемся? — сказал он, обращаясь к жене и Петру Кирилловичу и добавив уже мне: — Извините, но нам надо идти, — взял поданный Петром Кирилловичем старый брючный ремень и принялся стягивать им узлы; потом, вскинув узлы на плечо — один наперед, на грудь, другой на спину, — протянул мне руку для прощания.

— Может быть, помочь? — предложил я.

— Нет, спасибо. У вас свой.

— А то...

— Да и поезд ваш скоро, так что счастливого вам пути! Н-ну! — затем проговорил он, оглядывая своих и поправляя врезавшийся в плечо ремень. — Нам придется пешком, так что крепитесь. — И первым зашагал к выходу.

Я стоял и смотрел, как они удалялись, слегка смущенный таким поспешным и будто даже холодным прощанием, хотя, в общем-то, иначе и не могло быть, и это я теперь вполне понимаю; Евгению Ивановичу было не до меня, он ни разу не оглянулся, хотя я ждал этого, чтобы помахать ему рукой; я еще прошел к решетчатой ограде, чтобы взглянуть на привокзальную площадь и пересекавших ее Евгения Ивановича, сгорбившегося под тяжестью узлов, Петра Кирилловича на коляске и Зинаиду Григорьевну, которая все так же вела сына за руку, и даже когда они, свернув в улицу, скрылись за светившейся стеклянной витриной магазина, продолжал смотреть уже на эту витрину; я чувствовал себя так,

будто прожил две жизни, свою и Евгения Ивановича, и волновался теперь более не за себя, а за него, хотя — что же было волноваться за него?

III

Я не помню, как вошел в вагон и в купе, как положил чемодан на полку и затем, выйдя в коридор, стоял у окна, мешая проходившим пассажирам и то и дело прижимаясь к стеклу, чтобы пропустить их; не помню — хотя и смотрел на здание вокзала, ларьки на платформе и решетчатую ограду, отделявшую перрон от привокзальной площади, — как все это сдвинулось и поплыло за окном, и поплыли пристанционные белые дома, будки стрелочников и шлагбаумы, преграждавшие дорогу городским автобусам, и как все вдруг, именно вдруг, оборвалось, и потянулись поля, перелески, деревни, которые должны были уже приглядеться мне, но которые каждый раз, да и теперь, конечно же, вызывали то чувство радости, которое я много лет назад впервые испытал по дороге в Долгушино и Красную Долинку, и все же — нет, я не помню, как сменялись за окном картины и сколько времени простоял в коридоре; когда после очередной недолгой остановки поезда проводница подошла ко мне и спросила, не уступлю ли я свою нижнюю полку в купе старому и больному человеку, поспешно и почти машинально, чтобы только поскорее остаться опять наедине с собой, ответил, что «да, занимайте, пожалуйста», и снова, прильнув к стеклу, смотрел, как черные грозовые тучи, нагоняя поезд, застилали собою небо. Я видел эти тучи, видел все, что открывалось и исчезало за окном вагона, но прерывающаяся цепь полей, деревень, лесов, рощиц и перелесков не нарушала тех размышлений, какие все это время занимали меня; я думал, как сложна человеческая жизнь, сколько в ней зла и сколько добра, приносящих страдания и радость людям, и какою нужно обладать силою, чтобы вот так, как Евгений Иванович, не растерять с годами те лучшие чувства, какие, впрочем, есть в каждом из нас, иногда разбуженные, иногда неразбуженные, иногда придавленные судьбой. «Взял и приехал, — рассуждал я, еще и еще возвращаясь мыслью к Евгению Ивановичу, — и все как будто просто. Да со злом ли в себе он боролся? Нет. Он не давал успокоиться своей душе». Я невольно примерял свою жизнь к жизни Евгения Ивановича и с

грустью думал, что сам я ничего, в сущности, не сделал из того, что мог бы сделать хорошего в жизни людям. Начало уже темнеть, когда я, почувствовав усталость, открыл дверь в купе, намереваясь прилечь и отдохнуть, но то, что я увидел, заставило задержаться в дверях. На нижней полке, вытянув во всю длину худые и старческие, в полосатых пижамных штанах ноги, лежал человек, которого, несмотря на годы и на то, что жизнь изменила его, я узнал сразу же. Это был Андрей Николаевич, бывший заведующий Краснодолинским районным земельным отделом. Напротив него — и ее я тоже сразу узнал — сидела пожилая, располневшая к старости, но все еще с румяным и неморщинистым лицом Таисья Степановна. «Вы?!» — хотел было спросить я, но не спросил ничего; да и не заметил, узнали ли они меня или нет; лишь сильно, не обращая внимания на то, как будет воспринято это окружающими, задвинул дверь и, прошагав по коридору, остановился в холодном, продуваемом насквозь и грохочущем тамбуре; я чувствовал, что снова прикоснулся к моштаковскому миру, что мир этот жив и что жизнь как бы по второму кругу начинается для меня.

СОДЕРЖАНИЕ

Ананьев А. А.

А64 Версты любви. Роман. 3-е изд. М., «Молодая гвардия», 1976.
368 с.

В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух героев — двух наших современников. Судьбы эти сложные, во многом нелегкие, порой драматичные.
Автор затрагивает нравственные и социальные проблемы нашего времени. Герои романа думают о добре и зле, о месте человека в жизни.
Издание третье.

Р2

А $\frac{70302-105}{078(02)-76}$ Без объявл.

Анатолий Андреевич Ананьев
ВЕРСТЫ ЛЮБВИ

Редактор **З. Коновалова**
Художник **С. Соколов**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **И. Соленов**
Корректор **Е. Самолетова**

Сдано в набор 20/XI 1975 г. Подписано к печати 30/III 1976 г. Формат 84×108 1/32. Бумага № 1. Печ. л. 11,5 (усл. 19,32). Уч.-изд. л. 20,9. Тираж 150 000 экз. Цена 83 коп. Заказ 2157.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.






ВЕРСТЫ ЛЮБВИ
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ